

Александр  
Владимир  
Алматинский

ИЗБРАННОЕ



©

Владимир  
Амлинский

ИЗБРАННОЕ В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ 2

РОМАН  
ПОВЕСТЬ  
РАССКАЗЫ

МОСКВА  
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
1987

P2  
A62

Художники Л. и В. МИТЧЕНКО

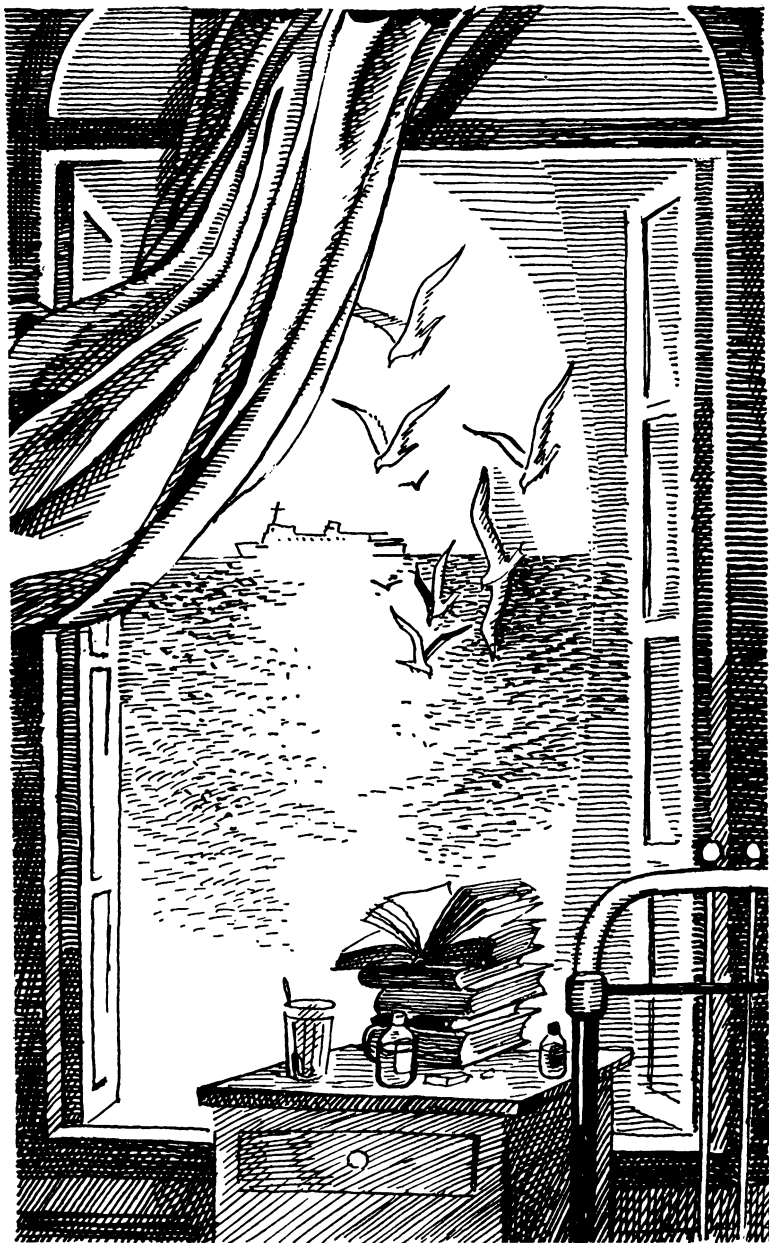
А  $\frac{4803010102-311}{M101(03)87}$  170—87

© Состав. Иллюстрации. Охраняемые произведения отмечены в содержании  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1987 г.

**Ж**изнь  
Эрнста  
Шаталова

---

ПОВЕСТЬ



Поднимаюсь по лестнице крепкого, довоенного московского дома, звоню в дверь, где живет Эрнст Шаталов. Звоню и жду, а на душе предчувствие тяжелого и, может быть, бесполезного свидания и разговора. Тишина. Никакого движения там, в квартире за дверью. Жду, не уйду, потому что знаю: хозяин всегда дома... Что ж, никого, что ли, нет, кто бы мог открыть дверь?..

Наконец резковатый голос спрашивает: «Кто?» Отвечаю — и дверь открывается сама. Вхожу в сумрачную по-вечернему квартиру, тот же голос говорит: «Раздевайтесь, пожалуйста». И кажется, что это не человек, а микрофон, какой-то прибор, который сам открыл дверь и теперь велит раздеваться и указывает, куда идти. Я разделся, пошел, неловко, жестко, скрипя половицами в тихой, безжизненной квартире. Вошел в комнату, слегка зашторенную, чистую, небольшую. И увидел человека...

— Садитесь, пожалуйста, — говорил он, торопясь и как бы смущаясь. — Пусть вас не стесняет... Вот это кресло придвиньте сюда. Знаете, некоторые, когда приходят ко мне, то чувствуют себя не в своей тарелке... Их, видно, травмирует мое состояние. А меня уже мое состояние не травмирует. Я привык, а они не привыкли... — Так говорил этот человек, торопливо, нервно, резким сильным голосом, который я уже знал и к которому еще не привык. — И знаете, по первому шагу, по первому звуку уже чувствую, что они думают обо мне, и даже знаю: придут еще или нет.

Он был один, странный хозяин этой квартиры.

Никого — ни родных, ни общественников, ухаживающих за прикованным к постели человеком, — никого, просто хозяин, дружелюбно и вместе с тем напряженно и изучающе глядящий на меня. Отчего же я отвожу глаза? Оттого, что инстинктивно не хочу обидеть его любопытством; оттого, что еще не нашел себя, не знаю, что говорить и как держаться; оттого, наконец, что я стою, а он лежит, и в этом пропасть между нами. И чем я могу ему помочь? А если нечем помочь — так зачем я здесь?..

— Очень многие не приходят снова. И действительно,

тяжело со мной общаться. Да, тяжело,— повторил он. И это уже звучало не иронически, не с издевкой, а печально, потухше.

Потом он замолк, видимо утомившись от этого нервного всплеска, и в комнате стало тихо, возможно, так же тихо, как час назад, как десять часов, как год или три, как бывало по девятнадцать-двадцать часов в сутки, когда он был не с людьми, не с гостями и не с врачами, а только лишь с самим собой. Поэтому иногда и возникала внутренняя и не совсем уже поддающаяся контролю потребность — говорить вот так горячечно-нервно и с обидой...

Я вспомнил его письмо ко мне.

*Приходите, если будет возможность, если найдется время. Мне нужно поговорить с Вами по очень важному вопросу.*

По важному вопросу...

Он лежал на металлической, высокой кровати. Рядом стоял пульт управления, кнопки, которые он нажимал, для того чтобы отворить дверь, или включить приемник, или дать сигнал, чтобы зашли. Эта техника была в его распоряжении. Руки еще слушались его; пальцы обладали силой — они могли чуть напрячься, нажать кнопку, потом другую, третью... Вот и все, чем он обладал.

Впрочем, как я узнал впоследствии, кнопку вызова он нажимал редко. Старался не беспокоить людей. Длительные и точно рассчитанные отрезки дня он находился один. Скажем, с девяти до часу; потом заходит брат, вернувшийся из института. Он дома с часу до пяти. Потом придет мать с работы.

Он уже тренирован, и в этом отрезке времени он спокойно существует один, посторонняя помощь ему не нужна. Да еще много отрезков времени, много длительных отрезков, когда он один: ночи, рассветы, когда человек вдруг просыпается и, забыв о болезни, хочет встать... И еще много, много этих отрезков — из них можно сшить целую жизнь, более долгую, чем нормальное человеческое существование.

— Да, я написал вам по важному вопросу. Вы, наверное, подумали: будет чего-нибудь просить. Все они, калеки, инвалиды, чего-то просят...

— Так это и понятно, что просят,— говорю я.— Кому же просить, как не им...

— Да... Но я ничего не прошу. Чего мне просить!

Чтобы ноги ходили, чтобы руки слушались? Чего? Никто не поможет мне, нет такой силы, чтобы помогла мне... Если только бог. Но его-то как раз и нет. Я ведь абсолютный чемпион среди себе подобных. Я лежу уже десять лет, а последние годы не могу повернуться на бок... А все остальное мелочь... Детали. Все остальное у меня есть: новейшее достижение техники, средства информации и зрелища на дому, телевидение и автоматика и даже средства сигнализации, в чем вы могли убедиться... Вот, пожалуйста!

Он приподнял восковую гладкую руку, слабо повел ею, указывая на старенький телевизор первого выпуска, радиоприемник, тоже пятидесятых годов, по-моему «Рекорд», и грубовато сработанный, самодельный пульт управления, позволяющий ему без посторонней помощи открывать дверь. И тут я подумал, что ему, отделенному от мира и лишённому всего, почти всех радостей естественной человеческой жизни, и пытающемуся в какой-то степени компенсировать это, именно ему хорошо бы было иметь, — впрочем, не то слово, — полагалось бы иметь новейший большой телевизор, приемник с проигрывателем, обладающий стереозвуком. То ли он прочитал мою мысль, то ли протестующее движение уловил на лице, но он сказал:

— Да мне действительно ничего не нужно. Я ведь не преувеличивал. Конечно, все это небогатая аппаратура, ну да работает — и изображение есть и звук. Так что меня устраивает, а на другое возможности нет. Болезнь ведь не только кровь, она и деньги высасывает. И не об этом разговор. А разговор здесь о другом... Да и никакого, собственно говоря, специального разговора. Это, может, для привлечения, просто чтобы вы подумали, что важное какое-то дело, и поскорей пришли. Ну, а если точнее, то дело, может быть, вот в чем.

Он задумался надолго, а может, просто устал, и вот тут-то я посмотрел на него впервые, впервые в упор и пристально. Руки лежали, сложенные на простыне по-покойницки. Голова была стрижена ежиком, лоб высокий, сильные резкие брови, щеки одутловатые, опухшие, опухшие очень, ненормально — от постоянного лежания. Теперь глаза. Есть величайшая банальность писать о так называемых живых глазах. Человек весь болен, разбит, слаб, глаза только у него живые. О глазах Эрнста



мне сейчас было трудно судить: он закрыл их то ли в усталости, то ли в раздумье.

Я спросил негромко:

— Вы устали?

— Да нет, — сказал он, не открывая глаз. — Я думаю, и вот о чем... У нашего брата, у таких вот неподвижных, часто спрашивают: чувствуете ли вы себя одиноким? Спрашивают иногда журналисты, если этот человек привлёк чем-то внимание, спрашивают иногда знакомые, родственники. Ну, что ли, на откровенность тянут. И такие, как я, — впрочем, таких-то совсем мало, можно сказать, единичный случай, — ну, в общем, коллеги мои, неходячие, отвечают: нет, не чувствую себя одиноким, потому что вокруг люди, друзья. Отвечают так и врут. Впрочем, неправильно сказать «врут», это слишком грубо. Не врут, а не хотят обнажаться, не хотят и в этом обнаруживать неполноценность. И действительно, не чувствуют себя одинокими в тот момент, когда работают, или читают, или разговаривают с людьми. Только все время не может человек работать и читать, есть еще много часов, когда он просто лежит и думает. И мало кому он расскажет эти свои думы. Может быть, никому и никогда.

Эрнст открыл глаза. Я еще раз внимательно посмотрел на него. Глаза были выпуклые, карие... и живые. Да, и тут не придумаешь ничего другого и не скажешь иначе, пусть банально, но все другое будет неправдой. У этого неподвижного человека, со скрещенными на простыне руками, все было нарушено, изломано, исковеркано болезнью. Она переехала его, как танк, втоптала в землю, в простыни, в кровать, в неподвижность. Только ясный мозг не задело ничто, и он излучал свое свечение, работал с неистребимой силой, с горькой остротой, со сверхнагрузками, с полным и удивительным ощущением своей несоразмерной телу силы, мобильности, отточенности, с недоверчивым, но уже привычным ощущением своего бессилия. И глаза были карие, выпуклые, страждущие, иронические и такие же и в ы е.

2

Сейчас я поделюсь наблюдением, возникшим в первый день и укрепившимся во все дальнейшее время нашего знакомства. Это о том, как разговаривает Эрнст. Говорил

он спорадически. То прибой, то отлив. То возбуждение, острый, почти физически мною ощутимый, как при гипнозе, контакт, с мгновенной его реакцией не только на мою фразу, но, кажется, на самое ее зарождение, на мысль, которую она вот-вот должна оформить. Правда, я не преувеличиваю... Локатор какой-то был в этом человеке... Пульсация тока, нервного излучения становилась столь явственной, возможно, оттого, что нервы были обнаженными проводами.

Но наступали вдруг глухие паузы. Спады. Все обрывалось на полслове, он уходил, угасал, провода замыкались. Паузы эти были разные. То просто усталость, и тогда он лежал тихо, покойно, с прикрытыми веками, как бы остудив, заморозив на мгновение слово и мысль, перегорающую от переизбытка, от непосильного напряжения. То, вдруг вспомнив о чем-то или ощутив вдруг бездну, о которой я мог лишь догадываться, он замыкался холодно, безучастно, иногда, как мне казалось, враждебно. И почти всегда в эти минуты, после очередного спада, он начинал говорить вяло, тихо, с огромным усилием, глаза его не сразу обретали блеск, живость. Казалось, шла внутренняя борьба, что-то болезненно и сокрушительно сталкивалось в нем, какой-то мускул характера напрягался и сжимал ядрышко раздражения, сжимал и раздавливал, как щипцы орех. Это ядрышко, а может быть, маленькая опухоль не определяла его характер, он умел подавить, загнать это внутрь, а отчего это появлялось порой, было так понятно, так удивительно понятно, понятней даже, чем то многое, что подавляло это.

И были еще другого рода паузы, когда он неразборчиво бормотал что-то, как бы слегка, вполголоса напевая...

Здесь я поначалу пугался. Если первое и второе мне было понятно, то здесь мне чудилась какая-то психическая аномалия. Только потом я понял, что просто он бормотал строчку из стихов или напевал вдруг один ритм какой-то вспомнившейся ему мелодии. И если стихи он произносил почти шепотом, неразборчиво, неясно, то такт мелодии он пел с удивительной музыкальностью и точностью. Так однажды из этой голосовой невнятицы, похожей на шорох настраиваемого приемника, прозвучали несколько тактов из фильма «Восемь с половиной».

Заметив удивление на моем лице, он сказал:

— Фильма я, конечно, не видел, а мелодию переда-

вали однажды по радио, и я запомнил ее. Вообще во всех фильмах Феллини одна и та же мелодия, с некоторыми вариациями. Так вот, я ее запомнил и положил на нее слова из стихов. Догадайтесь, из каких?

— Не знаю. Стихов много.

Он откинул голову и, просияв глазами, прочитал:

— «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» Помните?

— Конечно.

В моих ушах звучал оборванный такт мелодии из фильма. Это была прощальная мелодия. Все кончается. Прощальная цирковая мелодия. Цирк уезжает. Куда? Не известно. В другой город. В какой, еще не знаем сами. До свидания. До свидания с кем? С вами, со зрителями, но не только с вами. И с собой тоже, с представлением, которое отжило свое и устарело, с городом, где мы были, с нашим мнимым волшебством, с минутным обманом, с блеском, с игрой в счастье, в праздник, в парад-але, в абсолютную гармонию жизни. Но это только одна тема... А что же еще? А еще прощание с юностью, с дебютом, с восторгом удачи, прощание с верой в фокус, в счастливую звезду, в победу. Да, прощание, но все равно знаем и верим — ничто не кончилось, знаем и верим — будет, верим во все: и в успех, и в музыку нашу, даже в серебро и золото на картоне, даже в папье-маше и в трюк... И еще во что? Да... еще в мгновение, которое — остановись! Ты прекрасно! В ту женщину, с которой сегодня последний вечер и, по правде, уже никогда, уже все, жизнь развела, но знаем и верим — встретимся и все начнется опять. «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?»

Вот такой был смысл этой мелодии, так она для меня звучала. И все это имело свой фон, почти необъяснимый, фон черного неба, южных звезд, теней, тревоги и обещания. А какой фон виделся ему? Что в нем пробуждала эта музыка горестно-торжественной кавалькады, мотив юности, внезапно нахлынувшей, но уже нереальной?

— А ты думаешь, мне нечего вспомнить? Конечно, меньше, чем другим, но зато все памятнее и острее. Я ведь не всегда такой был. Я мог ходить, сидеть, бегать, прыгать, играть в футбол. Я все мог, я был как все... Только я это не ценил, да как ценить — это было ведь нормально! Человек же не может ценить, что он дышит. Вот когда он заболит астмой, он поймет, что это за божий дар дышать, тогда он и начнет вспоминать, как ему чисто,

легко дышалось. Так вот, я был как все. Кончилась война. Мне было двенадцать лет... Ах, как было скудно и как хорошо! Как нам завтраки в школе выдавали бесплатно, два пирожка с картошкой и кисель. У кого отцы погибли — тем пальто бесплатные, темные такие, в клетку. После урока гоняем в футбол консервной банкой или тряпичным мячиком, девочек видим только издали. Раздельное обучение. Собственно, даже не видим, зачем нам их видеть, мы их и не замечаем. Зачем нам девочки, я их замечать стал только в пятнадцать, в Крыму, когда я уже был на костылях. Поздно я, понимаешь, их заметил... Я ведь не знал, что всю мою остальную жизнь я буду воспринимать только два вида женщин: тележенщин и женщин-врачей. В тележенщин я влюбляюсь иногда, а потом меняю свое увлечение: сегодня дикторша из первой программы, потом какая-нибудь из передачи «Для дома, для семьи» или театральная обозревательница... В общем, ты понимаешь, я ветреный мужчина. Ну, а с женщинами-врачами мы слишком давно знакомы, чтобы как-нибудь воспринимать друг друга... Но сейчас я не об этом. Все у меня, значит, было хорошо. Семья была редкая, не разорвана ни войной, ни разладом. Родители мои метростроевцы. Нас двое: я и брат Мишка.

И вдруг все у меня сломалось. И страшно сломалось, так и нарочно не выдумаете. И началось все как-то неправдоподобно просто. Играл с ребятами в хоккей, вдруг один саданул клюшкой нечаянно, как говорится, в борьбе за мяч, и я падаю на лед. Лежу, испугался, думал, сломалась нога. Ребята игру прекратили; тот, который ударил, стоит надо мной, лицо у него белое, как лед. Полежал я, полежал, потом встал. Доковылял до дому. Два дня пролежал, колено опухло. Пошел к врачу, надели гипсовый сапожок... Прошла неделя, сняли, сделали рентген голеностопного сустава. Как будто ничего не нашли. И снова жизнь вошла в колею. Прошел месяц, другой. Началась весна, уже хоккей был забыт, после уроков гоняли футбол на пустыре возле школы. Две стопки учебников на землю — это штанги, мяч не тряпичный, а настоящий, только третий в играх, почти лохматый, один на два класса. И я гоняю футбол, стучу по воротам, забиваю свои голы. Мне еще пятнадцати нет — где тут быть осторожным?

И снова удар по тому же самому колену, и снова

хирург, гипс уже надолго, и вот я уже не игрок, а болельщик. Теперь я смотрю из-за ворот на играющих, сижу на портфеле, кричу, подаю советы и не знаю, что не играть мне в футбол уже никогда да и сидеть за воротами тоже осталось недолго. Нога болит, боль не сидит на месте, ползет вверх к бедру, постепенно отвыывает еще один участок тела, потом другой, ползет неуклонно и страшно, как танк, подминает гипсовую защиту. Меня водят к врачам, сначала к районным, потом к консультантам, затем к доцентам и, наконец, к профессорам. К самым главным, единственным профессорам. Никто из моих одноклассников не знает таких странных слов, которые без пол-литра и не выговоришь: деструктивные изменения, сакроилеит, артрит. Привыкаю к полумгле рентгеновских кабинетов, к подсвеченным лицам врачей-рентгенологов, к ласковому шепоту сестры: «Поближе, сюда ножку, вот так, чуть повыше колена...»

А потом разговор врача с мамой, разговор озабоченный и вместе с тем успокаивающий, потому что врач говорит: костных деструктивных изменений нет.

А эти слова я уже знаю наизусть и уже понимаю, что когда изменений нет, то это хорошо. Постепенно я отрываюсь от своей школы, от ее интересов и дел, теперь половина моей жизни — это очереди к врачам, а вместо моих одноклассников я вижу таких же напуганных ребят с мамами, ждущих приема. Я почти наизусть выучил надписи на стенах: о гриппе, о невымытых овощах, о собаках, разносящих инфекцию. Я уже различаю платные и бесплатные поликлиники, знаю, что в бесплатных с тобой разговаривают коротко и деловито, а в платных — долго, с подробностями и сочувствием... И в тех и в других стены с диаграммами, с гриппом и невымытыми овощами. Ох, как скучно мне! Но ничего не поделаешь, так и шло время, так и не было понятно, отчего все-таки болит нога, хотя и нет в ней никаких изменений. Консультанты, доценты, профессора... Ортопеды, травматологи, курортологи не приходили к единому выводу. Одни находили признаки артрита, другие левостороннего сакроилеита. И вот, наконец, меня везут в Сокольники, где меня должна принять профессор Антонина Юрьевна Лурье<sup>1</sup>, крупнейший специалист по костному туберкуле-

---

<sup>1</sup> Некоторые имена и фамилии в повести изменены.

зу. Помню ожидание, ощущение, что сейчас все это выяснится; узкий, как пенал, кабинет, худенькая, маленькая женщина, которая сильными пальцами мнет и гладит мою спину, велит пройтись по комнате, слушает дыхание, долгим, ничего не выражающим взглядом рассматривает снимки. Она спрашивает, болел ли я пневмонией. Мать отвечает за меня: болел. Она снова глядит на снимки, на меня, обдумывает и, наконец качнув головой, произносит: «По всей вероятности, это коксит. Надо срочно ехать на юг, в Евпаторию».

### 3

И вот я еду в Евпаторию, без путевки, но с жалостным личным письмом к главному врачу санатория. Я еду один, без провожатых; по просьбе родителей соседи по купе приглядывают за мной. Впервые еду на юг. Выхожу на станциях, жду последнего гудка; когда он раздастся, прихрамывая, иду по перрону, прыгаю на ходу. Я еще не забыл старые времена, когда люди не садятся нормально, когда они прыгают на ходу, потому что эти люди — мальчишки. Часами смотрю на поля, где тонкие закопченные деревца полезащитной полосы, читаю красные надписи на откосах: «Миру — мир».

И вот я в Евпатории. Я еще не дошел до санатория, не отдал главврачу просительное рекомендательное письмо, не определился на лечение. Но вот море — я его вижу в первый раз. И я ставлю на землю чемодан, прошу кого-то поглядеть за вещами и иду в море. Плавать я умею по-собачьи, сильно лупя ногами по воде. Но здесь не надо сильно, не надо по-собачьи... Здесь оно само мягко и тяжело трогает тебя, и ты чувствуешь его запахи: соли, солнца, глубины, и оно само несет тебя дальше от берега, от черного цвета к зеленому, от зеленого к синему и от синего к солнечному, голубому. Впереди качается флажок. Я не понимаю его назначения, и не знаю, что это предел, и думаю: дай-ка я доплыву до этого флажка. Руки и ноги движутся ритмично, складно: раз, два — я еще никогда так не плыл; снова раз, два — никакого коксита; раз, два — я здоров как бык, а если что и есть, так я лягу на волну, купаюсь разок-другой, и все пройдет само собой. И почему-то вспоминается фраза, где-то слышанная или прочитанная: «Пройдет и это».

Проходит все, кроме этого.

Я принят в санаторий после хлопот, упрасиваний, после долгого, мучительного изолятора. Живу здесь месяц, два, три. Затем мой первый год в Евпатории. Я перехожу в следующий класс. Проходят учителя, врачи, ребята. Время проходит. Проходит все, кроме этого.

Я двигаюсь все хуже. Море — теперь воспоминание, одно из моих немногих воспоминаний. Лечат разными способами. Терплю все, врачи мною довольны. Да и мне они правятся. Только что у меня, они все-таки не знают. Они лечат костный туберкулез, а он не поддается, и выявляются признаки какой-то другой болезни. И вот я случайно узнал, что профессор Лурье, та самая, здесь, на юге. Она консультирует в каком-то другом городе. Обращаюсь к Стенину, главному консультанту Крымского миноблздрава (он часто бывал у нас в санатории и меня как «старичка» уже знал):

— Позовите ее сюда, пусть посмотрит.

— Трудно, — говорит Стенин. — У нее сейчас другой маршрут, другие заботы.

— Только она может помочь, — прошу я. — Она меня уже смотрела в Москве. Она и диагноз поставила. Только она мне может помочь.

И Стенин таки уговорил ее. Приехала Антонина Юрьевна, осмотрела нескольких ребят, в том числе и меня. Сидела долго у моей постели, смотрела рентгеновские снимки, листала историю болезни. История огромная — тома и тома. И где-то вначале, в первых московских томах, попробуй разыщи запись ее рукой: инфекционный коксит — диагноз, который идет за мной и по сей день. Итак, смотрит Антопина Юрьевна, щупает мои ноги, суставы и говорит, обращаясь к нашим врачам, сопровождавшим ее:

— Нет, это не коксит. Это инфекционный полиартрит, тут и стопы поражены и коленные суставы.

И я хочу крикнуть ей: «Как же так, Антонина Юрьевна?! Ведь вы вспомните только Сокольники, три года назад, узенький кабинет, и вы так же внимательно смотрите снимки и говорите: скорее всего, коксит, туберкулезное поражение левого тазобедренного сустава. Как же так?.. Ведь вы же сами сказали. И все поверили вам».

Так хочу я крикнуть, но сдерживаю себя, смотрю на нее, на профессора Лурье, губы мои пересохли. Она тоже

смотрит на меня, в глазах ее как бы тень воспоминания, ассоциация какая-то, но вот все это погасло; она скользнула по моему лицу взглядом, отвернулась к врачам, и вот они уже пошли цепочкой — она впереди, маленькая, уверенная, походкой главнокомандующего.

— Как же так? — кричу я ей вслед, и крик раскатывается и гремит на весь санаторий.

Только никто его не слышит. Никто даже не оборачивается, потому что кричу я беззвучно. А перед самым отбоем ко мне подходит Стенин, садится прямо на постель, говорит, сцепляя сухие пальцы, давя астматический кашель:

— Я-то твою историю болезни прочитал всю. Особенно внимательно московский период. И старый диагноз Лурье я видел. Рад, что ты вел себя как мужчина, что ты не устроил ей истерику. Конечно, ты мог раскричаться, никто бы тебя не осудил... Ведь Лурье не виновата. Да, не виновата. Она прекрасный диагност, эти вопросы знает идеально, насколько это возможно. Но не больше. Виновата болезнь. Да, твоя болезнь. Потому что она похожа на тысячу других, казалось бы, абсолютно таких же заболеваний, у нее аналогичная симптоматика, ее развитие совпадает с сотней других случаев... Почти. Но есть что-то отличное, маленькие, почти неуловимые отклонения. Они накапливаются с годами, и вот уже развитие идет не так, как в сотне других случаев. Три года назад тщательное сопоставление всех симптомов привело ее к выводу: коксит. А сейчас, за эти годы, болезнь видоизменилась незаметно и неожиданно, а с ней и диагноз. В девяноста девяти случаях она была права, в одном — нет. Такова медицина сегодня. И никто не виноват, что этот один пал на тебя. Понимаешь, твое тело, про которое все вроде бы известно, оказывается загадкой. Оно таит в себе нечто такое, чего не могут открыть и нащупать врачи. Человек не похож на другого, он только схож с другим. То же самое и болезни. Я понимаю, тебе было бы гораздо легче обвинить Лурье: она во всем виновата, она ошиблась. Это инстинктивное желание человека обвинить кого-то в своей беде... Эту извечную особенность человека часто использовали и в историческом масштабе: когда людям худо, находят виновных, и освобожденная энергия идет на ненависть. И тебе, возможно, еще когда-нибудь захочется найти виноватого, тебе будет больно, тяжело: и вот та-



кой-то был невнимателен, или сестра о своем думала, или что еще... Постарайся не винить. Ты разберись для себя сначала. А то обвинишь впопыхах — и боль не уменьшится да еще тяжелее станет. Но если уж уверился и знаешь, что прав, тогда гни свое до последнего...

Так он мне говорил глуховато с паузами, астма в нем гудела, и он как бы прислушивался к чему-то в себе, к тому инструменту, что протяжно-расстроено хрипел в глубине его. Он часто приходил ко мне. Не знаю, почему он выбрал именно меня. Он пришел ко мне однажды и долго молчал, постукивая палкой по полу, потом посмотрел на меня остро и как-то диковато и сказал без голоса, почти шепотом:

— Собери все силы, браток, скверную весть я тебе принес. Не хочу тебе морочить голову, врать: в доме твоём московском горе. Умер отец...

Я плакал, он гладил меня по голове. Почему я плакал при нем, почему я не скинул его руку с моей головы? Ведь это было мое горе, а я терпеть не мог, когда меня жалели.

Когда я перешел в десятый класс, он принес мне подарок. Не книги, не что-нибудь интеллектуальное, а набор сухих крымских вин.

— Тебе это можно немного, ведь ты уже взрослый, десятиклассник. Давай немножко выпьем.

Мы выпили, помолчали. Голова у меня чуть закружилась, блаженно, удивительно... Так не было еще никогда. Я посмотрел в окно: море было видно и слышно; я улыбнулся и прочитал, освобождаясь от стеснения, неподвижности, от болезни, взлетая вдруг вверх, туда, где только и есть вдохновение, а значит, погибель, счастье. Я прочитал стихи любимого мною поэта Сергея Есенина:

Любимая, ну что ж! Ну что ж!  
Я видел их и видел землю,  
И эту гробовую дрожь  
Как ласку новую приемлю.

— Дурачок, — тихо сказал мне Григорий Акимыч Стенин.

— Это почему ж?

— А потому, что твоя гробовая дрожь — это дрянь, это ничто, пустота, гнилая червивая пустота.

— А жизнь не пустота? А впрочем, у всякого своя

жизнь. И вы мою не знаете и не поймете никогда. Моя — это сплошная пустота.

— Я твою не знаю, конечно, но я тоже знал пустоту. Каждый человек знает пустоту... У каждого это по-своему. Ты еще маленький, ты дурачок, тебе больно, грустно, ты беспомощен, но у тебя еще кое-что есть...

— Это что же?

— У тебя есть будущее.

— Это у меня-то?

— Да, именно у тебя. У тебя есть будущее, вера, наивность, наконец. У тебя многое еще есть. И не будем меряться, кому ноша тяжелее. Оставим это штангистам, а только с этими гробовыми штучками кончай. Это пусть здоровые тешатся, с жиру. А тебе это ни к чему. Тебе надо иметь ясный ум.

— Ладно, я переменю репертуар. «И жизнь хороша, и жить хорошо, а в нашей буче, боевой, кипучей, и того лучше!» Не так ли?

— Если хочешь — так... Если б так не чувствовали себя люди хоть ненадолго, хоть на мгновение, жизнь потеряла б смысл.

— А в моей жизни и так не много смысла... Вот нам часто учителя говорят: не падайте духом, берите пример с Павки Корчагина, с Маресьева. Но это легко сказать — пример бери. К тому же и Павка и Маресьев уже что-то успели, они уже многое познали в жизни, они уже себя проявили. У Павки была революция, бои, победы, у Маресьева — самолеты, война, у них за спиной была молодость нормальная, здоровье, удача. Ведь болезнь накрыла их уже взрослыми. Они уже знали, в чем смысл жизни, а у меня что за спиной: начальная школа, эвакуация, барахолка, футбол на пустыре, десяток книг... Что еще? У меня еще и кости не затвердели, когда меня ударило. Единственное, что у меня осталось, — это то, как я плыл к флажку.

— К какому еще флажку? — спросил Стенин.

— К маленькому флажку в волнах. Ну да ладно. Что теперь говорить... Есенин все-таки правильно сказал: «Как ласку новую приемлю».

— Смотри, прямо всего наизусть вызубрил, — сказал Стенин. — Значит, приемлешь ее, как ласку. Это-ты-то ее приемлешь?

— А кто же еще?

— А я думаю, ты все врешь. Привираешь малость. Вернее, напускаешь на себя туман, интересничаешь сам с собой... Ничего ты, дружок, не приемлешь, никакой гробовой дрожи, ты даже еще и не понимаешь, что это такое. Ты не понимаешь, что такое смерть. И не кокетничай со смертью, не надо с ней... Она ведь подла, так и всерьез нарваться можно.

— Ну и пусть.

— Ну, а это вообще не по-мужски и не по-человечески. Ты говорил насчет учителей, которые учат: бери пример с тех-то и с тех-то. Я это тоже не совсем понимаю. Не люблю, когда тычут самыми прекрасными именами без конца. Пример человек выбирает себе сам, как судьбу; его нельзя заставить взять пример. Да к тому же нелепо все время повторять: вот и ты должен быть таким же героем. Так просто: захотел и стал героем. Я не стану тебе это говорить. Я ведь все понимаю, понимаю, как тебе не повезло. Но ты должен усвоить: пока у тебя есть голова и сердце, ты обязан существовать не как обрубок, не как инвалид — раб своей немощи, а как личность. Как личность, которая знает то, что и другим неизвестно. Пока у тебя варят мозги, мир еще принадлежит тебе и ты еще живой, кое на что способный. Ты его еще можешь перевернуть, этот мир, понимаешь?

— А надо?

— Не знаю. Тебе переворачивать, ты и подумай. Никогда ничего не надо переворачивать просто так, без необходимости...

Мы с ним замолчали, хлебнули еще по стаканчику. В огромные окна и занавешенную белым дверь просвечивало море, уже закатно-торжественное, темное. Час отбоя наступал, но никто из наших еще и не думал спать. Ведь был праздничный день окончания экзаменов. И сестры не ходили с термометрами, с порошками. Все, кто мог, сидели на кроватях, а ходячие бродили по коридорам, по палатам, смеялись, пели, громыхали костылями. Моя койка была в стороне, в закуточке. Мы со Стениным были только вдвоем. И мне вдруг послышался мотив песенки, модной тогда: «Море спит, а закат догорал, на скамейках влюбленные пары, а я счастье свое потерял на широком приморском бульваре».

...После этого Стенин долго ко мне не приходил. Я спрашивал о нем, говорили: то занят, то болеет. Я о

нем скучал. Мне с ним было интересно разговаривать и спорить. Я с ним часто не соглашался. Но то, что он говорил, все-таки в меня западало, и еще мне нравилось, что он говорит не то, что полагается, а то, что думает. Как-то он приехал, посидел около меня, спросил, куда я собираюсь поступать. Я сказал, что еще не знаю... Вроде бы по всем предметам занимаюсь ровно. Он сказал мне:

— В технический тебе нельзя. Нельзя рисковать. В ближайшее время ты не сможешь заниматься практической работой и должен отчетливо понимать это. Тебе надо заниматься делом, где твой инструмент: перо, бумага и книги.

Он замолчал, лицо у него было осунувшееся, серое.

— Только бумага, книги, перо и голова, — повторил он шелестящим, как бы пересохшим голосом, — и характер...

Затем он пришел через два месяца, постоял надо мной, улыбнулся, погладил легкой теплой рукой по лбу.

Однажды весь наш персонал куда-то исчез. Это было время мертвого часа. Как бы уже в полусне я помню, что все куда-то собирались, спешили на автобус и говорили о цветах. Все уехали. Только няня одна тихо брела между кроватями.

— А где все? — спросил я у нее. — Куда уехали?

— «Куда, куда»... — ворчливо сказала она и помолчала. — На божье место, на кладбище. Стенина хоронят.

Так кончилась моя школа. Товарищи излечивались, прощались; прихрамывая, шли к автобусам... Автобус повезет их до поезда, поезд — домой. Я оставался здесь. Стал старожилом, почти достопримечательностью. Я вырастал, кровати становились мне малы. Меня переселяли на новые, пошире, подлиннее. Приезжали новые мальчики, девочки, начинались новые дружбы. Можно много говорить о людях, которые здесь жили... Болезнь интересно влияет на людей. Некоторые не понимали, перед чем они стоят, что над ними нависло, и без конца капризничали, ссорились, интриговали из-за пустяков.

Другие считали себя здоровыми, плевали на все, нарушали режим, не хотели ни признать болезнь, ни примириться с ней. Третьи иступленно занимались, зарывались в учебники, в книги, а в паузы, когда они учебники откладывали в сторону и оставались наедине с собой, пугались себя, будущего, болезни... Четвертые станови-

лись добрее, взрослее своих лет, терпимее. Пятые не хотели заниматься ничем, все время просились домой, как будто дома спасение... Занятный, в общем, был коллектив.

Я часто вспоминал Стенина. Мне его не хватало. Да что там не хватало... Мне обо всем хотелось говорить только с ним. Обо всем, что я думал и переживал. Какой он был человек? Я тогда об этом не задумывался. Уже позднее я стал анализировать. Интересный? Яркий? Мне казалось, что так. А может, я по молодости преувеличивал. В общем-то, он был неудачник, я это позднее понял. Он был способный врач, с будущим, но попал под пресс времени: война, послевоенные годы, хотел заниматься наукой, но не сумел отказаться от административной работы и все думал: потом, потом... А потом он понял, что «потом» не бывает. Но уже поздно было. И ничего изменить он уже был не в силах. К тому же еще он болел. Но если он и был неудачником, то особого рода, из тех, кого неудачи не загоняют в грязь, а, наоборот, делают в чем-то мудрее и выше. Не знаю, какой он был. Мне казалось, что он единственный. Он был незаменим. Боже, как я по нему тосковал!.. Потом эта острая тоска прошла, и осталась лишь память, да голос его, да черты лица, которые не совсем складываются в портрет, а лишь отдельные штрихи его... И лицо это теперь мне уже не вспомнить, не забыть...

Я занимался много. Даже после мучительных, долгих процедур, занимался и ночами. У меня была буквально мания учебы. В 1952 году я закончил школу с медалью.

Потом я уехал из Евпатории. Что я там оставил, что взял с собой? Оставил годы, которые называются школьные. Говорят, они лучшие, даже есть вальс про школьные годы. Помнишь?

Так вот, оставил я позади эти самые лучшие школьные годы. Что еще? Белую палату оставил, старшего друга в крымской земле, товарищей... Товарищи мои бедовые тоже вышли на широкие просторы — «вышли» не совсем, правда, точное слово, — поковыляли они на своих костылях к иным берегам, кто как умел. Это я о своей палате говорю. Очень у нас тяжелые лежали, а из других палат уходили налегке, без костылей. Многие сейчас и не помнят, что болели. Так вот, я уезжал из Евпатории. На вокзале было шумно, курортные люди прощались с теми, кто уже завтра-послезавтра будут не курортными, а обычны-

ми, а я прощался с друзьями, с которыми прожил четыре года вместе. Когда поезд тронулся, я снова вдруг вспомнил, как впервые увидел море, вошел в него и плыл до флажка. Какое оно было податливое и теплое! В первый раз я увидел тогда море. Но если подумать хорошенько, если как следует подумать, то, наверное, и в последний. Зачем же обманывать себя? И когда поезд тронулся, курортники остались позади, замахали платочками, а мои друзья с палками и на костылях застыли на перроне, я подумал с полной ясностью и отчетливостью, что в эти края я уже никогда не приеду, что с морем я прощаюсь навсегда и что монета, которую я бросил в море, уже ничему не поможет. Даже если бы я бросил в волны свою серебряную медаль, завернутую в аттестат зрелости, все равно ничего, ничего, ничего не поможет. Потом началась московская жизнь, подготовка в институт. Я решил идти в университет на филологический. Я должен был поступить во что бы то ни стало. А заниматься было трудно. Не только болезнь мешала. Люди тоже мешали.

#### 4

Я часто думаю сегодня, уже как бы с высоты возраста, о людях, с которыми встречался. Не так уж много людей я знал, но я их всех помню. В жизни у меня не слишком много впечатлений... Что это были за люди? Мне они ведь по-особенному открывались. Моя болезнь их по-особенному освещала. Добрые они или злые, равнодушные или раздражительные? Или вообще никакие?

Были добрые. Вот говорю «добрые», а не знаю, что это значит. Вообще ли они добрые или перед бедой чужой, из сострадания, может быть. Сострадание. Я это слово раньше не любил. Терпеть не мог. Какое-то тепловатое, хлипкое слово. Нас приучали быть твердыми, без сантиментов, без всяких бабьих штучек, мужчинами нас приучали быть. Слезы, боль, ласка — чепуха, это не нужно мужчине. Нужна скупость в выражении чувств, даже слеза у нас особая, скупая. «Скупая мужская слеза». Теперь мне кажется, что появилась скупость в выражении чувств и в восприятии чувств. И некоторые не стали ни мужчинами, ни людьми, способными к состраданию. Оказывается, нельзя без этого самого «сострадания». Я пришел к этому не сразу. Вначале я только ощущал телом своим,

клетками, что та сестра, которая перед тяжелой процедурой что-то мне скажет, ну, например, самое простое: «Ничего, миленький, потерпи малость, это недолго, сейчас только сделаем и отдохнешь», — лучше той сестры, которая скажет: «Давай, Шаталов, быстренько раздевайся, готовься. побыстрей давай, больных у нас много».

Обе делают процедуру профессионально. Обе умело. Но с первой легче. Она меня не только лечит, она меня врачует, она мне сочувствует. Ты скажешь: это профессиональное сочувствие. Ну и пусть профессиональное. Профессия — тоже часть человека, часть души его.

А сколько я встречал профессионального равнодушия, когда тебя лечат по обязанности, пэчти в виде одолжения, и ты раздражаешь своего врача или сестру, и она даже не может, а иногда даже не хочет скрыть это. А больные зависят от них, ничего не могут сами и как бы чувствуют себя виноватыми за свою болезнь, заискивают перед сестрой, чтобы она лишний раз глянула, переменила подушку, подошла, уколола. Многого я нагляделся в этом больничном мире. И пришел к выводу, что сострадание — великая вещь.

Вот люди, которые приходят ко мне, пишут мне поздравительные открытки, делают вид, что я такой же, как и все, и что все будет в порядке, или не делают вид, а просто тянутся ко мне, может, верят в чудо, в мое выздоровление. Вот они. У них есть это самое сострадание. Чужая болезнь их тоже малость точит — одних больше, других меньше. Но немало таких, которые презирают чужую болезнь, они не решаются вслух сказать, а думают: ну зачем он еще живет, зачем он ползает? Так во многих медицинских учреждениях относятся к хроникам, так называемым хроническим больным. Бедные здоровые люди, они не понимают, что весь покой и здоровье их условны, что одно мгновение, одна беда — и все перевернулось, и они сами уже вынуждены ждать помощи и просить о сострадании. Не желаю я им этого.

Вот с такими я жил бок о бок несколько лет. Сейчас вспоминаю об этом как о страшном сне. Это были мои соседи по квартире. Мать, отец, дочки. Вроде бы люди как люди. Работали исправно, семья у них была дружная, своих в обиду не дадут. И вообще все как полагается: ни пьянства, ни измен, здоровый быт, здоровые отношения и любовь к песне. Как придут домой, радио на всю

катушку, слушают музыку, последние известия, обсуждают международные события. Аккуратные до удивления люди. Не любят, не терпят беспорядка. Откуда взял, туда и положи. Вещи места знают. Полы натерты, все блестит, свет в общественных местах погашен. Копейка рубль бережет. А тут я. И у меня костыли. И я не летаю, а тихо хожу. Ковыляю по паркету. А паркет от костылей — того, портится... Тут и начался наш с ними духовный разлад, пропасть и непонимание. Сейчас все это шуточки, а была форменная война, холодная, со вспышками и нападениями. Нужно было иметь железные нервы, чтобы под их враждебными взглядами ковылять в ванную и там нагибать позвоночник, вытирать пол, потому что мокрый пол — это нарушение норм общественного поведения, это атака на самые устои коммунальной жизни.

И начиналось: если вы больные, так и живите отдельно. Что я могу ответить? Я бы рад отдельно, я прошу об этом, да не дают. Больным не место в нашей здоровой жизни. Так решили эти люди и начали против меня осаду, эмбарго и блокаду. И хуже всего им было то, что я не откликался, не лез в баталии, не давая им радости в словесной потасовке. Я научился искусству молчания. Клянусь, мне иногда хотелось взять хороший новенький автомат... Но это так, в кошмарных видениях. Автомат бы я не взял, даже если бы мы с ними оказались на необитаемом острове, в отсутствии народных районных судов. К тому времени я научился уже понимать цену жизни, даже их скверной жизни. И так, я молчал. Я пытался быть выше и от постоянных попыток таким и стал. А потом мне становилось порой так плохо, что все это уже не волновало меня. Меня не волновали их категории, я мыслил другими, и только когда я откатывался от бездны, я вспоминал о своих коммунальных врагах.

Все больше доставлял я им хлопот, все громче стучал своими костылями, все труднее мне становилось вытирать полы, не проливать воду, и все нестерпимее становилась обстановка в этой странной обители, соединившей самых разных, совершенно ненужных друг другу людей. И я в один прекрасный момент понял совершенно отчетливо, что, может быть, самое главное мужество человека в том, чтобы преодолеть вот такую мелкую трясину, выбраться из бытовых гнусностей, не поддаваться соблазну мелочной расплаты, карликовой войны, -копеечного отчаяния.



Потому что мелочи такого рода с огромной силой разъедают множество людей, не выработавших себе иммунитет к этому. И вот эти люди всерьез лезут в дразги, в дурацкую борьбу, опустошаются, тратят нервы, уже не могут остановиться. Когда они постареют, они поймут всю несущественность этой возни, но будет уже очень поздно, уже слишком много сил отдано мышинной возне, так много зла скоплено внутри, так много страстей потрачено, которые могли бы питать что-то важное, которые должны были двигать человека вперед.

Я говорю сейчас об этом не потому, что я мудрый судья, — меня самого в те годы жег мелкий, но жгучий огонь, и я немало обгорел на нем прежде, чем закалился. Закалился для того, чтобы сопротивляться большому и страшному огню, который жег меня с каждым месяцем все нещаднее. Настроение, возникшее перед отъездом из Евпатории, ощущение моря, которое уже не вернется, все чаще охватывало теперь меня. Началось самое катастрофическое в моем положении — потеря надежды.

Все чаще и настойчивее я стал теперь думать с холодным спокойствием, как бы отключив все краны внутри, как бы заглушив биение сердца и мозга: раз так, так нечего больше цепляться за жизнь.

Тогда я еще мог двигаться. Окно было рядом, с высоты шестого этажа был виден город, мостовая и маленькие, быстро бегущие в отдалении от меня люди. Как и все люди, я боялся высоты. И все чаще и чаще я приготавливался к тому, что надо добраться до подоконника, сесть на него и повернуться спиной к окну. Нет, не нужно бросаться вниз лицом, глазами, в асфальт, в удар, который, наверное, равен взрыву и который ощутишь лишь в первую долю мгновения... Так не надо. Надо просто сползти с подоконника спиной к улице, тихо сползти, ничего не видя, не понимая. И я шел к этому окну каждый день. Каждый день по шажку. Все ближе, ближе к окну. К концу. Мать поймала меня на этом. Не на попытке, а на настроении, на готовности к этому... Как она поняла? Помню, что не плакала, а только говорила гневно, с дрожащими белыми губами:

— Что ж ты как предатель... Мы все на тебя молимся, мы каждую минуту спрашиваем, как он, мы этим живем, борьбой за тебя, а ты как дезертир, как предатель.

Матери — они хорошие психологи. Она инстинктом

поняла, чем бить... Она не стала меня упрашивать, не стала говорить: жизнь прекрасна, посмотри вокруг — вот небо, вот птицы, вот друзья. Нет. Она как гвозди в мозги вбивала: предатель, предатель!..

В тот день я решил для себя: на это я никогда не пойду, как бы скверно ни пришлось. Жизнь моя безрадостна? Нет, это ложь. Она мрачна, мучительна, тягостна, но она не лишена радостей. Я мыслю — значит, я существую. Да, мыслю, читаю, думаю, смотрю на людей, слушаю их или просто лежу, полузакрыв глаза, и тысячи сложнейших ощущений и ассоциаций трогают меня. Значит, я живой, значит, у меня есть мой собственный мир, исковерканный, но не лишенный смысла. И значит, я не уйду из него просто так, «по собственному желанию». Он нужен мне, а может быть, и я нужен ему. Ведь я тоже что-то могу. И может быть, в силу положения знаю то, что не знают другие люди... Значит, надо жить.

Ну, а когда мне будет нестерпимо плохо и больно, я могу дать себе минутный выход: я могу подумать об этом. Только подумать. В виде такой психологической провокации. Просто для ощущения того, что вот есть выход. Подумать — и тут же в тишине услышать голос матери: «Что ж ты как предатель...»

## 5

Отворяются двери. Эрнст слышит шаги в коридоре, поднимает глаза. Обычно он узнает своих близких по шагам. Сейчас, разгоряченный разговором со мной, он напряженно смотрит вверх и как бы ловит звук.

— Это я, шеф, — раздается молодой голос, очень похожий тембром на голос самого Эрнста. — Последней лекции не было, вот я и забежал.

Высокий мальчик входит в комнату, улыбается, а глаза озабоченные, напряженные, потому что он не знает, как здесь дела, кто пришел к шефу, не утомляет ли этот человек его, потому что он не знает, проголодался ли шеф, не забыл ли принять лекарства и как вообще он сегодня.

— Значит, сачкуешь, — говорит Эрнст.

— Не сачкую, шеф, все законно. Петров прихворнул — нас отпустили.

Он выходит из комнаты, разогревает еду. Шефу предлагается есть всегда в одно и то же время.

— Почему он называет тебя шеф? — спрашиваю я.

— Не знаю... Так уж повелось. Шеф да шеф. Могучий у него шеф, нечего сказать.

Позднее я как-то спросил об этом у Мишки:

— Почему такая кличка?

Он улыбнулся, помялся, сказал:

— Да как-то так уж привыкли.

Потом мы с ним разговорились, и он сказал мне:

— Понимаете, у нас отца ведь нет, Эрик в семье старший, вроде бы глава семьи. Без него ни мать, ни я ничего не решаем. Когда я в институт поступал, думали, гадали, какой из технических выбрать и, конечно, что шеф скажет. Или, например, какая заваруха у меня на работе — я ведь учусь и работаю — сразу к шефу. Как быть? Или с кем подружился я, например, привожу этого парня домой, с шефом знакомлю.

Да и мать Эрнста мне рассказывала, что Мишка даже интонации старшего брата перенимает...

Представьте себе ситуацию: мальчику семь лет, его брату девятнадцать. Брат болен, на костылях. Мальчик знает, что, кроме игр, беготни, солдатиков, есть еще это: дай Эрнсту, принеси Эрнсту, помоги Эрнсту. Мальчик растет, учится в школе. А старший брат ходит все хуже и хуже, все больше лежит, все чаще глаза у него неподвижные, расширенные болью. В доме всегда запах больницы. Таков фон, на котором растет Мишка. Он постепенно становится нянькой: подмести, принести, взять, убрать. Движения его почти профессиональны, это движения сиделки. Он видит — мать разрывается на части: работа, болезнь Эрнста. Он знает это сизмальства. Ему не надо втолковывать. Он уже это понял, хотя и не без срывов. Как он должен относиться к брату? С жалостью? Да, конечно. Но не совсем так...

Кто объяснит тебе задачу, да так терпеливо и спокойно, как и учительница не объяснит? Брат. Кто соберет тебе первый твой приемник? Брат, Эрик. К кому ты прибежишь, побитый мальчишками, преданный своим лучшим дворовым корешем, не сумевший дать сдачу, отомстить? К брату. И он скажет тебе: «Дурачок, вытри соплю. Главное в нашем деле — не трухать».

И кто еще тебе расскажет весь состав московского «Динамо», когда они ездили в Англию после войны и выиграли две встречи при двух ничьих? И кто еще

разорвет летний список для внеклассного чтения и скажет: «Ненавижу типов, которые читают книги по рекомендательным спискам. Когда они становятся взрослыми, у них даже усы не растут». «Как — не растут, разве это связано?» — растерянно спросит младший брат. «Да, это все взаимосвязано в природе», — ответит старший. И кто будет подкладывать тебе свои взрослые книги, не рекомендованные никем, только старшим братом, Эриком. И когда учеба, работа или что иное покажется тебе вдруг непосильным, невозможным, когда ты почувствуешь себя трусливым, маленьким, слабым, когда ты совершь или кого-нибудь чуть-чуть предашь, о ком ты подумаешь? О великих, которые не были такими? Скорее всего, ты подумаешь о шефе. Почему? Да просто так, хотя он ничего такого особенного не делал. Просто ты вспомнишь, как он сдавал экзамен на филфак, как он лежал и занимался. Как он переписывал свои работы, чтобы послать их педагогам. И как ждал, что педагоги приедут. И как они часто не приезжали. И как он снова ждал, что они приедут. И снова переписывал. И ночью писал что-то для себя. А утром, днем и вечером ему делали уколы и процедуры. И как он ждал друзей, и как умел им прощать, если они не приходили, если забывали... И как он расставался с матерью и с братом, когда его забирали в очередной раз в госпиталь, как дружески, весело прощался, потому что это ненадолго, просто еще немножко поваляется в лазарете и тогда начнет все по-новому: «Главное в нашем деле, Мишка, — не трухать».

И возвращался из госпиталя похудевший, обросший щетиной. И Мишка брил его, а утром на рассвете бежал для него в киоск за «Советским спортом», а вечером играл с ним в шахматы. И почему-то, если Мишка читает книгу или смотрит кино и что-то его задевает, он ловит себя на мысли: а что бы тут шеф сказал? Как бы это ему, шефу?

Миша кормит Эрнста, уносит посуду, уходит в другую комнату. Слышно, как жужжит его электробритва. Потом он появляется, свеженький, вечерний, в белой рубашке, в галстуке.

— Ты что, футбол по телеку не будешь смотреть? — говорит Эрнст.

— А кто сегодня?

— Ты что, забыл? Сегодня Киев с ЦСКА. В Киеве.

— Да, действительно... Жалко.

— Чего жалко! Оставайся дома, поглядим, как наши припухать будут.

— Нет, шеф, сегодня не могу.

— Спецзадание? — говорит Эрнст.

— Может быть. Ну, пока. Я пошел... — Мишка кивает нам, ослепительный, целеустремленный и нездешний. — Мать скоро придет.

Он уходит. В окно я вижу, как он бежит, перепрыгивая через лужи, как по привычке оборачивается, смотрит на свое окно и бежит дальше. Шаг его размахист и нетерпелив.

— Весна, — говорю я.

— А как же, — задумчиво говорит Эрик. — Без этого нельзя.

## 6

На столике рядом с кроватью Эрнста книги, журналы, газеты. Среди пестрых номеров с гимнастками на обложках «Юности», серых канцелярских тетрадок, толстых журналов, среди ликующих «Советских экранов» вижу толстые тома какого-то академического, старого издания. Беру первый том: Бенедикт Спиноза.

— Ну даешь, шеф, — говорю я.

— А что... Дней моих, как говорил Бунин, на земле осталось уже немного, вот и хочу окунуться в реку бессмертия. Не вас же мне, современных факиров на час, читать, вы уходите и приходите, попищете и притихнете, пощекочете нервы на пять минут — и все, а Барух Спиноза остается.

— Так вот ты как заговорил, — в тон ему отвечаю я и чувствую, что во всем его периоде меня резанула не ирония к нашему брату, а цитата из Бунина: «Дней моих на земле...»

— Я раньше делил книги как бы на две группы. Первая: прочесть сейчас, вторая: когда-нибудь. К первой относились периодика, нашумевшие вещи, мои собственные любимые авторы, за которыми я слежу, интересные переводные произведения. А ко второй так называемые истинные ценности, знаешь, то, на что пишешь шаргалку в университете. «Ограниченность позитивного взгляда энциклопедистов состояла в том...» и т. п. и т. д. В чем ограниченность состояла, уже знаю, а почему мы все-таки

их проходим, хотя они и померли бог знает когда, — вот этого толком не знаю. И в голове только остаются прекрасные фамилии — Монтель, Шарль де Монтескье. И еще знаю, проходил, что задолго до них жил да был этот самый великий голландский философ-материалист Бенедикт Спиноза и что его травили. Ну, травили и травили. И все я откладывал это на потом, думал: сейчас не до того. Дела, зачеты, экзамены, хлеб насущный. Отложим на потом. Но с течением времени я понял, что на потом откладывать нельзя; как я уже говорил тебе, «потом» не бывает.

И появилась тяга к тому, чтобы немножко больше разобратся в самом себе, в этом самом странном «я», которое все время неотступно с тобой и за пределы которого так хочется иногда выскочить. И начинаешь ночами думать, думать о всякой чертовне, о себе самом, о друзьях твоих и о том самом, что так просто и понятно называется: смысл жизни. И на помощь своим бедным, уже одичавшим мозгам и своему довольно-таки куцему жизненному опыту призываешь великие умы и иные жизненные опыты. И вдруг хватаешься за башку: да ведь это я ощущал, ведь и со мной было, только я не умел это сформулировать. Как же это так: вон сколько изменилось за эти века, сколько перевернулось в мире! И «Персидские письма» Монтескье при всем своем величии уже во многом стали музейными, устарели, и общественные отношения изменились, а вот открываешь Спинозу и читаешь: «Зная, в чем состоит добро и зло, истина и ложь и в чем заключается счастье совершенного человека, можно уже перейти к исследованию самих себя...» Зная, в чем добро и зло... Но я тоже ведь должен это понять и прийти хоть частично к такому знанию. И тоже что-то должен оставить после себя, чтобы и мой несчастный опыт тоже хоть на капельку кого-нибудь просветил. Насчет опыта, он у меня, конечно, однообразный, но по линии испытаний я могу потягаться с кем хочешь, даже с Уриэлем Акостой.

Когда я пробился сквозь университетский конкурс, многие удивлялись. Смотри какой упрямый! А зачем ему это? Но я-то знал зачем. Я занимался изо всех сил...

Учителя, приезжавшие ко мне принимать зачеты, удивлялись, глядя на меня, бледнели и тут же хватались за ручки, чтобы, не спрашивая, поставить зачет. Не все, конечно, но были такие... Одному я сказал: «Не надо так,

из милосердия. Вы меня спросите сначала, я ведь кое-что знаю. Я же тут месяцами сидел над этим. Так зачем же мне теперь одалживаться?» И он спрашивал. Я отвечал. Потом он говорил всякие слова, и извинялся, и объяснял мне, какой я сильный человек. А «сильный человек» в пятьдесят пятом году снова загредел в ортопедический госпиталь. Там был профессор Каплин. Он мне говорил: «Тебя рано загипсовали, заложили в колодки, лишили движения. Мускулы твои от всего этого за годы стали ватными... И все-таки заставляй себя, лежа, напрягать мускулы ног, будь немножко йогом, Эрик».

И я стал йогом. Утром, вечером напрягаю свои ватные бицепсы... Лежу и напрягаю. И кажется мне, что если делать так год, два, три, я встану и пойду легкой, пружинистой походкой студента, сбежавшего с лекции. В госпитале я познакомился с танцовщиком Большого театра Володей Мешковским, еще с одним парнем Колей — ноги у него были повреждены еще в войну. На нас троих словно бес нашел. Мы читали стихи, орали до хрипоты, спорили, прыгали или пытались прыгать на кроватях, нарушали дисциплину. С этими парнями мне было весело. Коля и сейчас бывает у меня. Его представили к награде за войну... В сумятице войны о нем забыли, обошли, а сейчас вспомнили и наградили. А Володька, который был самый счастливый и общительный человек в госпитале, великий нарушитель, умер. В мемориальный список моих друзей по санаториям и госпиталям, из которых мало кто добрался до тридцати, я вписал еще одного.

Когда я вернулся из госпиталя, мы пересхали в новую квартиру. Вот сюда, около МПС, где работает мать. Кончилась наша мышьяная война. И в том же году я засел за курсовую работу «Иностранная лексика в «Евгении Онегине»... Писал я кое-что и для себя, не знаю, как это назвать — рецензии, впечатления, или как сейчас это модно, эссе... Я еще тогда ковылял немножко и все торчал у окна, особенно весной и летом, изучил весь двор и дома рядом и всех ребят уже знал в лицо, а девчонок и вовсе узнавал по походке. В нашем дворе хорошие были девчонки, как, верно, и в других дворах; и весной, когда земля просыхала, асфальт становился серый, зернистый, они цокали, как лошадки, своими каблучками, а я стоял, слушал. Костыли были под рукой, мускулы ватные, голова вялая, расслабленная по-весеннему, и если я и сто-

ял, то на чем-то очень вязком, как непросохший гипс.

И нету точки опоры.

Теперь я понимаю иногда людей, внезапно пришедших к религии. Это договор с самим собой, особый вид душевного компромисса, приказ самому себе: ослепнуть, не видеть правды, не думать о ней, искать выход не в своих силах и возможностях, а в возможностях кого-то, видящего тебя, который один понимает твою горе и дарит тебе за это «ничто». А какое это «ничто», никто не знает. Высшая радость, гармония, а скорее всего, просто анестезия. Нужна точка опоры, воплощенная в ком-то конкретно, в большем, чем ты и твоё страдание. И к этому добавляется эмоциональная сторона, ты ощущаешь себя растворенным в музыке, в бестелесности, в той среде, куда не доходят мелкие житейские обиды и несправедливость, где твоё одиночество особого рода — оно не убого по-человечески, не жалко. Ты не просто один в своих четырех стенах, наедине с родственниками, от которых ты устал и которые устали от тебя; нет, тут одиночество другое — ты наедине с Собеседником, постоянным, удивительно чутким и все понимающим, тем более все понимающим, что он и есть твоё придуманное и отраженное «я».

У нас почти всегда исследуют религию как данность, как систему мировоззрения, общественно-социальный институт. Но мало подчас исследуют конкретное состояние, приведшее человека к богу. И то, что есть этот бог для него, кого он видит в этом боге, кого он сам себе придумал, но для легкости приобщил к общему, узаконенному богу на иконе.

Но я ведь материалист, и силы реакции во мне самом не могли одолеть сил прогресса. Мне надо было найти точку опоры в чем-то ином, и я представлял себе, в чем она, но не умел ее сформулировать. Я точно знал, что она во мне самом, в каких-то таких моих возможностях, которые больше моих невозможностей, которые сильнее моей немощи, которые могут подняться даже над тем, без чего, в общем-то, скучна и обделена человеческая жизнь, как город без деревьев. Над тем, что стучат каблуки по асфальту и девчонка с моего двора идет на свидание к кому-то. Идет, и не надо ей понимать, какая подспудная сила в каждом ее движении, в улыбке ее, какой мир в ней заключен, независимо от нее самой, хорошая она или



плохая, и как трагичен для меня торопливый стук этих каблуков.

И я ухожу от нее в свое плавание. Я плыву по своим морям, тону в своих глубинах, оседаю на своих мелях. Чего я ищу? Клада на дне. Зачем это все?

Поскрипывая перышком, иногда записываю свои доморощенные мысли, включаю радио, слушаю музыку, думаю и достаю с полки толстую запыленную книгу. И вот что я там читаю: «Поэтому возвращаясь к предыдущему, достоверно, что когда душе представляется нечто другое великолепнее тела, то тело не в силах вызывать такие действия, какие оно вызывает теперь. Отсюда следует не только то, что тело не есть важнейшая причина страстей...» Спиноза...

В 1958 году Эрик совсем перестал ходить.

Ему было тогда 25 лет.

## 7

Приходят знакомые, незнакомые, друзья. Не так уж много. Ему хочется более широкого и более глубокого общения. Конечно, они сочувствуют ему. Но у них, понятно, своя жизнь и свои дела.

Есть люди, которые приходят формально, по поручению, и, видя, что в доме все в порядке, чисто убрано и техническая помощь не нужна, уходят, отметившись. Есть люди, которые приходят по поручению, но не формально, как пришел Вилен, инженер авиазавода. Это он установил коробочку с хлорвиниловым проводом, пульт дистанционного управления. Чтобы Эрнст не зависел ни от кого. Сложно с книгами. Трудно все достать, трудно выписывать все журналы... Многое трудно. Все в семье работают... Мать, брат да и сам Эрнст. Он пишет внутренние рецензии для издательства «Молодая гвардия», занимается литературным редактированием, проводит стилистическую правку диссертаций на медицинские темы и помогает не только изложить мысли ясным и точным языком, но и сформулировать сами эти мысли, расположить в максимальной логической связи. Диссертанты зовут его соавтором, благодарят. В какой-то степени так оно и есть, он тоже немного соавтор. К тому же и медицинские его познания обширны. О своей болезни он, казалось бы, мог написать докторскую.

Но доктором наук ему не быть. Ни медицинских, ни филологических. Университет пришлось бросить. Не знаю... Думаю, что на факультете могли сделать больше, чем было сделано. Преподавателям, конечно, было сложно контролировать знания тяжелобольного, и каждый приезд для консультаций был проблемой, стоил многих усилий, звонков, нервного напряжения. И Эрнст решил не затруднять людей. «Буду проходить свои университеты сам», — решил он.

Ему многое приходилось решать самому.

Приходят сестры и врачи, лечат как умеют, болезнь остается. Приходят преподаватели, принимают зачет, и он снова один, со своими зачтенными знаниями и незачтенными, со своими планами и способностью их осуществлять, один — перед готовностью и возможностью, один — перед книгами и вялой тяжестью во всем существовании, перед волей и безволием, перед ночной тишиной, перед бессонницей и рассветом, когда полагается начинать новый день.

Куда уходят эти дни, где они остаются, в каком океане несвершенного они тонут... Их уже не повторишь, не переиграешь...

Поблескивает в комнате кварцевый аппарат, как камин в зимнем домике в лесу. Лыжи прислонены к стенам этого домика, сохнут ботинки, ноги натружены, ноги отдыхают... Но почему они так онемели; чтобы их ощутить, надо напрячь мускулы, как учил профессор Каплин. Надо напрягать их час, два, три, сколько хватит сил.

Кварцевый аппарат потрескивает, больной сам себе дает дозировку — это очень опытный больной, он знает себя лучше, чем врачи.

Знает себя, поэтому и не слушается тех, кто говорит: покой, легкое чтение, телевизор, ни в коем случае не перегружаться.

Обязательно перегружаться. Нельзя идти с одним лишь грузом — болезни и бессилия. Еще многое могут вместить трюмы этого человека, оказывается, возможности его больше, чем можно было бы предположить.

Мореход сэр Чичестер, небритый, одичавший, пробивается на своем боте через океаны. Зачем этот бот? Ведь есть подводные лодки, атомные корабли, многоэтажные теплоходы. Зачем этот странный маршрут, которым ходили наши давно истлевшие предки, этот вечный маршрут на дет-

ских беспомощных кораблях. Но ведь не корабль испытывает сэр Чичестер и не маршрут он проверяет. Что же он испытывает? Себя!

Человек спускается в барокамере. Сидит один в глубине, в одиночестве, приборы фиксируют: как он там, как его нервишки, сколько он еще потянет, сколько он еще сможет? За ним следят показания датчиков. Эти показания печатают в научном журнале, изучается способность человека перегружать себя. Наконец он выходит из барокамеры, счастливый, победивший и измученный. Теперь можно отдохнуть, прокатиться на байдарке. Можно расслабиться. Сколько он был в этой барокамере? Сколько же он выдержал... Тридцать — сорок суток. Это действительно рекорд.

Барокамеры бывают разные. Одни придумывают ученые, другие судьба... Одним срок — месяц. Другим — вся жизнь. Насколько хватит возможностей человека.

Я вспомнил однажды, что Эрик как-то сказал жестко, грубо: «Знаешь, боюсь скурвиться». Я тогда не понял, как это может... С какой стати, почему?

Теперь понимаю. Боялся не выдержать. Перестать быть человеком, равным другим людям. Боялся, что начнет мучить других, мстить за свою беду, привередничать, мельчить... Он иногда говорил шутя: «Ну позвони, будь человеком». Или: «Ну зайди, будь человеком». И однажды, как приговор о ком-то: «Этот человеком не будет».

Это была формула его мышления.

Как-то он мне сказал:

— Иногда думаю: сколько же мне лет? По паспорту мне тридцать пять. Но сколько же мне на самом деле? А на самом деле мне недавно исполнилось девятьсот лет... Я бесконечно стар, сколько раз я уже умирал и со всем прощался и вновь вылуплялся на свет божий, и сколько я всего передумал в тишине, — ей богу, этого вполне хватает на все девятьсот лет. Пусть мне выдадут справку в загсе, что мне девятьсот лет, и мы с тобой отпразднуем мое девятисотлетие.

— А я думаю, что тебе паспорт еще рано выдавать...

— Это как то есть? — Он помолчал, подумал, потом добавил: — А в чем-то ты прав, как это ни странно. Ты попал в точку, хотя дело не в паспорте. Я и сам иногда думаю, что мое совершеннолетие еще не наступило. Может быть, и вправду мне еще нет восемнадцати. И это

потому, что я не прошел опыта нормальной взрослой жизни, все нормальное оборвалось на отрочестве, а дальше полагалось бы: работа, семья, дети — все то, что формирует зрелого человека. Ну, впрочем, работа у меня была. И ребенок есть — это мой Мишка. Но, несмотря на это, ты прав, многого из вашей жизни я не знаю. Только могу догадываться. От этого иногда очень легко, почти нет груза ошибок, и я как папиросный коробок на волне. Я ловлю себя на множестве детских ощущений, детских обманов, часто задаю себе детские вопросы. Например, кем бы я был, если бы все сложилось не так, если бы я прожил не свои девятьсот плюс восемнадцать, а нормальные тридцать пять. Какой наукой я бы занимался и какая наука сейчас главная для людей? Может быть, скажешь, атомная физика, гори она, как говорится, синим огнем? Или, скажешь, биология, генетика и все такое? Конечно, и это, но все-таки я убежден, что не это главная наука. А главная наука сегодня — хочешь верь, хочешь нет — педагогика. Не удивляйся. Да, да, педагогика! В широком смысле этого слова, наука о том, как превратить человеческое существо в личность, о нравственном воспитании человека. В последнее время я много об этом думаю. Я чувствую иногда, что во мне умирает педагог. Не учитель, а педагог. Это нескромно, но зачем мне сейчас скромность, если я в чем-то уверен всерьез. Возможно, я не стал бы значительным педагогом, но что из этого... Нам не хватает, с одной стороны, огромного педагогического авторитета: Ушинского, Песталоцци, Макаренко, Яноша Корчака, — педагога, который заговорил бы о старых вещах с полным ощущением сегодняшнего дня и сегодняшнего человека. Но, с другой стороны, думаю, что эта нехватка еще острее — не хватает множества, именно великого множества людей с педагогическим чутьем, с интуицией, с блеском, с озорством, с даром лепить из сырого материала личность. Не хватает скульпторов. Помнишь, ты мне рассказывал историю с шапкой...

...В свое время я был на суде, где судили восемнадцатилетнего парня — убийцу. Я рассказал Эрнсту об этом парне. Он убил человека из-за меховой шапки, из-за серой кроличьей шапки. Случилось это зимой. Он был пьян, поссорился и подрался с друзьями и потерял шапку. Он шел по снежному насту вдоль подмосковной железной дороги, шел озлобленный, одинокий, голова у него зябла.

Потом он свернул, пошел к поселку. Навстречу ему по тропинке двигался человек. Они встретились на лыжне, на узенькой тропке в снегу; человек был пожилой, как выяснилось впоследствии, рабочий депо.

— Шапку давай! — еще издали закричал парень и загородил ему путь.

— Какую шапку? — ничего не поняв, спросил рабочий.

— Он еще тут дуру будет ломать! — проорал парень и ударил его в живот сапожным ножом.

Рабочий стал нагибаться, но еще держался на ногах.

— Ты мне шапку, паскудина, отдашь? — вне себя кричал парень и нанес рабочему еще несколько ударов.

Рабочий упал в снег. Последние его слова были такие:

— Ты обознался, парень... Я ж тебе ничего...

Он не договорил. Наверное, он хотел добавить: «не сделал». Он, видно, решил, что парень принял его за своего врага, за человека, с которым у этого парня серьезные счеты. Он умер, так и не поняв, что тот его убил из-за шапки. После приговора я беседовал с этим парнем. Чего я ждал от него? Жестокости? Раскаяния? Патологии? Лицемерия?

Ничего этого я не увидел. Сидел обалдевший от процесса парень. Рассказывал сбивчиво, но довольно подробно. Разговор этот я записал почти дословно.

В середине разговора он вдруг сказал:

— Я, конечно, теперь раскаиваюсь. Я тут неправ был. Нехорошо получилось.

— Значит, ты неправ был, — тихо сказал я. — Значит, все-таки нехорошо...

Потом я спросил:

— А что же именно получилось?

— А вот то самое.

— А что именно «самое»?

Он не понимал, почему я допытываюсь, когда все досконально известно. Чего я вообще от него хочу. А я продолжал спрашивать:

— Так что же все-таки случилось?

— А то, что я его зарезал, — сказал парень. — Видите, как тут вышло: резать я не хотел, я хотел шапку взять, но он что-то придурялся, будто не понимает, что мне нужно, ну я и психанул тут. И вот так все вышло.

— А что же все-таки вышло?

— А вот то, что я его ударил, — недоумеваю, ответил парень.

— А что же с ним стало?

— Ну, вам же известно что. Умер он. Ну из-за этого вся и толковища.

— А что такое умер? — спросил я.

Он улыбнулся, решив, что я его разыгрываю.

— Кто ж не знает, всякому понятно: сыграл в ящичек, богу душу отдал.

— Ну, а ты как после этого будешь?

— Ну, я как! Я думаю, меня помилуют. Я, конечно, исправлюсь... Я больше таких проступков, такого хулиганства не допущу. Я и раньше такого не допускал. За мной ничего подобного не было.

— Не считая кошки. Помнишь, как ты однажды кинул в кошку ножичком?

— Да нет, это лажа. Это мне напраслину клеили. Не было такого за мной. Я кошек и собак уважаю, не как другие... Со мной в первый раз такая нехорошая случайность произошла.

На этом и закончился наш разговор.

Я пересказал его Эрнсту. Его поразило то же, что и меня. Полное непонимание убийства. Непонимание смерти. Непонимание даже того, что ему самому уготовано. Вроде бы нормальный, с восьмиклассным образованием парень, обо всем остальном рассуждавший достаточно примитивно, но более или менее логично, в рамках нормального человеческого сознания, вполне ориентированный в навыках среды и окружающего мира, он не понимал только двух вещей: жизни и смерти. Он и всерьез считал, что совершил проступок, потому что, в общем, не ощущал, что за этим стоит. Не понимал того, что отнята жизнь.

Я помню, что говорил тогда Эрнст. Он говорил, что этот случай — квинтэссенция этической глухоты, нравственной неразвитости, но сколько пацанов и девчат, у которых это есть не в такой катастрофической степени, сколько их топчется в подворотнях, и они прекрасно разбираются в футбольных командах, в приемах самбо, в модах и видели все фильмы с разведчиком в тылу врага, но что чужая жизнь неприкосновенна, многие из них не понимают. Неприкосновенна не с точки зрения закона и наказания, а с точки зрения человеческой, и не исключено,

что некоторые из них однажды могут «психануть» из-за шапки или из-за чего-нибудь еще и схватиться за ножичек.

Значит, на каком-то этапе жизни его детского существования ему не сделали прививку, не объяснили как следует некоторых вещей. То есть ему говорили: не делай так, а делай так, это нехорошо, это плохо. Но это было воспитание по поверхности. Какие-то основные нравственные принципы даже не затрагивались, и тот сырой человеческий материал, который надо было лепить, так и остался неопределенным, бесформенным. А с бесформенным материалом можно делать все, что угодно. Он говорил, что в Евпатории, в больнице, ребята, несмотря на то что они сами физически страдали, были иногда крайне несправедливы и жестоки к другим, более слабым и страдающим, чем они сами. Болезнь делала их не более человеческими, а более мстительными, более нетерпимыми друг к другу. Во многих из них была заложена часто неосознанная и не всегда опасная детская агрессия. Умные учителя понимали это и старались разряжать ее. Они направляли дремлющие, неиспользованные, таящие в себе самые разные возможности силы в позитивное русло. И ребята с годами менялись. Учителя старались поворачивать страдания не против личности, а в пользу нее. Много вышло оттуда отличных, талантливых, душевно тонких ребят. Значит, и с трудным, неполноценным материалом можно работать. И работать всерьез, с любовью, с отдачей...

Он немного помолчал, потом продолжал:

— Только надо понимать психологию подростка и быть иногда на ее уровне. Именно не выше, подходить не с высот взрослости, а быть как бы в одном измерении с ними. Это ведь, кажется, Толстой сказал, что дети — увеличительное стекло зла. Но ведь и добра тоже. Потенция добра и зла у них огромна. Какую развить и как — вот в чем дело. Опыт воспитания очень часто сталкивается с индивидуальным опытом воспитуемого, с тем фоном, на котором формируется его личность. Это поединок. Поединок жизненных обстоятельств, уже возникших привычек и личности педагога, с другой стороны. И я ставлю на педагога! Причем, ты пойми, я тебе ведь рассказывал о Стенине — так вот мне не так уж были важны знания Стенина, его эрудиция. Мне было важно, какой он сам есть, а уж потом то, чему он меня научит. Думаю, что

и Мишке моему мои советы будут побоку, если он перестанет мне верить и понимать меня.

Однажды я прочитал стихи, там были такие строки: «Миром править должны умудренные опытом дети...» Я понимаю, это поэзия, преувеличение, но какая-то правда здесь есть... Конечно, дети с потенцией добра, а не зла. Я как-то задумался, отчего вдруг стал так популярен Сент-Экзюпери. Ведь есть писатели неизмеримо крупнее, большего масштаба, более интеллектуальные. Но они не действуют так на воображение, не влекут так к себе. Почему? Потому что он и есть один из тех: умудренное опытом дитя. Детское есть в таланте, в мышлении: праздничность, благородство, чистота. А почему так популярен у нас, скажем, Паустовский? Ведь есть у нас более сильные мастера, лишённые сентиментальности, мелодраматизма. Но в них не хватает этой детской силы добра.

И заметь: у всех писателей этого рода есть определённые схемы, схемы извечные и оттого, может быть, особенно волнующие. Добро, столкнувшись со злом, обязательно побеждает его, причем добро не просто добро, оно, так сказать, добро воспитующее. Заметь, что у этих художников присутствует элемент дидактики. Но эта дидактика талантливая и очень искренняя. Это дидактика примера, а не поучения. Это та дидактика, которая повела Яноша Корчака на смерть... Но есть другая дидактика, не упрятанная в волшебство, не окрашенная личным примером, серая, лобовая, и она несет гибель той идее, которую защищает. Возникает сила сопротивления дидактике. И эта сила приводит подчас к неожиданным результатам и последствиям...

Он еще помолчал и добавил:

- А теперь прочитай мне стихи.
- Какие?
- Те, которые больше всего любил в детстве.
- Хорошо, попробую вспомнить.

По синим волнам океана,  
Лишь звезды блеснут в небесах,  
Корабль одинокий несется,  
Несется на всех парусах.  
Не гнутся высокие мачты,  
На них флюгера не шумят,  
И молча в открытые люки  
Чугунные пушки глядят.



Я дочитал «Воздушный корабль» до конца. Он слушал, полузакрыв глаза. Я читал и вспоминал тот день, когда впервые услышал эти стихи. Это было двадцать семь лет назад. Отчетливо помню жару и то, что я болел, и эта болезнь, кажется ангина, была странной, противоестественной в такую прекрасную июньскую жару. Окна в комнате были занавешены, но солнце все же пробивалось, и комната, в которой мы с отцом жили, была почти багровой от красных штор и солнца. Отец прочитал мне эти стихи, я чуть не заплакал. Особенно на меня действовало место:

И маршалы зова не слышат:  
Иные погибли в бою,  
Другие ему изменили  
И продали шпагу свою.

Очень жалко было императора. Маленького, заброшенного, всеми покинутого императора. Помню, что отец зачем-то включил радио, и я ворчал на него: зачем нам сейчас радио, когда нам так хорошо? А в черном бумажном рупоре репродуктора уже звучали позывные «Интернационала».

Потом тяжелый голос диктора объявил о выступлении заместителя председателя Совета Народных Комиссаров.

Двадцать семь лет назад это было. Будто бы в другую эпоху, до новой эры.

Двадцать второго июня сорок первого года.

Мне еще не исполнилось шести лет. «Воздушный корабль» замер и остановился.

— А я больше всего любил «Ликует буйный Рим», — сказал Эрнст. — Заметь, что в этом возрасте, лет в шесть-семь, — на первом месте Лермонтов... Я не случайно попросил тебя прочитать эти стихи. Я слушал тебя и вспоминал, как ты мне рассказывал о манере говорить у некоторой части молодежи. Речь шла о специфическом жаргоне, на котором говорят прибалтненские подростки. Строго говоря, это не жаргон, а лишь манера, странная смесь уже исчезающего блатного жаргона с самодеятельными словечками, иногда очень занятыми. Эта речь всегда сопровождается соответствующей мимикой, манерой стоять, ходить, одновременно разболтанно-развязной и огрубленной, сильной и вместе с тем изнеженно-ленивой. Очень часто это игра, неопасная болезнь возраста,

бессознательная потребность в небанальных словах, в оригинальности, бравада, форма самоутверждения, если хотите. Это бесследно проходит с возрастом у одних. У других с этого начинается отход не только от нормального языка, но и вообще от формы нормального общения, уход за ту черту, где чувств принято стыдиться, где единственное чувство правомочное — гнев, ярость, где слово «любовь» вообще не употребляемо, оно откуда-то из оперы, из чепухи, из тех самых стишков, что в школе полагается заучивать, где культ кулака общепризнан, а затем переходит в культ ножа. Естественный мальчишеский интерес к оружию переходит иногда в настоящую потребность. И возникает свой кодекс, особый нравственный кодекс, противопоставленный общечеловеческому. Есть здесь и своя поэзия, вполне заменяющая воздушные замки, — доходчивая, низкопробная и прятная.

Тебе эти стихи отец прочитал, прочитал со страстью, хорошо, и они тебе запали в душу. Кроме того, он тебе рассказывал множество замечательных историй, мне тоже отец читал стихи, а вот этим ребятишкам отцы ведь иногда ничего не читают. Тут не до чтения, тут совершенно другая жизнь. Тут мат слушают, а не стихи, и привыкают к нему, и воспринимают его как нечто естественное, а стихи, наоборот, — как что-то нелепое и чудное. Но вот их прочитали им в школе, велели выучить наизусть. Они учили-учили, так что поэзия испарилась и смысл пропал. Стихов уже нет. Они стали домашним заданием, уроком. А кем стал Лермонтов? Лермонтов стал занудством, мучением, будущей двойкой, усатым типом в учебнике, выразителем бог знает чего, того, что я еще не прошел, не выучил, поэтому не знаю чего. Какое же волшебство в таком Лермонтове? И возникает другое волшебство, неизмеримо более волнующее.

Ты приходишь вечером во двор, закуливаешь, выпиваешь, и хороший человек берет гитару, поет хорошую песню, и ты ее запоминаешь наизусть. А ведь учительница должна была прочитать этот самый «Воздушный корабль» так, чтобы щеки у ребят покраснели от волнения.

Соприкосновение со словом должно быть краткое и обжигающее. Но для этого надо и читать уметь, а значит надо еще немного быть актером, и прежде всего надо быть таким человеком, которого хочется слушать. Если такой

человек говорит хорошо, значит, хорошо. Если он выбрал тебе стихи, то настоящие. Значит, сиди и слушай, потому что этот человек не училка, а педагог, личность. Он твой собеседник. Вот такие стихи ты запомнишь на всю жизнь. И если этот учитель тебе скажет, что тот тип, с которым ты «кантуешься», то есть дружишь, баракло, нехороший человек, ты призадумаешься и не поверишь, конечно, на слово, это и не нужно, но постарайся проверить его точку зрения и посмотришь на этого человека как бы со стороны. Свежими глазами. Его глазами. А потом внезапно ты и сам не заметишь, когда, как у тебя прозревали свои глаза. Человек уже стал смотреть своими глазами. А раз появились свои глаза, значит, человек стал человеком. Вот это и есть, грубо говоря, педагогика, как я ее понимаю. Это, так сказать, конкретная педагогика.

И вот почему я считаю ее самой главной наукой. И поэтому мне жаль, что во мне умирает педагог. Правда, я утешаю себя, что в каждом человеке масса потенциальных возможностей и профессий сидит. Одна выживает, становится главной. Другие умирают.

А иногда все возможности, все профессии умирают. И остается лишь воспоминание, причем не о делах, а о возможностях, которые умерли. Вот так, мне кажется, происходит и со мной. Ведь ты же сам сказал, что мне нет еще восемнадцати и дело моей жизни еще не начато по-настоящему.

Мне снится множество снов, часто кошмарных. Но есть удивительные по своей реальности. Вот вчера я мчался на мотоцикле и помню каждую деталь дороги: сначала это было шоссе, потом я проехал по какому-то маленькому южному городку, потом мы выехали на дорогу, но уже не шоссе, а, кажется, в лесу.

— Кто же это «мы»?

— Ну не стану же я ездить один! Со мной был хороший человек. Его звали Лена. Мы с ней спешили к мысу Фиолент. Слышал про такой?

— Знаю, это около Севастополя.

— Да, так вот, мы подъехали к берегу, а берег там скалистый, прибрежная дорожка очень узка. Она говорит, чтобы я слез с мотоцикла: давай, мол, пройдемся по берегу. Я не согласен, не хочу слезать с мотоцикла, выжимаю скорость, и мы мчим по этой дорожке. Она,

конечно, боится, прямо-таки дрожит от страха, прижимается ко мне, а я иду по самой каменистой кромке. Так мы несколько секунд мчимся с ней между морем и землей, между ее страхом и моим весельем, между падением и взлетом, между тем, что могло быть, но не случится, и подлетаем к мысу Фиолент.

Здесь я останавливаю мотоцикл, мы спускаемся вниз, идем к морю. Потом мы загораем, купаемся, лазаем по горам, пьем холодную воду из источника... Потом уже темнеет, и мы снова садимся на мой мотоцикл и летим по темноте.

— Ты в этого человека, Лену, конечно, влюблен?

— Я — да.

— А она?

— Не знаю... Кажется, нет.

— Но как так может быть?

— Даже очень может быть. Я — да, она — нет. Я ей не нравлюсь, ей нравится скорость, и мотоцикл, и немножко мыс Фиолент. Понятно? Может, слышал такое выражение: безответная любовь. Оно сейчас вышло из употребления. Так вот, у меня была как раз та самая безответная любовь. Еще вопросы есть?

— Нет.

— Переходим к теме нашего урока. Итак, «Воздушный корабль»:

Потом на корабль свой волшебный,  
Главу опустивши на грудь,  
Идет и, махнувши рукою,  
В обратный пускается путь.

8

Время от времени он посылал мне открыточки. Они написаны были очень мелким, точеным почерком, где каждое словечко лепилось к другому, отчетливо, как зернышки икры. Письма были шуточные, одно по-английски. Другое как будто от влюбленной дамы, третье в стихах: не удалось с тобою нам помартовать, удастся ли теперь нам поапрелить. Третье без подписи, нарисован человечек, лежащий на кровати. Последнее шуточное, и тоже в стихах. Вот его текст: «Протяжный привет из заточенья»:

По почам вспоминаю далекие дни.  
Февральская стужа. И мы — одни.  
Помню уж смутно, как в табачном дыму  
Мы сидели с тобою, как черти в раю.  
Нет, по комнате вроде я ходил,  
ты лежал.

Или было наоборот?  
Как давно это было... Как время идет.

Я представлял себе, как он пишет это письмо, отдыхая, шепча еще не написанные слова.

Как время идет.

Время действительно шло быстро. Только у каждого из нас свой счет, и минуты наши не равны...

Вернувшись из долгой поездки, я позвонил ему. Мы разговаривали, наверное, больше часа. Настроение у него было неплохое, как всегда, ни на что не жаловался, только сказал, что вот уже неделю совсем не спит. Прописали снотворное, а оно не помогает. Я сказал, что заеду послезавтра, привезу ему хорошее снотворное, которое должно помочь.

— Я не люблю этих пилюль, от которых потом целый день свинцовая голова и невозможно работать.

— А ты работаешь?

— Стараюсь помаленьку.

— Рецензии?

— Да... И немного для себя.

— Для себя — про себя?

Он смущенно хмыкнул.

— Про других знаю мало. Попробую про себя... Ты же сам втравил меня в это сомнительное дело.

Я действительно говорил ему, что он должен написать книгу-дневник, книгу о себе. Он отмахивался. Но я знал, что он и без моего совета ведет записи, но делает это эпизодически, без системы, и я говорил ему, что надо все это собрать и продолжить.

— Кому это интересно? Медикам как пособие, — слабо улыбаясь, говорил он. — Или, может быть, записки из барокамеры. Да и что я могу сказать...

— То, что не скажет никто другой. Ты-то как раз и можешь сказать.

— Ну, ну, ну...

— Ладно, ты ведь и сам все понимаешь. Если у тебя хватает сил на рецензии, то у тебя должно хватить сил

и на это. И в первую очередь. Это, если хочешь знать, твой долг.

— Скажи еще: исторический долг.

— Этого не скажу. А что человеческий долг — уверен. И кончим на этом. Нечего мне тебя агитировать.

И действительно, мы больше никогда не возвращались к этому. Но я отмечал про себя, что он с ревнивым интересом прочитал книжку Владислава Титова «Всем смертям назло...» Прочитал и сказал, что она ему нравится, что в ней есть замечательные волнующие страницы. Еще он сказал, что завидует Титову, потому что тот может двигаться и работать. И добавил, что в этой книге ему не хватает психологии, рентгена человеческих состояний. Я понял тогда, что он думает о работе, что он, по-видимому, будет работать, если появится хоть малейшая возможность. И вот теперь по телефону он впервые сам заговорил об этом. И еще он добавил:

— Ночами у меня бессонница. Лежишь в этой жуткой тишине, читать нет сил, лезут всякие ненужные мысли, в том числе и о том, что исчезновение человека из этого мира иногда бесследно. Человек уносит с собой все, о чем думал, к чему стремился, от чего страдал, что преодолевал с такими усилиями. Совершенно бесследно — будто ты и не составлял для себя и близких целого мира. Вот был такой мир, в нем что-то бушевало, горело, а на поверку оказывается, что он ничто, бесследен, бестелесен... Счастливые те, у кого есть дети.

Он помолчал.

Были слышны в трубке какие-то дальние, на втором плане, гудочки и шорохи.

— Вот так, брат, — сказал мой Эрик. — Так когда ты заедешь и привезешь свои пилюли?

— Если хочешь — сегодня.

— Лучше в пятницу. Сегодня я малость не в форме... А в пятницу утром ты мне позвони и приезжай... На футбол ходишь?

— Редко.

— Твое «Динамо» что-то не того. Я их по телевизору видел.

— Да, не идет у них в этом сезоне.

— Значит, до пятницы?

— Да, до пятницы...

Голос его то тонул в этих шорохах и гудках, и

я мучительно прислушивался к нему, то снова как бы выныривал со дна.

До пятницы были какие-то дела, и наш разговор я не вспоминал, только подумал, что ему все-таки трудно писать, невероятно трудно физически. Если бы у него был магнитофон, он мог бы наговаривать свои мысли, а потом все это можно было бы расшифровать и напечатать.

С кем можно было бы поговорить насчет магнитофона?

Как ему не хватает общения, разнообразных и интересных людей! Надо как-то привлечь к нему внимание... Может быть, я все-таки напишу о нем...

В пятницу утром я позвонил. Трубку снял почему-то не Эрик, а Миша.

— Здравствуй, Миша, я сегодня собираюсь к шефу. Как он себя чувствует?

Миша не ответил. И снова я услышал этот шорох, это верещание песчинок, и сама пауза, и это расслабленное, раздавленное «аллэ» уже несли что-то мною неосознанное, но уже приближающееся и бесповоротное.

— Что ты молчишь, Мишка?

— Он... Он...

— Когда? — спрашиваю я.

— Сегодня, в шесть утра... Никак не мог уснуть. Потом заснул и не проснулся.

...И вот снова этот серый пепельный двор крематория, конвейер автобусов, цветов, слез. Я-то уже знаю дорогу сюда и здешний порядок. Я уже провозжал этим маршрутом родных, друзей, а Мишка никогда.

Поэтому он так потерянно стоит в мерцающем по-церковному зале, стоит, опираясь на колонну, и орган обрушивается на него, как обрушивается на человека море в первый раз — сшибает с ног, забивает ноздри и рот и тащит в глубину. В непонятную людям глубину, в бездну уплывает лодка с человеком.

А на улице за воротами — солнечный свет и дождь.

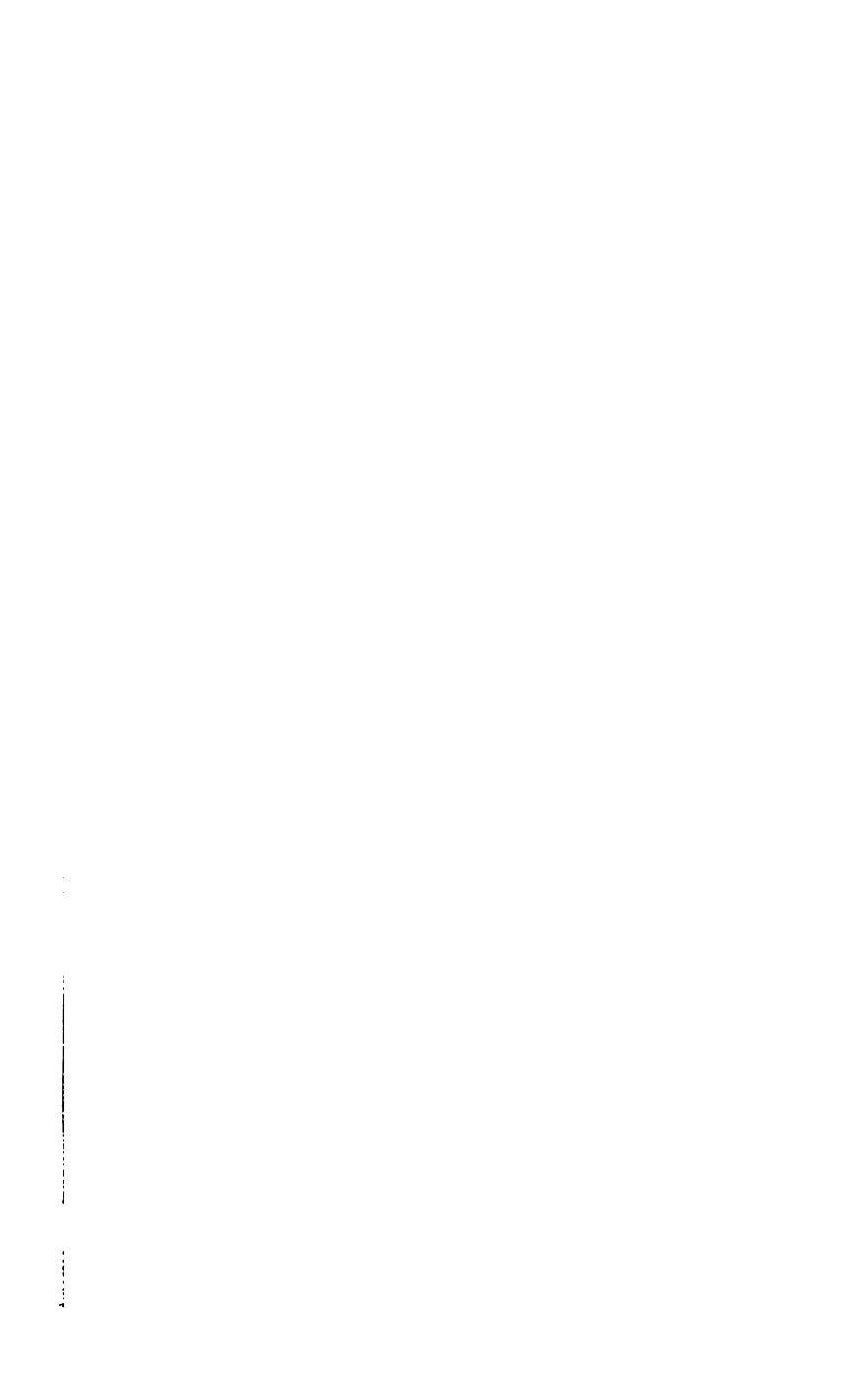
Дождь идет весь июль и шел всю ночь в четверг, когда наш Эрик силился и не мог заснуть. Последнее, что он видел в своей жизни, — это был рассвет, некрепкое зыбкое солнце и бурный, не иссякающий ни на секунду летний дождь.

Нескучный  
Сад

---

РОМАН





Он вошел в школу мимо нянечки, дремавшей на стуле, прошел мимо раздевалки, и, неожиданно оглянувшись в тенистом узком пространстве, где стояли вешалки, кренившиеся под тяжестью одежд, как деревья под напором плодов, в этом узеньком тенистом пространстве увидел он мальчика лет десяти, который перебирался от одной вешалки к другой, наклоняясь всем туловищем. Казалось, еще мгновение — и мальчик будет ползти по-пластунски. Его лицо отрешенно белело в сумраке... Мальчик пригibasя, прятался в лесу вешалок, выпархивал на свет и снова тонул во тьме.

Он смотрел на все передвижения мальчика с возрастающим интересом.

Тот понял, что его увидели, вздрогнул, плечи его поднялись, он вытянулся как бы даже с вызовом.

Нянечка поймала удивленный взгляд взрослого и, мгновенно проснувшись, тут же пошла вперед, как бы по невидимой прямой, прочерченной его взглядом, еще не зная, зачем и куда, но уже догадавшись: «б е з о б р а з и е».

И нашла мальчика, стоявшего между вешалок и прижавшегося к пальто, к своему или чужому.

— Ну-ка, ну-ка, ну-ка, что у нас за дела такие?.. Вылезайте-ка, пожалуйста, на свет. Вот так.

Мальчик вышел.

— И руки покажи. Что в руках-то?

Мальчик послушно протянул руки, повертел пальцами, будто на приеме у врача. Ладони были маленькие, сморщенные, с подтеками чернил, пальцы с обломанными ногтями, и так же, будто на приеме у врача, руки дрожали.

— А карманы чем набил?

Он послушно вывернул карманы, в которых была обертка от жвачки, надкусанное яблоко с запыленной, посеревшей уже мякотью и длинная железная трубочка для стрельбы.

— Ты чегой-то там делаешь? И чего тебе в раздевалке надо? Что это за цели такие?

Мальчик молчал и покорно смотрел на нянечку.

— У людей урок, сидят, занимаются, а этот лучше всех! Где очутился? Чего молчишь-то? Сейчас к завучу отведу, расскажешь, чем тут занимался.

— Я сам с ним подымусь.

— А вы откуда будете?

— Инспектор,— сказал он, взял мальчика за руку и стал подниматься по лестнице.

— Ты в каком классе? — спросил он.

— В четвертом «Б»,— охотно ответил мальчик.

— А Игоря Ковалевского знаешь из восьмого «Б»?

— Нет, я оттуда только Дроздова, вожатого, знаю.

— А зачем ты... в раздевалку?

— А просто так. Я ничего такого и не делал.

— А кто говорит, что ты делал?

Мальчик искоса, как бы с легким сомнением, посмотрел на него:

— Просто я отпросился в туалет... У нас сейчас контрольная, а я задачку не могу решить... Все пишут чего-то, а я и не знаю, чего писать. Ну, отпросился, а сам в туалет не пошел, погулял по коридору и пошел сюда. А чего думать, когда все равно задачку не решу?

— А зачем в раздевалке прятался?

— А я не прятался... Просто я отстреливался. А они будто были со всех сторон. Ну, вот я и сидел... А потом чего-то еще, сейчас не помню. Вроде меня ранило и я раненый сижу, но ранен-то я ранен и отстреливаюсь, но время от времени вдруг как вспомню — контрольная и сколько до конца урока осталось. И еще не знал, пойду или не пойду. А тут как раз она.

Сзади раздался голос нянечки, она неожиданно догнала их:

— Конечно, дети... Я ничего не говорю. Детям все можно... но и какие тут случаи бывают. Целый день сидишь, глаз да глаз... Конечно, я не спорю, дети — они есть дети, это понимать надо, но случаи бывают. А с кого спрашивают?.. С меня. Уже тридцать лет в школе и все здесь знаю, как есть, как было. У всех все есть, а случаи бывают, и только лишь от баловства. Вот попробуйте здесь денек посидеть. И смех и горе. Воспитание... Ладно, пусть в класс идет... Считаю, так: ничего не было.

— А ничего и не было,— сказал мальчик.

Ему хотелось порасспросить мальчика, узнать, кто его

родители, но ведь не для этого пришел... тут дай бог со своим разобраться.

— Возвращайся лучше в класс,— сказал он.

— А если не пустят? — с надеждой спросил мальчик.

— Пустят, не волнуйся. И еще одно. Как кончится урок, зайди в восьмой «Б», оклики Ковалевского, скажи, отец пришел. Я здесь буду.

Он стоял теперь в коридоре, рассматривая висящие на голубовато-серой стене портреты, плакаты, диаграммы. Все было так же, как и в его времена, и тот же был неистребимый запах свежeweымытых полов, хлорки, масляной краски (где-то что-то облупилось и недавно на-свежо подкрашивали), какой-то трудно уловимый и вместе с тем совершенно определенный запах, сразу отбрасывающий на двадцать пять лет назад, в 310-ю мужскую, в которой незадолго до его самого первого урока размещался госпиталь. Его перевели тогда в другое место, а помещение снова переоборудовали в школу.

Он и не ловил этот запах, и не настраивал себя на мгновенный бросок отсюда туда, от себя сегодняшнего к тому, нет, другие были у него заботы, но тишина и приглушенные голоса за дверьми и детский кашель, нарочито громкий, и размеренный, четкий и вдруг неожиданно взрывающийся учительский голос, и такой то-ропливый и беспомощный стук мелка, и другой стук, спокойный и назидательный, и вдруг открывшаяся дверь — кому-то не вмоготу стало, и выпорхнувшая фигура в сером кительке, и даже этот сразу реально ощутимый на губах хлористо-родниковый вкус воды, которую этот мальчик пьет в туалете, хлористый родник в пустыне, глоток свободы — все это возвращало туда механически, без всякой подготовительной настройки.

Он постоял еще в этой тишине, видя себя юношей (это слово всегда казалось ему казенным) с деловым, просветленным и одновременно чуть скорбным лицом — такое у него всегда было, когда делал уроки или еще что-нибудь н е о б х о д и м о е,— походил по коридору, выглядывая во двор, где двое верзил носились по серому квадрату спортплощадки.

Звонок прозвучал, как всегда, неожиданно и был длинным и разнообразным по тембру — то высоким, фальцетным, то трубным, то вдруг заржавелым, прерывистым, то

все тянул фистулой, и уже накладывался на него шум, топот, общее движение, великая энергия масс, мгновенное отключение от кладезя знаний, от «учения — свет, неучение — тьма» к бешеной десятиминутной анархии.

Вылетали и выходили, выплывали и выскальзывали, фигурно катились по паркету и вышагивали, как часовые, вприпрыжку или с нарочитой степенностью, с достоинством и не торопясь, а некоторые так просто катапультировались — надо было увернуться, чтобы летящее по закону физики живое тело не погрузилось в бездыханное, твое.

Это были очень насыщенные минуты — минуты перемены.

И, как бы в мгновенном разрежении и пустоте, увидел он с в о е г о...

Он не летел, не прыгал, не плыл, не висел в воздухе, как другие, не свистел и не пел. Он медленно и несколько понуро шел по коридору.

В серой обвисшей курточке, бывшей ему не по росту, медленно шел навстречу, и лицо с размазанной пастой на лбу казалось серым, озабоченным и усталым, будто он не спал ночь. И враз потянуло броситься, обнять, взять на руки, унести из этого гвалта, но он мгновенно переборол свое желание.

Это было то, что он сам называл «наседкино чувство» и чего немного стыдился, так как ему казалось, что необходимо совершенно другое: мужское спокойное покровительство, а не это тревожное, нервное, постоянно-защитительное.

Молча он стоял у окна и смотрел на сына. К мальчику подошел другой, на голову выше, с девичьим румяным личиком, в тоненьких очках, бедрастый (таких нарекают сразу автоматически «жиртрестами», «мясокомбинатами», «главосиссками» и т. д.). Маленький почему-то по-отечески приобнял «жиртрестину», и вся его как бы озабоченная фигурка распрямилась. Лица обоих светились взаимной симпатией, пониманием, общностью некой тайны или, по крайней мере, секрета. И тут в разгар разговора мальчик его увидел. Секунду мальчик как бы колебался, сохранить ли степенность, но не смог сохранить, а, как когда-то раньше, побежал ему навстречу с удивленным и радостным лицом и уткнулся головой в грудь... Все-таки давно они не виделись... Так еще не

было, если, конечно, не считать командировок. От головы сына было тепло и спокойно, как дома, и он положил руку на эту небольшую теплую голову и тихо спросил:

— Ну, как ты? Как ты... тут?

— Я хорошо, нормально. А ты как?

Так они начали разговаривать в общем движении и шуме, пока еще ни о чем, и все равно было хорошо, но разговор так и не успел начаться, потому что появилась Евгения Борисовна.

— Это очень хорошо, что вы пришли, я вас, собственно говоря, давно жду, именно вас... Да, нам есть о чем поговорить. Положение... ну, как бы вам сказать... не хочу вас пугать, да и нет повода, но, в общем, довольно серьезно... Именно с вами, с отцом, хотелось поговорить. Наблюдаю неблагополучие, особенно в последнее время... Ты иди, Игорь, иди. Пока не поздно, нам надо выправлять положение.— Голос ее то тонул, то возникал в гвалте.— Полное отсутствие на уроках... Расхлябанность, неинтерес ко всему... лень в соединении с упрямством.

Уже ничего не было слышно: звонок треснул и начал свою фиоритуру, столь знакомый его голос переходил то в треск, то в трель, прерывался, казалось, совсем затихал и снова звучал; движению этого звука не было конца, и коридор пустел, затихал, закрывались двери классов, звонок оборвался, и вновь возник ее убеждающий голос:

— Давайте будем думать вместе. Нам надо активизировать его, внушить интерес к работе... Это же наше общее дело.

Оба они как-то незаметно очутились в полупустой учительской с большим столом, устланным зеленой шерстяной скатертью; длинные узкие графики висели на стенах, расписание уроков, а также стенгазета с шаржами и портретами. И он испытал вдруг нечто подобное страху. Сжалось вдруг внизу живота, как на экзамене, когда берешь билет, некий старый, полузабытый страх, а точнее сказать — воспоминание о страхе, о множестве страхов... Одиночество письменного экзамена, тема, вдруг потерявшая свой смысл и содержание, или другое — учительский глаз, ползущий по журналу, и ты уже знаешь: тебя, и действительно, твоя фамилия звучит, и это даже не фамилия человека, а какой-то абстрактный знак, знак поражения.

И еще один страх, соединенный со словом «вызов»:

вызов к директору, к завучу, вызов родителей и самый значительный и леденящий вызов — родителей в роно. Не со всеми такое случалось, но случалось все-таки...

Да, рядом с другими прекрасными воспоминаниями, чего уж тут таить, жило и воспоминание о страхе.

И запах был тот же суконный, чуть пыльный, канцелярский и вместе с тем очень живой: тут сидели, курили, пудрились, кто-то даже чистил апельсин, тут были две соединенные друг с другом комнаты, люди сидели все по отдельности, и каждый был занят своим делом.

— Садитесь, садитесь, пожалуйста, у меня сейчас урока нет, да и вы, надеюсь, не спешите. Раз уж выбрались, так надо поговорить, не так ли?

— Да, конечно, я для того и пришел... безусловно, — говорил он и вспоминал ее отчество и почему-то не мог вспомнить, то ли Евгения Борисовна, то ли Евгения Михайловна; вот имя своей классной помнил наверняка и навсегда, да и было оно не чета этому: Ия Николаевна.

— Не могу назвать мальчика неспособным. Нет, не хуже других. Но усердием, прилежанием, а главное, волей похвалиться не можем. Рассеян, неорганизован, в общем, не умеет нацелить себя на урок... Сидит, думает, а о чем думает — неизвестно. Скажешь: «Ковалевский, повтори условие задачи», а он будто проснулся.

Голос был рассудителен, спокоен и энергичен, но, когда она произнесла фамилию, он вздрогнул — это было как тогда — и напрягся весь, вспоминая условие задачи, и мысленно встал, видя белый подбородок Ии, далекий стол и черную, в бледных, пыльных волнах доску.

— И не в том беда, что думает о своем. Другие тоже отвлекаются, а некоторые даже хулиганят, стреляют из трубочек, это у них сейчас очень распространено. А он никому не мешает. Но отсутствует... Отсутствует. — Она посмотрела на него, и он кивнул. — Вот что беспокоит сейчас больше всего: отсутствие.

На диванчике в углу учительской сидела в неудобной позе молоденькая учительница. В то время, когда он приходил сюда в школу часто, он встречал ее и запомнил и даже как-то поговорил. Помнится, она в этом классе вела английский язык. Она казалась почти девочкой, только окончила институт, но тоже была рассудительная и уверенная и всегда чем-то обеспокоенная, как и эта, но

только по-другому. Он видел сейчас каштановую челку, закрывавшую глаз, голова была склонена, она была вся поглощена книгой, но почему-то ему показалось, что глаз в золотистом просвете волос блеснул живо, любопытно, и тотчас повернулся к ней, но она скромненько сидела, будто даже не догадываясь об их присутствии, склонившись над толстой книгой, уютно лежавшей на детских худеньких, аккуратно вылепленных коленках.

— А вчера и позавчера его вообще не было школе. Я думала, что нездоров, хотела позвонить домой, но оказалось, он вполне здоров и его видели в месте, ничего общего не имеющем со школой... Я не стала звонить матери, зная ее... как бы сказать... нервную реакцию на все. Я решила, что вы мне лучше поможете. Два дня не присутствовал на занятиях. Кроме дисциплинарной стороны дела, это пропуск трудного материала, который мы сейчас проходим, объяснение в классе очень трудно потом восполнить, но это лишь одна сторона. Но есть и другая, моральная. Самому освободить себя от уроков, от школьного распорядка — знаете, как это называется?

Он задумался, вспоминая...

— Прогул, — четко сказала она.

В этом слове немало было смысла, и он ощутил вдруг пустоту и свободу утренних Чистых прудов, тех, конечно, еще без башни рыбного ресторана над прудом...

— Да, прогул, — подтвердила она спокойно и как бы со скрытой скорбью.

А худенькие коленки под толстой книгой вдруг вздрогнули, точно их жестко и металлически задело это слово «прогул».

— Причем первый в нашем классе в этом году. Первый, так сказать, откровенный прогул. И знаете, что он мне сказал?

— Да, что сказал? — спросил он. — Как он сам это поведение объяснил?

Она задумалась, голубые чуть водянистые глаза потемнели, и, посмотрев на нее внимательно, он понял, что она тоже молода, сравнительно молода, лет двадцати восьми, не более, просто озабоченность, а может, некое постоянное напряжение ее старили.

— Сначала он молчал, потом твердил, что голова болела, а потом заявил прямо-таки дерзко: «Просто так».



Он отвел глаза от ее лица и, не зная, как вообще закончить разговор, сказал:

— Ну что ж, придется разобраться.

— Да, уж я вас очень прошу, — другим, более мягким тоном сказала учительница. — Знаете, именно надо разобраться как следует.

Тут и прозвенел звонок, и все вновь зашевелилось и ожило. Полутемная, как бы безлюдная учительская мгновенно наполнилась людьми. Стопки тетрадей, журналов быстро сделали просторный зеленый стол тесным, почти маленьким. И, простившись с учительницей, он вышел из комнаты. А рядом уже неслись, как шарики ртути, старшие и младшие, отличники и двоечники, явные и скрытые прогульщики. Он шел вниз и вдруг увидел, что впереди быстро, цокая по каменной лестнице со светлой широкой полоской от ковра, снятого для уборки, шла худенькая и высокая учительница английского языка. Ему страшно почему-то захотелось ее догнать, и, очевидно, поняв это или нечаянно, она замедлила ход, и теперь они шли в потоке беспорядочно прыгающих по ступенькам школьников.

— А вы не расстраивайтесь. Все будет в порядке...

— Ну, а прогул?

— Ну... прогул. — По лицу ее проскользнула некая тень, розовая и светлая тень воспоминания. — Прогул, подумаешь... Нет, конечно, классная права, — поправилась она, — но не думаю, чтоб все было плохо. Только вот что меня беспокоит...

— Что же вас беспокоит?

Она внимательно и, как показалось, испытующе посмотрела на него:

— Что-то он очень притих в последнее время. Скучный какой-то, точно чем-то подавлен. Ведь по натуре он очень живой, контактный. — И, смутившись, она вдруг добавила скороговоркой: — А вообще я люблю вашего мальчика... Нет, поймите правильно, я их всех люблю, но с ним мне всегда легко. В нем всегда ощущается...

— Что же? Что же? — спросил он, и чувство затаенной, прибитой обстоятельствами, но вполне правомерной родительской гордости начало подниматься и распрямляться в нем.

— Постоянная внутренняя работа... Он, чувствуется, думает все время. Уж не знаю, о чем он думает. Да

и невозможно знать... В общем, нормальный, вполне хороший мальчик.

Этого было маловато по той шкале, которую он мысленно вычертил, вдохновленный ее первыми словами, концовка показалась ему скромной, но в целом не вызвала возражения, и он сказал как бы растроганно:

— Ну, спасибо, поддержали, так сказать, в трудную минуту.

Внизу у раздевалки шла привычная кутерьма. Выскакивали полузастегнутые, будто, если на секунду задержаться, их оставят здесь надолго, может, даже навсегда замуруют. Впрочем, справедливости ради отметим и тех, кто одевался степенно и спокойно. Главным образом самые младшие или, наоборот, самые большие. Десятиклассники были так взрослые, раскованные, великолепные, что он робел, и казалось, что они знают о жизни больше, чем он сам.

Игорь появился с опозданием, шел не торопясь, чуть враскачку. На озабоченном лице блуждала деланная полуулыбка... Так бывало всегда, когда он ожидал чего-то.

— Пойдем? — спросил отец. — У тебя никаких классных собраний?

— Нет, — ответил мальчик.

Они шли по проспекту, шли не домой, не в сторону дома, а от него, вот что было странно и ново.

— Ну, как же дела? — спросил он мальчика.

— Нормально, — сказал тот.

— Ничего себе нормально, когда меня в школу вызывают.

— А они всегда вызывают.

— Ну, почему же всегда? Не надо преувеличивать.

— А у них работа такая.

— Нет, не согласен. У них работа — учить. А вызывают только в самых из ряда вон выходящих случаях. Понимаешь?

Мальчик не ответил. Они шли теперь по парку, мимо огромного носорога, и он вспомнил, как однажды они пришли сюда с сыном, несколько лет назад, и мальчик стал ползти и карабкаться к вершине, широкой бронзовой спине, карабкался, радуясь собственной смелости, и тем не менее все время оглядывался на отца — боялся. Сначала добрался до рога и там застыл на некоторое время,

боясь спуститься вниз и не решаясь продолжить путь наверх, и самому было страшно, что мальчик лез, и вместе с тем ему хотелось, чтобы он преодолел страх, и молча, глазами, он показывал мальчику: давай, давай вперед.

Но тут выскочила какая-то девчонка-дружинница и стала на него кричать:

«Снимите немедленно своего мальчика!»

Он, может быть, и послушался бы, если б это говорилось другим тоном, но голос девчонки, визгливый и истерично-повелительный, был так неприятен, что он не шелохнулся, а мальчик видел все это сверху, и лицо его болезненно кривилось — дети не любят, когда на их отцов кричат. И быстро и легко, как муравей, полез вверх и вскоре оказался на взгребке огромной бронзовой спины.

«Молодец, Игорь! — сказал он сыну. — Теперь осторожно вниз».

Другие дети лазали здесь ежедневно, носорог был ими обжит, как стоящая рядом беседка, сооруженная в честь восьмисотлетия Москвы, а Игорь впервые рискнул. И вот так они смотрели друг на друга. Ему хотелось, чтобы сын лез сам, без его помощи, и он глазами показывал надежный и кратчайший путь, и мальчик стал спускаться неуверенно, боязливо, но все же по-звериному цепко, а голос дружинницы все звенел рядом, но уже не был слышен.

Почему-то вдруг вспомнилось это.

Они часто бывали в этом парке именно вдвоем и знали здесь все — от полузабытых, заброшенных каруселей до шашлычной на взгорке, к которой вечером было не пробиться, а сейчас там сидело несколько посетителей в одном углу, а в другом белела стайка оживленно о чем-то беседующих официанток.

Парк существовал в его сознании еще с довоенных времен. «Пойти в парк Горького»... Выходной отца и парк где-то далеко от дома, почти как другой город.

«Парк Горького».

Потом парк исчез из жизни на четыре года, и осталось только сочетание этих слов в медном грохоте оркестров под деревянными раковинами.

Как только он вернулся из эвакуации, весной сорок

четвертого года, отец повел его в парк Горького. Они жили тогда в квартире, стекла окон и рамы которой были выбиты воздушной волной после немецкой бомбежки. С пятого этажа виднелся двор с огромным ржавым холмом. Бесформенное месиво, железные балки, на которых, как на адских шампурах, чудом держались обгоревшие куски плит, а рядом — мелкий битый кирпич, повисшие над землей оборванные лестницы и страшные какие-то куски ткани, одежды, что ли, или одеял.

«Прямое попадание», — сказал отец.

До войны это был нарядный, почти кукольный дом латвийского постпредства. Окна выходили в их двор, и Сергей видел, как гуляли по ярко-зеленому, аккуратно стриженному газону две беленькие близняшки в клетчатых юбках, как они чинно вышагивали в сопровождении высокой очкастой старухи, две удивительные девочки, как бы с первой страницы нерусского букваря; было интересно, когда вдруг они убегали от старухи, начинали носиться, прыгать и, казалось, верещать, точно две пчелки.

Отец хромал после ранения. Они шли медленно по внезапно остановившемуся эскалатору, а когда вышли из метро, мальчику вдруг открылся Крымский мост и поразил его, и надолго запомнилось это ощущение гигантского, сверкающего на солнце моста, похожего на арфу с железными натянутыми струнами, лебедино и мощно выгнутого над студеной, в темных скорлупах льда водой. Мост этот возник из полузабытой младенческой довоенной жизни, где они втроем — он, отец и мать — гуляли по парку и внезапно наткнулись на серый полотняный шатер. Кто-то громко, зазывно кричал:

«Граждане, граждане, поторопитесь, сегодня последний день, рекордный номер — мотогонки по вертикальной стене!» И странная пугающая закопченность вертикальной стены, натужное гудение бешено кашляющего и как бы на последнем усилии взбирающегося мотоцикла, белое лицо под красным шлемом, и другой мотоцикл, вслед за ним, — с девушкой в серебряном скафандре, удивительная краткость этих мгновений, рев, рык, рывок вверх, затем вниз и снова вверх, а потом вниз, и тишина — и все. И надо уходить от краткого волшебства в потемневший, похолодевший парк с зажигающимися ромбиками довоенного неона. И пока ты ешь мороженое в павильончике,

и когда, уже сонный, идешь домой, все вспоминаешь этот нарастающий грохот и неожиданную тишину. И вспоминаешь парк в целом и ту его часть, по которой гуляли, с дневным кино, чебуреками, мороженым, с шахматными досками на улице, с гигантской цифрой «1941», выложенной желтыми цветами на зеленой клумбе, и гигантский портрет Сталина и Ворошилова на фанерном щите, в длинных, до пят, шинелях, идущих под руку по двору Кремля. Но еще помнишь, что начинается за Зеленым театром эта парковая чащоба с ее гротами и холмами, со множеством павильончиков, сильно источающих бараний шашлычный запах.

Туда детей почему-то не любят водить. Там парни и девушки сидят не на скамейках, а просто на земле в обнимку, сидят так часами неподвижно на траве, заброшенной картонными стаканчиками и смятыми листами газет.

И почему-то он вспомнил свою мать, как она тогда выглядела и в чем была одета.

Но когда весной 44-го года они шли туда с отцом, парк буквально потряс его тем, что почти не изменился. Только людей в нем маловато, нет театра шапито и шатра с мотогонками, но зато уже продают мороженое, брикет стоит двадцать четыре рубля, мороженщица разрубает его на три части, и отец покупает ему треть за восемь рублей. Это первое мороженое после эвакуации. А у каменной решетки парка стоят гигантские танки, зеленоватые, с желтыми крестами, с тупыми подковами кабин, с пупырчатой, ящерного вида, чуть потертой броней, иногда с вмятинами — это немецкие трофейные танки. Они стоят, как звери в зоопарке, и так и видятся сквозь решетки ограды — обезвреженные незнакомые звери как бы доисторических времен, с огромными хоботами и маленькими головками, вызывающие опасливую брезгливость и острое любопытство. Запомнился человек в ватнике, который обстоятельно рассказывал, как осколок танкового снаряда его контузил под Наро-Фоминском. Ему было приказано атаковать танки, и он бежал с бутылкой с зажигательной смесью; его бросило наземь взрывной волной, а бутылка разбилась рядом с ним и не разорвалась. Рассказывал он, все время посмеиваясь, но слушать его было как-то страшно и боязно, и, хотя он рассказывал все по порядку, казалось, что в мыслях его какой-то разрыв, преодолеть

этот разрыв он не в силах. Рядом сидели инвалиды в гимнастерках, пили пиво и детально обсуждали технические данные этих танков.

Война уже отступила, она была далеко отсюда, уже кончалась, и потому казалось, что никто уже погибнуть не должен, что все вражеские танки такие же бездействующие, музейные, как эти. И было ясно, что победа не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. И поэтому все должны вернуться назад живыми...

— Скажи, а где ты был вчера утром? — спросил он у мальчика.

— Как — где? В школе.

— Зачем ты строишь из себя дурачка? Ведь ты же понимаешь, раз меня вызвали в школу, значит, сказали.

Мальчик не ответил ничего.

— У нас же с тобой так заведено: все как есть... даже если...

— Было.

— Ну и что?

— А ничего. Мало ли что было. — Мальчик замолчал, шел распрямясь, глядя вперед, выправка была нарочито строевая.

— Ну, хочешь, пойдем в кино? — сказал он и взял мальчика за руку.

Мальчик не отнимал руку, но чуть прижал ее к бедру, и отец физически чувствовал деревянное отчуждение худенькой, опущенной вдоль тела руки.

— Давай сходим в кино, а потом поговорим. Ты мне все расскажешь, что, как и почему.

— А чего рассказывать?

— Ну, знаешь, — уже начиная раздражаться, сказал отец, — ты эти штучки брось!

— А чего бросать?

— Ты два дня не был в школе. Ты знаешь, кто ты?

— Откуда же?

— Так вот, ты — прогульщик. Так только дезертиры поступают... Тебя выгонят отсюда и не примут ни в одну школу. Придется устраивать тебя в интернат.

— Пожалуйста. Мне как раз эта школа надоела.

— Игорь!

— А что Игорь... Делов-то! — И, подняв глаза на отца, вдруг добавил: — Все нормально, капитан.

Это была их фраза, они любили это говорить друг другу, и неизвестно было, откуда она взялась, то ли из книги, то ли из фильма, а может, из радиопередачи: «Все нормально, капитан, все нормально». Даже не фраза, а код: мол, так уж принято у нас, у мужчин, не сюсюкать, не говорить о чувствах и разном прочем. Нас воспитывали не сдаваться, стоять до конца и улыбаться в лицо неприятелю... «Все нормально, капитан, все нормально».

Мальчик действительно улыбался или старался улыбнуться, но глаза под напряженным лбом смотрели на него беспомощно, с ожиданием. Его вдруг поразила взрослость и печаль этого выражения. Три этих дня украденной опасной свободы и появление после этих дней в школе, беспокойство, страх вызова родителей, угрозы об исключении — все это показалось малой малостью в сравнении с тем, как они теперь шли, как они гуляли, не зная, куда пойдут, слово «домой» существовало лишь для одного из них, и отец вдруг подумал о комнате, в которой, может быть, так же как и раньше, лежат таблицы с профилями стенного раскопа, фрагментами стеклянных сосудов из Любече. Он даже не знал, что думает о нем мальчик... Вранье с командировками устарело, а правда была неопределенна. «Там», — говорилось матерью. «Там» — значит в этом городе, не в командировке с тревожными, будившими мальчика ночью, но приятными своей неожиданностью звонками из городов, в которых мальчик мысленно был тоже, а здесь, рядом, может быть даже совсем близко, «там», за чертой, которую мальчик боялся и не мог понять.

— Ну ладно, ладно, — сказал отец, и тон показался ему чужим и фальшивым. — Можем сейчас зайти в «Шоколадницу».

В этом кафе они бывали порой в воскресные дни, в мужские свои дни, что проводили вдвоем, сюда они приходили после Третьяковки или после кино, после долгих лыжных прогулок.

В Третьяковку, в Музей изобразительных искусств он затаскивал мальчика вначале с некоторым усилием, а потом тот еще за несколько дней сам напоминал ему:

«Так что, в воскресенье в Третьяковку? Железно?»

«Да, железно».

И, откладывая проект, работу, он шел с сыном в Третьяковку. Шел с радостью, потому что, хотя все это

знал наизусть, смотрел теперь наново, его глазами. А потом возвращались пешком по набережной, по улице Димитрова и заглядывали в кафе «Шоколадница», заказывали вкусные блинчики в шоколадном креме. Обсуждалось множество вопросов: от вооружения японской армии до индийских изумрудов, от знаменитого боксера Джо Луиса до невыдержанного, но очень обоим симпатичного хоккеиста Александра Мальцева.

Не сразу это пришло. И даже чувство необходимости быть рядом с мальчиком — тоже не сразу. Если не врать самому себе, то первые лет пять — семь мальчик как бы лишь присутствовал в его жизни. Да, он любил сына и потому, что так полагалось, и потому, что действительно иногда любил, испытывал чувство какой-то физической, может быть, даже животной нежности к маленькому незащищенному, неопределенно напоминающему тебя существу.

Но он мог жить и без мальчика — месяцами в командировках, в экспедициях, почти год в Средней Азии, в Таджикистане, под Курган-Тюбе, мог так жить подолгу, испытывая лишь потребность знать, что все существуют, здоровы, что они есть, что мальчик растет и все нормально, порядок, заведенный в мире, не нарушен. И первые болезни мальчика, и его первые разговоры — все это прошло в отдалении от него, он не обо всем даже знал. Да, он интересовался и испытывал даже волнение, беспокойство, но в глубине души всегда был уверен, что и без него все уладится. И, приезжая, он не знал, как разговаривать с мальчиком и о чем. И говорил то слишком взросло, то слишком сюсюкая, и все время как бы переводил свою мысль на какой-то другой, искусственный язык, на псевдоязык детей, на котором, думал он, говорит сын. А иногда он вдруг ощущал, что мальчик понимает гораздо больше, чем ему представлялось, он думает и говорит как большой человек, а не как ребенок, и удивлялся, и не был к этому готов.

Он приучал его не бояться драк, отучал жаловаться, плакать, скулить — всю эту немудреную мужскую школу он осваивал с мальчиком, но никогда не знал, отчего тот плачет и чего тот боится...

Только позднее он научился в этом разбираться. Теперь, когда его сын приходил домой или когда он сам встречал его, он всегда безошибочно определял его на-



строение, а значит, и отметку, которую тот получил. Однажды только он ничего не мог понять, что там произошло между мальчиком и его другом Антоном, и сын долго заперся и ничего не говорил. Вообще-то он не умел скрывать свои чувства, на его лице, особенно в случае двойки по какому-нибудь важному предмету, выразался глубокий траур, истинная скорбь и полный неинтерес ко всей дальнейшей жизни. Это было свойство его больших, очень выразительных карих глаз.

Впрочем, через пять минут скорбь исчезала бесследно: двойка, конечно же, несправедливая, «ни за что», казалась чем-то не бывшим на самом деле, но зато вся жизнь виделась теперь безгрешной и усердной, с вовремя заполненными графами дневника, с домашними заданиями, которые выполнялись тут же, по приходе домой, что называется «с пылу, с жару».

И наоборот, велико было мгновение, когда после любой пятёрки — даже по пению — глаза светились победно и дерзко, путь был устлан лаврами, похвальными грамотами, все уроки были пустячны и легки настолько, что их и вовсе можно было не делать.

Вся эта гамма, хорошо изученная, была нарушена на этот раз, когда мальчик пришел вялый, неразговорчивый, но и без скорбных нот, обещавших двойку по важным дисциплинам.

И ничего из него нельзя было выудить, кроме:

«Да там... ребята, команда... Антон... Каток дома номер два».

Мальчик сел тогда за уроки, но отец чувствовал по неподвижной худенькой спине, что это все фикция, что он просто сидит, а думает о другом. Все выяснилось потом... Оказалось, что они с ребятами давно готовились к какому-то матчу с командой соседнего двора. Игорь специально купил рижские клюшки, какая-то Дашка Гурьина, то ли из их класса, то ли из их двора, должна была болеть за них, а он в нападении был самым главным и собирался надеть желтый пластмассовый шлем, на котором тушью было написано «АМ» (Александр Мальцев): у них теперь была такая мода — писать на клюшках и на шлемах имена знаменитых хоккеистов... Словом, ждал и готовился. А пошли без него. Не предупредили. Антон обманул и не позвонил.

«Ты же понимаешь — договорились. Я ведь два вечера

специально тренировался на удар... А что получилось?..»

Каковы были мотивы поведения Антона, неясно. Дашка ли тому была виной, или Антон решил взять всю тяжесть борьбы на себя, или забить все голы, или еще что... Очевидно было лишь одно: жгучее и впервые испытанное предательство товарища.

Тогда он посадил мальчика на диван и стал рассказывать ему о тех маленьких и больших предательствах, которые ему пришлось узнать... Хотелось поговорить здесь и о женщинах, об этой части рода человеческого, об их маленьких и больших способностях в этой области, может быть, даже предупредить, но опасности эти были еще в отдалении, и он ограничился только темой: кодекс мужской дружбы и нарушение его.

И так хорошо сидели они в зимних полусумерках до прихода матери, не делая уроков и не выучив наизусть стихотворения «Мы пионеры счастливой страны...»

Многое, что он увидел в поездках своих, он как бы рассортировывал и кое-что оставлял специально для сына. Это было самое экзотическое: Хива, Бухара, мавзолей Султан-Санджара в Туркмении. Он запоминал и мысленно фотографировал. Но фотографии казались ему неживым слепком, фиксацией, они были лишены движения, пластики, человеческих голосов. И когда впервые он побывал в Риме, Париже, там тоже запоминал, смотрел — для него.

Мир, увиденный детскими глазами, был более просторным и неожиданным.

— Ну, так в «Шоколадницу» не пойдём? — спросил отец.

— Нет... Домой пора. Мама звонит, беспокоится.

Они сели в троллейбус, молча поехали. Потом перешли проспект, как всегда, когда он встречал мальчика из школы, и вновь мелькнули знакомые проулки, перегороженные стройкой, серая подковка метро вдали и арка двора со сделанным от руки красным знаком, запрещающим въезд машин.

Они вошли во двор, дошли до подъезда и остановились... Вот он его и проводил, теперь надо было попрощаться и уйти.

Мальчик стоял и ждал.

Это был странный обман слуха и обоняния.

Он слышал звуки этой квартиры и ее запахи. Он

проходил прихожую, вешал пальто, бросал пиджак на стул, рассеянно читал газету, что-то там жарилось, кипело на кухне, происходила какая-то домашняя возня, приготовление к еде... Всего две лестничные площадки вверх, такие же бывшие, как лестница вымершего городища, обломок, повисший между этажами.

Мальчик стоял, ждал.

## II

Когда учительница произнесла это слово «прогул», протяжное, окаянно звонкое слово, он вспомнил, что у них тогда, как говорится между своими, это называлось «нырять». Неизвестно, кто первый пустил это словцо по кругу, но оно прочно прижилось. Люди исчезали на время, терялись в большом городе, тонули в его глубинах, н ы р я л и, кто сколько выдержит, чтобы вновь потом появиться на водной глади.

«Нырять» было интересно, выныривать на поверхность — страшно.

Прогулы бывали разовые, несистематические, с перепугу перед контрольной или из-за невыученного урока, а бывали периодические, по нескольку дней, запойно опасные, были целевые походы в кино или в библиотеку (таким образом, в исключительных случаях они способствовали самоуглублению и культурному самоусовершенствованию учащихся, чего нельзя было сказать о бессмысленных нецелевых, лишенных цели болтаниях по городу). Прогульщики классифицировались как «случайные» и «злостные». Он был «случайным».

Иной раз встанешь зимой, за окном тусклый, зябкий, не сулящий радости день, а в начале этого дня, в самые мгlistые его часы, — испытание нервов, суета и неуверенность, ибо урок не выучен, а тебя наверняка спросят. И, муторно представляя себе это состояние ожидания, эти странички, бессмысленно, торопливо шелестящие в потных руках, эти не переваренные мозгом и памятью непонятные формулы, ты решаешь вдруг: не пойду. Слабый голосок внутри тебя, голос порядка, тихо, неразборчиво шепчет что-то, пугает последствиями, лепечет и вскорости замолкает, обессиленный. И ты энергично встаешь, и мята зубного порошка на рассвете (в те годы еще не были распространены все эти вязкие «Поморины», леденцово-

сладковатые «Мери») не кажется тебе такой отвратительной. Не допив чай, прихватив необработанный, бугристый, как порода, кусок сахара, ты кидаешь деловито: «Ну, я помчался» — и выскакиваешь из подъезда минут на пять позже, чем все, выбегаешь в пустую, очистившуюся улицу, где не спуют твои школьные братья, назойливо болтая портфелями, где уже стихает поток торопящихся на работу взрослых людей, и ты один тихо плывешь, чуть потупив глаза, в сторону от красного кирпичного здания, в окнах которого недремлюще горит жидковатое утреннее электричество, немеркнувший свет знаний.

Да — в другую сторону и скорее, к Чистым прудам, к кинотеатру «Колизей»... Там в пустом фойе, отраженные в узких золоченых зеркалах, бесстыдно разглядывают тебя еще десять таких же посетителей утренних сеансов, поклонников этого величайшего из искусств, бездельников и мудрецов. Сколько фильмов было пересмотрено таким образом, начиная от «Тарзана» и «Индийской гробницы» до «Падения Берлина» и «Смелых людей»! Было не совсем приятно, что они сидят рядом, такие же, как ты, хотелось одиночества, а также некоторой конспирации, скромного душевного покоя, чтобы, глядя на их физиономии, подавленный и уже забытый голос совести и порядка не возникал и не тревожил. Прогульщики, однако, не оставляли тебя одного: какой-нибудь второгодник вроде известного всем в районе Витьки Корягина (по кличке «Купец») тут же после сеанса подлетал к тебе и предлагал меняться. Он любил меняться неважно чем и неважно на что. Трофейные немецкие пробочники в виде рыцарских фигурок с копьями и мечами он менял, к примеру, на теннисные мячики; впрочем, по назначению их не использовали, ими гоняли в футбол на пустырях. Футбольный мяч был редкостью, стоил дорого, настоящий мяч гоняли какие-нибудь разрядники, которые, понятно, «мастерились» перед дворовыми и разрешали разве что подбросить улетевший за пределы поля мяч. Само прикосновение к настоящему футбольному мячу было счастьем. Теннисный мячик тоже был неплох для игры в футбол, в основном гоняли свернутое в тугой комок тряпье. Когда у тебя не было обменного фонда, Витька наглед и просил денег, и тогда приходилось проявлять твердость. Тут начиналось «нельзя»... Да и не было денег, отец давал два рубля на завтрак, и все. Сколько раз

приходилось отворачиваться от буфетного ацидофилина, пирожков, не говоря уж о мороженом на улицах. Так что же, теперь расставаться с этим накопленным недоеданием и волей скромным богатством? Нет, лучше было употребить его на несколько походов в кино, или на буклет с полным составом московского «Динамо», или в крайнем случае на бутерброд в магазине «Рыба» на Покровке во взрослом обществе пьющих пиво мужчин, прекрасный бутерброд с розовыми крабами, туго обвитыми сливочными гирляндами майонеза.

«Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы!» — такой плакат висел на Покровке. Крабы были еще не популярны, но уже вкусны. Ценилось же что-то более простое и сытное: щи, пирожки с рисом и требухой, котлеты с рожками. Еще хорошо помнился эвакуационный вкус жмыха, черных сухарей с черемшой, чай с сахарином. А здесь продавались бутерброды с килькой, шпротами, крабами и частичком.

Напротив, на первом этаже углового дома, был кинотеатр «Аврора», где шли по преимуществу старые фильмы вторым экраном. Иногда он позволял себе и второй просмотр; чаще всего проходил мимо, останавливаясь на минутку лишь у стенда с цветными кадриками.

В тот раз на бульваре против глухого казарменного здания со стрелчатými узенькими, как бойницы, окошечками сидела на лавке странная компания, двое ребят из его школы: один второгодник по кличке «Горб», сутулый, всегда с красным, воспаленным лицом, с плутватými белесыми глазами, мелкий оголец, который из всех сил «приблатнялся», но все знали, что он на побегушках у старших, второй — Мясник, Юрка Филимонов, чернявый, широкий, с длинными, не по возрасту мощными руками, молчаливый, дравшийся со всеми, кто нарывался, в том числе и со взрослыми. Отец его погиб уже на их школьном веку в Японии. А третий, совершенно неожиданный в этой компании, был щупленький, с цыплячьими ручками и ножками, бледненький Юлик Катин, учившийся в соседнем классе. Он был отличник, причем не из зубрил, не из таких, что протирают штаны целыми днями над тетрадями. Учился он без усилия, пятерки получал необычайно легко, с шикарной небрежностью, пугая других, темных, умением решать в уме почти любые задачи... Естественно, без записи условий

и прочей ерунды. Писал он тоже с врожденной абсолютной грамотностью, не вызубривая, как другие «исключения» и «отклонения» по учебнику русского устного.

Только с уроков физкультуры он всегда уходил. Он был освобожденный — одна нога у него была суше и тоньше другой; где-то в Казани в эвакуации заболел он полиомиелитом и долго вообще не мог ходить, первые три класса занимался дома.

Странно было видеть Юлика в этой компании. Впрочем, был уже случай, когда он встретил Юлика вечером в подъезде, и, кажется, именно с этими; они тесной группой стояли в углу подъезда у батареи, сумрачно поглядывая на проходивших мимо них, и, видимо, дожидаясь кого-то. А сейчас они сидели, развалясь на лавке, и на коленях у Мясника стояла шахматная доска, пустая, без фигур. Он шел быстро, мгновенно оставив позади себя скамейку с ними, и уже спиной услышал свист, а потом голос:

— Эй ты, Ковалевский, ты что, без ушей? Куда спешишь?

Он приостановился. И тут же пожалел об этом, надо было рвать дальше, будто их и нет.

— Эй ты, подойди, чего разбежался, не на катке! — высоким голосом возбужденно кричал Горб.

— У него небось имя есть, что ты его тыкаешь, — баском проговорил Юрка Филимонов.

— Ковалевский его зовут, — пояснил Горб.

— Я ведь не тебя, а его спрашиваю.

— Сергей меня зовут.

— А я — Юра. Вот и познакомились. Иди сюда поближе. Да не таращь фары, здесь никто не кусается.

Горб уже вертел перед его глазами шахматную доску.

— Фишки умеешь двигать? — подмигивая, говорил он.

— Умею немного.

— Тогда со мной, — сказал Горб. — Я тоже немного. Только на что будем?

— Как на что?

— Мы же не Смыслов с Ботвинником просто так играть... Дебюты, гамбиты. Мы не на интерес играем.

— А на что?

— На то, что есть.

— А если ничего нет?

— Тогда американку.

— Это... как же так?

— Запросто... Выполнение желаний. Продул партию, откупа нет, давай выполняй без балды.

— А что... например?

— А то, что в данный момент потребуется. Например, вот в это окошко влезть по пожарке.— Он показал рукой на серый, казарменного вида дом, в котором, кажется, находилось управление пожарной охраны.

— Ладно, ставьте фишки, хватит балаболить,— сказал Юрка Филимонов. И странный тик дернул маленький карий глаз под светлой рассеченной бровью.

Они начали играть, и неожиданно быстро Сергей «заделал» Горбу мат.

— Вот так,— сказал он и поднялся, чтобы идти.

— Нет, так не пойдет,— тянул Горб.— Американка, все по-честному. Говори — чего.

— А мне ничего не надо, и вообще я тороплюсь.

— Нет, так не пойдет. Ты выиграл — ты и заказывай. Ну, хочешь, ударь меня.— Он тянул шею, подставляя лицо, показывая руками.— Давай, давай.

— Нужен ты мне!

— Тогда с ним сыграй,— сказал Горб, указывая на Юлика.

Юлик молча, без интереса кивнул, как бы приглашая.

Сели... Юлик обмотал его довольно быстро... Начали третью. Он играл теперь внимательно, думал подолгу над каждым ходом и проиграл снова. Тогда вступил Горб:

— Теперь раскалывайся, плати.

— Как же... а первую-то я выиграл.

— По сумме тебе засчитывается поражение. Теперь — откуп.

— У меня ничего нет.

— Тогда под лед полезешь.

— Пошел ты!

— Юр,— с показным удивлением подняв брови, сказал Горб,— ты слышал, чего он пищит?

Филимонов посмотрел сумрачно, но без интереса. Горб его подогревал, а он не заводился. Глаза у него были отсутствующие, он смотрел куда-то мимо Сергея и мимо Горба блестящими, чуть близорукими глазами, один из них время от времени подмигивал, точно Филимонов кривлялся. Но он не кривлялся... Это был тик. Он скучал. Но еще было неизвестно, чем все это кончится.

— Действительно бабок нет? Ты что, бедный, что ли? — спросил он. — Сирота?

— Ничего у меня нет, — упрямо твердил Сергей.

— Ну что ж, придется пошмонать немного, — выпендривался Горб. — Доверяй, но проверяй.

Единственный, кто не проронил ни слова, был Юлик. Он молчал, подавленно, настороженно. И вдруг Сергей услышал его спокойный тоненький голос. Горб и Филимонов оба сразу уважительно повернулись к нему.

— Не надо его трогать, он и играет ничего. Соображает... Может, возьмем его в капеллу?

Горб выжидающе посмотрел на Мясника. Тот словно резолюцию поставил:

— Годится.

Так Сергей попал в капеллу.

Теперь он шатался с ними, когда прогуливал, а иногда вечерами, и они выискивали себе партнеров, некоторые охотно соглашались, других приходилось заставлять, играли на деньги — по договору или на американку. Филимонов любил на деньги. Американку он считал баловством, а руки пускал в ход в редких случаях, когда его злили откровенным неповиновением.

Было одновременно противно и приятно. Приятно было ощущение силы, чужой силы, стоявшей за твоими плечами. И еще иногда постыдно приятно подчинять себе людей.

Но однажды они нарвались на мальчика из Лялиного переулка — Тоника Гукасяна, испанца. Его привезли из Испании двухлетним, жил он сначала в специальном интернате для испанских детей, а потом его усыновила пожилая армянская женщина, врач-отоляринголог, с базедово-выпуклыми черными глазами и седой головой, сама чем-то похожая на старую испанку.

К нему обычно никто не приставал, но тут он им попался, они стали уговаривать его сыграть, он согласился, Юлик, как всегда, легко одержал победу. Горб, который был в этот вечер «под банкой» (с ним это случалось в последнее время все чаще), стал приставать к Тонику, требуя денег. Тоник возмутился и послал Горба куда подальше.

Горб протянул руку, провел ею по лицу Тоника, дразня его, показывая ему, что он, дескать, хорошего удара не достоин, а так только, мазнуть по губам рас-



топыркой. Он протянул грязную, в чернильных подтеках свою руку, лениво шевелил пальцами перед лицом Тоника, а того, что произошло дальше, не ожидал никто. Маленький Тоник, пружинно сжавшись, всей тяжестью небольшого стройного, крепкого тела бросился вперед, метя головой в лицо Горбу, бледным пятном ненавистно качавшееся перед ним. Он промахнулся; сила рывка была так стремительна, что он не удержался на ногах, упал, больно обдирая локти и колени. И в этот момент Юрка Филимонов подошел к нему, схватил за шею, легко приподнял и слева быстро, по-бандитски, несколько раз ударил в живот. Тоник задохнулся от боли, но все-таки успел один раз метнуть быстрый маленький кулачок в Мясника, и тогда тот, ярясь, уже начал молотить его так, что Сергею, безучастно стоявшему в стороне, стало страшно. Мясник сбил Тоника на асфальт, тот закрывал лицо, увертываясь от крупной ноги в рваной, подшитой грубыми нитками сандалии, и вдруг Юлик, тоже стоявший поодаль, крикнул и, хромя, с белым, страшным лицом побежал на Мясника.

— Оставь его,— кричал Юлик,— оставь, а то убью тебя!

Мясник презрительно сплюнул и пробормотал:

— Ну что, шахматисты локшковые, распищались... Кыш по домам!

Юлик схватил камень и косолапо, медленно шел на Юрку Филимонова. Сбить его ничего не стоило простым толчком в грудь. Он так бы и полетел на асфальт со своим камнем. Но Филимонов выругался и, с отвращением глядя на Юлика и на Сергея, сказал:

— Всех вас задавить бы надо. Только мараться лень.— И ушел, сплюнув.

Горб побежал за ним, поворачиваясь, скалясь, похлопывая себя по заду, всем своим видом говоря: все вы такие, все вы только этого и стоите, сутуло бежал за уходящим вожаком, соблюдая, однако, определенную дистанцию.

С тех пор Сергей и Юлик подружились.

У Юлика был отец, но он никогда не видел его. Он родился на фронте. Это было странно: родиться на фронте. Казалось, там только воюют, дерутся, убивают, а не рождаются. Выходит, кое-кто и рождался.

Мать Юлика работала воспитательницей в яслях, при-

ходила поздно, и Юлик целый день болтался один. Они жили в шестиметровой комнатке в огромной коммунальной квартире, где очередь в туалет и ванную занимали чуть ли не на рассвете, так что прорваться туда было практически невозможно. Квартира была, в общем, тихая, только иногда квартирные старухи скандалили на кухне. Скандалы были яростные, но быстро затихали, и в эти моменты Юлик невозмутимо сидел в своей комнате, как всегда решая шахматные задачи или кроссворды. Он обожал что-то решать, разгадывать, докапываться до ясности, до окончательного ответа. У него бывали книги, о которых никто в классе и не слышал, которых не было в библиотеках; например, он принес замусоленный томик Грина без начала, и они вместе с Сергеем, передавая друг другу книгу, жадно читали странный, загадочный рассказ «Крысолов» и гадали, откуда, из какой страны этот писатель. И только потом отец Сергея рассказал, что он не из какой-то чужой страны, а из России и не Грин он по-настоящему, а Гриневский... Приносил также Юлик Есенина, и они переписывали стихи в тетрадь, особенно из «Москвы кабацкой», было в них что-то потаенно-волнующее, еще и не понятное до конца, но угадываемое. То, что случится и с ними когда-нибудь: любовь, женщины, тоска, вино, щемящие душу обиды, неведомые волнения, нечто мужское, взрослое, сладостно-горьковатое.

В школе ходило множество подделок под Есенина, блатных романсов, но они с Юликом уже знали теперь, что эти одновременно приторные и грубоватые строки — липа, неумелая подделка.

Иногда они с Юликом лазали по отцовской библиотеке. Там было множество толстых, казенного вида книг: съезды партии, партконференции и ленинские сборники.

Юлик подолгу вычитывал статьи из этих сборников; в них на первый взгляд не чувствовалось ничего вредительского, все выражения были такие же, как и в газетах, как и в брошюрах. Некоторые трудно было понять, а спросить не у кого, да и скучноватые были эти статьи: про политику в деревне, про фракции Коминтерна. В конце концов они бросали пыльные фолианты и выходили во двор, где тоже было множество интересного.

За прогул его отца вызывали в школу. Он видел, как отец ходил от директора к завучу, от учителя к учителю, терпеливо выслушивал их, не глядя в его сторону, и учи-

теля тоже не глядели, будто не о нем речь, а так, вообще о чем-то, возможно — о некоторых общих педагогических принципах от Ушинского до наших дней. Но чем спокойнее и как бы отдаленнее от него казался этот разговор, тем напряженнее становилось лицо отца, и он знал: лупят-то по больному, все вспоминают, что было и не было, и до него как бы доносились пугающие, привычные словосочетания: «ребенок запущен...», «надо принять меры, а то придется... вплоть до исключения...»

Ему становилось жаль отца, хотелось подбежать, сказать им:

«Ну это же я, а не он, так что же вы все на него!»

Потом в школе появился маленький добрейший литератор по кличке «Аэс». Александр Сергеевич вел у них литературу, русский устный и русский письменный. Он был вежлив, обращался к ученикам доверительно, как к коллегам, с подчеркнутой уважительностью, которую некоторые принимали вначале то ли за издевку, то ли за «покупку».

Писателей он называл не по фамилиям, а лишь по именам-отчествам, интимной скороговоркой, как близких знакомых, с которыми вчера только прогуливался по Чистым прудам.

Его любили, но он не внушал уважения. Уважали грозных, вроде Сэма, историка, громогласного, усатого, беспрекословного, разящего и милующего, страшного в гневе, великодушного в прощении. К тому же он ходил в кителе с орденом Отечественной войны второй степени. Говорят, он сражался в партизанской армии Ковпака. Военная же биография Аэс была неясна. По слухам, он воевал, но в каких-то интендантских частях. Во всяком случае, фронтовых историй он на уроках не рассказывал, как историк; может, и рассказывать-то было нечего... А может, он просто был скромн.

И вот теперь и литератор, и историк стояли перед отцом. Александр Сергеевич говорил тихо, доверительно, с надеждой, с лучшими чувствами, а историк — что-то решительное и существенное, а позади них стояла математика и оперировала неопровержимыми фактами. В глухом окружении находился отец. Отец, отвечающий за сына своего... Хотелось исчезнуть, сгинуть, убежать вниз и черным ходом, подвалами бывших бомбоубежищ, мимо тускло белевших в сумраке масляных стрел выскочить из

подземелья во двор, в весеннюю живую пустоту его, где голые ветки деревьев ощетиываются внезапно крохотными, тугими боксерскими перчатками почек... Проскользнуть по двору, промчаться по улицам, взлететь и опуститься и все забыть, увидеть друга и сказать ему: «Знаешь, Юль, давай уедем». — «Куда?» — спросит друг. И ты задумаешься, морща лоб... Действительно, куда?

Старшим было легче... Нет, не легче, конечно же тяжелее, страшнее, но, может быть, и интереснее... Им было куда. А тут никуда и не убежишь, и не умчишься сражаться, разве только на корейскую войну. Но наши там не участвуют, а на китайского добровольца ты не похож.

«Посдем», — вдруг с загоревшимися глазами скажет Юлик.

«Куда?»

«Увидишь».

«А билет?»

«На что? У нас же с тобой... Я повезу без билета. Только подожди до вечера».

И вечером они встречаются, идут куда-то дворами и даже в одном месте перелезают через забор. Юлик лезет, молча отклонив помощь товарища; он медленно, натужно, неравномерными рывками поднимает свою сухонькую левую ногу. Он никогда не принимает ничьей помощи, а утрами делает тяжелейшие физические упражнения, часами разрабатывая слабенькие, анемичные мускулы. Вот они уже в пустом дворе, заходят в какой-то полутемный ангар, Юлька обращается к пожилому человеку, сторожу, тот, судя по всему, знает Юльку, потом они отходят, сторож осторожным движением кладет что-то в карман, непонятно, монета это или вещь какая-то, а может, он и не у Юлика взял, а просто сунул что-то в карман, перчатку какую-нибудь; во всяком случае, видна его удаляющаяся спина, он уходит — во тьму ангара, а потом выкатывает мощный приземистый мотоцикл — немецкий — БМВ.

«На тридцать минут, — говорит сторож. — Засекаю. Просрочите хоть секунду — кранты. Больше никогда».

«Вас понял!» — весело говорит Юлик, уверенно садится, а он обхватывает руками худенькую спину Юлика.

Юлик склоняется над мотоциклом, дает газ, рев круто нарастает, оглушая этот пустой, безжизненный двор, мотоцикл без усилия набирает скорость.

«Ты молодец, Юлька! — кричит он, понимая, что тот его не слышит. — Молоток ты, классно! Здорово!»

Улицы, Садовое кольцо, прямое и широкое, не взрытое подземными тоннелями, а потом переулочки за Каляевской — тихие переулочки, где ни одной живой души... Всего полчаса, полчаса рева, счастья, полета...

Потом они бредут домой по гулким мостовым в дрожащих тенях лип.

«Домой идти неохота, — тихо говорит Сергей. — Сегодня уж я получу... за все».

Он знает и видит все, что будет, и от этого знания тоскливый и тошнотворный комок вспухает у горла... Отец, конечно, не удержится, и все то унижение, которое было пережито в школе, и то, что копилось днем, когда отец был на работе, и то, что добавлено сейчас, в его, Сереги, ночное отсутствие, — все это вместе ударит теперь по нему, как мощная холодная струя из шланга... Разговор будет долог, невыносимо вязок еще и потому, что в комнате будет сидеть чужая женщина и слушать, не вмешиваясь и как бы ни во что не входя.

«И мне неохота», — говорит Юлик.

«А тебе чего?»

«А тебе?»

«А мне так... Знаю я, что будет».

«И я знаю, что будет...»

Ему было странно, что у Юлика тоже что-то могло быть. У Юлика, у отличника, у человека, который делает все, как надо.

Он не знал, что комната Юлика пуста, что ключик оставлен под истертым половиком, что Юлик будет долго раздеваться и долго лежать один, прислушиваясь к резким поздним шагам за полуподвальным окном, звяканью чужих соседских ключей, что он будет долго ждать свою мать, но, так и не дождавшись ее, тяжело и тревожно заснет.

Он привык уже к тому, что она часто не приходит, говорит, что дежурство, и это не страшно, она вернется завтра утром, она всегда оставляет ему завтрак и записку, она любит его, помнит о нем. И действительно, у нее бывают ночные дежурства, а иногда она задерживается еще где-то, и он даже знает, где и с кем, но не хочет об этом думать. Ему сейчас пусто, темно, и хотя он привык ничего не бояться и спал в больничных палатах под синим

негаснувшим светом плоских ламп, почти никогда не плакал, как другие дети, но сейчас, дома, ему до странности неуютно, тревожно, будто что-то должно случиться. Он знает, что это будет, видит эту комнату в желтоватом свете лампы с цилиндрическим картонным абажуром.

«Давай еще покатаемся полчаса, — говорит Юлик. — Правда... что-то спать неохота».

«Давай», — соглашается его друг.

И они возвращаются, и вахтер, уже поддавший и добрый, теперь уже бесплатно дает им мото, качая пальцем перед лицом Юлика.

— Только чтоб полчаса, как штык. Иначе неприятность будет. Я тебя, — обращается он к Юлику, — хоть ты и клопик еще, уважаю... Хотя у тебя и недостаток, — он показывает на ногу Юлика, — но парнишка ты характерный и машину будешь водить как следует. А у меня здесь недостаток, — он показывает на лоб и голову. — Контузия у меня, психика, расстройство... Вот и сижу тут, а жизнь катится колесиком... Чтоб через полчаса, как штык. Иначе запрет, и не просите даже. Только тут, в переулках, исключительно под твою ответственность, — он еще раз указал на Юлика.

И снова Юлик, улыбаясь, заерзал на большом кожаном сиденье, где уместились бы двое таких, а Сергей снова прижался к тоненькой, выгнутой, как дуга, спине. Они петляли, петляли по переулкам, и Сергей крикнул Юлику:

«Пора уже!»

И до него донеслись какие-то обрывки слов:

«Не бойсь... Скоро... Сделаем...»

А Юлик вел машину все дальше и дальше, пересекая кольцо, мимо Ботанического сада, мимо Рижского вокзала, по гроыхающим железными листьями мостам. Сергей чувствовал: пора возвращаться, происходит что-то недозволенное, что-то слишком недозволенное, — но скорость была так хороша, ветер свежо и мощно обдувал тело, лицо, ночная Москва открывалась неожиданным летящим пространством, незнакомыми домами, возникавшими вдруг волшебным освещенным резким светом прожекторов. И тут же — оставленные позади, канувшие во тьму фигуры рабочего и колхозницы на Выставке, показавшиеся одним двуглавым человеком, дальше приземистые, барачные дома с незаполненным смутным пространством

между ними, по-деревенски редкие огни, тьма и снова свет.

«Назад давай!» — кричит он Юлику.

«Вперед!» — кричит Юлик.

И он не слышит его голоса, скорей угадывает это неотвратимое «Вперед!». И снова летят они по незнакомому, уже не московскому пространству, за жидкой рощицей быстро движутся огни. Кажется, огромная темная гусеница с удивительной скоростью неразличимо ползет в темноте, освещенная лишь спереди, и догадываешься: это поезд, и они идут параллельно друг другу, но вот на мгновение мотоцикл обгоняет его.

Теперь уже все равно, куда и зачем, лишь бы мчаться, подпрыгивая и оскальзываясь на плоском седле, чувствуя, как внутри что-то сорвалось и обрывается, падает, холодя живот. Темно, тихо, и грохот, и запах пыли, листвы, газа.

Вот переезд, шлагбаум открылся, и внезапная тень чего-то мерно надвигающегося, бесформенного, жарко дышащего перегретым металлом... «Зачем туда-то, Юлька, Юль, зачем на нее, давай левее, Юль... Юль!»

И вдруг страшный этот полет, движение утыкается в другое движение, во сто крат более сильное, и взрывом вверх, вверх, вверх и головой, кожей, кишками в землю, будто в битый кирпич...

«Юль, Юль, папа!»

...Кто-то склонился, полутьма, свет синий, заглушенная чем-то сонная боль давит на череп, не поймешь, кто это над тобой, чего ему надо, хочешь уползти от него, а потом узнаешь его лицо и прижимаешься к холодному и твердому, как жель, халату.

«Пап, папа, а Юлька где?»

«Не шевелись, мальчик, не поворачивайся, разговаривать здесь нельзя... Отец твой здесь, он в коридоре».

«Юлька где?»

«Я не знаю никакого Юльки. Ты слышал, что я тебе сказал... Не разговаривать».

### III

То было время, когда впервые в своей жизни он жил один.

Отец женился. Произошло, в сущности, нечто давно ожидавшееся. Та, которая бывала в их комнате ежедневно

вот уже десять лет, но только уходила около двенадцати, так, чтобы успеть на метро, разумеется в сопровождении отца, теперь осталась. Сначала казалось, что осталась она случайно — что-то случилось, и уже поздно, и она опоздает на пересадку или что-то еще в этом роде, — но она осталась и на следующий день, а потом и навсегда.

А в то время отец возвращался обычно к полуночи, и они сидели вдвоем, слушая спортивный выпуск последних известий. «Московское время ночь часов пять минут. Слушайте спортивный выпуск последних известий». Сейчас он много раньше. Да и как-то не очень важно сейчас, что там происходит. А тогда происходило. Футбол. «Динамо» — ЦДКА. Почти как война Алой и Белой розы. Наш Хомич и их Никаноров. Наш Карцев и их Бобров, наш Трофимов по кличке «Чепчик» и их столь же маленький круглый колобок Демин, почему-то без клички. Их победа с перевесом в одну тысячную очка. Кустарные портреты великих игроков эпохи продаются с рук у Кировской, у Главпочтамта. Пять рублей штука. Печатная футбольная индустрия еще не была налажена. Индустрии не было, но футбол был.

Происходили и другие противоборства титанов: шахматный матч Ботвинник — Смыслов, который шел, казалось, вечно, годами. Кончалась одна его серия и начиналась вторая. Проигравший требовал реванша и получал его. Это было как Семилетняя война. Люди вырастали, женились, разводились, а матч Ботвинник — Смыслов все длился. И самое интересное, что он не надоедал обществу. Любители записывали партии и отмечали очки. И все обсуждали, высчитывали, подсчитывали, кто сколько получит очков, конечно. Никто и не считал, сколько в другом смысле. Казалось, никто ничего и не получал, а играли просто так — для победы, для совершенства, для торжества нашего спорта. И все это было бог знает как важно и интересно.

Нервно клокотал тепонок Вадима Синявского, всегда возбужденный и взволнованный, будто произошло нечто из ряда вон выходящее, отчего и твоя жизнь зависит, и всех других людей.

Будто землетрясение сейчас произойдет.

«Бле-стя-щий бро-сок Хсмича! Мяч отбит на корнер!»

Потом слово «корнер» исчезнет ненадолго, так же как и слова «форвард» и «офсайд», и спортивный журналист



напишет, что эти слова только засоряют спортивный язык, что есть другие, лучшие, что у нас вообще в эту игру играли раньше, чем у них. Но слово «футбол» все-таки останется и пребудет вечно.

Стадион «Динамо». Длинные, до колен, трусы самоотверженных игроков. Волшебные сосиски из дымящегося котла и первый в жизни глоток холодного пива в картонном стаканчике...

Эпоха радио. Почему-то от позывных перед последними известиями с младенческих времен сжималось сердце в ожидании беды. Всегда возвращался тот день, когда стальной мощно-тревожный голос Левитана объявил выступление Молотова 22 июня 1941 года.

И в те дни, когда «катар верхних дыхательных путей», эта вовсе не смертельная, а даже отчасти приятная болезнь, законно избавлял тебя от кипучих школьных будней, ты включал радио и слушал бодрое: «Внимание, на старт, нас дорожка зовет беговая». А потом знаменитые капитаны хором пели свой гимн.

Телевидение напоминало полет на Марс. Оно вроде было уже когда-то, и все-таки его не было. Кто-то рассказывал о сеансах телевидения до войны, кто-то говорил, что оно уже есть там, за океаном, но никто толком не знал, что это такое.

Первый телевизор он увидел в начале пятидесятых годов, и он разочаровал. В маленьком квадратике, увеличенном водянистой линзой, тускло мерцали и расплывались человеческие фигурки.

Нет, это не могло заменить радио. И неважно, кто его изобрел первый, Попов или Маркони, Маркони или Попов. Спасибо, что изобрели.

Приемник был отдан в первые дни войны. Во время войны существовал лишь черный, как бы фанерный рэс-труб репродуктора. И голос Левитана. И названия сданных городов... Потом взятых городов. Все другое не слушалось и было непонятно. А после войны — новенький трехдиапазонный приемник «Рекорд». Его водружали осторожно и торжественно вместе с отцом.

Вот он задышал, затеплился, и в глубине его, в недрах, возбужденно зачастил голос Синявского. «Динамо» играло с англичанами. Карцев забил гол Челси. Битва только начиналась.

А война кончилась.

Да, это были прекрасные часы, вернее не часы, а минуты, когда отец ее провожал и возвращался один. Чувствовалось, что и отец испытывает облегчение. Теперь целиком они принадлежали друг другу. Они слушали это самое радио, а потом разговаривали допоздна. На самые различные темы, волновавшие в то время современников, а значит, и их. Впрочем, затрагивались не только сиюминутные темы, но и общеисторические. Так что они в равной степени жили как вечностью, так и быстролетящим сегодняшним днем.

Через несколько дней после того, как эта женщина осталась, он переехал на Большую Татарскую к бабушке. Он никак поначалу не мог привыкнуть к этой улице, темной, с приземистыми, еще с прошлого века домиками, к тому, что рядом нет Чистых прудов, в которые впадают все переулки, как притоки в большую реку. Здесь горбатые замоскворецкие переулки были сплетены друг с другом, пересекались, делились, в них не было праздника и простора.

Так и мотался на трамвае «А» назад, на Чистые, на Покровку, в старую свою школу, к старым своим товарищам. И однажды вечером, уже простившись с друзьями, все кружил неподалеку от своего теперь уже как бы бывшего дома и все не мог пройти это короткое расстояние к трамвайной остановке, а там, еще пятнадцать минут — и ты очутишься в недалеком, но чужом краю.

И тут увидел отца, идущего домой.

Отец шел, как всегда, торопливой походкой, в одной руке портфель, в другой — авоська, все знакомо. Непривычно только, что не кинулся к нему, как всегда, а так и стоял, не зная, что делать. Что-то в этом родном облике вдруг обожгло. Вспомнилось, как иной раз, увидев его так же, шел вслед тихой невидимкой, а потом вдруг бросался со смехом и радостью, стараясь испугать его. Сейчас же возникло другое. Хотелось тихо и незаметно исчезнуть, без притворства и слов, прыгнуть на ходу в трамвай, сидеть у окна в жестком грохоте вечернего трамвая, мимо бульваров, моста, института с освещенным портретом Сталина, чтобы механически встать, соскочить на замирающем уже ходу на своей, а точнее уже бывшей своей остановке...

Появился назад, в темную тень лип во дворе сосед-

него дома. Отец уже вплотную подошел к своему подъезду, и надо было подождать, когда тяжелая дверь с лепными амурами распахнется и мелькнет напоследок чуть сутуловатая спина отца. Ждал этого со странным чувством: почти с удовлетворением. Но дверь не открывалась, точно отец замешкался или встретил кого-то. А через минуту он услышал шум шагов и даже раньше тихий знакомый голос:

— Ты чего тут?

— Да нет, я только с ребятами распрощался.

— Так поздно?

— А чего? Нормально. Еще одиннадцати нет.

— А чего домой не идешь?

— Куда? — переспросил он, действительно не понимая, какой дом имеет в виду отец — тот или этот.

— «Куда, куда», — ворчливо сказал отец и пошел, каждым своим шагом приказывая идти за ним.

Так и шли, в затылок друг другу.

Перешли через улицу, вошли в подъезд, блестящий позолотой, лепниной, ангельскими ликами на потолке. Дом у них был важный, с рыцарями на одном подъезде, с амурами — на другом. Его строила в конце прошлого века немецкая компания. Несколько таких домов было в этом районе.

Лифт не работал. Гулко, долго поднимались на четвертый этаж.

Ее не было в комнате. Видно, стряпала на кухне. Комната была просторнее и опрятнее. Какие-то вещи поменялись местами с другими. Казалось, и запах был другой.

— Так не делается, — после долгого молчания сказал отец.

— А что, собственно? Чего это ты?.. И вообще пора... доберусь черт те когда. А завтра в семь надо как штык... Первая контрольная. Так что я...

— Никуда ты не пойдешь.

— Пойду, почему ж...

И что-то противное, обволакивающее мягко и одновременно жгущее разлилось внутри, парализуя волю, и, вместо того чтобы действительно встать и пойти, он сидел неподвижный, с тяжелыми мутными глазами, будто спросонок.

Вот уже и она появилась и, не удивившись ничуть,

стала накрывать на стол, а потом принесла раскладушку и долго, тщательно устанавливала ее, и в тишине было слышно, как раскладушка жестяно распрямляется, пружинисто хлопает, сопротивляется рукам, точно странное живое существо с железной спиной и короткими, кривыми железными ножками.

Так он и остался.

Теперь они жили втроем.

#### IV

Странно, что, когда жизнь их была налаженной и прочной, Сергей мало думал о школьных делах сына. Уже потом, когда вся его настоящая жизнь была вне дома, и в дни долгих своих отъездов, и в дни возвращений, когда уже все было решено, но не исполнено, именно в это время его стали беспокоить школьные дела Игоря, еще недавно казавшиеся ни для кого не важными.

Вот тогда в первый раз он попросил у мальчика дневник.

Мальчик протянул ему дневник с видом равнодушного недоумения. Само предвкушение этой проверки было неприятным: во-первых, лучше ничего не знать в подробностях, досконально, во-вторых, дневник, как и табель его времен, наводил на него тоску залинованными клетками бессмысленно-подневольной жизни.

В дневнике была ровно представлена вся пятибальная система в действии. Коричнево темнели двойки, серые, как воробьи, троечки незаметно перепархивали со страницы на страницу, коренастые и степенные четверки тоже попадались, сглаживая общий вид панорамы, а кое-где (отдельные в поле зрения, как пишут в анализах) алым цветом кумача вспыхивали и пятерочки (в основном по гуманитарным дисциплинам), давая понять, что наш ученик при желании способен на большее, чем то, что он сейчас имеет... Все это было, в общем, нормально, если бы...

Уже за чертой дневника, в самом низу, на полях были две записи, сделанные классным руководителем. Первая из них как бы соответствовала желтой карточке на футбольном поле — знак предупреждения, вторая же походила на красную карточку, поднятую судьей: игрок удаляется с поля.

Первая запись гласила: «На уроке алгебры обменивался жвачкой с учеником Корнюхиным».

Вторая: «9 декабря затеял драку на уроке физики с учащимся Тарасовым. В среду 20 декабря опоздал в школу. Вызвать родителей (желательно отца)».

— Что это еще за обмен жвачкой?

— Во-первых, неправильная формулировка, — говорит сын, — жвачкой никто не менялся. Мы махнулись обертками. «Юджи фрут» зеленый на «Бруклин».

— Что это за обмены?.. И почему вообще обертки? Ну, сжевал ее, выплюнул, обертку выбросил. Что за ерунда?!

— А мы их собираем. У меня уже сорок фантов, — сказал мальчик.

— Не понимаю. Ну, марки — прекрасно. Я же тебе приносил, мы начали альбом. А ты забросил... Ну, монеты — это тоже кое-что дает. История, страны. А эти дурацкие фанты?..

— А почему дурацкие? Они красивые, во-первых. Во-вторых, их попробуй достань — потруднее, чем марки и монеты, и тоже дают представление о странах. Ты же сам мне жвачку привозил.

— Да, но жевать, а не собирать.

Ему вдруг захотелось привести что-то из увлечений своего детства, что-то противопоставить этим оберткам. Он увидел затрепанные труднодоступные марки, которыми торговали и обменивались почему-то в Главпочтамте на Кировской. Павлиновое оперение колониальных марок: Конго, Берег Слоновой Кости, Того, Мозамбик... Теперь эти страны обрели независимость, некоторые из них и называются по-другому, их марки достать значительно легче, так как международные контакты стали шире, да и марки тех стран стали менее пестрыми — солидные, достойные, сдержанные.

Он все-таки удержался от того, чтобы высказать сыну, как легко все это им дается или что-нибудь в этом роде, ибо знал, что такая постановка вопроса а) неубедительна, б) ни к чему хорошему не ведет, в) свидетельствует о нравственной, отчасти даже физической старости воспитателя.

Не плакать, не смеяться, а понимать, как говорил Спиноза.

— Ну, вот объясни мне по-человечески, — сказал он

по возможности теплым голосом, — почему все-таки жвачка? Ведь это же не ты один.

— Да, почти весь класс. Не знаю, почему. Достаем, меняемся. Спорт какой-то, что ли.

— А по-моему, полная муть. И даже что-то девчачье, если хочешь знать...

Довод этот, еще в недавнем прошлом почти неотразимый, не произвел сейчас никакого должного впечатления.

— Может, и девчачье, какая разница? И ребята собирают и девчонки.

— А что это дает?

— А почему должно обязательно давать?

— А потому, что именно сейчас у тебя возникает интерес к миру.

— Ну, вот они и дают представление о мире.

— Довольно странное представление. А монетки ты забросил?

— Да... как-то... без тебя...

Отец мысленно сказал: «Как же «без тебя», когда я все время прихожу к тебе, и звоню по три раза в день, и приношу монеты, книги, как раньше, и даже больше, чем раньше...» Но он промолчал.

— Ну ладно. А что означает вторая запись?

— А... так.

— Что это означает — так?

— Ты, что ли, не дрался никогда?

— Дрался, но предпочтительнее это делать не на уроках, а после них или в крайнем случае на переменах.

— Не мог я ждать, если он такая свинья.

— Нельзя ли поподробнее?

— Просто он оскорбил одного человека.

— Кого?

— А зачем это тебе?

— Как это — зачем?.. Ты разве не понимаешь, меня вызывают в школу из-за твоих художеств, я должен выслушивать бог знает что, краснеть, всячески умиrotворять учителей, будто ничего и не было, и потому я должен, мне хотелось бы знать наконец причину или хотя бы повод, из-за которого мой сын, насколько мне известно, человек рассудительный, начинает драку прямо с ходу, в классе... Что это, наконец?

— Он оскорбил человека.

- Кого именно?
- Дашку Гурьину.
- Ту самую, что ли?
- Какую еще?

— Ну что, у тебя тысяча Дашек Гурьиных? Ну, помнишь, была еще история с хоккеем.

Он задумался, и темные глаза его стали неподвижными.

— Тогда... да. Ты еще пришел раньше времени с работы, и мы долго сидели одни без мамы.

— Да,— говорит отец.

Он тоже хорошо помнит тот день и даже час, уже не дневной, еще не вечерний, зимний, когда сидишь, не зажигая света, и комната просторней, больше, чем утром и чем вечером при электрическом свете, и все предметы мягче и лица тоже, и хочется почему-то разговаривать вполголоса. Когда удавалось прийти пораньше, они часто сидели с сыном вдвоем, разговаривая тихо, почти шепотом, будто бы у них была отдельная от всех тайна.

Ну как сделать, чтобы все было как раньше, именно как в тот предвечерний час, когда голос тише и явственней и ты не слушаешь, а слышишь, слышишь, что говорит он, он слышит, что говоришь ты, и все сложно, но понятно и соединимо, и есть ощущение покоя, сумрака, дома, чего-то не прерывающегося, идущего издалека, может быть оттуда, где ты сам был маленьким и отец тихо, не повышая голоса, читал тебе «Мцыри».

...Дашка Гурьина когда-то была Дашенька, испуганная беленькая девочка, которую привела мама на большой сбор перед отправкой в пионерлагерь. Уже потом, в лагере, она стала именно Дашкой, и вместе с ней Игорь ходил в кружок авиамоделизма и ИЗО, где занимались в основном производством художественных ценностей из керамики, в избытке лепили спутники, лунники, сверхзвуковые самолеты, а также обыкновенные чашки и блюда.

На следующий год они снова поехали в лагерь. Теперь уже Дашкина мама не просила Игоря покровительствовать ей. Дашка и сама могла за себя постоять, освоилась и чувствовала себя в лагере вполне нормально.

В сущности говоря, Дашка была ему не очень-то интересна, только однажды на секунду открылось ему нечто неясно обозначающее, что Дашка обладает в опре-

деленные минуты некоей силой, заставляющей его то сжиматься в комок, то, наоборот, мчаться впереди всех в каком-нибудь еженедельном забеге по пыльной, с полувыворчеванными корягами беговой дорожке под стройными флагами спортивных обществ в дистанции шестьдесят метров по графику БГТО. Но, может, он и не потому мчался быстрее всех, а просто из нормального желания бегать дальше всех, прыгать выше всех, нырять глубже всех.

Но вначале она появилась с мамой, когда все школьники, отправлявшиеся в пионерлагерь, проходили переключку, а родители сновали с чемоданами, преимущественно старыми, тертыми, на которых крупно, как для слепых, были написаны фамилии их владельцев. Уже позади была медкомиссия и все прочие формальности, а впереди — лишь торжественная линейка, флаг, дележка на отряды, посадка на автобусы, прощание с родителями, отъезд по графику.

Игорь, если уж говорить все как есть, если, как говорится глянуть на дно души, всегда побаивался этого последнего дня, и даже не столько дня, а именно самого этого момента, отрыва от матери и отца в другую, шумную, отчасти даже веселую жизнь, к которой быстро привыкаешь, но какую-то голую, незащищенную, в которой ты остаешься один и тут надо уж крутиться и вертеться самому, надеяться не на родителей, а на собственную смекалку и все время не терять инициативы, ибо иначе до финала последним.

Впрочем, он смотрел бодро, соколиным глазом, не показывая вида.

А вот та девчонка, новенькая, что жалась к матери, беленькая, голубоглазая, в какой-то панамке, в каких только детсадовские ходят и одновременно в полосатой тельняшке, обтягивающей худенькое цирковое тельце, — та совсем было поникла, глядя на все происходящее с ужасом, будто отправляли не на Солотчу, а бог знает куда, в длительную ссылку.

И увидев ее такой, он повеселел. А ее мать жалась к его матери, и они что-то обсуждали насчет передач писем, ягод, конфет и прочего, а также насчет того, чтобы он, опытный, третий в пионерлагерях Игорь, помогал ей, домашней и неприспособленной Даше.

— Ты будешь дружить с Дашенькой, чтобы ее не



обижали, ты же всех тут знаешь. Ты понял, сынок? — говорила мать чересчур нежным каким-то голосом, и он не понимал, как это можно дружить с кем-то по заказу, но кивал покровительственно... Да, да, в обиду, мол, не дадим.

Их, как цыплят, всех пересчитали, разобрали в отряды, вожатый сказал короткую, но энергичную речь, и все двинулись случайными парами под музыку, обгоняя друг друга, к автобусам. Тут возник небольшой водоворот с чемоданами, которые родители просовывали в окна, звучали последние наставления, виделись единичные в поле зрения слезы, как детские, так и женские, наконец мощно взревели дизеля, и все замахали руками, и здесь на земле, провожающие, и там, у иллюминаторов, те, кто отправлялся в плавание...

Игорю тоже на секунду стало как-то не по себе, когда он увидел отца и мать, сосредоточенно-веселых и напутствующих его: будь молодцом... читай... делай... играй... не теряй времени... будь молодцом, чемпионом; образцом... будь, будь...

— Буду, — сказал он им и, глядя на отца, вдруг вспомнил, как тот рассказывал про отъезд из Москвы в эвакуацию в Казань, как тот уезжал со своей бабушкой и прощался с матерью и отцом, уходившим в ополчение, и какая толчея была на перроне, и было еще неизвестно, всех ли их возьмет поезд, и его отца, маленького отца, дед поднял на руки, и бабушка втащила его через окно в вагон, так как на площадке была страшная давка, а потом уже на дороге состав бомбили, но бомбили, к счастью, наспех, сбросили пару бомб на медленно ползущую по земле змейку, не попали, ушли. А теперь он ехал в пионерлагерь на две смены, а третью, может быть, на юг, папа и мама провожали его и будут встречать через два месяца и, возможно, будут приезжать раз в две недели на родительский день.

Рядом тихо прильнула к окну эта несчастная Дашка Гурьина, автобус уже набирал скорость, и остались позади родители с поднятыми руками и с глазами, полными слез; вот уже вожатый затянул бодрую песню, и ее быстро подхватили, вот уже кто-то кому-то кинул первый пробный легкий шалабан, и посыпались сзади чемоданы, и Даша все сидела в оцепенении, будто ей какой укол сделали.

— Ты чего это? — обратился к ней тогда Игорь.

— Так просто.

— Да ты выкинь из головы... Т а м знаешь как... Еще и домой не захочешь.

— А я и не думаю.

— А что же ты делаешь?

— Смотрю в окно и жду, когда ты перестанешь приставать.

Он не ожидал такого оборота. Нужно еще... Ты с самыми добрыми чувствами, а тебе...

— Пожалуйста, я могу пересесть. Запросто.

И пересел назад. С разочарованием он отвернулся к окну, где уже мелькали перелески, где жилые массивы белели сквозь яркую зелень, где попадались деревянные, с небольшими палисадничками домики.

О Дашке Гурьиной он теперь не думал. Он ее не замечал. Ее как будто и не было в окружающем его реальном зеленом и приветливом мире.

В лагере он ее тоже тогда не замечал.

Не замечал он ее и в этом году, когда они снова попали в тот же лагерь, но, не замечая, он все же уловил, что она вполне освоилась, а к середине смены неожиданно подросла.

Надо сказать, что к концу смены жизнь была другая, более вольготная, каждый из них теперь знал свое место и общий распорядок и понимал, как можно сачкануть от какого-нибудь пыльного дела, а где можно, наоборот, проявить себя, умело найти общий язык с вожатыми, знал, где можно покурить иногда, чтобы не попасться, курить тайно (это было интересно), каждый из них к концу второй смены знал «кто есть кто».

Вечерами в лагере устраивали танцы, куда ходили вожатые, ребята из старших отрядов, молоденькие официантки, солдаты, неизвестно как попавшие сюда, а также кой-какая мелюзга, не желавшая придерживаться детского режима и пользовавшаяся, говоря словами начальницы лагеря, «разгильдяйством и либерализмом вожатых».

Пришел однажды и Игорь. Сначала, как правило, играл аккордеонист, репертуар у него был древний, какие-то песенки — «Мы с тобой два берега», «Тишина» и что-то в этом роде, — все танцевали вяло, медленно, враскачку, а мелюзга вилась вокруг бортика танцплощадки, скучая и покуривая от безделья.

Но вот кто-то принес магнитофон. Высокий ритм Джеймса Ласта штопором ввинчивался в тишину, в шорох леса, и все кидались на этот маленький, желтеющий в свете сиротского малонакального фонаря квадратик танцплощадки, и она раскалялась через несколько мгновений и, дымясь, как бы взлетала вверх, и падала, и снова взлетала, и, ломаясь, раскачиваясь, топоча, подпрыгивая, поводя мускулами плеч, шеи, сгибая руки, повторяли ритм все, как умели: вожатые и пионеры, девочки-официантки, солдаты, ребята из старших классов и пронырливая мелюзга. О, как плясали на скромной этой танцплощадке вблизи красного уголка под сенью деревьев!

Глуховатым шелестящим звуком гортанно вступала труба и звала бог знает куда, умирали и возрождались саксофоны, ударник частил так, что сердце выпрыгивало; хриплый лесной надорванно-прекрасный, жаждущий то ли любви, то ли крови голос властвовал над людьми, и они превращались в комки неслыханной энергии, на которой могла бы работать сейчас могучая ГЭС.

И как ни странно, а может быть, вполне закономерно, лучше всех, раскованнее, и свободнее, и легче, и даже выносливее танцевали не взрослые, а именно малолетки. Они словно бы родились с этой музыкой, им не надо было перестраиваться, как поколению отцов, с фокстрота и танго на балльные танцы, оттуда на рок, потом на твист, сначала запретный, потом повсеместно внедряющийся, а затем на все эти прихотливые шейки и далее, как верх новаций на полузабытый чарльстон.

Эти маленькие привыкли к звуку и к движению, ритм и легкость были даны им с младенчества, и нате вам — эти малолетки, шмедрики, так называемое подрастающее поколение, называй их как хочешь, были вдохновенными мастерами этого дела.

А уж кто с кем танцует — парень с парнем, девчонка с девчонкой, а если никого нет рядом, то так, соло, сам с собой, или пристроившись к кому-нибудь сбоку, — неважно, был бы квадратик жилой площади, был бы лишний сантиметр для движения.

И вдруг в этой толчее мелькнула удивленная и как бы светящаяся Дашка Гурьина. Возникла и исчезла в бешеном потоке, рванувшемся на танцплощадку при первом же звуке музыки. А потом она появилась совсем рядом

и, к полному изумлению Игоря, сказала тихо, дружелюбно и как бы доверительно:

— Ну что... давай... а?

Он кивнул молча, по-мужски, с достоинством. Давай так давай. Делов-то. Какая разница, с кем танцевать. Пошел сзади нее. Вразвалочку, покинув раздевалочку... как бы без особого энтузиазма. Ну, и станцевали нормально, потом еще раз. Она тоже умела здорово. И не так бойко и разухабисто, с различными вихляниями, а очень точно, легко, красиво, чувствуя любой, самый незначительный толчок ритма.

Хорошо было с ней танцевать.

Потом их поразгоняли, пора и честь знать, и все, усталые, но довольные, с нерастраченным запасом сил, отправились по коттеджам, и Игорь тоже.

— Ну, привет,— сказал он ей на прощание.— Не пропусти утреннюю линейку.

— Не беспокойся,— сухо сказала она.

С тех пор и до конца лагерной смены они не перекинулись ни словом, будто и не были знакомы.

Смена кончилась, их увезли по домам. Через неделку снова в лагерь. Теперь и проводы были легкие и веселые, не то что в начале лета.

Дашку он искал глазами. Должно быть, в другом автобусе. На общей линейке ее тоже не увидел. Может, заболела, позднее привезут. Но ее так и не было видно. Потом спросил у одной девчонки из ее отряда:

— А где же ваша Гурьина?

— У нас такой больше не значится. Где она, не знаю. Может, в Москве, а может, на юг с матерью махнула.

Ну, нет так нет, подумаешь, Дашка Гурьина... Жили и без нее. Конечно, на юге лучше... Если б мои меня взяли, я бы с удовольствием. Теперь в Москве, наверное, не увидимся. А зачем, собственно?

Так он думал вполне разумно и бежал уже по футбольному полю, где должны были сразиться шесть на шесть с пацанами из лагеря «Буревестник».

Все было хорошо, и правильно, и разумно, и жизнь шла вперед, в заданном направлении, и было много дел и занятий и не время скучать, и было весело, и надо было победить в матче, и, остановившись на мгновение, он ощутил вдруг холодок непонятной и глубинной пустоты, будто чего-то долго ждал, а его обманули.

...Он нормально прожил вторую смену. «Нормально». Это слово употреблялось часто и давало исчерпывающий ответ на все вопросы:

«Как дела?»

«Нормально».

«Какие оценки?»

«Нормальные».

«Как сыграли?»

«Нормально».

Ясно и коротко. На самом же деле лагерная жизнь была не такой уж нормальной. Она была вовсе не такой последовательной, простой, четко размеренной, как могло показаться приезжему взрослому, не такой романтически наполненной, как изображается в некоторых книжках из детской жизни: зорьки, подъемы, походы, пионервожатые, приезжие ветераны, спортивные игры, военные игры, старшие друзья, опекающие младших подруг, младшие подруги, врачующие младших друзей. Яркие вспышки костров и тугой перестук мячей.

И так, и не совсем так.

Прежде всего в лагере ты должен был быть или, по крайней мере, казаться сильным. Если ты не был сильным, ты терял самостоятельность и суверенитет. Ты становился частью определенной группы, может быть даже чуждой тебе, которая прикрывала тебя в нужный момент, но в которой ты тоже был не из первых, а значит, в известной степени ты чувствовал себя подчиненным чужим интересам.

Трудно определить, кто именно были первыми и почему они таковыми становились. Первыми, главными были те, кто обладал а в т о р и т е т о м. Они могли шутить над тобой, но не ты над ними, иначе, не зная этого, ты мог крепко нарваться.

Ты шел в стайке где-то, может быть, в середине компании, а может быть, и в конце. Ты мог острить, обращать на себя внимание, ты мог подавать голос в своей компании, напоминая, что ты есть и что ты тоже человек со многими достоинствами. И иногда компания откликлась на твои шуточки. Но если ты не обладал а в т о р и т е т о м, ты все равно всегда оставался человеком из хора.

Здесь, в лагере, у каждого было свое место и своя роль. И как бы ты ни притворялся, кого бы из себя ни строил,

тебя раскусывали тут же с ходу, немедленно ставили на положенное тебе место. Здесь умник оставался умником, слабый — слабаком, отважный так и ходил в хрябцах, а тот, кто мало говорил, но знал, что́ говорит, кто знал ответ на всякий вопрос, а иногда и без вопроса, с ходу и немедленно да так, что спрашивающий валился на траву и терял охоту ко всяким новым вопросам, — вот такой спокойный и уверенный шел всегда впереди. Здесь не было дурной привычки издеваться над слабыми. Наоборот, слабых даже жалели, поощряли и в случае необходимости защищали, но только тех слабых, которые не притворялись сильными и не ходили по каждому поводу к вожатым и к администрации. Слабый должен был знать, что он слаб, и тогда все относились к нему с пониманием. Интересно, что никакая художественная самодеятельность ничего не меняла в этой расстановке сил. Никакая лепка, пение, декламация стихов. Ты мог лепить что угодно и из чего угодно, твоя лепка могла быть отмечена на смотре или где-нибудь еще, твой голос мог нежно журчать на праздничном концерте, это было хорошо, но ничего не меняло в твоём положении, в иерархии местного общества. Здесь люди определялись не по художественным талантам, не по смотрам и не по выставкам.

Они определялись по быту.

Впрочем, имел значение спорт. И если ты гонял в футбол лучше других, или точно попадал в баскетбольную корзиночку, или как олень рвал стометровку, ты считался серьезным человеком, приобретал часть авторитета. Здесь признавали реальные вещи, а не высокие материи.

Горели костры-самоделки, не те большие, праздничные, с выступлениями и концертными номерами, а маленькие костерки, то вспыхивающие, то затухающие, отбрасывающие резкий свет на лица сгрудившихся ребят. В красном их свете ты был виден весь как есть. Шли рассказы, истории, байки, случаи, анекдоты. Всё освещалось здесь: международная жизнь, вопросы культуры, проблемы спорта, половые проблемы. Да, им, последним, этим трудным проблемам, принадлежало не последнее место у маленьких костерков старших групп. Не в тоненьких брошюрках общества «Знание», или в специальных программах, или в объяснениях научного лектора узнавались здесь необходимые юношеству сокровенные тайны. И дружный смех, иногда даже переходящий в

ржание, сопровождал некоторые самодеятельные доклады и сообщения.

Но иногда уставали от всех этих сложных тем и замолкали вдруг и запевали песню, чаще всего почему-то «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...», и лица менялись, приобретали новое выражение, и небо с подмосковными некрупными звездами отодвигалось, становилось больше и выше.

Почему именно Есенина? Почему, не зная даже точных слов, именно его и во всех поколениях? Почему переписывали от руки отец Игоря и его товарищи в те годы, когда его не издавали, и в школе не проходили, и вообще не рекомендовали? Почему именно его грусть так ложилась на жаждущие чувств первобытно-черноземные, слегка замусоренные всяким вздором, но все же открытые еще нежными венчиками своими души?

Не наше это с вами дело определять, почему. Мы можем отметить лишь, что это было и есть.

«...Или что услышал, или что увидел...» — а уж потом и другие песни. Игорь часто отходил от этих костерков. Ему хотелось, надо было побыть одному. Вся его будущая долгая жизнь счастливо проигрывалась перед ним, как магнитофонная пленка. Ее можно было пустить назад, вперед, перевернуть, поменять местами, все равно она звучала гулко и упруго. И он видел себя счастливецом и победителем — над кем, над чем, он не знал. Он побеждал все дурное, неопределенно липкое, мешающее счастливо и ясно идти по теплой траве.

— Чего ты там бормочешь? — говорил ему кто-то из друзей.

— Да нет, это тебе показалось.

А сам бормотал и пел, точно молился какому-то божеству, как язычник, может быть, богу солнца Ра или богу ночи... как его там зовут... Он был еще человек дохристианского периода.

А на следующий день, в так называемый тихий час, он шел к туалету, стоявшему на возвышении и источавшему острый запах карболки. Там трое ребят из младшей группы «водили» веснушчатого худенького мальчишку в синей спортивной куртке и в трусах; его брюки, подолгу зависая в воздухе, перелетали от одного пацана к другому. Он, ругаясь, беспомощно тыркался к каждому из них, а они с издевкой перепасовывали штаны по кругу. Игорю

было неприятно смотреть на все это, на суетливо бегавшего от одного к другому жалкого пацана, на гогочущих мальчишек из младшего отряда. Игорь хорошо знал эти игры, доводившие до слез, до яростных мальчишеских слез, смешанных с соплями. Он оглядел троих оценивающе. Младшие были довольно-таки крупноваты. Лезть было рискованно. Он с отвращением слышал их радостные крики, истеричный полу визг, полуплач веснушчатого, которого уже довели и, сам не зная, как это случилось, он мгновенно перенесся, влетел в этот круг, рядом с тычущимся, беспомощным пацаном, окруженным тремя хохочущими красными мордами.

— А ну отдай, брысь отсюда! — угрожающе кричал он им.

Те посмотрели, быстренько соображая, попробовать навешать ему или отдать. Один стал посылать его куда следует. И тогда он цепко бросился на этого краснорожего здоровенного младшенького.

Он хорошо боднул его в грудь, тот отлетел на несколько шагов, эти двое, как кошки, бросились на него, а тот, бедолага, сидел без штанов на траве и рыдал.

Не успели они разлепиться, как услышали громкий, как сирена, голос. Слов он не различал, только потом понял, что человек ругается, и крепко, и, как выяснилось, не просто человек, а вожатый младшего отряда; выпучив глаза, он шел прямо на них:

— Что это еще за художества в тихий час? Что это за картинки?

Надо было объясняться.

— Да вот, они у этого маленького штаны отняли.

— А ты на что, большой? Ты ведь старшекласник, а сразу в кулаки. Ты им по-человечески мог сказать? А то сразу — силой!

«Да, да, сразу, — говорили лица этих троих, — именно сразу», — говорили их обиженные лица, а один верзила младшекласник даже слезу размазывал и чуть-чуть подвывал, будто ему всерьез от Игоря досталось, и все они смотрели на него, как на пса какого-нибудь, сорвавшегося с цепи и укусившего бедного козленка, а сомкнутые их губы неслышно шептали: «Уж и отметелим мы тебя всем отрядом, дай только срок!»

На отрядной линейке он получил устное предупреждение за то, что затеял драку, да еще с младшими.



Он чувствовал солоноватый привкус великомученичества и рассказывал своим ребятам, как все было на самом деле.

На следующий день, вечером, сидел у костерка и мечтал и, размечтавшись, как всегда один, пошел по ровному футбольному полю домой, где светились уютными огоньками жилые домики лагеря.

Вот тут и выскочили пятеро или шестеро, оцепили, стояли, кривляясь, гася сигаретки.

Никого из своих рядом не было.

Надо было или попробовать прорваться сквозь них, или удрать.

И он побежал к реке.

Они все-таки догнали его, завалили на траву, стали бить. Бить по-настоящему, видно, они не умели, а может быть, и боялись вожатых, которые могли появиться здесь, а может, он не давался. Во всяком случае, отделался он сравнительно легко. Выцарапался кое-как, убежал. Они долго сквернословили ему вслед, плевались.

Ходил около своего домика, у рукомойника лил воду на дрожащие руки, обтирал побитое лицо. Смеялись чему-то ребята в домике, никому не хотелось спать. А ему тяжело было войти в комнату, в этот резкий свет, отвечать, рассказывать.

И думал потом, когда уже погасили свет, лежа на узенькой кровати у стены, в теплой, надышанной отроческими запахами комнате своего отряда: «А зачем я ввязался?» И еще: «А ведь говорят, не стой в стороне, когда несправедливость. Вот тебе и не стой».

И никто ведь не видел его подвига, но все прознали про его позор. Про то, как его отметили младшеклашки.

Нехорошо все это было. Неправильно.

И когда отец приехал в родительский день, он ему рассказал, спросил, прав ли он.

— Я не знаю, прав ты или нет, я могу только прикинуть на себя.

— Ну, прикинь.

— Я бы, пожалуй, полез.— И добавил, подумав: — Надо только как следует рассчитать свои силы. Защищать слабых надо с точно рассчитанными силами.

Так говорил многоопытный отец.

А вокруг, на поляне, разомлев от дальней дороги

и от близости своих чад, отдыхали на траве родители, вокруг них вились цыплятами младшеклассники, поклевывая привезенный корм, солидно сидели старшие, железными челюстями перемалывая тщательно вымытые яблоки и ягоды и беседуя со стариками. Всюду вокруг происходило таинство родственного общения. Обиженные и обидчики, победители и побежденные, герои и плуты, друзья и недруги — все были заняты сейчас как духовной пищей радостного общения, так и не менее приятной земной пищей, привезенной из родительского крова. Мир и благодать царствовали вокруг, и на вопрос, как дела, все отвечали с редким единодушием: «Нормально».

И, лежа на земле, слушая отца, глядя на смуглое, предвечернее небо, Игорь думал о справедливости и несправедливости и о чем-то ускользающем, приятном, но с легким облачком печали. Может быть, о Дашке?

А осенью, уже когда пошли в школу, он зашел к приятелю во двор. Там на лавке сидела большая компания ребят постарше Игоря. Двое ломкими голосами что-то пели, третий играл на гитаре. На краю скамейки сидела Дашка Гурьина и слушала. Он даже и не понял сразу, что это она. Ее и узнать-то было трудно.

Даже и не скажешь, что выросла, ему не видно было сейчас, какого она роста стала. Но она была совершенно другая, будто не два месяца прошло, а несколько лет и теперь она, Дашка, не худенькая девчонка, от которой не знаешь, чего ждать, а какая-то неприступная, снисходительно поглядывающая на всех окружающих молодая женщина, некая юная леди с Хавско-Шаболовского переулка.

Он даже сделал вид, будто ее не заметил, так как никогда не знал, поздоровается она с ним или нет. А теперь, после этих двух месяцев, что они не виделись, и вовсе думал, что она сделает вид, что незнакома с ним.

Она была в полосатом свитере-безрукавке, открывавшем загорелые руки, на коричневом тоненьком запястье болтался широкий пластмассовый браслет. Парни тянули Высоцкого, особенно один старался. Пел он плохо, страшно рычал и завывал, подражая автору, но все это было не похоже, и слушателей это тоже не брало. Парни и еще одна девчонка, незнакомая Игорю, курили, даже и не

поворачиваясь к исполнителю, и безучастно смотрели себе под ноги.

Игорь сделал пару кругов вокруг них, присел на край скамейки.

Потом то ли певец устал, то ли всем надоело его слушать и он наконец понял, но он замолк, и кто-то начал рассказывать похабные анекдоты.

Все смеялись, но тоже скорее потому, что так полагалось. А Дашка встала, прошла всю длинную скамейку, неожиданно остановилась на секунду около Игоря и сказала:

— Мне лично это надоело. А тебе?

Игорь так растерялся, оттого что она не только узнала его, но и подошла к нему и подчеркнуто громко сказала это, что молчал, снизу вверх глядя на нее, как бы прикованный к этим красным пластмассовым кольцам, покачивающимся перед его глазами.

— Я пошла, — решительно сказала она.

Он тоже встал, хотя знал, что потом о н и его задралят, проходу не дадут...

Шли молча. Она шагала быстро, будто куда-то торопилась. Была какая-то неловкость во всем этом, куда-то шли, не зная, о чем говорить, не глядя друг на друга. Наконец Игорь спросил:

— А куда летим-то? — И добавил с подобием усменки: — На поезд, что ли? Или так, спортивная ходьба?

Вместо ответа она сказала, точно продолжая какую-то давно начатую речь, которую молча прокручивала в себе, пока они шли:

— Такая тупость... Идиотизм просто. Скука. Ослоумие. Выпендриваться тоже надо умеючи... Все чужое. Слышали, да не поняли. Песенки. Анекдотики... И ведь не потому я против, что там словечки всякие... меня это не волнует. Вот брат такое завернет, ну просто полный обвал, но здорово, посмеяться можно от души. А эти бубнят что-то, не разбери-поймешь... Уроды!

Он не знал, что так задело и разозлило ее, что заставило так внезапно уйти от этой компании, и потому, нарочито не разделяя ее возмущения, сказал спокойно:

— Нормально. Нормально поют... Бывает лучше.— И добавил, помолчав: — Куда ж ты подевалась из лагеря?

— Мать увезла под Николаев. У них там пансионат от завода. Я так в первую смену рвалась из лагеря, а потом

жалела... А ты как? — И, не выслушав ответа, сказала: — А вот и мой дом.

Это был шестиэтажный, порядком закопченный, но основательный дом послевоенной застройки.

— Ну что же, значит, разбежались, — сказал Игорь как бы равнодушно. — Ну, чао...

— Чао-какао, — игриво сказала Даша. — Впрочем, если хочешь, можешь зайти.

«Если хочешь! — подумал Игорь. — Разве так приглашают?» Ему хотелось быть гордым, совершенно независимым, ни капельки не заинтересованным ею, как бы занятым своим важным делом и потому торопящимся домой или еще куда-то. Хотелось кивнуть небрежно и уйти, расправив плечи, навстречу тьме и неизвестности, но вместо этого с неожиданной готовностью и даже поспешностью он сказал:

— Можно. — И добавил: — Так... на минуточку.

Зашли. В передней уже он услышал чьи-то голоса, приятная музыка тихо наигрывала, дверь была полуприкрыта, и в дверном стекле вспыхивал красноватый какой-то свет. Вслед за Дашей он вошел в просторную комнату, слабо освещенную настольной лампой.

Двос мужчин, а точнее сказать, молодых людей, играли в шахматы. Девушка сидела на диване, поджав ноги, покуривала и что-то писала. Около шахматистов стояла бутылка вина, а у девушки был такой вид, будто она вся поглощена, вся вдохновение.

«Может, это она стихи пишет? — подумал Игорь. — А может, и к зачету готовится, кто ее знает...»

— Вот это Игорь, — сказала Даша.

— Видим, что Игорь, — сказал один из играющих, не поднимая глаз и глядя на доску хитро, оценивающе и вместе с тем непроницаемо. — Видим, что не Маша. — Он плавным, хищным движением поднял руку, навис пятерней над доской.

«Может, он какой-нибудь гроссмейстер», — подумал Игорь.

«Гроссмейстер» сделал ход и повернулся к Игорю: — Вина хочешь?

Игорь пожал плечами:

— Я вообще-то не пью.

«Гроссмейстер» посмотрел на него, скользнул взглядом сверху донизу и, отхлебнув вина, спросил:

— Ты что, не аксель, что ли?

— Кто? — простодушно переспросил Игорь.

— Аксель. Аксель Акселевич. Акселерат. Племя молодое, незнакомое, пьющее, курящее, мыслящее критически... Так вы не из них будете?

Он продолжал что-то еще говорить, все время чуть изгилаясь, но Игорю не было обидно, его это все не трогало. Он говорил все это Игорю, но Игорю почему-то казалось, что брату важнее было, чтобы эта тихая, молчаливая девушка, что-то там писавшая в углу, в сумраке, услышала его высказывания, что вообще все, что брат Дашки говорит, он говорит ей, но она почему-то не слышит или слышит, но не показывает виду. Однажды только она подняла лицо, чуть усмехнувшись, долго и внимательно, с усталой нежностью, как на сына, посмотрела на него, и он тут же послал ей взгляд-сигнал, смысл которого был Игорю не ясен, как и все, что между ними тут происходило, но взгляд возбужденный, радостный и как бы означающий, что ее сигнал принят, принят с одобрением и благодарностью. Они да и молчаливый партнер брата вроде бы уже забыли про Игоря, про вино, которое было ему предложено.

— Вообще-то я могу немного,— осмелев, сказал Игорь. Дашин брат налил ему треть стакана.

— Правильно, не бойся. Сухое. От него не окосеешь. Дашка, дай человеку яблоко... Ты в шахматы как?

— Могу,— все больше осваиваясь и храбрее, сказал Игорь.

— Давай. Договоримся так. Я буду старик Петросян, а ты дерзкий юный Карпов... Посмотрим, кто кого обдерет.

Он «ободрал» Игоря раз и другой, ему стало неинтересно. Он обратился к приятелю, который густо дымил и тихо попивал вино из другой бутылки, они заговорили о каких-то своих делах, а Игорь налил себе еще полстакана вина.

Было странно и хорошо, будто он знал всех здесь давно: рыжего, с бородой молчаливого приятеля и этого брата, так не похожего на Дашку, говорливого, немного ломаку, но, может быть, и ничего мужика... Вообще хорошо иметь брата.

Он об этом давно думал, но остро почувствовал именно сейчас. Брата, с которым можно поговорить о б о в с е м. Дашка то исчезала из комнаты, то входила, разговаривала

мало, но была внимательна и приветлива, совсем не такая, как в лагере, словно дом делал ее другой, более осторожной, мягкой и уступчивой.

Да, она выглядела сейчас еще более взрослой, чем на улице. Она была настоящая хозяйка, которая за всем следит и заботится, чтоб всем было хорошо.

Внезапно девушка, сидевшая в темноте, встала, бросила свою писанину и завела музыку.

Это была прекрасная тихая мелодия из «Крестного отца», уже немного заигранная, но он как бы услышал ее в первый раз и сказал Дашке, скрывая волнение:

— Давай, что ли?

И сразу же, с той секунды, как они сошлись в центре комнаты, с первого же шага, они нашли общее движение, как тогда, в лагере, на деревянной танцплощадке. Ее загорелые и легкие руки лежали на его плечах, и он видел, как она в такт музыке, дерзко, словно поддразнивая его, поводит шоколадными плечами, обтянутыми узким, как майка, без рукавов свитером.

— Смотри, какие молотки, — сказал брат. — И где только, на каких задворках они выучились так плясать?

Игорю было совершенно все равно, что скажет он или кто другой, понравится это кому-то или нет, он был поглощен чем-то иным, новым, и, чем глубже он это новое ощущал, тем равнодушнее был к тому, что происходит вокруг, тем легче и свободнее двигался и только на одну секунду сбился: испугался, что общая эта нить, родившаяся из ничего, из ящика на полу, упруго взлетевшая и толкнувшая их друг к другу, так удивительно объединившая на несколько минут, вдруг прервется, и навсегда.

В лагере они тогда тоже очень хорошо танцевали, но совершенно все было иначе, и он чувствовал себя другим, чем тогда, будто действительно прошло не два месяца, а никем не измеренное время.

Неожиданно пришли парень с девушкой, оба очень высокие, худые, как баскетболисты. Они принесли с собой бутылку. Дашка беспрерывно бегала на кухню, нарезала то помидоры, то сыр, то хлеб, приносила, что-то уносила.

Когда она выходила из комнаты, ему становилось одиноко и неинтересно. В один из таких моментов он вышел из комнаты, прошел темный коридор, заглянул на кухню. Она стояла спиной к нему, старательно, сосредоточенно что-то резала. Он подошел к ней близко, почти

вплотную, но она не обернулась, то ли не услышала, то ли сделала вид, что не слышит... Он хотел закрыть ей глаза ладонями, как в детской игре «Угадай, кто это?», но тут же ему это показалось глупым, и он просто стоял так недвижно, тихо, дыша ей в затылок, видя перед собой тоненькую коричневую шею в завитках светлых выгоревших волос.

— Чего ты? — сказала Даша. — На кухне тебе делать нечего! — Она говорила чьим-то чужим, рассудительным тоном, может быть тоном ее матери, но в голосе ее он почувствовал оттенок тревоги.

Когда он шел сюда, на кухню, он не знал, что здесь будет. Он так просто шел, без всякой цели. Он хотел увидеть ее одну.

Но сейчас, странно напрягаясь и страшась, он решил: вот именно сейчас и будь что будет. Он мгновенно решил, как все сделает, как надо сделать. Надо резко повернуть ее к себе, чтобы ее лицо было вровень с его лицом, и тогда он поймает ее губы и поцелует. Так все он решил в эту секунду. Но, не умея, не зная, как это, теряя уверенность и решительность, он беспомощно уткнулся ртом, глазами в теплую ложбинку на шоколадно блестящей шее, пахнущую почему-то солнцем и будто бы песком. Так ему показалось.

Какое-то мгновение они стояли так, и она не двигалась, и он не знал и не понимал, что дальше будет, и что делать, и что говорить или, может быть, не говорить ничего. И как вообще вести себя. Потом она отодвинулась от него, подняла лицо и посмотрела. Как бы навывлет и глубоко в него и дальше насквозь прошел ее взгляд, одновременно изумленный и равнодушный, холодный, режущий, который вообще у нее иногда бывал и неприятно пугал его, а сейчас был сгущен до предела, так, что он физически чувствовал его острый ледяной свет и понял тут же всю нелепость свою и жалкость, ненужность этого порыва и какой-то непонятный ему еще обман и медленно пошел по коридору.

В открытом дверном проеме другой комнаты, меньшей, он увидел ее брата и ту девушку. Он даже скорее понял, что это они. Они были так прижаты друг к другу, что вначале показались ему единым удивительным двуспинным существом. Они были втиснуты в какое-то кресло, и брат целовал девушку, но не так, как он хотел поце-

ловать Дашку на кухне, и не так, как в кино герои, а как-то иначе, пугающе, будто он хотел задушить, загрызть ее. Она не сопротивлялась и не отстранялась, лицо ее было запрокинуто, и было видно оголившееся, блестящее в свете настольной лампы колено, и вся она податливо и, как ему показалось, неприятно торопливо прижималась к брату.

Он пробежал узенькое пространство коридора; вернее, ему показалось, что пробежал и что «пространство» всего три-четыре шага — и дверь, и неумелыми руками он стал открывать неподатливый новенький замок, жирный и скользкий от еще не снятого масла.

Бежал по гулкой лестнице, по полутемным ее маршам, тонул во тьме и выныривал на тех этажах, где тускло светились голые больничные лампочки, помнил теплое это прикосновение, и ритм музыки, их музыки, только что им обоим принадлежавшей и вот загасшей, еще покачивал его, а остальное хотелось не помнить, не знать. Он выбежал на пустой двор, вскочил на качели, они ржаво скрипели; он раскачивал их изо всех сил, взлетал над землей, прямо к горящим наверху окнам, там было и ее окно, квадратик, светившийся так же, как другие, и он не видел сейчас ничего, кроме качающейся земли и этих светящихся квадратиков и кроме лица в одном из них, лица, прижатого к стеклу и смотрящего вниз на черную землю, где взлетают вверх и падают вниз качели, похожие на оглобли.

Он выкрикивал какие-то ругательства, хотел упасть с качелей и разбиться, но руки, намертво вцепившиеся в ржавые прутья, и хитрый инстинкт самосохранения крепко держали его, не давая упасть вниз. Потом он успокоился, и ему стало даже хорошо, и он стал разговаривать с ней, сначала спокойно, потом расналяясь, в чем-то яростно ее убеждая, а в чем, он и сам не знал.

У своего двора опять встретил тех, что сидели на лавке, пели песни. Теперь они расходились по домам. Ему не хотелось с ними встречаться, он нарочно помедлил у входа во двор, и, как назло, нос в нос встретился с певцом.

Тот остановился, ткнул пальцем в Игоря:

— А хорошо тебя Гурьина увела. Как наседка птенчика. А ты лопухи раскрыл — и на полусогнутых. Не ты первый, конечно.



И, раньше чем ответить гаду, сказать ему, кто он такой, рука сработала четко, вполразворота, не медля, в скулу, так что пальцы обо что-то ободрались, то ли челюсть у него была такая твердая, то ли в зуб заехал...

Так ему представилось, что сработала. Так хотелось.

Но на самом деле сказал равнодушно и с безразличностью:

— Иди ты...

Именно на следующее утро он и не пошел в школу. Когда матери «настучали», она расстроилась до слез и все расспрашивала, где он был, с кем шатался:

— Не хватает еще только, чтобы связался со шпаной!

Больше всего ее пугало именно это. Но объяснять матери ничего не хотелось. Вот с отцом всегда легко было найти общий язык в самых сложных случаях жизни. Но отца теперь не было рядом, как раньше, как всегда... Он только звонил каждый день. Но по телефону-то что скажешь. Раз в неделю он приходил. Но сейчас его уже давно не было; видно, уехал куда-то в командировку.

Игорь поехал на ВДНХ. И там в одиночестве шатался по павильонам, особенно надолго застрял в павильоне радиоэлектроники.

Ел мороженое, слонялся по берегу пруда, а также в той зоне, где в широких вольерах жили выставочные звери.

Было свободно, тревожно, странно, одиноко и хорошо. Впервые было так.

То, что было с ним последнее время, и то, что он ощущал, именно ощущал, а не понимал, постоянно мучившее его, стоявшее временами комком в горле, так что приходилось напрягать живот, чтобы не расплакаться, — все это, тяжесть, воспаленность головы, ушло вдруг, точно он легко и неожиданно выздоровел после болезни. И сейчас он не думал ни об отце, ни о матери, ни о школе, в которой все не ладилось и рассыпалось, как пересохший пластилин, он думал только о Дашке, о ее брате; о той уже сейчас как бы на много километров отдалившейся улице, где был ее дом.

С радостью он думал о ней плохое. Даже делал какую-то странную и, как он сам догадывался, подлую подстановку: ему казалось, он представлял, что не та

незнакомая девушка брата мелькнула в полуотворенной двери, а она, Дашка.

Теперь он ждал от нее только обмана, какого-то удивительного, незнакомого ему в этой жизни обмана, и он заранее отрезал, отрубал себя от нее, безвозвратно решая, что никогда, ни за что. И ему легко становилось от такого решения.

Все это напоминало игру с самим собой, словно бы в шашки, в поддавки, так как в глубине, на самом деле, ни в какое такое решение он не верил, а хотел только одного (для осуществления чего придумывал самые хитроумные способы) — снова ее увидеть.

Все плохое, что он о ней надумывал, не только не отдаляло ее от него, но, наоборот, притягивало. И что, собственно, плохое? Плохо он не мог о ней думать. Старался, но не мог. Плохо никто не мог и не должен был о ней думать. Он был убежден, что убьет (ну, может, и не убьет, а просто ударит) всякого человека, сказавшего о ней плохо. И он не знал, как ему быть, как существовать без нее... Все равно, что шумела, горела игра и ты был главным ее участником, был окрылен ею, но вдруг она кончилась, и ты одиноко, тускло бредешь по кромке поля, не зная, чем заняться, и медленно выпуская теплое, стремительное движение из медленно раскачивающихся в такт шагам опущенных рук.

Ему казалось иногда, что теперь они никогда не увидятся. Он собирался написать ей письмо. Потом представил ее ледяные, ироничные глаза, увидел, как она читает, с какой усмешечкой она может это прочесть...

Смотрел ли он на других девчонок? Конечно, смотрел. На красивых. Или на тех, кого не назовешь красивыми, но почему-то все равно посмотришь им вслед. Но это ничего не меняло. На них он смотрел, а о ней думал.

Иногда он слышал разговоры взрослых о них, старшеклассниках, так сказать, вообще об их поколении. Любопытно было послушать, что эти мудрые люди думали о таких, как он. Одни считали, что о н и ничего в этой жизни не знают, лишь только смутно догадываются. Другие, что о н и знают все. Что они исчерпали все теперь и навсегда.

Второе странным образом даже льстило ему. В глубине души он был убежден: они не знают нас, как мы не знаем их, и поэтому то, что они думают о нас, неверно. Конечно,

он не мог ответить за всех своих ровесников, но за тех, кто реально окружал его, он мог ответить. Их-то он знал досконально и отлично представлял, who is who. В этом мире все было изучено им, как говорится, в трех измерениях.

Он наблюдал таких пацанов, таких девчонок-оторв, с такими разговорами в подъездах, с таким питьем и с такими в а р и а н т а м и, что даже он, достаточно притершийся, старался обойти их стороной. Ругались многие, почти все, но часто просто так, для понту, без злобы, эти же шпарили с такой злобой и изощренностью, что, слушая их, он будто задыхался в вонючей канализационной луже. И все же таких было немного. А чаще всего — слоняющиеся, захмелевшие, или готовящиеся выпить, или представляющиеся пьяными, или все время твердящие о пьянке, лоящие кайф, но все никак не поймавшие его, с затуманенными глазами, идущие куда-то, по дворам, по опустевшим хатам без родителей... Они тоже искали чего-то, но не могли найти. А треп шел такой, что можно было бог знает что подумать, особенно парни изголялись. Послушать их, так всё они видели. Большинству мужиков ломали челюсти. Все девчонки были их, и так далее и тому подобное... И интересно было видеть, как перед незнакомыми девчонками, не их капеллы, не из их круга, они робели, придурялись и не знали даже, как подступиться.

Перед многими из них была еще какая-то черта, словно флажок на волне: к нему подплываешь, а дальше — глубина, плыть нельзя, опасно, и ты возвращаешься назад.

И эти девчонки, вольные на язык, с сигаретками во рту, с оголившимися коленками, потягивающие вино и усмехающиеся, такие доступные, протяни только руку, были недоступными, недостижимыми, если по правде... Так, только до флажка.

Впрочем, попадались и совершенно другие. Он называл их «кружковские», потому что они посещали разного рода кружки самодеятельности, студии и прочее. Вот они были без вина и сигарет, простые на вид, но на самом деле разобраться трудно, не давали списывать и обожали диспуты о смысле жизни, о дружбе, любви, товариществе. Их он уважал, но к ним его не тянуло.

Всякие бывали. И во множестве...

А Дашка была одна.

...Все ходил после уроков по ее трассе, конечно, не у самого дома, а там, где, по его представлениям, она должна была идти из своей школы.

Он и не знал толком, где ее школа. Неподалеку от ее дома было две школы, но он ходил взад и вперед в надежде встретить ее. Ему даже не хотелось разговаривать с ней. А просто увидеть. Может, разговаривать как раз и не хотелось.

Кого только здесь он не встречал. Тех, кого года два не видел, каких-то полужнакомых ребят из других районов. Только не ее.

А встретил совсем в другом месте. В магазине «Москва», где торчал на первом этаже у секции сувениров и значков.

Существовало такое увлечение: страсть к большим круглым, как блямбы у довоенных дворников, значкам. Вот тут-то и увидел он Дашку с мамой. Мама что-то выговаривала ей, и было непривычно и интересно видеть Дашку не самостоятельной, независимой, а дочкой, девочкой, молчаливо-покорно выслушивающей то, что ей говорят старшие. Она была почти такая же, как тогда в лагере.

В самую свою первую смену.

Впрочем, несмотря на внешнюю ее покорность, глаза ее плутовски блестели, вовсе не безразличные к скромным соблазнам первого этажа; они так и шныряли по лоткам с мороженым, по стендам со значками и даже, может быть, по нарядным коробочкам парфюмерного киоска. Так и столкнулся ее потупленно-оживленный взор с его сдержанно-обрадованным. «Сделает вид, что не видит, не узнала», — подумал Игорь.

Однако не сделала, узнала. Улыбнулась. Даже подчеркнуто улыбнулась, как ни в чем не бывало.

Натыкаясь на покупателей, на всем пути от секции значков до секции электротоваров он думал о странностях людей и о превратностях жизни. О том, как все меняется в людях: вот тебе так плохо, что ты, как говорится, сам себе не родной, но вот один маленький поворот, и ты летишь, как пишут поэты, на крыльях. Летишь на стальных крыльях, небольших, невесомых, задеваешь людей, взлетаешь вверх и паришь, напевая. Ведь как давно известно: именно песня нам строить и жить помогает.

Затем, уже спустя несколько дней, он вновь прогу-

ливался по улицам, соединяющим ее дом с одной из тех школ, где она могла учиться, и вновь он никак не мог ее встретить. Он достал номер ее телефона, несколько раз набирал его и, едва только возникал первый гудок, вешал трубку. Наконец снова набрал и выдержал все басовитые, равномерно сменяющие друг друга гудки, услышал чей-то голос — там, на другом конце, — и своим, а точнее полусвоим, севшим от волнения и не по возрасту тоненьким голосом попросил позвать ее. Ему ответили строго, вопросом на вопрос. Это была ее мать:

— А кто спрашивает?

Он растерялся. Действительно, кто?

— Знакомый.

Женский голос назидательно спросил:

— А имя у знакомого есть?

— Нету, — почему-то с дерзостью и даже злостью сказал он и брякнул трубку.

## V

— Давай пойдем к деду? — как бы спрашивая, но уже решив, говорит ему отец.

— Можно, — соглашается Игорь.

— Ты ведь столько уже не был у деда.

— Давно.

— Что, очень занят, не можешь деда навестить?

— А я собирался.

— Собирался — не в счет... Так, знаешь ли, прособираешься...

И они идут к деду, в отчий дом. Отец звонит, как всегда, два раза по привычке старой коммунальной квартиры, привычке, ставшей традицией. Два звонка — значит, это кто-то из своих пожаловал в отчий дом. И, как всегда, на пороге их встречает бабушка. Но не совсем бабушка, и. о., что ли, бабушки, да и слово это так удивительно к ней не подходит, несмотря на преклонность ее возраста.

Чем реже встречи, тем острее видишь изменения, они незначительны: чуть более морщинисто и сухо обтянула гладкая еще кожа узкие скулы правильного, чуть постного, иконописного лица, выражающего сейчас улыбку, гостеприимство и радушие.

— Давненько, давненько тебя не было, Игорь. Да

и ты, Сережа, редкий гость у нас. Да проходите, проходите же.

Но отец, который снова, с того момента, как рука два раза нажала кнопку звонка, с той секунды, что переступил порог этого дома, ставший тем, кем он был всегда «сыном» и еще кем-то другим, чем он никогда и не назывался, ибо это было не в обычаях их дома, «пасынком», что ли, он, новый, как всегда, видит и угадывает в коричневых, чуть запавших глазах некий сигнал предупреждения, который уже вспыхнул, уже разгорается, — светофор запрета, и он мысленно слышит фразу, которая будет произнесена через секунду, словно бы записанная на невидимую магнитофонную пленку, фразу, все оттенки которой, а иногда и варианты знакомы ему так же, как эта вешалка, как это запылившееся трюмо, отражающее его с его сыном, отражающее улыбку, которую ему никогда не удастся изменить, — кислотоватую улыбку радостной встречи.

«Андрей Сергеевич как раз сейчас спит».

Именно так: не отец, ни тем более папа, не бабушка и дед, на худой конец, а Андрей Сергеевич. И даже если из другого города, после долгого ожидания, по междугородному телефону, — все равно «Андрей Сергеевич как раз сейчас...»

Общество охраны...

Сейчас эта фраза прозвучала в одном из широко употребляемых ее вариантов:

— Андрей Сергеевич сейчас работает... Вы немножко посидите в другой комнате. Есть хотите?.. Сейчас я что-нибудь...

Она ведет их в другую комнату, и он знает, он готов к этому. Конечно, они подождут, они ведь не командировочные. Они у себя в городе, в отчем доме, куда им торопиться... Пусть отец поработает, если ему работается, а он согласен на все, и тут, как известно, в этом пункте они сходятся, это их единственный общий пункт: лишь бы ему было хорошо.

Но так же точно он знает, что этот номер не пройдет, что никаких других комнат, никаких ожиданий, что старик не позволит себя водить за нос, даже если он действительно работает сейчас.

— Тоня, — слышит он хриловатый и быстрый голос, — это ко мне?

Старик спрашивает, и в тишине, в той своей далекой, изолированной от всех проходящих, мешающих комнате, в своем кабинете с разошедшимися полками, покрытыми трещинами и морщинами, ждет ответа.

— Да,— смиренно отвечает она.— Сиди работай. Тебя подождут. Никто ведь никуда не спешит.

— Тоня, а кто это? — спрашивает он. Он ждет.

Но Сергей абсолютно и точно понимает, что он уже понял и знает, кто это.

— Это Сергей и Игорек.

Вот так. И так всегда. Всегда он спрашивает, ждет ответа и знает его наперед. И, верно, оттого никогда не ошибается, что именно и х ждет. Ждет всегда.

— Ну что ты их там маринуешь? — с еле скрываемым волнением говорит он.— А ну-ка, ребятки...

Он выходит им навстречу, обнимает сначала внука, потом сына. И сын чувствует шелестящее легкое прикосновение гладких, тщательно выбритых его щек, знакомый с давних, бессознательных еще, времен запах его кожи со слабым духом неизменного вечного одеколона «Эллада».

— Здравствуй, фундатор,— говорит он отцу.

Откуда уж пошло в их обиходе это дурацкое слово, надутое и похожее чем-то на павлина, вычитанное, возможно, из Геродота? Но тем не менее оно существовало и употреблялось в отдельные минуты, когда следовало обходиться без сантиментов.

— А с тобой, такой-сякой, внук бессовестный, я вообще не вожусь. Садись вон туда... И не подходи.

Игорь начинает что-то объяснять про уроки, про задания, дед все еще делает вид, что сердится, но его хватает ненадолго, и вот он уже сидит рядом с ним и обнюхивает его, как лев-отец своего львенка. Это тоже было когда-то в обиходе. В те времена, когда Игорю было года три и считалось, что он львенок, скорее даже не из зоопарка, в котором он ни разу не был, а из Брема, именно из картинок Брема, которые он любил подолгу рассматривать. И, конечно же, начиналась возня с кормлением, его уговаривали, он отказывался, и у него были свои доводы: зачем каша, зачем молоко, ведь он не коза какая-нибудь, а львенок, а львята не едят такого.

Ему объясняли, что всякое бывает, что когда у львенка еще нет зубов, он тоже лижет языком бог знает что,

всякую муть, наподобие этой каши. Это были короткие годы общего житья, годы с е м ь и, того, чего у него самого никогда не было, а у его сына все-таки было, житья с дедом, с и. о. бабки, со зверьми, сказками, кличками, с тем, что старый, косматый, но еще добычливый лев обнюхивает львенка.

Старик действительно работал.

На столе стояла старая машинка «Ремингтон», на которой он любил работать больше, чем на новой «Эрике». Она тоже стояла здесь с незапамятных времен, к ней когда-то Сергея не подпускала Антонина, оберегавшая не только здоровье деда, а и следившая не менее тщательно за сохранностью его вещей.

Но были некие вещи, которые существовали еще задолго до ее появления в их доме, как бы с самого основания жизни: пепельница с королевским вензелем, зеленая, в серебре бутылка от шустовского коньяка, железная копилка в память о сборе на голод тысяча девятьсот какого-то года, старый трехстворчатый шкаф, таивший когда-то столько неведомого, прочитанного, полузапретного.

И вот эта твердая карточка с белой надписью «Чита, 1898 год, фотоателье Кулевича», с лицом скуластого, неподвижно глядящего в объектив человека, стриженного ежиком, в белой косоворотке.

Так и глядел этот человек-дед — в его детство и юность со стены. Подобранный, чуть напряженный, будто не вспышки магния ждал от фотоаппарата, а выстрела, безусый, но с бородой, немного похожий на священника, черные бусинки сверкали в его глазах вместо зрачков. В то время даже у самых опытных фотографов зрачки не получались.

Игорь всегда подходил к этой карточке и подолгу глядел на нее точно так же, как и он сам в детстве.

Она была из другого мира и потому загадочна, и вообще было странно, что уже тогда, в том мире, существовала фотография.

Для Игоря он был прадед, видение, миф, далекий, как Древняя Греция.

Но зато о нем говорилось много, подробно и даже не только говорилось, но и писалось, даже приходил художник и делал с этой фотографии портрет для Дальневосточного музея. И отыскивались воспоминания о нем в



старых каких-то книгах. Нашли фотографию в журнале «Каторга и ссылка» Общества политкаторжан. Он сидел в Александровском центральном, в Иркутске.

На Дальний Восток он вернулся снова после революции, входил в правительство ДВР — Дальневосточной республики, боролся с теми, кто хотел ее отторжения от России, от революции. В конце 20-х годов дед переехал в Москву, бабушка, Мария Ивановна, была москвичка, и жили они вначале в ее комнатке в Замоскворечье.

Дед входил в Общество политкаторжан и ссыльных переселенцев.

Да и дом тот, в котором Сергей родился, тоже назывался «домом политкаторжан».

И все перемешалось: реальные воспоминания о нем и то, что было рассказано потом, какие-то случайно сохранившиеся его книги, рождавшие в свое время множество вопросов, и судьба бабушки, так сплетенная с его судьбой, твердая, как пластинка, фотография на стене и высокий человек почему-то в белом медицинском халате (почему так, ведь он не медик) — дед, деда кормит его, больного, с ложечки, и какой-то далекий разговор: «Где деда?» — «Деда в Англии. Он работает там по поручению правительства».

Это уже позже «по поручению правительства», а сначала какое-то празднество, демонстрация и флаги, дедушка, нарядный и сравнительно молодой, куда-то быстро идет, и отец, мать, все тут, рядом, и он с ними.

Потом Покровка, красные шары, песни, «Марсельеза», конники в шлемах и бурках, точь-в-точь как силуэт Казбека на папиросной коробке, милиционеры в белом и тоже в шлемах, и трепет какой-то в толпе, ожидание кого-то, портреты, такое знакомое не то чтобы с детства, с младенчества, лицо человека на этих портретах, человека с открытым пристально-строгим лицом, с густыми чистыми усами, сотни таких портретов плывут, плывут по Покровке и дальше к центру, Красной площади. Давний громкий праздник, карнавал красных флагов, флажков, полотнищ, повязок, лент, красных шаров, кроваво-красный отблеск кумача, мощный дробный стук копыт, революционные всадники на крупных сытых конях, в шлемах, как солдаты Цезаря, и в бурках, чапаевские, буденовские, пархоменские всадники плывут над толпой, и стелются темным дымом бурки, крылья, вперед и вперед,

неумолимый и мерный дробот копыт по булыжной мостовой, и сердце сжимается в предчувствии боя и грозы.

— Смотри, деда. Ты видишь, деда? Ты тоже так скакал когда-то?

— Нет,— говорит он.— Я-то не скакал никогда.

Голос у него тихий и лицо бледное от грохота и жары. Он только кажется молодым. На самом деле он очень стар.

А дальше еще несколько раз в жизни мелькнуло лицо его, прежде чем стать только лишь этой фотографией с черными, застывшими бусинками глаз.

Что он говорил тогда? Вспомнить невозможно. Те слова, которые будешь потом отыскивать, припоминать, отделять, тают в море других — чужих, примелькавшихся, лишних, ненужных.

Что же он говорил тогда?

Да ничего и не говорил. Варил кашу, кормил внука, смотрел чуть раскосыми своими глазами сквозь толстые стекла без ободков.

## VI

— Ну, что будем делать, бурсаки? — говорит отец.— Обедать будем! Тоня, накрывай на всю честную компанию.

В ответ ее голос, любезный, но с оттенком ворчливости:

— Само же не готовится. Сергею следовало позвонить утром, предупредить, я бы заранее все приготовила...

— Да что там утром, вечером... Подумаешь, Версаль! Навари побольше картошки... Нам разносолов не надо. Нам пивка бы холодного да селедочки...

Пивка ему нельзя. Селедочки тоже... Многого ему нельзя. Пожалуй, сосчитаешь по пальцам, что ему можно. Два месяца назад его привезли из больницы. Уже то, что он сидит за рукописью и на столе разбросаны тоненькие брошюрки, отгиски научных статей,— это прекрасная, лучшая картина, какую можно было увидеть.

Вот об этом и мечтал Сергей два месяца назад, именно об этом, сидя на голой, судейской какой-то скамье под матовым плафоном с черными пятнышками навсегда замерших в его конусе бабочек, светящемся в бесконечном

темном коридоре приемного покоя. А перед тем врач приемного покоя подsunул бумажку, которую надо было подписать и от которой Антонина, побледнев, отстранилась, а он прочитал тускло отпечатанную фразу о том, что «жена (сын, мать) согласны на операцию» и в случае, если... не будут предъявлять никаких претензий.

Так и сидели с Антониной, почти не двигаясь, не разговаривая, два часа. Но не выдержал и долгим, как бы в никуда ведущим коридором подбежал к комнате с мерцающей надписью «Операционная», чуть приоткрыл первую дверь и в раскрытую вторую увидел белые спины, в ярком, как бы сгущенном свете же мелькнуло удивленно-рассерженное лицо сестры: «Куда вы?! Запрещается... Операция!»

Он отпрянул, но еще секунду стоял и смотрел в щелочку от неплотно закрытой двери, увидел, что сердитая сестра улыбается кому-то, чему-то — шутке невидимого ему хирурга или еще чему-то, самое главное, что улыбается; значит, еще не так... значит, еще... Потом в каталке его везли в коридор; мест в палате не было, и первую ночь он пролежал в коридоре. Когда везли, видел запрокинутое маленькое серое лицо с обострившимися чертами. Отводя от него глаза, молил неизвестно кого, может быть, господа: «Ну сделай что-нибудь! Ну сделай!» И, вглядываясь в неподвижное и как бы навсегда отчужденное от него и от всех лицо, обращался уже не к господе, а к нему самому, потому что, может быть, в него самого верил больше. «Ну посмотри хоть, ну посмотри!..»

И услышал. Посмотрел. Тяжело двинулось веко, и взгляд, потусторонний, замутненный, но все же живой, блеснул, веко дрогнуло и закрылось. Каталку снова повезли и где-то в углу коридора остановили.

В эти дни, когда перестали пускать в палату из-за карантина, звонил чуть ли не ежечасно и вялым голосом спрашивал: «Как состояние больного Ковалевского?», и, обмирая, ждал ответа. Отвечали монотонно: «Состояние тяжелое», и по голосу, по оттенку пытался понять, что это: не хуже ли, чем было?

Но голос был без оттенков, точно записанный на магнитофонную ленту.

Антонина оставалась в больнице круглосуточно. Ей разрешили, несмотря на карантин. Ему иногда удавалось

правдами и неправдами проходить на первый этаж все в тот же приемный покой, и она иногда спускалась на секундочку и говорила тихим, без выражения голосом: «Все так же».

Он спрашивал с надеждой: «Но все-таки? Чуть лучше?»

Она отвечала почему-то всегда после паузы, точно взвешивая каждое слово: «Нет. Все так же».

Однажды, когда звонил утром, голос, всегда повторявший, как заведенный, «состояние тяжелое», несколько изменил форму ответа: «Состояние средней тяжести».

И он бежал по скользкой и мокрой земле больничного осеннего парка, задыхаясь от надежды. И снова и снова спрашивал у каких-то людей в белых халатах, деловито сновавших из корпуса в корпус, без удивления смотревших на него: «Скажите, средней тяжести — это ведь лучше, чем просто тяжелое!» — «Конечно, лучше. Тяжелое... это совсем другое».

И снова звонил, и телефонные ответы повторяли друг друга до того счастливого дня, когда голос произнес впервые: «Состояние удовлетворительное». И тут же, успокоившись, он уже гораздо реже стал бывать в больнице.

Однажды гуляли с отцом по больничному парку. Отец сказал:

«Разве только тогда человек человеку нужен, когда кому-то плохо?»

А Сергей подумал: «А разве сейчас хорошо?» Почти кощунственно звучало это слово, безликое слово «хорошо», столь несовместимое с умалившимся лицом, тронутым рябью старческой гречки, с легонькой, непрочной фигурой, в слишком свободном, будто на вырост сшитом пальто, длинном, как шинель. И все-таки отец шел. Шел сам, чуть опираясь на руку сына, осторожно щупая ногой пространство впереди себя, как бы еще не разминированное со времен войны, скользкое, тронутое жиденькой корочкой первых заморозков, просторный больничный двор, переходящий в реденький лесок московского парка.

И вспомнилась другая больница, в Казани, инфекционное отделение, сорок второй год. В кабине грузовика его, Сергея, везли в больницу. Бабушка прижимала его к себе, успокаивала, заговаривала зубы, словно бы ворожила, и он затих и пригрелся, но остановка была тем более пугающе резкой.

А в тусклом, пахнущем хлоркой коридоре уже угадывались подвох и расставание.

Задавливая нарастающий плач, кривясь, мальчик смотрел на бабушку, на испуганное белое ее лицо и слышал, как она повторяла все время номер палаты: «Сорок шестая, сорок шестая, — и спрашивала у неразговорчивой сестры: — Уж не брюшной ли, господи?»

А он в это время думал о своем Чапаеве.

Чапаев был подарен отцом еще в Москве, до эвакуации, на день рождения, новенький оловянный Чапаев с развевающейся черной буркой, с желтой шашкой в руке, на вороном коне. Всех других солдатиков, разных времен и народов, пришлось бросить, оставить в Москве, а этого взял, всегда и всюду таскал с собою, и сейчас, когда повезли в больницу, положил его в карман куртки.

Не догадывался он, что все вещи возьмут на дезинфекцию, не знал, что есть такая дезинфекция, никогда не слышал этого длинного, резкого неприятного слова. Забрали все. И куртку и ботинки. И вытаскивали все из карманов, забрали, конечно, и Чапаева, подаренного отцом.

Уплыло лицо бабушки. Узкая, человек на сорок, палата; то вспыхивающая, то притупленная, но более глубокая боль в животе, рвота ничем, сухостью, горечью, и все не так, как дома: там если уж случается, то рука бабушки или отца на затылке. Здесь — один. И еще тридцать девять ребят и чей-то непрерывный воющий крик: «Мама, мама!» — и коренастый парнишка Сабур, приподнимавшийся на постели, достававший перочинный ножик, неизвестно как пронесенный, и гортанно приговаривавший: «Кто много кричит — тому ухо режут».

Химический вкус больших, застревающих в горле таблеток, вязкий сон, синий цвет палаты и снова боль в животе, рвущая внутренности, позывы, а сам уже пустой, ничего будто не осталось в теле, ни капельки влаги, пустой живот и грудь.

Ночью появилось что-то другое, новое, не просто страх, детский животный, а взрослое и определенное ощущение конца, смерти... Тогда он стал звать отца.

И отец появился.

Да, это был отец в белом халате. Откуда он взялся здесь? Как он мог попасть сюда? Ведь он ушел в ополчение. Но это был он и стоял над кроватью, поправляя

подушки и тихо повторяя: «Все пройдет, сынок... Еще немного потерпеть, и все пройдет. Будет хорошо. Слышишь, сынок?»

Глаза закрывались... Когда открыл их, отца уже не было. Никого не было рядом. А в сильном, режущем свете мальчика везли куда-то длинным, как тоннель, коридором, везли или несли, он не знал, только чувствовал мерное, убаюкивающее движение.

Потом наступило утро, скудный утренний свет, просачивавшийся сквозь приоткрытые шторы светомаскировки.

Через месяц его везли из больницы, но он долго еще не мог ходить, и бабушка, продав последние отцовские вещи и книги, покупала ему молоко.

«А как это папа пришел? Как он смог приехать?» — спросил он у бабушки.

«Папа? — удивилась она. — Папа и не приезжал. Ты же знаешь, где он».

«Да как же это так?.. В ту самую первую ночь, когда меня только взяли, мне было совсем плохо. Он пришел. И еще он сказал, это я точно помню: «Сынок, все пройдет». Это был ведь его голос. Разве я мог спутать?»

«Пройдет, сынок», сколько раз потом он повторял эту фразу в минуту тяжести или в тот миг, когда надо было взять барьер и не было решимости и силы для прыжка, когда напряжение не собирало его, а, наоборот, расслабляло, наполняло вялостью и неуверенностью.

«Сделай усилие, рванись, и все останется позади, пройдет, сынок, пройдет».

Проходило.

И перед защитой диссертации было время вот такой пустоты, малодушия, когда сроки из успокаивающей, еле различимой дали вдруг с нарастающей скоростью приближались, придвигались жестко, беспощадно. И беда была не в том, что не сделано — сделано было уже много, — беда была в невозможности сделать все перед чертой, перед конкретностью срока, перед календарем, в который неприятно было заглядывать: черные цифры разбегались под его взглядом, как тараканы. И вот тогда, уже почти чувствуя во рту карболовый вкус поражения, он сжимался, готовясь к прыжку, сжимался и расслаблялся, гоня прочь вязкую неуверенность, обретая второе дыхание. И возникало ощущение радости от борьбы и

предвкушения победы. Вот это и было счастье — сознание своих скрытых возможностей, радость преодоления, вера в победу. Это как в плавании, при далеком заплыве, вдруг возникает отрезок неуверенности, боязни распахнувшегося сзади тебя пространства, закрывшего берег.

«Человек должен верить в победу», — говорил ему когда-то отец.

Фраза эта, на первый взгляд громкая и слишком общая, все же понравилась ему в детстве. И он всегда старался верить в свою победу. Только потом стал задумываться. В какую победу? Над кем? Скорее всего, над собой. Может быть, и так.

А верил ли отец в свою победу? Очевидно, верил. А одержал ли?

Впрочем, победа была, и она была судьбой. Она была в тех пластах жизни, в тех ее глубинах, что посторонний взгляд не увидит, не поймет, в тех болотах лишь сам человек знает, как ему выкарабкаться, как выйти. Как выдержать, а значит, победить.

И в том подмосковном военном лесу, в ополченском полку, окруженном рассеянным огнем, — что было там? Какая там победа виделась? Отогреться, выбраться, выжить или над этим, собственным, над страхом и ожиданием еще что-то другое, большее, общее проглядывало?

Отец мог говорить готовыми формулировками абстрактно, вроде веры в победу... Но в конкретных своих рассказах, воспоминаниях (а вспоминал он крайне редко) он всегда говорил о частностях. Так и остались в памяти какие-то детали, осколки, обрывки его рассказов. Например, случай с молоденьким немцем.

Уже почти выйдя из окружения, минуя немецкие позиции, отец напоролся на молоденького немца. Молоденький немец был занят мирным занятием. Присел себе на корточки по нужде. Так и сидел этот немчик в снегу, сначала с румяным, потом с белым, без всякой окраски лицом. А отец вдруг подумал: «Стрелять или нет? Как же стрелять в такого?»

— И выстрелил? — зная наперед ответ, но всегда с интересом спрашивал Сергей.

— Выстрелил, конечно. Так и завалился лапками назад, как лягушонок. — И отец пояснял: — Но это с е й ч а с, как лягушонок, а тогда совсем не так виделось, тогда он мне каракатицей скрюченной показался или пауком в

снегу, и никакого другого образа не было, и никакого другого разговора быть не могло. И никаких оттенков не могло быть, а был только один, общий образ, который возникал сразу же, бессознательно.

— Кого же?

— Врага.

— Тебе не жаль его... теперь?

— Абстрактно да. Но это определить невозможно. Психология меняется на протяжении лет. Уходят из сознания ярость и ненависть. Остается память о ярости и ненависти.

И всегда, в который раз, он ловил себя на одном и том же удивлении. Было странно, что его старик стрелял и убивал, что он вообще держал автомат, штатский его старик...

А ведь стрелял, и неплохо. И авантюризм какой-то в нем был, необходимый для того, чтобы выжить. И какая живучесть, непотопляемость, если вдуматься.

Те болота, смерть матери и то, что было в пятидесятых годах...

Вера в победу. Наверное, это.

«Воспитай это в себе». Разве это воспитаешь в с е б е?

В т е б е это воспитывает время.

И в нем, Сергее, очевидно это было, хотя и ослабевал на дистанции, но все-таки бежал резво и с верой, иногда терял ее, но потом вновь ловил на лету, как ключ далекого тренера с трибун, и марафон жизни продолжался, ибо как же без нее, без веры в победу?

Только бег был по другой, менее пересеченной, чем у отца, местности.

Отец тоже как-то признавался ему, что не очень представляет своего сына в экспедиции, во главе партии, командующим кем-то или чем-то, организующим кого-то или что-то.

Может быть, они не знали друг друга.

Знали, очевидно, но не до конца. А можно ли знать до конца даже самого близкого тебе, если и себя-то до конца не знаешь?

И сына своего, который на глазах начал ходить и говорить, и ходил твоей походкой, и повторял твои слова, и был вначале как бы твоей игрушкой, а потом твоим слепком и глухим воспоминанием о тебе самом, далеком, несуществующем, сына своего — знаешь ли ты?



Сергей любил наблюдать за сыном именно тогда, когда сын чем-то своим занят и не замечает его. Не подсматривать, конечно, а наблюдать. Вот он стоит с мальчишками во дворе, о чем-то рассуждает, что-то объясняет, на чем-то настаивает. И какой он разный! Вот перед ним долговязый парень. Сергей его часто здесь видит: бледный, длиннорукий, с вечным сивушным духом изо рта, стрижен ежиком, будто уже принят в местах не столь отдаленных. И с ним Игорь тоже блатноват, развязен, что-то неторопливо цедит, хмыкает, показывает каждым жестом: я тоже тебе не такой уж лопух, не такой уж фраерок, как ты думаешь. Или с Ленькой, своим одноклассником, маленьким, худеньким парнишкой, который, говорят, необыкновенно талантливо рисует. С ним он и стоит даже по-другому. Тут он как у себя дома, такой, как есть. И разговор доверительный, со взрослым, каким-то раздумчивым выражением лица, с размышляющими жестами. О чем это они?

— О чем это вы с Ленькой?

— Да так, об анархистах. И еще о Че Геваре.

А ты сам о чем?.. Тогда, давно. О чем ты говорил с Юлькой, лучшим своим другом, разбившимся на мотоцикле и чуть не погубившим тебя? О чем вы тогда говорили с ним перед этим, если бы вспомнить.

— И что же Че Гевара?

И мальчик что-то говорит в ответ, а он вспоминает свое о Че Геваре, как он безропотно пристрелил лошадь, когда надо было уходить от врагов, он герой, но он уже не твой герой, ты уже пережил в своем детстве таких героев... Да, ведь и сам ты как стоял и был разным, и с Юлькой был одним, а с Валькой Рюминым, розовощеки и вечно улыбающимся, другим. Валька Рюмин еще не знает своей судьбы, еще не знает, что он угодит в колонию, что погибнет его отец, и смеется, смеется взახлеб. Был еще один друг — Олег Кащеев, самостоятельный, независимый, докторально мыслящий.

О машинах говорили редко, машины их мало волновали. О женщинах вообще не говорили. Думали, но не говорили. Только немецкие открыточки переснятые рассматривали с жадностью, сердцебиением. Но не говорили никогда. Не тема и не предмет для разговоров.

А говорили о спорте и о политике. Олег раздобывал стенограммы съездов партии, и они читали, читали, как

роман: речи, дебаты, полемику, заявления, списки делегатов с решающим или совещательным голосом. Среди них были и те, чьи фамилии сейчас не произносились, и лишь потом он услышит о них... Тогда он станет студентом археологического, а Олег будет учиться в Ленинграде, в Высшем мореходном.

И все это волновало, пугало и притягивало, и некий образ необъяснимо возникал и отражался в венецианских зеркальных окнах старого дома немецкой компании в Машковом переулке. В осколках этих окон, уцелевших от воздушных волн времени, в красном и черном дыме отделялся от кирпичной потрескавшейся стены маленький, постепенно вырастающий, пригнувшийся к коню всадник в черной папахе, в черной бурке; он появлялся на миг во весь рост и снова уменьшался и исчезал, Всадник Революции. Куда он скакал? За кем гнался? Какая пуля и где сразила его?

## VII

— Значит, ты молодцом, дедушка,— бойко говорил Игорь.— Ты и работаешь и выглядишь неплохо, дедушка.

— Правда, правда,— говорил дед.— Работать только трудно,— отвечал, не замечая дежурно-приветливых интонаций в голосе внука, которые Сергей чувствовал: это было ее, матери, любезно-бодрое, одновременно приподнятое и незаинтересованное.

Сергей с холодком посмотрел на сына. Тот понял и молча подошел к деду, дотронулся до его руки, и, должно быть, ток единой крови, привычное сызмальства тепло маленькой сухой руки деда взяли мальчика, и он стоял теперь, по-щенячьи преданно глядя на старика, сам похожий на него формой головы, прямизной плеч.

Он огляделся. В комнате, когда-то очень большой и с каждым приходом становившейся все меньше и меньше, стояли позабытые и вместе с тем испокон века знакомые книги с непонятными названиями, чужие уму и интересу, с ничего не говорящими фамилиями авторов; например, Бунак, Нестурх, Рогинский. Читалось это как одна фамилия, некий восточный «Бунак Нестурх Рогинский», книга же была с таблицами, диаграммами, с мелкими надписями на иностранном незнакомом языке под

таблицами. Иногда, впрочем, среди безрадостных и огромных этих книг попадались и другие, непристойно-чуждые, со сросшимися близнецами, с неким Альма де Парадедой, женщиной, бывшим одновременно и женщиной, странные, уродливые люди, глаза которых по-пиратски были закрыты маской, чтобы их никто не узнал, зловещие люди, которые и смешили и пугали его... Уж только потом он понял, что это уникамы, биологические исключения. А одну из книжек написал его отец. Она так и называлась: «Наука об уродствах».

Отец любил рассказывать об этих своих чудаках. Однажды даже на каком-то вечере выступил в школе и рассказал о происхождении видов, Чарльзе Дарвине, о его путешествии на корабле «Бигль», об обезьяньем процессе, о клетках, генах, хромосомах. Понятное сочеталось с непонятным, живое и реальное — с неживым, фантастическим. Гены существовали как звонкая частица из детской считалки, а хромосомы виделись извивающимися червяками.

Классная руководительница Ия Николаевна была довольна.

— Надо изучать жизнь, биологию, природу родного края, — повторяла она.

И хотя лекция была о природе вообще, все равно она радовалась тому, что неразумные эти лбы старшеклассники, готовые часами гонять комок тряпок, заменявший футбольный мяч, и крикливые младшеклассники, проводившие свое свободное время еще более бездарно, вдруг глянули в бесконечные глубины познания. Впрочем, зажмурившись от блестящего света этих прозрачных глубин, они тут же помчались домой с гиканьем, посвистом, клокочущими горловыми звуками, заимствованными из широко популярного тогда кинофильма «Тарзан», многосерийного, трофейного, любимого всеми, взрослыми и детьми.

Вскоре в доме наступило необыкновенное напряжение, и все время звучало слово «сессия».

Так и осталось на всю жизнь чем-то грозным и непонятным до конца это слово. Это была не студенческая экзаменационная сессия, а научная и важная для всех: и для народа, и для науки, и, конечно же, для отца.

Он готовился к ней с каким-то необъяснимым азартом, исписывал мелким своим почерком, где слова лепились

одно к другому, как икринки, блокнотные узкие листочки, а ночью жестко стучал «Ремингтон», положенный на подушки, и стук этот шел очередями, будто отец отстреливался от кого-то.

Бледный, собранный, в светлой рубашке и галстук, отправился он на эту сессию под названием «Сессия ВАСХНИЛ».

Пришел он поздно, измятый, будто был в какой толчее, на щеках за долгий этот день выросла щетина, и казалось, что не с заседания он вернулся, а из дальней какой-то командировки. С ним был его приятель, коллега, и, когда Сергей уже лег, они сели за обеденный стол, прикрыли настольную лампу газетой и начали выпивать, что случилось с отцом редко.

Друг то ли напился быстро, то ли был чем-то огорчен, но стал говорить что-то неразборчивое, болезненное, однообразное, будто бы он молитву какую-нибудь читал. А отец все время успокаивал его, хотя Сергей чувствовал: отец тоже сильно взволнован.

Все время почему-то возникало слово «разгромить» и еще часто повторялась фамилия «Лысенко».

Фамилия эта давно витала в их доме, произносилась с неодобрением и не обещала ничего хорошего.

А через несколько дней, когда отца не было дома, он развернул вдруг газету и увидел свою фамилию в окружении других фамилий, как-то мрачно, жирно выделенных. Он пробежал бегло все другие и остановился на фамилии отца, будто видел ее впервые.

Об отце был целый абзац, именно о нем в отдельности. И он читал этот абзац с ни с чем не сравнимым любопытством, неясным страхом и каким-то подобием гордости: в газете, на весь Союз,— их фамилия... Что там говорилось, было непонятно, только часто мелькали следующие словосочетания: «реакционное учение...», «вред науке», «лженаучные...», «генетики», «Лысенко...» Они тормозили науку и вредили ей. И среди них, морганистов, был отец. В самом этом сочетании непонятных и незнакомых названий чудилось что-то враждебное, не наше, как бы даже шпионское, и крылась какая-то неведомая, непоправимая ошибка в том, что там был отец. Для кого-то он был «лжеученым», «морганистом», еще кем-то, но ведь они его не знали, как знал сын, и потому могли ошибаться. И тут же хотелось доказать, что они ошиблись, что

они неправы, что то, что его фамилия напечатана с другими,— какая-то глупая и нелепая случайность.

На следующий день в школе он был как бы героем дня. Все подходили и спрашивали: «Что же это?» Другие говорили с мрачным удивлением: «Ну дает твой отец», а учительница Ия Николаевна оставила его после урока на минуточку и спросила со страхом и каким-то детским изумлением:

— Как же это так? Ведь он вроде так все правильно и хорошо говорил... Может, ошибка какая?

— Конечно,— с напускной легкостью и небрежностью сказал он.— Ничего, скоро разберутся. Отец... он ведь...— И вдруг муторная слабость стала овладевать им, и дальше говорить он не смог.

Ия Николаевна сказала ему:

— Хочешь, я освобожу тебя от уроков? Иди домой.

В первый момент он обрадовался, но потом представилась вдруг пустота дома, ожидание отца, новизна и непонятность положения, газета, валяющаяся на диване, которую, конечно, можно скомкать и сжечь, но останутся еще сотни тысяч других, где написано то же самое.

И он ответил:

— Нет, останусь на уроке.

Остался, и все шло, как и было, а точнее, как будто ничего и не было.

Уже на следующий день и дальше и позже Ия Николаевна подходила к нему и, как ему казалось, смотрела со скрытым неодобрением, будто он в чем-то обманул ее.

Вскоре, правда, все это как бы улетучилось, он привык к этому и старался вообще об этом не думать.

Все было так же, как всегда.

По воскресеньям они вместе с отцом ходили на футбол на стадион «Динамо». Это издавна повелось: в воскресенье на футбол, даже если дождь, с зонтиками, газетами и плащами. Ходили и на хоккей; тогда играли не в закрытом помещении, а под восточной трибуной стадиона «Динамо», на залитой льдом площадке. Хоккей с шайбой не был еще так популярен, и было еще неизвестно, чем лучше он раскатистого и похожего на футбол хоккея с мячом.

Все это были игры, игрушки, развлечения, футбол же был п р а з д н и к о м.

После игры они переживали, когда растечется по

многочисленным шлюзам, мимо конных милиционеров толпа и стадион станет пустым, не ареной, вскипающей от страсти, крика, а просто пустым зеленым газоном, окруженным весело окрашенными голубыми трибунами, просторным Петровским парком со скамейками и пустевшими ларьками. Гуляли по Петровскому парку, давя ногами сотни бумажных стаканчиков, валяющихся на вытоптанной жалкой траве.

Домой им обоим идти не хотелось.

О чем они говорили тогда?

Сейчас, в комнате отца, он вдруг стал припоминать их тогдашние разговоры. И что-то клочками всплывало на поверхность. Легче вспоминалось футбольное, бывшее тогда для него самым главным: Трофимов, Бесков, Карцев, наша динамовская пятерка и их везучая ЦДКовская, их Бобров, игрок-оборотень, их научный Виктор Аркадьев и наш хитроумный и простоватый, похожий на удачливого Иванушку-дурачка Якушин и что-то еще в этом роде. Но было еще и другое, что вспоминалось труднее.

Разговоры об ополчении, о друге отца, профессоре со странной фамилией Капусто, который то ли погиб в плену, то ли бежал из плена, разговоры о предвоенных годах, редкие — о матери.

Он помнит только, что никогда не спрашивал отца о газете и о статье, о том, почему отец не работает теперь в своем институте. И еще были долгие вечера, такие странные и холодные, когда не хотелось разговаривать и когда звонок в дверь ударял отца током, лицо его почти сводило от напряжения, и он медленно вставал, как бы раздумывая, открывать или нет, а уж потом только шел по черному тоннельчику коммунального коридора навстречу режущим и настойчивым звонкам. Ничего не случалось. Просто кто-то приходил: лифтерша с газетой, или перепутывали звонки и по ошибке звонили два вместо трех...

С тех пор и осталась у него неприязнь на всю жизнь к резким вечерним или, еще хуже того, ночным звонкам, даже если они на современный лад звучат мелодически, проигрывают нехитрый известный мотив.

Но это были вечера, и почти физически он чувствовал ветер в пустых переулках с невысокими мачтами желтых фонарей, с редкими машинами, с торопливо бегущими под осенним дождем пешеходами.

А днем, когда он сидел над уроками и почитывал

параллельно хорошую книгу, иногда к отцу заходили друзья, всегда одни и те же, и спорили и всё говорили о каких-то невидимых еще переменах в научном деле: вот того-то собираются восстановить, еще не восстановили, но, кажется, к этому идет, еще один академик, руководитель института, сказал, что больше бить никого не дадим, а то наступит пустота, облысение науки.

Нет, оно не должно наступить.

Отец написал письмо в институт. Все ждал чего-то, каких-то сдвигов, изменений. Один из тех, кому досталось на сессии, будто бы ходил к академику Лысенко и непосредственно разговаривал с ним. И тот будто бы даже был с ним отчасти согласен и говорил, что нельзя так буквально его понимать. И был очень прост и скромен. И ел почему-то селедку с картошкой.

Вот это ему именно и запомнилось, через годы, что ел именно селедку с картошкой, хотя что в этом было особенного? Все любили селедку с картошкой.

Потом отец получил какой-то вызов и поехал в Сибирь, во вновь созданный институт...

### VIII

Сели за стол. Это была обычная ее еда. Обычная ее манера готовить: крошечные, будто на цирковых лилипутов, бутербродики, котлетки, еще что-то, такое же маленькое и постное.

Отец все повторял:

— Бери это... Бери то, удалось достать на рынке... (слово «достать» он часто употреблял в смысле «купить» — это, видно, у него осталось с двадцатых годов, с военных и послевоенных лет) это же, кажется, телятина. Ты что так вяло ешь, Игорь?

— Да, да, надо есть, — говорила она.

Она вообще с ними была неразговорчива, и можно было подумать, что она неразговорчива всегда; однако Сергей замечал, что она охотно и даже подолгу могла иногда болтать с лифтершей или с соседкой из квартиры напротив.

— Ну, расскажи, друг, что в школе, как дела? — спросил дед.

Мальчик быстро посмотрел на отца; в глазах его был вопрос: рассказать про прогул или промолчать.

Сергей никак не ответил на этот взгляд, словно пропустив его мимо, давая мальчику простор для выбора.

— Да ничего. А что там может быть?.. Как всегда,— уперев взгляд долу, вяло бубнил мальчик.

— Ну уж все так монотонно?

— Нормально...

— А двоечек поднахватал?

— Да нет, не особенно.

— А вот у Силиных,— сказала вдруг Антонина,— мальчик занимается фигурным катанием, ходит в изобразительный кружок и табель без единой тройки. Как-то на все хватает времени.

— Да, есть и такие,— без всякой сконфуженности сказал Игорь.

— А я думаю, что это еще ни о чем не говорит,— сказал дед.— Иногда бывает возрастная аритмия: сначала чуть замедленное развитие, инфантильность, затем ускоренное. Иногда интересы проявляются позднее... Академик Шмальгаузен начал заниматься ботаникой только в шестнадцать лет.

«Ох уж этот Шмальгаузен!» — подумал Сергей. Его, Сергея, в его замедленном развитии прикрывал тоже еще не успевший развиться академик. И вообще это была старая песенка, и в его, сергеевские, времена существовал некий легендарный ученик Силин, отличник, кружковец, помощник по дому, отличный пример, живой укор.

— Чай будем пить? — спросила Антонина.

Но Игорю было уже невтерпех.

— Папа, можно, я пойду во двор ненадолго?

— Ну, если только ненадолго.

Через минуту он был уже во дворе. Он любил дедовский двор. Собственно, это был первый двор в его жизни, двор его раннего детства, когда они жили все вместе с дедом.

Дед подошел к окну и глядел, как он бежит, размахивая руками, что-то крича, в кого-то стреляя и падая от чужих выстрелов. Кем он был в эти мгновения? Какую судьбу выбрал на несколько минут, чтобы потом легко переменить ее на другую, кем чувствовал себя сейчас, свободный от уроков, от житейских будней, от родителей в эти минуты яростного вдохновения: на ветру, на детской зеленой, легкой земле?



...Что Сергей испытывал к этой женщине, жене отца? Ненависть? Боже упаси. Неприязнь? Да нет, пожалуй. Слишком много лет утекло. Когда-то это была обида, не краткая, а каждодневная, ежесекундная, возникающая ни из чего и ничем не кончающаяся; укол от холодного взгляда, от слова, от вечного отчуждения от нее да еще подчеркнутого хлопотами по организации его быта.

Сейчас все это прошло, былшем поросло, и он молился богу, что она есть. Только никогда не мог понять, почему именно она. Он знал и других отцовских женщин. Сразу же после возвращения из эвакуации в Москву, когда уже не было матери, он безошибочно научился отличать их от просто знакомых, от сослуживиц и обычных новеньких приятельниц отца. Несмотря на все их хитрости, он легко их разгадывал: по тому интересу, который они проявляли к нему, по той заботливости, теплоте, почти даже нежности, которую они с самого начала, даже еще не узнав его, начинали проявлять. Ведь он был не просто мальчик, а бабушкин внук, выросший без мамы, одинокое и трогательное существо, посредственно успевающее в школе и с отчасти даже дурным характером, если не «злой мальчик», то, во всяком случае, со злинкой, хотя никакой злинки у него к ним не было, наоборот — некоторые из них ему даже очень нравились. В одну он был даже влюблен. Для них он был, что ли, продолжателем, преемником отца, хотя и гораздо хуже учился, чем отец в его годы, и не расширял так, как отец, кругозор, и не был так, как отец, внуком, сыном, братом, племянником, всем остальным, но все-таки они верили, надеялись и потому проявляли заботу. В те времена отцовских поисков и бабушкиной болезни вовсе не был он заброшен: кормлен и поен был не хуже, а может быть, даже лучше, чем в более поздние времена единоличного правления Антонины.

Да, он относился к ним хорошо. Особенно ему нравилось, что почти все они были красивые. И он всех их любил искренне, легко. И так же легко и искренне их забывал, когда они исчезали.

Почему отец не остановился ни на одной из них, а выбрал именно ее? Понять невозможно. С самого начала было ясно, что она другая, чем они. И не потому, что она не только не делала вида, что любит мальчика, а с самого начала проявляла к нему не особенно даже тщательно

скрываемую неприязнь; как ни странно, это не волновало его. Он и не претендовал на то, чтобы она его любила, скорее, ему хотелось, чтобы она ему правилась, чтобы в ней чувствовалось то, что он не мог объяснить: мягкость, женственность. А ее присутствие автоматически включало в себя какую-то скуку. Она не смотрела на отца так, как те, не говорила ему что-то быстро, непонятно неслышным, но волнующим женским голосом, нет, здесь был другой разговор: отчетливый, понятный и всегда по делу. Надо сделать то-то, не надо делать того-то, надо пойти туда-то, не надо идти туда-то. Все было четко, понятно, задачи ясны, цель поставлена, полы вымыты, работа начата, над землей витал ясный ветер определенности. Наверное, это-то и привлекло отца: ясность, последовательность, немногословие.

Сам он был человек сумбурный, как говорила ему иногда Антонина с легкой, почти нежной укоризной. Единственно, с кем она иногда разговаривала почти с нежностью, был отец.

Некоторое время он жил с ними втроем в одной комнате и, внезапно просыпаясь, снова старался уснуть, как бы цепляясь за ртутью убегающие крупницы сна, старался не слышать и все-таки слышал жесткий, противоестественный скрип постели там, в темноте, и какие-то шелестящие, невнятные слова, что вырывались вдруг из ее горла, столь не похожие на ее размеренно-скупую дневную речь...

— Нужно приобщать мальчика к спорту, — говорила она сейчас, попивая чай.

И он узнавал полузабытую мимику тех лет, ее те движения — аккуратно и четко, по правилам: немного заварки, затем полная заварка, шаг к буфету, звон чашек, тех, непарадных, белых с зеленым, из которых никогда не напьешься как следует чаю.

— Да, приобщать к спорту, — звучит голос из глубины, из немислимой дали. — К спорту, пусть петяжелому, незачем заниматься борьбой или боксом, а фигурное катание — это просто мода, да ему и поздно, какое уж сейчас фигурное катание. Он уже не мальчик, юноша. Но ведь никогда не поздно. Скажем, фехтование, какой мужской спорт, и дисциплинирует, появляется чувство времени. Ведь у него же, наверное, нет чувства времени... Да

и у тебя, скажу откровенно, — обращается она к деду, — совершенно не развито чувство времени.

Дед согласно кивает.

— Да и у тебя, Сергей, с чувством времени тоже не очень. Ты, как я помню, постоянно все делаешь в последний день, как студент перед зачетами.

— Да, — соглашается он, — это у нас семейное. Мы все в какой-то мере студенты перед зачетами.

— Между прочим, Игорь ходит на плавание, — вступает дед.

— Но он уже бросил ходить, — замечает Антопина. — Немного походил и бросил... Мне мать говорила.

Сергей подумал: «Вот и сейчас она знает все раньше, чем он».

Почему-то всегда казалось, что она у отца временно. Что вот просто образовалась пустота... Ему казалось, что отец, как и он сам сейчас, жил с ощущением, что самое главное это не то, что сегодня, а то, что завтра. Он говорил, увлекаясь: «Мы обязательно поедem с тобой в этот город. Мы должны увидеть этот город. Без этого города беднее наша жизнь». Не поехали.

Постоянное ощущение черновика, подготовки, примерки.

А на электрическом табло стадиона минуты чистого времени, своего времени, загораются и гаснут. Быстро гаснут.

И если уж уехать куда-то, то ехать надо сейчас.

— Ты что это смотришь на часы?.. Вот так всегда: зайдешь к отцу — и сразу на часы. Вечно он куда-то спешит.

— Нет, я никуда не спешу. Я же должен его все равно дождаться.

— Сколько ж ты его не видел?

Сергей молчит, ему не хочется отвечать, да отец и не настаивает на ответе.

## IX

Старость пугала его всегда больше, чем смерть. Что такое смерть, он, как подавляющее большинство сограждан, мог лишь догадываться, старость — видел.

Его пугала старость отца. Старость отца была концом эпохи. Впрочем, громкое слово — эпоха, но ведь у каж-

дого есть своя эпоха, незначительно ничтожная для других, полная грозных потрясений для себя. Она, старость отца, обозначала конец собственной молодости, начало собственной старости. А он привык быть молодым, и переход к новому состоянию был для него труден. Даже и сейчас еще, в свои сорок один, среди коллег, маститых и пожилых, считался он молодым. «Молодой ученый» — в этой формулировке была некоторая снисходительность.

Старость отца он ощущал, когда приходил после долгого отсутствия, после экспедиций. Он видел ее именно в первый момент, когда смотрел как бы со стороны, чужими глазами. Острый, отчужденный этот взгляд фиксировал следы новых мелких разрушений. Потом он переставал замечать это. Привыкал.

Он видел, как особенно на людях отец как бы подбирался и на время молодел. На белых, чисто выбритых щеках с седыми, блестящими корешками волос выступал румянец. Молодел голос, и говорил он весело, и память была куда как хороша. А уходили люди, лицо серело, выступали склеротические розовые веточки, голос садился и в водянистой, голубоватой чистоте глаз возникала тусклая, непроходящая тоска. Что это было? Страх? Нет, скорее сожаление о несостоявшемся.

У каждого из нас есть свое несостоявшееся. А какое оно было у отца, он, сын, не знал, ибо меньше всего мы знаем это про своих близких. Он часто думал об этом. Казалось бы, отец достиг многого. Наверное, он сам хотел бы сделать хотя бы столько. У них в семье всегда считалось, что главное — это профессия, наука, остальное потом. А что было у отца «потом»... Возможно, что не в этом, не в семье, и не в Антонине заключалось его несостоявшееся. Как раз эта сторона жизни, казалось, вполне его удовлетворяла.

А несостоявшееся заключалось, возможно, в какой-то неизвестной ему, сыну, идее, мечте, надежде, которая в отце жила невысказанно, тайно.

Когда он подходил к входной двери и слышал приглушенный треск машинки, он радовался. Это был звуковой фон всей его жизни, музыка его детства, он засыпал под стук машинки и просыпался от него. Когда-то она стучала почти с вызовом, долгими очередями, звонко, жестко.

Теперь эти трели стали короче, паузы — дольше, стук стал более тихим, стрекочущим. (Правда, последнее объяснялось сменой машинки. «Ремингтон», приобретенный после войны, звонкий черный ящичек, уступил место шестаящей современной портативке.)

Когда он подходил к двери, всегда прислушивался с напряжением и чуть-чуть со страхом.

Ему хотелось услышать ее голос — значит, все в порядке, старик работает...

«У старика, — думал он, — все-таки неплохое душевное здоровье, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить! Он человек, всегда по утрам делающий зарядку. Всегда». А он, мог ли всегда?

Есть ведь люди, которые не могут подпрыгивать на половике и сгибаться, более того: хотя они и не больны, но им трудно сделать первый шаг по бесформенной, с тускло пробивающимся светом, как будто лишенной пространства, сплюснутой квартире.

Старика, к счастью, интересовало да и сейчас интересуется все, что происходит в кипучем, быстро изменяющемся мире. Что там сказал президент африканской республики другому какому-то президенту? Каковы успехи повстанцев? Поймали ли смельчаков-террористов, набравших большое количество заложников? Кто выиграл партию: чемпионка или претендентка?

Все это важно. Дрожит пузырек с валокордином, капельки набухают, как слезки, и равномерно скатываются в стакан, немолодая женская рука бережно держит похудевшую стариковскую руку, прощупывает пульс... Кто же все-таки выиграл?

Странное это дело, и ведь у него, Сергея, это тоже есть. Не в такой степени, но все же. Не пролистал утреннюю газету — будто не помылся.

А у Игоря уже нет. И не то что его меньше интересуется, что происходит там, где-то. Интересует, конечно. Но по-другому. Он вполне может обойтись и без утренней газеты. Вполне может потерпеть до программы «Время». А иной раз и вообще может обойтись без знания последних событий на земном шаре.

Новые марки самолетов, изобретения, полеты в космос были ему, пожалуй, важнее, чем сражения в далекой пустыне Агаден.

География не насытила его память теми городами, меридианами, параллелями, которыми поколения Сергея бредило во сне. 38-я параллель ровно бежала по истокам земли, не искореженная, не изрубленная, тускло блестели рельсы в другой половине земли, на них не ложилась грудью безумная и отважная Раймонда Дьен. На школьных митингах не взметались вверх кулачки, непреклонно требующие свободу Назыму Хикмету.

Газеты, газеты, газеты... Лет через пять после войны Сергей с отцом жили в селе на Оке, и они вставали в пять утра и шли десять километров к станции и там среди путейцев, командировочных, колхозников стояли в очереди в киоск «Союзпечати». И все читалось, и все было одинаково важно. И правительственные телеграммы, и новые невиданные стройки пятилетки, и фотография передовика в полполосы, и, конечно же, результаты футбольного матча, и карикатура, метко изображающая их загнивающие нравы.

Читался текст и подтекст, газеты много значили в жизни. Читали их в подробностях, но с одной мыслью: будет ли война?

И все менялось на глазах: тот Черчилль, толстый симпатичный бульдог, знакомый по страницам «Британского союзника», на глазах переменился, лицо смотрелось не как добродушное, бульдожье, а как ощерившаяся звериная морда. Сколько раз в школе, да и не только в школе, обсуждались и осуждались речи разных поджигателей войны, которые скинули с себя маску! И не только на уроках или на политинформациях (раз в неделю обязательно была политинформация), но и после уроков, когда пацаны, малолетки возвращались домой, перепасовывая друг другу туго скатанную тряпку, с успехом заменяющую мяч, по ходу игры, так сказать, они обсуждали, осуждали и проклинали разного рода поджигателей, которые хотели смыть эту узенькую улицу с разбитым недавней войной зданием в невиданном ядовитом фонтане, в смрадном грибе водородного взрыва.

Итак, по утрам отец всегда делал зарядку, а потом спускался на первый этаж за газетой. Вместе они читали, немедленно находя самое важное, даже если оно было напечатано мелким шрифтом на последней странице. Отец в те его, Сергея, детские годы много разговаривал с ним. Пожалуй, больше, чем он сейчас с Игорем. Отец находил

в себе силы разговаривать с ним и в те дни, когда его снимали с руководства кафедрой, когда все в его жизни изменилось, когда он собирался уехать в другой город, далеко от Москвы. Все равно разговаривал. И с прежним интересом — обо всем, что происходило. И теперь Сергей, когда ему было худо, тоже старался, отвлекаясь от своего, говорить с Игорем, обсуждать различные мировые проблемы, но сам как бы со стороны слышал свой вымученный и какой-то точно дежурный голос, словно бы возникший от магнитофонной кнопки. А истинный его голос, словно бы пересушенный, углох и невнятно, неслышно бормотал что-то далекое от того, что обсуждалось с сыном. А первый, громкий голос рокотал, задавая вопросы и сам же отвечая на них. Кажется, недавно это было, и кажется, недавно его мальчик был маленьким и, подходя к двери, нежно и воинственно требовал: «Папа, икивай!» Это означало: открывай. И он, с радостью отвлекаясь от занятий, открывал сыну.

Отец очень редко рассказывал Сергею об ополчении. От друзей отца он узнал о том, как отец был в окружении, как часть группы попала в плен, как другая часть чудом уцелела и вышла к своим. Отец не любил вспоминать самое трудное. Он с охотой рассказывал смешные военные эпизоды, всякого рода армейские курьезы, а о тех тяжелейших днях никогда не вспоминал. Так же неохотно вспоминал он о своих неприятностях пятидесятых годов. Сергей помнит, как он перебирал отцовские фотографии. Была одна, казавшаяся смешной. На фотографии его отец стоит рядом с длинным человеком в белом. Белое — это парусиновый костюм, который плещется вокруг человека, точно флаг. Сам он тонкий, худой, как флагшток, а костюм, надутый ветром, — флаг или парус. Худой, очень высокий человек в очках взял под руку приземисто-широкого отца, тоже в белом, а сзади — смуглое даже на вид лицо улыбающейся женщины, ее пальцы за их затылками, рожки, и борт парохода, и темная полоска реки, и надпись: «Кама, 1935, плавучая станция Белая». Было смешно, что все белое. И халаты, и станция, только люди были загорелые, смуглые, с темными молодыми лицами. Вот этим и волновала эта фотография: молодостью отца и тем неизведанным, что было до его, Сергея, рождения. Как хорошо они смеялись: коренастый, крепко стоящий на палубе, на земле, словно пригожий крепкий белый гриб,

отец, и рядом, тоже похожий на подосиновик с длинной и чуть перепончатой ножкой, высокий, немного несурзанный человек со смеющимися глазами, в круглых очках, по-братски придерживающий отца за плечи. Фамилия этого человека часто мелькала в их разговорах, всегда с теплотой и даже как бы с почтением... Он был старшим другом отца, его учителем. А потом исчез, словно бы растворился в высоком небе над рекой Камой.

Он часто отмечал про себя, что отец и его друзья, несмотря на все, что им пришлось хлебнуть, с известной легкостью смотрели в будущее. Отец часто повторял эту фразу, и она звучала у него совсем не механически: «Будущее покажет». Да, он говорил с уверенностью. Видно, он всегда веровал, что оно покажет именно то, что ему нужно. Он же, Сергей, был более осторожен в отношениях с будущим. В его отношении была некоторая доля недоверия, иногда и нечто вроде суеверного страха, и он заклинал это будущее, как некоего опасного божка («Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, через левое плечо!»). И отец презирал его за это шаманство, за душевную его темноту, недостойную образованного человека, и непреклонно верил в будущее, в светлое будущее.

И поскольку Сергей, заклиная это будущее, предпочитал не говорить о новой, еще не сданной научной работе, об интересной готовящейся поездке и вообще о том хорошем, что должно было произойти, то чаще всего он вообще ничего не говорил отцу о своих делах, и это злило отца. И тогда, чтобы его не злить, он начинал делиться с ним неудачами и обидами. А потом спрашивал себя: зачем? Старику и своего хватает.

Отец слушал, не прерывая, слушал и говорил что-то тихо, успокаивающе. Как сейчас слышал он умиротворяющий голос отца, шелестящий голос отца тех лет, внушающий, что все не так плохо, что будущее, как говорится, покажет.

В последние годы он старался не огорчать старика, не втягивать его в клубок им самим не разрешенных вопросов и обстоятельств. Он только раздумывал над тем, почему тогда отец был так терпелив. Очевидно, отца не раздражало, а, наоборот, трогало, что сын идет к нему с этим; своеобразное выражение детского инстинкта — плакаться на груди матери. Неосуществленный с матерью, этот инстинкт перешел на отца.



...В институте у Сергея заведовал кафедрой профессор Массе. Он был тем самым любимым профессором, легендарным, единственным, который и должен быть в каждом институте. В чем была причина легендарности, никто не знал, никто и не пытался в этом разобраться. Это существовало как данность, само собой, из поколения в поколение все знали, что самый интересный человек в институте это он.

Он действительно читал с блеском и темпераментом, но у них были и другие, не менее сильные лекторы. У него было известное в кругах специалистов имя, но это обеспечивает успех у студенческой аудитории лишь в малой степени. Он с пренебрежением относился к оценкам, на экзаменах не был строг и мелочен, но все они знали, что он имеет свой, невысказанный счет к ним, каждому из них знает цену. В нем было одновременно нечто от «мэтра», небожителя, и от простого свойского мужика, любящего кренкое словцо, с интересом поглядывающего на самых хорошеньких девушек их курса. Когда он говорил о предмете, то он говорил так, что все понимали, что нет, не было и не будет на свете ничего более важного, чем скифские поселения в Приднепровье, их курганы, гробницы и те люди, что прошли, оставив занесенный веками, но различимый след. В его рассказе они выглядели всегда такими или почти такими же, как сегодняшние, с почти такими же заботами, страстями, делами и делишками.

Может, оттого он и казался современником тех, вечным стариком, хотя стариком его трудно было назвать. Скорее он был немолодым человеком с необычайно свежим, почти юношеским лицом, человеком, одетым небрежно и даже чуть неряшливо. Весь его облик, манера держаться сразу же убеждали тебя в том, что э т о т не будет тратить время на пустяки. Они прислушивались к нему, даже к самому незначительному, что он говорил. Они понимали, что старик всегда говорит по делу, что в каждом его слове — собственный, им добытый опыт, и сотни книг, и бог знает что еще. Он был для них стариком, остановившимся в возрасте. А настоящим стариком он увиделся позднее.

Сергей работал у профессора в Костенках, в Воронежской области. Все время возникали хозяйственные неурядицы. Профессор вынужден был бесконечно звонить

или ездить к областному начальству, добывая бульдозеры, бензин, одеяла.

Здесь он выглядел другим — старым, задерганным, но очень четким, отнюдь не академическим; даже трудно было себе представить там, в институте, что он ко всему еще умелый администратор. Только иногда он покрикивал на своих учеников, заставляя их отвлекаться от повседневности, быта «копачей». Ведь в этой пахнущей сыростью, изрытой траншеями земле надо было найти не только конкретный след поселений, но и создать свою собственную, пусть не абсолютную, но все же единственную концепцию жизни, канувшей в бездну исчезнувшего времени.

Когда-то, в студенческие времена, масштаб времени был другим, все эти минувшие эпохи с их напластованиями были лишь строчкой петита в учебнике, казались мигом, мгновением, чужой жизнью, унесенной ветром. Собственная же жизнь виделась бесконечной и необозримой.

Сергей неплохо сработался с профессором, и через два года профессор поехал в Туркмению и взял его с собой. Старик по-прежнему бегал по пустыне, не жалея себя, в своем знаменитом тропическом шлеме, на который с завистью восхищения смотрела вся партия, носившая на голове кто что: от войлочных шляп до игривых детских панамок. Шлем съехал набок, казался огромным на уменьшившейся, словно усохшей голове профессора. Да и во всех движениях его проявилась стариковская суета.

Профессор по-прежнему проводил острые летучки и держал все звенья экспедиции в напряжении, никому не давал «сачковать», но сам уже не попевал, уже был не в силах толкать вперед всю эту махину, решать все не относящиеся к главному, к науке, вопросы. Его заместитель по административной части, «хозяйственник», был никудышный, и все время происходили проколы: то выходила из строя техника, то не приходили вовремя рабочие из колхоза имени Буденного, то не получали вовремя реставрационный материал. В экспедиции начались не порядки, пошли «телеги», жалобы. Приезжали комиссии.

Во главе одной из них был человек, считавшийся одним из учеников профессора.

Сергей хорошо помнит открытое партсобрание, где обсуждалось положение в экспедиции, срыв квартального

плана работ, какие-то мелочи... Помнит он и речь того ученика, и другие речи, где много говорилось о заслугах профессора, о его вкладе, о том, как он их всех, замечательных своих учеников, заметил, выпестовал «и, в гроб сходя, благословил».

«В гроб сходя...» Этот мотив присутствовал. Так или иначе звучал он в речах, сдержанный мотив, скорбная тема, мысль о том, что пора уйти вовремя, а не развалив все дело, тогда, когда ученики помнят тебя могущественным и сильным, а не забывающим через час собственные свои указания, не мешающим их росту, а благородно передающим эстафету следующему поколению... Конечно, говорилось не так. И не об этом даже говорилось: о конкретном, о графиках, о сроках, не о науке, о быте и буднях, но подтекст был один. Пора... Наступает момент.

Профессор слушал, слушал, как бы в полудреме, именно в той державинской позе, что и полагалось, иногда, впрочем, оживляясь и вставляя реплики, уточнявшие общую картину. Смысл их заключался в том, что лень, организационная и творческая беспомощность, незрелость его помощников создавали трудные для его экспедиции моменты, а не его, профессора, неспособность руководить коллективом.

Ему не хотелось уходить. Может быть, ему не хотелось уходить т а к. Его бывший ученик старался избегать каких-либо обидных выражений, доставал блокнотик и приводил факты, только факты. А ведь известно, что именно профессор учил их осмысливать и обобщать отдельные, даже самые незначительные фактики, воссоздающие реальную картину действительности.

Вечером Сергей зашел к профессору. Профессор сидел в своей комнатке, фанерной перегородкой отделенной от общежития. Резко светила настольная лампа без абажура. Старику было жарко, перед ним стояло ведро с водой, и время от времени он опускал туда эмалированную кружку. Обычно он пил мало, у него была целая система, специальный питьевой режим, который он внедрял в головы неопытных, слабовольных своих учеников.

— Вам чего? — сухо спросил он, поглядев поверх очков.

Все приготовленные слова, слова поддержки, любви, еще секунду назад будоражившие душу, высохли, как

капли воды, стекавшие с кружки на дощатый, с глубокими расщелинами крашенный пол.

— Я насчет машины в Байрам-Али. Надо мне ехать к Жеревчевскому?

— Обязательно надо.

Перед профессором лежала толстенная тетрадь с надписью «Амбарная книга». Перехватив любопытный взгляд, он сказал другим, уже не жестким, а тем педагогическим, лекторским тоном:

— Это дневник. Я веду его пятьдесят лет. Каждый день. Дневник экспедиции. У меня сохранены дневники всех моих экспедиций. А сколько их было?

Он подсчитал в уме, и лицо его выразило удовлетворенность и даже некоторое изумление, он как бы сам удивился тому, как много их было. Но сколько, он не сказал. Он только проговорил подчеркнуто безразлично:

— Это, видимо, последняя.

Через год примерно были торжественные проводы профессора в институте. Читали указ о присвоении звания заслуженного, говорили речи. Тот, который приезжал в Туркменскую экспедицию, тоже говорил, и очень подробно, заглядывая для точности в блокноты, чтобы не упустить случайно какую-нибудь из заслуг профессора.

Все было очень торжественно и достойно.

Потом профессор уехал, весь осыпанный цветами, разошлись ученики, разбрелись студенты.

Какая-то желторотая третьекурсница плакала и все время повторяла:

— Зачем же так, зачем же из института? Ведь все же знают, что он самый наш любимый, самый наш лучший профессор!

На что ее спутник, трезвый и рассудительный, отвечал, успокаивая:

— Учителя должны вовремя уходить. Именно тогда они и остаются в памяти учеников.

Отец ушел сам.

Он был в больнице уже второй месяц, и оттуда послал заявление об уходе с должности. Может быть, он ждал, что его отставку не примут, а может, просто решил, что действительно надо уйти вовремя.

Во всяком случае, отставку приняли.

Теперь, как он часто повторял, «он был свободен от любви и от плакатов».

То, о чем он мечтал всю жизнь, — «творческая свобода при отсутствии административных обязанностей» в семьдесят лет впервые открылась перед ним.

Из института позванивали время от времени, приглашали на все вечера, регулярно посылали поздравительные открытки. Он ходил в институт раз в месяц, в день уплаты партвзносов. Его останавливали, узнавали.

— Вы же наша легенда, — говорил молодой лектор, — вас здесь все помнят.

Все суетились. Заказывали ему машину, провожали на улицу, махали рукой, будто он ехал не домой, а в далекую научную экспедицию. А студенты новых выпусков с мимолетным интересом смотрели на маленького старичка, который, говорят, здорово читал лекции и в какие-то давние, смутные времена отстаивал то, что сейчас и первокурснику ясно.

Внучка профессора Массе училась в той же школе, что и Игорь. Профессор регулярно приходил за ней в школу, посещал родительские собрания, а однажды даже провел беседу с учащимися на тему «Далекое прошлое нашей родины».

Иногда Сергей видел, как профессор гуляет по широкому проспекту, стоит перед стеклянным стендом «Вечерки», приподняв очки, что-то вычитывает. Ему хотелось подойти к профессору, поговорить на обоих их интересующие темы, но он не решался... Это ведь только так считается, что учителям приятно видеть своих учеников.

Однажды Сергей пригласил профессора на специальное заседание секции научного общества. Сам он был членом бюро общества и полон планов обновить и освежить работу секции, сделать так, чтобы крупные ученые приходили на эти заседания, чтобы раскиданные по стране, по экспедициям специалисты время от времени собирались для того, чтобы проинформировать друг друга не только о законченных результатах экспедиций, но и о наметках, предположениях, о ходе исследования.

И вот он пригласил профессора выступить по поводу довольно спорных выводов экспедиции, работавшей в Приазовье.

Профессор уже отошел на второй план, но все-таки его знали, помнили, на его труды ссылались, учебник его неоднократно переиздавался. И когда профессор пришел, Сергей с легкостью настроился на прежнее, студенческое, на восхищение, веру почти в каждое его слово.

И действительно, старик говорил дельно, с блеском. Сергей ведь давно не слышал его и теперь был рад, что все так хорошо получилось, что старик согласился, приехал и так славно, крепко держит разношерстную и искушенную аудиторию. Старик выглядел иначе, чем в студенческой аудитории когда-то, да и держался иначе: говорил сдержанно, медленно, все время шелестел бумажками, иногда далеко отстраняя их от глаз, как делают дальнозоркие старики, иногда замолкал, будто теряя нить, но вскоре находил ее.

Старик был хорош.

И только одно создавало чувство некоторой неловкости: он ругал почти все новейшие исследования, он оспаривал не только выводы, как предварительные, так и окончательные, но и самую концепцию исследования. Он практически ни с чем не соглашался и ничего не принимал. Весьма убедительно, как нечто само собой разумеющееся, отвергал он доводы последней Азовской экспедиции. И вдруг Сергею стало неинтересно, потому что он понял: старик теперь не примет ничего. В вестибюле он торопливо и вежливо простился со стариком и не поехал провожать.

...Когда старику исполнилось восемьдесят лет, Сергею позвонили из научного журнала и долго уговаривали написать юбилейную статью. Разговор был примерно такой:

— Ведь вы же его ученик, что же вы отказываетесь?

— Да у него учеников сотни. Кто-нибудь другой лучше меня сделает.

И тут у редактора сорвалось:

— Вот так все и отсылают друг к другу, никто не хочет. Не знаю уж, почему. Знаете, бывает такая категория, когда ценят, но не любят. Не очень любят,— поправился редактор.

Вот после этой фразы Сергей решил, что напишет. Да, напишет, потому что они его не очень любят, а он не будет измерять степень своей любви, а просто сохранит верность старику, тому старику, который еще недавно так много

для них всех значил, и который теперь действительно стал абсолютно законченным стариком.

Он написал статью. И сразу, как напечатал на машинке, прочитал отцу. Отцу она понравилась.

— В ней немножко больше чувства, чем принято в научной статье, даже в юбилейной, есть налет сантимента, но в данном случае это, может быть, даже хорошо. Мне было бы приятно, если бы обо мне так написали. Судя по всему, он сейчас одинок, и вообще, учитывая предубеждение, которое к нему питают некоторые коллеги, это поступок.

Одно из старых любимых выражений отца: «п о с т у п о к».

Действительно, после этой статьи ему звонили многие и говорили: «Знаешь, ты, пожалуй, прав. Старик действительно заслужил». И начинали вспоминать прежние заслуги старика.

«Странно устроены люди! — думал Сергей. — Ведь все они знали все то, что можно сказать о старике, но думали все же иначе. Но печатное слово легко может их поколебать. Железная сила печатного слова».

Многие ему в те дни звонили. Единственный, кто не позвонил, был старик. Впрочем, кто ему судья.

Он часто думал о старике... Кто знает, какие у него утра, какой тусклый и болезненный свет пробивается в окно его комнаты.

А может, не об этом старике он думал, а о старости? Как встречает он начало дня, — ведь каждый может стать последним? Да и в страхе ли последнего дня сокрыта тайна старости? Этот страх ведом и более молодым. Нет, очевидно, она в чем-то другом. Возможно, в том, что перед тобою нет горизонта и нельзя придумать себе что-то наперед. А может быть, и в том, как старый человек медленно, боясь оступиться, фиксируя и проверяя каждый шаг, идет по крутым лестницам неосвещенного подъезда. Он идет старательно и спокойно. Он привык к темноте, и она не тревожит его. И вдруг из подъезда он выходит на белый свет, который будоражит, слепит, и острый запах бензина, асфальта рождает память о таком же далеком запахе. Тогда он выходил из этого же подъезда и спешил, его ждали, и он сам ждал кого-то. И, очевидно, он помнил тот миг, тот шаг по земле, ликующий свет, деревья и лица, лица после тьмы подь-

езда, и еще, как все старики, он помнил сотню мгновений, помнил то, что было уже несуществующим, не имело ни цвета, ни запаха и было лишь тем эфемерным, что принадлежало одной его нетускнеющей, цепкой и потому мучающей памяти. Куда оно делось? В какую материю перелилось?

Дети, играющие в песке. Один из них, такой же, как и все, в белой панамке, подымает лицо и радостно бежит тебе навстречу. Кто это?

Это твой маленький сын. И ты берешь его сухой, загорелый локоток своей крепкой и легкой рукой и медленно идешь с ним мимо лавок и мимо ям, вырытых в песке. Когда это?

«Ваше восьмидесятилетие вы встречаете в расцвете творческих сил, полный замыслов и планов», и т. д. и т. п.

Идущий прямо еще зоркий, хорошо выбритый старик, затем старичок, уползающий в бездонную тьму подъезда, в гулкую каменную нору, где гложут и стираются постепенно медленные шаги.

## Х

Мальчик выскочил во двор, как всегда — с чувством облегчения. Он скучал по деду, и ему нравилось разговаривать с дедом, но слишком долго он разговаривать не мог... Во дворе было лучше. Там не надо было думать о том, чтобы не сделать лишний шаг, разбить что-нибудь, передвинуть книги, рукописи, бумаги, устроить кавардак. Он с детства слышал это слово «кавардак», толком не понимая его смысла. И когда он был маленьким, кавардак напоминал ему дикого кабана, мохнатого, несущегося вскачь, раскачивающегося из стороны в сторону, как пьяница. Ему нравился кавардак, и он охотно впускал своего кабана в небольшие комнаты их квартир. Пусть носится, ломая все на своем пути.

А двор этот он знал так, как и свой собственный, даже лучше. Знакомый с первых шагов жизни, он всегда таил неожиданности. То у бетонного забора находил он грибы, похожие на поганки, не лесные плешивые, а розово-све-



тящиеся. Однажды он собрал их довольно много и принес домой, и все были необыкновенно довольны и всячески одобряли его. Красиво назывались эти грибы: «шампиньоны». В другой раз нашел зарытую в землю каску, обрадовался и опечалился; думал, она от войны — неужели в этом дворе кто-то погиб? — принес к ребятам, они почистили ее и увидели — пожарная.

Это был двор находок, неожиданностей. Двор с закоулками, где ребята помладше прятались от родителей, а постарше пили портвейн, обнимались с девочками, брели на гитаре.

Но сейчас он не стал задерживаться в этом дворе. Он сделал кружочек по двору, а затем вышел на улицу и сел в трамвай.

Трамвай дребезжал стеклами, металлом, жесткими блестящими сиденьями, позванивал медяками кассы, а он один сидел в вагоне и смотрел в раскрытое окно, где мелькали и гасли то надвигающиеся на него, то внезапно тускневшие огни.

Он ехал назад, к своему дому, но слез не на своей остановке, а на следующей, откуда до Дашкиного дома было ровно пять минут, только он еще не знал, зайдет к ней или нет.

«Если в окнах темно, — думал он, — буду ждать. Если горит огонь, придумаю что-нибудь... Например, нужна книжка».

А какая книжка? Надо быстро придумать книжку, которая именно у нее есть, а у него нет. А почему вообще нужна причина? Врать, выдумывать? Просто так пришел. Захотел — и пришел. Люди же ходят друг к другу в гости даже и без особой причины. Просто хотят друг друга видеть. Им нужно друг друга видеть. Вот и ему нужно... Именно сейчас.

Взбадривая себя и храбрясь, решаясь и не решаясь, он тем не менее поднимался по ступенькам на ее пятый этаж.

«Ведь никто же не звал, — думал он, — а я иду... Ну и что, пусть не звали... — отвечал он себе. — Все правильно».

Когда стоял перед дверью, так все дрожало и прыгало внизу живота, будто стóит позвонить, а оттуда в тебя — очередь из автомата!

Позвонил.

Сначала было тихо, потом что-то зашуршало, точно

кошка пробежала. Потом раздалось уже что-то более отчетливое, напоминающее шаги босых ног.

— Кто это? — Это был ее голос.

— «Кто, кто!»! Взломщиқи. Мосгаз.

По ту сторону двери не хотели понимать его юмор. Молчали.

— Это я, Игорь.

— Так бы и говорил! Сейчас, кофту наброшу.

Открыла.

Он вошел в темную маленькую прихожую. Дашка чуть отступила к дверям, молчала, вид у нее был выжидательный. Она была в красных вельветовых шортах и в кофте, бесформенной и широкой, как бурнус. Они секунду постояли молча, ничего друг другу не говоря, будто встреча эта была заранее и давно запланирована и никого из них ни капельки не удивила. Потом он пошел за ней в пустую и просторную столовую, в ту, в которую пришел он первый раз в тот вечер. На обеденном столе лежали ее учебники, тетрадки. Будничный, совсем не такой, как тогда, вид этой полуобставленной комнаты успокоил его.

По тишине, простору было ясно, что она одна, и как бы уже давно одна, будто все ее родные неожиданно снялись с места и покинули этот дом.

— А где брат?

— А он на практике. В Усть-Сургуте.

— А чего он там делает?

— Мост делает. Дипломная практика. Это он тогда на несколько дней приехал из Усть-Сургута.

Ему почему-то сразу стало легче, потому что брат уехал надолго. Неизвестно, почему. Что он мог иметь против ее брата?

— Что делаешь в свободное от учебы время?

Она показала рукой на учебники, на тетради. На тетрадях вместо записей были рисунки, остренькие, перышком, рисунки — звери, похожие на людей, звероподобные люди.

Это обрадовало его... Хоть чем-то они, значит, были похожи. Он тоже исписывал целые страницы змеями, астронавтами, ковбоями, танками, профилями великих людей. Однажды приятель его отца, художник, рисовавший плакаты, долго разглядывал его рисунки и сказал отцу: «Смотри, как он у тебя интересно видит».

Ему показалось странным это выражение, и он подумал: «Любят они, взрослые, выдумывать — «интересно вижу», а я просто бумагу мараю, так как заниматься неохота».

— Смотри, как ты интересно видишь, — сказал он, поглядев на ее тетрадку.

— Чего вижу, кого вижу? — не поняла она.

— Животный мир... Мир людей. Фантазия, замечаю, у тебя богатая.

Она бросила на тетрадку учебники.

— А ты чего подглядываешь? Я же не для выставки, а для себя.

— Оправдываться будешь перед судом... Да ладно, я и сам такой же. Прежде чем уроки начну, так на черновике всегда какую-нибудь ерунду рисую часами... Мне разогреться надо, разминку сделать... Знаешь, как футболисты? Мне всегда очень трудно начинать заниматься. Для меня сами занятия легче, чем тот момент, когда я решусь. От этого я иногда и не начинаю. Наверное, у меня безволие. Я даже в книжке прочитал: паралич воли. Вот к этим урокам проклятым у меня паралич. Мать берет мои тетради, а у меня там сплошные Фантомасы. Она: кого обманываешь? А действительно, кого?

Ему хотелось еще что-то рассказать про себя, что-то важное и откровенное, и про свои недостатки и особенности, но рассказ не получался, молол какую-то чепуху, а может, и рассказывать было не о чем, тем более откровенное... А врать, выдумывать всякие байки вроде тех, что рассказывались чаще всего в туалете о том, например, как на него напали трое амбалов и начали толковищу, а он их... сначала одного под дых, второго, затем третьего, такое рассказывать ей не хотелось... Да и вообще он этого не любил.

Но неожиданно она отозвалась на его рассказ о мучениях перед уроками. Может, она пожалела его, но голос ее потеплел.

— А я, представь себе, — сказала она, — люблю решать всякие задачки... Я вообще люблю все точное, где докапываешься до единственного ответа, а все приближительное, всякие там общие слова, я не люблю. Я, например, в истории всегда запоминаю фамилии и даты, а вот всякие там черты феодально-общинного строя или како-

го-нибудь еще, всякие там особенности и разные там социальные отношения — это мне все до фонаря, я сразу бросаю учебник, включаю музыку... Щелкнул по клавише — и другой мир, и сама думаешь: ведь ты не раб какой-нибудь там феодальный дробить камни для чертовой пирамиды Хеопса, не рабыня, а свободный человек, который может плюнуть на все уроки и слушать музыку всех эпох, или просто глядеть в потолок, или просто выскочить на улицу и шататься без дела.

— А мать?

— Она приходит поздно. Она работает в больнице. У нее через день дежурства. В основном мы с братом... Ну, еще его друзья. С ними мне никогда не скучно.

Он вспомнил тот вечер и почувствовал, как против его воли губы расплываются в неприятную скептическую улыбочку.

Но она так любила своего брата и так была увлечена этой темой, что не заметила.

— Вот тебе не повезло, — продолжала она. — У тебя ни сестер, ни братьев. А я будто еще одну жизнь проживаю, братову, я в курсе всех его дел. Любых — и институтских и самых тайных.

— А я их не понимаю, — сказал он.

— Кого — их?

— Ну... старших братьев... Вот этих двадцатилетних. Они ни то ни се — не мы и не взрослые, и потому выпендриваются как могут. Один бородищу отпустит, другой усы, третий крест нацепит под майку, четвертый еще что-нибудь... Хотят показать что-то, а показать нечего.

— Завидуешь?

— Да нет. Я никуда не гонюсь... Не убежит. Я вот отцу немного завидовал, он войну понюхал. Правда, не воевал, но в эвакуации был, их бомбили, он видел, как немцев вели по Москве. А потом, после войны, у них тоже было все интересно... Непонятно, но здорово. Многие вещи у нас вообще не укладываются. А эти что видели?

— Что видели? Да все видели. То, что им положено. Ты, знаешь, рассуждаешь, как эти пенсы на бульваре.

— Кто? — переспросил он.

— Пенсы. Пенсионеры. Знаешь, они чуть что — заводятся: «Вот у нас — да. А вы что?» Несерьезно это.

— Да я не о том. Я тебе объяснить не могу... Просто

жизнь была суровой. И подделочников было меньше...

— А кто же, по-твоему, подделочники? Ничего ты не понял. Мой брат, его друзья, они ни под кого не подделываются, они такие, какие есть... Они просто любят надо всем посмеиваться, им не хочется переть напролом, тупо наморщив лоб... Но если надо, они все для тебя сделают. И без всяких там правоучений и прочего. Он ничего рассказывать не любит, а мне Кирилл, его приятель, рассказал, какая там у них была история. Как они там спасали одного лесоповальщика. Как брат заболел воспалением легких из-за того, что шел к этому парню почти сутки и сам чуть не замерз насмерть. И для него это не подвиг никакой. Он не выносит всяких слов... Ничего ты в нем не понял.

Она уже заводилась и смотрела на Игоря почти с неприязнью.

«Да она всех удавит за своего брата,— подумал он.— И зачем это я полез!»

— Да разве я против брата! Я просто... Я бы сам, если бы имел брата и кто-нибудь — на него, я бы всех за него грыз, не останавливаясь. Так что ты не бери в голову.— Он помолчал и добавил: — Давай лучше немного погуляем.

Она посмотрела на него, подумала, потом сказала: — Ладно, сейчас уберусь, сиди жди.

Она унесла учебники, тетрадки, долго шуршала в соседней комнате, переодевалась, что ли. Ему даже стало скучно, и весь разговор показался нелепым, ненужным и захотелось домой.

Она вышла, уже не в хитоне, а в черной кофточке и в замшевой короткой юбке, прошитой каким-то красным узором и открывавшей ее длинные, со сбитыми коленками, загорелые теннисные ноги.

И опять, как тогда на кухне, что-то задело его в этом облике, и снова захотелось сотворить что-нибудь подобное тому, а там, может быть, умереть от стыда или, наоборот, тихо, достойно удалиться как ни в чем не бывало.

Что за муть, думал он. Мало ли девчонок было рядом, он боролся с ними, возился, дрался, а на даче у отцовского друга он даже целовался с дочкой друга и курил с ней сладкие быстростгорающие американские сигареты. Она все шутила и подсмеивалась над ним, поддразнивала, как бы к чему-то призывая, будто была какая-то опытная. Да,

он целовался с ней, и даже в губы. И было очень рискованно, ново, немного опасно, чуточку глупо (что вообще за занятие), и он с интересом делал все это. Только не чувствовал ничего. Разве что губы у нее мокрые, пахнут табаком и чуть-чуть котлетой. И целовался он с ней не потому, что было приятно, оттого, что тянуло к ней, а так, скорее для спорта. Ведь от многих пацанов он слышал: вчера целовал такую-то, такую-то или что-нибудь в этом роде. Ему казалось, что и она к нему тоже ничего не чувствует.

Сейчас же было совершенно другое.

И он делал равнодушное лицо, будто глядел мимо нее и не видел, какая она красивая в этой черной кофточке и рыжей узкой юбке с красным узором.

Да, он видел и понимал, к а к а я она. И он знал, что теперь уже всё, никто и никогда — только она, что бы там ни было, и он любит ее, вот именно л ю б и т, слово, которое столько раз слышал или произносил, но которое для него не имело реального смысла, высыхало на пальцах, как вода. «Любит, любит» — это все было в песенках, фильмах, чужое, скользящее по льду, как фигуристы под звуки вальса.

Он любил отца, мать, свой город. Нескучный сад. И вдруг он произнес мысленно это абстрактное слово «любить», такое привычное и далекое, как слово «душа», например. Что такое душа: то, что там постукивает внутри, как будильник, или то, от чего портится настроение, от чего хочется плакать, быть одному, никого не видеть из людей. И еще он подумал, какая связь между этим абстрактным «любить» и ею, стоящею сейчас рядом с ним... Разве это и есть? И как не похоже на благостный смысл этого возвышенно-буднично примелькавшегося слова то, что он ощущал сейчас: зависимость от нее, от того, что она скажет, что подумает, как посмотрит на него. Да, зависимость. Может быть, власть. Какая разница, как называется. Это не было тяжелым или унижительным, как зависимость, которую ему в той или иной степени приходилось испытывать: от родителей, от товарищей, от собственной слабости.

Зависимость эта требовала от него поступков неизвестно каких, может быть самых простых, но очень важных для них обоих. Он смотрел на нее и проборматывал это ничего не выражающее, бессмысленное слово «люблю»

и знал, что никогда не посмеет произнести его вслух.

Она ответила ему взглядом, который как бы говорил, что она что-то поняла, догадалась, ощутила вполне свою силу, красоту и, наоборот, его смятение и глупость. Взгляд ее был нежно-снисходителен, обещал как бы, что она не употребит свою силу во вред ему... Так ему казалось, во всяком случае. Возможно, она ни о чем таком и не думала, а думала, возможно, о брате, или об уроках, или о чем-нибудь еще, ему вовсе неизвестном. Кто их знает, о чем они думают, женщины, даже в тот момент, когда пытливо и внимательно смотрят на тебя.

Во всяком случае, она сказала:

— Ну, так что мы стоим? Поехали?

— Конечно, давай, понеслись.

И они действительно понеслись. Вначале, когда они шли по темной лестнице и он не видел ее, только слышал громкий стук ее башмаков на деревянной подошве, он взял ее руку в свою, неловко и жестко как-то схватил, все время этого пути в темноте он чувствовал себя незримо и навсегда связанным с ней. Но едва они вышли из подъезда и пошли по обычной, столь знакомой им улице, все это пропало, и он снова разъединился с нею и стал думать о несделанных уроках, о том, что дед и отец ждут его, ведь он вышел всего на час. И он не знал, куда идти и что говорить. Стало неожиданно тускло и скучно.

И слова, которые вылетали изо рта, были необязательные, ничего не выражали, точно он не с ней разговаривал, а писал какой-то нелепый и трудный диктант. Его вдруг обступило то, что к ней не имело отношения. Он стал думать об отце. В сущности, единственный человек, кому он мог рассказать о ней... ну, не рассказать, а намекнуть, как бы случайно обмолвиться, был отец. А теперь отец хотя и рядом, но далеко от него, и нет охоты ничего ему рассказывать.

Он впервые вдруг подумал об отце с раздражением, даже со злостью. И ведь будет ругаться, что ушел так надолго, и надо придумывать вескую причину и что-то врать.

И снова отец будет уходить и прощаться с ним, уходить, прощаться, будто они знакомые, которые раз в неделю ходят друг к другу в гости...

И в эти дни он будет засыпать с мыслью, какая ему никогда днем не приходила, неожиданной в своей оче-

видности: случилось что-то непоправимое, и это теперь навсегда. Засыпая, он обычно старался избавиться от этой голой, навязчивой мысли, про себя крутил цветной привычный калейдоскоп, где мелькали повседневные знакомые, приятные лица, где все смещалось и все-таки было расставлено четко: дом, школа, друзья, родители, занятия и отдых, все такое понятное и ничем не разрушенное, предчувствие спокойного сна, уютный сон, уютный, не пугающий рассвет. Но на рассвете тепло улетучивалось, возникало предчувствие тревоги, а потом сама тревога электричеством дергала мозг: что-то случилось, распалось, и это правда, а не дурной сон, сон, наоборот, был хорошим, а это реально и будет с ним весь день и всю ночь, всегда... Отец был и отца не было. Казенно-школьное и привычное слово «родители» повисло, как вывеска с выбитыми буквами. И каждое утро имело теперь марганцовочный, железный привкус несчастья.

Потом все восстанавливалось. Шли дела, заботы, уроки, и уже не думалось об этом с такой остротой. Прошли дни, месяцы, и он привык к этому, почти как должному, и только иногда вдруг снова возникало что-то неприятное, как бы веющее холодным, сырым ветром, заполняющее им пустую грудную клетку.

«Тысячи так живут», — услышал он однажды, как подруга говорила его матери.

Тысячи, может быть, а может быть, даже и миллион, но почему именно он должен был попасть в это число?

— Ты чего там бормочешь сам с собой, как лунатик?

— Я лунатик и есть.

— Слушай, а у меня есть предложение, — сказала она.

— Валяй.

— Что значит «валяй»?

— Ну, излагай в смысле.

— Так вот. Пошли на американские аттракционы.

В ЦПКиО, на американские аттракционы... Знаешь, какое там огненное кольцо с ухающими вагончиками, с музыкой обалденное — это я тебе говорю. Я уже была раз с братом.

Ему следовало объяснить ей, что его уже заждались дед и отец, что отец должен проводить его домой, но ничего этого объяснять ей не стал, молча, легко согласился.



...Раздался приглушенный звякающий звук, какой всегда издавал разболтанный отцовский телефон, дед крикнул: «Послушай», он взял трубку, услышал торопливо-стертое: «Добрый вечер», узнал, и лицо его напряглось.

— Это ты? — звучало на том конце провода.

— Я... А кто же?

— А где мальчик?

— Гуляет.

— Что же? Гулять он и без вас может. Он и так целые дни один гуляет. А тут раз в кои веки.

— Так ему захотелось.

— Не лучшее проведение времени при наличии деда, отца.

— Он попросил отпустить его на час.

— Уже девять, и физику он не выучил.

— Через полчаса он будет дома.

— Не позже.

Секундная пауза. Громкое шуршание каких-то невидимых частичек или тел.

— У тебя все?

— Все.

— До свидания.

— Будь здоров.

И трубка повешена.

Отец смотрит на него, не спрашивает. Он-то знает, кто звонил, знает, не слыша разговора, по первой его реакции, по выражению лица.

— Я, пожалуй, спущусь за ним... Вот так, разрешишь на час!..

## XI

В сумрачном дворе мимо редких деревьев с мокрой жестяной листвой шел, торопливо вглядываясь в каждую тонкую и высокую фигуру.

Мальчика не было.

Он давно уже не был в этом дворе, подходил к дому не двором, а улицей, хотя так было длиннее. Не любил этот двор. Впрочем, что значит — не любил? Это был хороший двор, если вдуматься — лучший в его жизни.

А если и не любил чего, то напоминания о том, что уже не существовало. Именно не воспоминания, а напоминания.

С этим двором был связан, пожалуй, лучший период его жизни. Тогда они жили все вместе. Отец с Антониной и он со своей женой. Они получили эту квартиру в первый год их общей жизни. Жизни, а не скитаний по хатам друзей, по чьим-то холодным дачам с доброжелательными подмигиваниями всё понимающих дружков: «Ничего кадр», «Вот тебе ключ до трех часов».

И не объяснишь никому, что вот уже почти пять лет, целую жизнь, этот «кадр» с ним и что уже не кадр, а целый фильм без начала и без конца, и он уже не в силах понять и оценить, какая она со стороны. Порой во время этих хождений, когда, крадучись, уходили, словно отступающий какой-то патруль сквозь враждебное окружение, мимо коммунальных дверей, едких ночных сторожей, в отдельные какие-то моменты тоже смотрел на нее со стороны, и самому казалось: «Хорошо, теперь пора расставаться, сейчас провожу, поцелую напоследок — и свободен. Пойду по ночной Трубной к центру, бульварам, одинокий, простившийся, возможно даже навсегда, полный не того, что уже было — с ней, а другого, что еще будет неизвестно с кем».

Так бывало в какие-то призрачные мгновения, когда при свете голых коридорных ламп, горящих по-ночному вполне, но с беспощадной яркостью, шли каждый сам по себе, стараясь не разбудить соседей, гордо шли, как бы никого не пуская в свою всем известную и никому тем не менее недоступную тайну. И почти никогда не бывало так, чтобы ни на кого не смотреть. Нет, смотрел на кого-нибудь. И даже записывал чей-то телефончик на студенческом вечере и что-то жарко шептал соседке при свете костров, под звуки дружных песен «на картошке» в колхозе.

Нет, черту не переступал. Что-то удерживало. Казалось, после этого уже не будет ничего, что было прежде. Но вертел головой по сторонам — видел всех хорошеньких девчонок Москвы, Советского Союза и даже братских стран, слышал, как они шелестят широкими, по моде тех лет, парашютными юбками. Но боже, как тянуло к ней — именно после разлук, после ночных этих костров, случайных флиртов, чьих-то любопытных взглядов и на минутку нежных рук, после долгих застолий со множеством глупостей, с громкими песнями, с анекдотами.

Долго он не мог без нее тогда.

Начало отношений, как сам он любил говорить потом, «было солдатское, с письмами «шлю привет, жду ответа».

Познакомились на вокзале, откуда эшелон увозил на целину.

То было время эшелонов, идущих на целину. Люди уезжали по путевкам райкомов, по распоряжениям и без них, рвались туда сами и там оставались надолго, навсегда. Другие бежали назад уже после первых месяцев, не выдержав, рискуя комсомольским билетом и будущим.

«Это жизнь, новизна, это степь, это новые города, здесь чувствуешь себя человеком», — писал ему школьный товарищ, с детства романтический Толя Дмитриев.

«Рубим камыш, по профессии не оформляют, в палатке восемнадцать человек, напиваются, горланят песни... Больше всего хочу домой», — писал другой товарищ, слабогрудый, мрачный Юра Горлов.

Значит, надо разобраться самому.

Поначалу их отправляли на полгода в совхоз «Амангельдинский» Кустанайской области. Многие буквально рвались ехать, но кое-кто отмотался по состоянию здоровья. У него тоже был момент слабости. Он почти уже договорился о справке. Был такой малый, который все мог. И когда собрали их в деканате и ректор читал список, в карманчике уже лежала та спасительная справка.

Уже прочитали список и надо было только подойти к декану, и он уже сделал несколько шагов, но увидел вдруг лицо отца. Он уже знал это выражение, своего рода гримасу, какая бывает при виде дохлой жирной мухи в углу окна, да и представились рожи ребят, всё понимающие, проницательные: «Заболел, бедненький, болезненный мальчишечка. Москва ему нужна. Москва излечит».

Не хотелось быть Красносельским. Был у них такой Красносельский, всегда забелевавший в ответственные моменты, со скорбным взглядом влажных темных глаз.

Так и не вытащил ту справочку.

«Едем мы, друзья, в дальние края, станем новоселами и ты и я».

Было, правда, смутное чувство каких-то упущенных возможностей, счастья пофилонить, пошляться от весны до поздней осени, даже до зимы по любимой им тогда остро Москве. Особенно любил он ее летнюю, опустевшую,

с просторными зелеными ее дворами, с маленькими двориками Арбата, с подрагивающими от электричества и волшебства танцплощадками.

Сознание упущенных возможностей никогда не делает человека счастливым.

Однако решил.

Антонина собрала его умело и быстро. Отцу и хотелось, и не хотелось, чтобы он ехал. Не хотелось, чтобы дезертировал, но и чуть боязно было, и потому рассуждал особенно четко и логично: «школа жизни, реальность, самоотверженность» и проч. Отец не чужд был подобных рацей.

Все сверстники Сергея выпивали в последние дни. Прощались со своими девчонками, сидели в кафе, шатались группами по весенней Москве, пели с надрывом: «Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда...»

А потом их построили возле института, посадили в автобусы и грузовики — и на вокзал.

Вот уж и загревели марши, речи, усиленные микрофоном, закачались белые буквы на красном кумаче лозунгов. А минут за десять до отхода сгрудилась в их купе теплая компания — ребята с их курса и еще две какие-то девчонки, которые не уезжали, а пришли проводить.

Одна была приятелева, вела себя почти как жена, давала советы, а вторая была просто подруга, ничья. Была она высокая, тоненькая, молчаливая, с небольшой змеиной головкой в голубой косынке с «голубем мира» Пикассо, в сарафане с вырезом, открывающим загорелую худенькую шею, была она как бы тургеневская, по ошибке надевшая эту голубую косынку с голубем, и только речь у нее была современная, отчетливая, немного едкая и полная внутренней уверенности... В чем только? А руки у нее были неожиданно пухлые, с детскими, в ямках, локотками.

«Руку жала, прово-жала, руку жа-а-ла...» Все пели, кричали, прощались, обещали.

А они сидели, будто они оба никуда не едут, и ему было так легко, тихо, покойно от ее присутствия, что он на секунду решил, что они сейчас вместе встанут и пойдут в город.

Однако не встанешь.

Но уже старосты групп стали волноваться и проверять

списки, и начали ходить проводники, освобождая столики от пустых прощальных бутылок, и она встала, поправив свой чуть примятый зеленый сарафанчик, и протянула ему узкую ладонь, желая счастья, удачи и особенно доброго пути.

И он сказал, придураясь, но, в сущности, совершенно серьезно:

— А давайте я вам письмо напишу. Это же интересно — письмо с целины.

— Звуковое? — спросила она, поддерживая пронию, но как бы не принимая смысла.

— Нет, обычное, на бумаге, на почтовой, в листочку.

— Пиши до востребования, — сказал приятель.

— Да брось ты, занимайся... — бросил он с раздражением приятелю.

А девушка уже вышла и стояла около подножки.

Он что-то еще бормотал с тем обычным слогом смущения и развязности, которые возникали у него в такие минуты, бормотал что-то незначущее и все смотрел на эти опущенные глаза, на легкую головку в косынке с голубем, на маленькие открытые ступни в восточных, с позолотой, индийских босоножках. Мысль о том, что уйдет — и все, показалась вдруг невозможной.

Она уже действительно уходила, вернее ее оттирали назад, и чугунный настойчивый голос время от времени вещал: «До отхода поезда остается...»

Вот он снова ее увидел. Она вынырнула в небольшой кучке людей, рядом с райкомовскими мальчиками, держащими в руках транспаранты, и растерянными родителями, машущими руками и глотающими слезы.

— Ну, до свидания! — кричал он ей. — Счастливо оставаться... Извините, если что не так...

Она улыбалась, не зная, что ему отвечать, а в последний момент, когда состав уже тронулся, лицо ее вдруг сделалось таким, какое бывает у тех, кто провожает действительно своих и надолго.

Вся ее фигура в плещущемся сарафане, лицо и рука распластались, устремились за поездом. Она и вправду провожала его, прощалась.

— Пиши мне! — кричала она ему. — Николо-Песковский, 18—23. Ты слышишь?

— Слышу! — крикнул он. — А кому?

— Мне! Гале Батуриной!

Уходил, уходил поезд.

Его девушка махала рукой или платком. Разве разберешь теперь... А может, и не его девушка махала...

Косили камыш с рассвета дотемна, потом их перевели на другой участок, строили совхоз «Амангельдинский»; их стройотряд направлен был на свинарник. Сначала жили в палатках, потом перебрались в саманные домики.

Задували в середине лета жгучие степные ветра, дышать в палатках ночью было невозможно, и он выходил и спал на мешковине. Но жрала мелкая всякая гнусность, мошка.

Иногда и дни казались долгими, однообразными, неповоротливыми. Сколько их еще здесь... А на самом деле они проносились быстро и дело шло к осени.

Уезжал он иногда в Амангельды и в райцентр, где в белой известковой земле стояли азиатские домики с дувалами, а в центре — в горделивой большой папахе каменный Амангельды Иманов. А рядом была почта, и там девушка-казашка кокетливо, оценивающе смотрела на него, будто решая, стоит ли для такого возиться, искала в толстой пачке. Искала. Почти всегда находила от отца и лишь однажды от нее.

Письмо было безликое и, что называется, светское.

«Ну, как вы там, на далеких стройках? А у нас здесь в Москве то-то-то и то-то. Не за горами фестиваль молодежи. А также приезжает Ив Монтан», и так далее и тому подобное.

И все-таки обрадовало.

Был звук оттуда, из далекой, несбыточной Москвы, предфестивальной, праздничной. Был сигнал от нее, придуманной и потому интересной девушки с вокзала.

Да и сама эта жизнь в степи вдруг показалась удивительно привольной, счастливой, быстролетящей и бесконечной.

Однажды послали его вместе с Шакеном, водителем, за продуктами в райцентр.

Езды-то было всего сто — сто двадцать километров, но Шакен, восемнадцатилетний парень, круглолицый, с девичьим румянцем, решил вдруг сэкономить время, и они поехали кратчайшим путем, торфяным болотом.

Вначале машина шла сравнительно легко, торфяник

подсох и не грозил никакими неприятностями до тех пор, пока они не забуксовали в неподвижной черной, с глубокими морщинами, как лава, жиже. Буксовали, буксовали, потом вылезли и пошли вроде бы хорошо, и вдруг машина враз потеряла точку опоры, и они стали медленно погружаться, уходить в толстую, липкую жижу. Она только казалась упругой, как резина, а на самом деле, все больше разверзаясь, легко, без сопротивления пропускала вниз машину. Их засасывало быстро, бесповоротно.

Он пытался выбить стекло, друг что-то кричал ему, что-то непонятное, по-казахски, — он забыл сейчас русский язык. Сергей не понимал его и уже не слушал этот долгий, тягучий крик; он бил по стеклу, оно не поддавалось, потом треснуло, ломаясь прямо в ладони и горячо обжигая руки, сразу ставшие мокрыми. Он метнулся в острое отверстие, ножом обрезавшее, как бы проткнувшее грудь, плечо.

Открывалось что-то глухо, тускло блестящее в слоновых серых складках, пахнущее гнилью, смутное, как бы густевшее на глазах. Вцепившись одной рукой в ускользающий борт машины, он схватил Шакена за плечо, тянул к себе, безжизненное тело было тяжелым, точно из чугуна.

Потом это тело показалось ему легким, так же как и свое. Из своего все время выходила тяжесть, влага; казалось, кровь вытекает тонкой неостановимой струйкой, будто водопровод до конца не привернули, и вот она течет, льется, еще минута — и кончится все.

Потом помнилось все смутно: больница какая-то, а точнее госпиталь военный, потому что ближайший был именно военный госпиталь крупной войсковой части, и там его резали, и помнит, что склонялось над ним рябое курносое лицо.

— Ну что? Чего ты? Знаешь, как это говорится: «Все пройдет, как с белых яблонь дым».

Не проходило долго.

Он спрашивал про Шакена, и отвечали, что жив, но ему показалось, — врут.

Но однажды он увидел живого Шакена. Живой Шакен с обвязанной головой, с круглым, без румянца, без цвета лицом, протягивал огромную, загипсованную лапу:

— Ты... спас... Ты, Сережа... Ты тогда спасал, — говорил Шакен, и рот, будто подшитый по краям, пытался растянуться в улыбке, а может, и не в улыбке, может, он

плакал, понять было трудно. Сергей только видел, что гипсовая рука подталкивает ему шоколадку. — Отец... мать... благодарят... в Москву приеду... Я приеду... ты приезжай...

Так говорил Шакен, прикрывая второй рукой рот, и непонятно было, зачем он прикрывает, ведь его и так трудно понять. Только когда на секунду опустил руку Шакен и наконец все-таки улыбнулся, Сергей увидел — рот у него, как у младенца или глубокого старика — без единого зуба.

Шакен сумел оправиться раньше него, хотя и был ранен тяжело. Сергею казалось, что они, побратавшись в тот день, постоянно будут держать связь, писать, приезжать, видеться... Шакен пришел его проводить в аэропорт, и, когда самолет откатывался, он все видел белое пятно — забинтованную голову Шакена... Одно письмецо получил, ответил, и потом все прервалось, заглохло, развело навсегда, будто на разных планетах жили.

## XII

В Москву привезли забинтованного, на костылях и сразу отправили в больницу со странным названием «мед-часть», в хирургическое отделение.

Теперь он ковылял по больничной палате, стоял у окна и смотрел на посетителей. Иногда среди них был отец или деловитая Антонина, но чаще всего посторонние, незнакомые люди, другие шли к другим.

Но однажды, и он себе не поверил, маленькая и стройная, наподобие шахматной пешки, и как бы знакомая фигурка замаячила внизу. Он стал вглядываться, уже веря, еще не узнавая. И также не узнавая, а может быть, и не веря, и она посмотрела на него и помахала рукой в перчатке, как бы ему одному и никому — одинаковым окнам, одинаковым фигуркам в пижамах, кирпичному зданию, безрадостному уже по цвету блеклого, казенного кирпичика.

Помахали, постояли, оглядываясь, и поняли оба: «да».

— Как узнала? — крикнул он.

Она не ответила, сделала только какой-то круг руками, мол, случайно.



А потом она появлялась еще и еще, и пустынный больничный двор обрел смысл, звук, цвет травы и жизни.

Однажды он выскочил, минуя карантинные посты, и черным ходом прошел в подвал больницы, открыл дверь и увидел ее, ходящую взад-вперед от главного вестибюля к черному ходу.

Он даже не окликнул ее. Казалось, какая-то волна световая или звуковая повернула ее к нему. И она тут же вошла, вернее, нырнула в это подвальное смутное помещение со сплетением труб, с шахтами лифтов, которые, спускаясь, рождали грохот обвала.

Она стояла теперь рядом, какие-то полуслова выражали радость и удивление и вместе с тем ничего не выражали. Говорить было не о чем, в сущности, да ему и не хотелось говорить. Слишком остро и сильно он чувствовал ее присутствие. Она стояла в бархатной юбке колоколом, румяная, а может, просто раскрасневшаяся и, как теперь, сегодня ему видится, очень молодая, почти девочка. А тогда совсем другое он ощущал и видел. Совершенно незнакомая и одновременно почти родная женщина стояла перед ним, нарядная, в тугом красном парашюте юбки, из которого струились стройные нейлоновые ноги на тоненьких шпилечках, по моде тех лет, его женщина, которую он не знал, но которая была предназначена судьбой (так он тогда видел, так представлял себе судьбу), женщина, которая ждала, скучала, писала ему письма (впрочем, правды ради скажем: писала редко, а скучала ли, он не знает, но условимся так — скучала). И вот теперь, как логическое продолжение всего этого, в минуту большого несчастья его женщина пришла его выручать. И, чувствуя вседозволенность, он молча притянул ее к себе. Какой-то слабый магнит удерживал ее, притягивал к железной, с трубами, стене, сопротивлялся его порыву. Он ощущал в эти секунды ее неподвижность, молчание, незнакомость и еще нежное тепло и тяжесть тела, странный азарт и интерес, какую-то почти спортивность цели. Но вот что-то бешеное, мгновенное бросило их друг к другу, и ничего уже не было ни существенным, ни важным — ни грохот лифта, ни запах хлорки и отвратительное повизгивание ржавых перил; он гнул ее вниз, будто собирался свалить на грязные ступеньки, она стелилась и выпрямлялась, будто деревце какое-то. И он делал с ней все и ничего не мог сделать. О, как это было

вновь, как дико и одновременно счастливо, в подземельном грохоте, в бомбоубежищной опасной темноте! И не говорилось ничего, не вспыхивало дежурное слово «люблю», даже и мысли такой не было, даже и не подразумевалось, а было лишь то, что и определить невозможно. В первую очередь, наверное, томление юношеское, молодое, желание и что-то еще, особенно удивительное и, может быть, даже потом никогда не испытанное: первость счастья...

А ведь не ребенок уже был тогда. И знал квартирные закутки, и была Лиза Разина, старше его на несколько лет, переводчица. И помнилось, что в каком-то доме, деревянном, одноэтажном, около Сокольников, собирались двое на двое: она и ее подруга и он с Валькой Рюминым. Говорили тосты и читали стихи, потом разбредались по незнакомым сумрачным комнатам, и Лиза говорила ему что-то нежное, а ему казалось: вранье, говорит просто так, слышала где-то, что так надо и принято, а сама ведь не любит, и все это так, дурной студенческий роман в ожидании чего-то другого и настоящего, что потом придет, а сейчас какие-то ничего не стоящие слова, чужая комната, утоление жажды...

А потом сходились все вчетвером, чуть стесняясь друг друга и оттого развязно и громко разговаривая, включался спасительный проигрыватель, точнее радиола пузатого немецкого «Телефункена», звучал незабываемый блюз: «Мы с тобой пройдем чрез ресторана зал, нальем вина в искрящийся бокал, никто с тобою нас не разлучит, пускай мотив звучит».

И уходили часа в два: «До свиданья, девочки». А девочки стояли тихенькие, корректные, в аккуратных своих юбочках, недотроги, студенточки старших курсов середины пятидесятых годов. И шел домой на Кировскую, мимо Красных ворот, что-то жгло и горело внутри, ощущение временности происходящего, ожидание будущего, которое неизвестно, лучше ли, но обязательно другое.

Потом — тяжелая дубовая дверь, светлый подъезд с ампирной гипсовой лепниной, лифт не работает и мимо подозрительного Петра Федоровича, бессменного вахтера, все знающего или обязанного знать, «кто, откуда, куда», горбуна, еще с достопамятных времен жившего в этом доме, старом московском доме, построенном немецкой компанией в конце прошлого века.

Звучали гулко его шаги, и он утишал их, будто шел в разведку на задание. Мелькали наглухо запертые массивные двери с фамилиями квартиросъемщиков, он знал эти фамилии почти как азбуку, лучше таблицы Менделеева, — там, в этих квартирах, жили его одноклассники, однокашники, а если смотреть с сегодняшнего дня и воспринимать все с исторической дистанции, то сверстники по поколению. Где они теперь, Игорь Кунчеев, Сережа Ломикадзе, Таня Бородкова, Женя Краузе?

Затем он выходил на последнюю площадку, дальше идти уже было некуда, это был самый верхний этаж и его квартира. Открывал дверь, стараясь делать все с гангстерской точностью и осмотрительностью, но, как нарочно, лязгал засовом или ронял ключ, входил в комнату, снимал ботинки. Отец и Антонина спали, но он знал, она все слышит, все примечает — когда пришел, выпивши или трезв, а уж потом когда-нибудь, в другом, к этому не относящемся разговоре аукнется: пришел тогда-то и тогда-то, почти на рассвете, так несло, что хоть святых выноси, сильно подшофе.

«Подшофе» — вышедшее из употребления слово, из тех далеких времен, замененное ныне понятным и точным словом «поддатый».

Ложась, он вспоминал и думал: «С Лизой надо кончать, ни ей, ни мне это не нужно», видел ту комнату, голую, серую, без признаков живущих здесь людей, кровать и пыльные стулья, будто дача не в сезон, и представлялось другое — нарядное, праздничное, светлое, с тускло мерцающими корешками книг в шкафах и с тонкой незнакомой женщиной, стоящей у окна и курившей. Да, она была тонкая, высокая и курила у окна... Он еще не видел ее толком, но знал, что полюбит.

«Мы с тобой пройдем через ресторана зал...»

Совсем недавно, буквально года два назад, на стоянке такси на Смоленской увидел приземистую женщину, энергичную и как бы без возраста. Она охраняла порядок, справедливость, равенство всех и не пропускала какого-то нахала, нагло лезшего вперед без очереди. Потом заметила его. Отвлеклась от нахала, сказала, как бы сама себе: «Да, конечно», и решительно подошла к нему:

— Сергей?

— Да.

— Ковалевский?

— Так точно.

— Не узнаете?

Он изобразил внимание, недоумение.

— Я Лиза.

«Какая еще? — подумал он. — Не помню такую»...  
Бедная, бедная Лиза.

— Вы Лиза, это так, я Сергей, но я вас не узнаю. Вы перепутали что-то.

Она посмотрела на него туманно, с неприятной, как ему показалось, игривостью:

— Я Лиза Разина.

— Да?

Он замолчал и стал ее рассматривать, пытаясь узнать.

— Да, да, Лиза.

Но узнать ее он не мог.

— Ну, и как ты живешь, Сергей?

— Да разве расскажешь? Это же вся жизнь.

— Дети?

— Да. Конечно. Сын. А у тебя?

— Нет.

— Ну, а вообще?

Именно «вообще», потому что не следовало задавать ответные вопросы, чтобы не прикоснуться к каким-то обнаженным проводам, чтобы не попасть в какие-то заминированные болевые зоны, из которых потом не выбраться, да и к чему все эти вопросы и расспросы с человеком, которого ты даже не узнал.

— Ну ладно, ладно, я ведь знаю, как это неловко и глупо, — сказала она.

— Что? — удивился он.

— Да все эти встречи с тенями.

— Почему же?

— Знаю, знаю я это. Но вот что самое смешное, ты ведь меня тогда кем считал? Ну, по-честному.

— Как — кем?.. Ну, моей приятельницей, подружкой.

— Нет, не так.

— Девушкой, которая мне нравилась.

— Да что ты, сейчас-то!

— Ну, своей девушкой...

— Нет, врешь.

— Ну, раз вру и раз все «нет», зачем спрашиваешь? Может, ты сама и скажешь?

Она посмотрела на него и вновь, как и вначале,

туманно усмехнувшись, легко и даже нежно произнесла короткое мужицкое словцо.

И добавила:

— Вот кем.

— Да брось, чего ты там городишь!

— А знаешь, что самое смешное? — сказала она, не слушая его. — А самое смешное, что я тебя любила, и еще как. Ты был моей первой любовью.

— Первой? — сказал он, не в силах скрыть иронию.

— Да, любовью первой... — Она помолчала и сказала, усмехнувшись: — Извини, и до свидания. И спасибо тебе за то, что ты не говоришь, что я совершенно не изменилась.

— Да ну что ты, — сказал он. — Все мы немного все-таки меняемся.

Она уже не слышала, повернулась и энергично побежала, махая рукой подкатывающему такси.

Шел потом по Садовому кольцу и думал: «Как же это так? Я ведь за все эти двадцать лет, кажется, и не вспомнил о ней ни разу, я и тогда ее не знал, а сейчас и вовсе не узнал, и лицо то ее, прежнее, вспоминаю с трудом, а о чем мы тогда разговаривали?.. За все эти двадцать лет, только когда попадал в те края, как бы тихое эхо тех Сокольников слышалось. Точнее — тогда были не Сокольники, а пышная Преображенка, тогда хулиганская окраина, темные домики с палисадниками, собаки; сейчас ничего не осталось. Многоэтажные корпуса с универсами, будто тот район существовал в давние века да и вообще не существовал, не осталось ничего, ни лица, ни слов, только само сочетание имени и фамилии, как позабытый код: «Лиза Разина». А еще, помнится, она учила испанский язык, и однажды в их компании появился какой-то испанец, но вроде не настоящий, он важничал, темнел, строил из себя какого-то подпольщика, борца, рискованного человека. А может, он и был таким, кто знает. И помнит также, как она говорила: «Как трудно устроиться на работу с испанским языком! Никому сейчас не нужен испанский язык!» (И действительно, тогда еще не пришло время испанского языка.) И, чуть выпив портвейну, она читала Гарсиа Лорку, все один и тот же «Романс о черной жандармерии», и говорила, что никогда не быть ей в Гренаде. Интересно, была все-таки или нет?

Впрочем, у кого не получается с личной жизнью, не выходит и с поездками.

...Но тогда, в больнице, в подвале, все было счастливо, празднично, и, целуя свою новую и единственную теперь женщину, он решил уже про себя: «Да. То. Надолго. Навсегда».

Теперь она приходила каждый день. И каждый день до самоистязания обнимались они в этом грохочущем, затянутом паутиной, пахнущем плесенью закутке, но не было ни стыда, ни страха, и легко и радостно было смотреть друг на друга, когда она выходила и стояла около открытой двери. Оттуда тянуло запахом воли и весны.

Когда он приходил в палату после этого, то хотелось разговаривать со всеми одиннадцатью ее обитателями, в том числе на главные темы, которые обсуждались в эти дни в палате. А темы эти были такие: а) установка в женском отделении телевизора с линзой; б) главный хирург Дмитрий Павлович, который, по общему мнению, все мог и все умел, вот уже неделю не появляется в больнице (и поговаривают, правда это держится в строгой тайне, что у него инфаркт, поэтому все, кто хотел именно к нему на операцию, приуныли); в) сквозняки в палатах и незаклеенные стекла; г) результаты футбольного сезона и степень подготовленности нашей сборной к первенству мира в Стокгольме; д) унылое однообразие гарниров в больничной столовой; е) женщины; женщины вообще, женщины данной больницы, в том числе представительницы медперсонала, а также находящиеся в данный момент на излечении.

И, наконец, последнее, свежее: странная судьба девушки Зины, три дня назад доставленной в приемный покой.

Когда он приходил, рыжий Сашка, рябой мужик, грузчик, лежащий с ущемлением грыжи, хмуро помаргивая и понимающе скалясь, говорил:

— Ну, как там... Какая перспектива на любовном фронте? Смотри, как бы не накрыли... за этим самым.

В старые времена, может быть, он бы и оскорбился на такую пошлость, дал бы по морде обидчику, посягающему на святая святых, но сейчас никакого оскорбления, никакого душевного протеста и обиды он не чувствовал. Эти разговоры не имели ровно никакого отношения к тому,

что происходило в его жизни. Это был другой язык, обозначавший именно то, чего не хватало сейчас этому здоровому парню, надорвавшемуся на пустяке, на чешской хельге, которую тащил один без ремней, так как решил сорвать на пару бутылок один и в результате глупо накололся. Этот парень с хмурыми голубыми глазами, обиженно блестящими на большом белом лице, смотрел на сестричек, гарцевавших в коротеньких халатиках и быстро и покровительственно поглядывавших на мужскую молодую часть больничного населения, принимая снисходительно-повышенный интерес к себе и выказывая в отдельных случаях сдержанный интерес к некоторым индивидуумам в мужской хирургии.

Были они легки, вились халатики, открывая крепкие, здоровые ножки; эти развевающиеся халатики живо вспыхивали в белых мертвенных проходах, между высокими конструкциями кроватей с белыми лебедями суден под ними, в холодильной зиме, у которой отняли снег, солнце, лыжи, радость передвижения.

Простынный, белый, пахнущий хлоркой мир бесполого пространства.

А в квадратах окон, обклеенных газетами, чуть наливалось голубизной предвесеннее небо.

Девушку Зину он увидел на следующий день.

Все смотрели популярные в те годы студенческие передачи, где сообразительные и бойкие одесситы состязались в смекалке с дисциплинированными технарями из политехнического. То было время студенческих ревю, театра МЭИ и проч., и проч.

В холле сидело множество людей в серых байковых халатах и пижамах, громко смеялись, а палаты, где стонали тяжелые, были на этот раз плотно закрыты.

Где-то позади всех сидела девушка с удивительным лицом. Было даже трудно определить, чем поражало это лицо. Да и неправильно сказать «поражало». Точнее — заставляло обернуться и долго в него всматриваться. И когда он ее впервые увидел, вернее разглядел, то оно отложилось в его недлинной памяти в ряду нескольких лиц, поразивших его красотой. Он их помнил наперечет: девушка в Севастополе, она стояла в очереди на Морском причале, ждала катера на Омегу. Красавица? Опять не так. Просто лицо, лик, поразивший чистотой и нежностью, овалом. Хотел бежать за ней, знакомиться, кадрить, но

посмотрел на это лицо и не смог подступиться. Помнил еще одну, в Костенках под Воронежем, на студенческой практике, на «мотаниях» около деревенского клуба. Девочка лет пятнадцати-шестнадцати. И тогда, также не смея подойти, он застыл в изумлении: драгоценно, небесно светились светлые, ничем еще и никогда не замутненные глаза. Таких, как эти две, он видел лишь в альбомах эпохи Возрождения. Они белели лбами винчианских мадонн... Вот из такого-то короткого ряда было и лицо Зины, находившейся в тот момент на излечении во второй хирургии.

Так же как и все остальные, она тянулась к свету голубоватого маленького квадратика, увеличенного выпуклой линзой, отчего изображение приобретало слабый водянистый венчик. Темный ее зрак, как бы отразившийся в этом веселом квадратике, был неподвижен.

Она сидела тихо, незаинтересованно, мертво, опустив руки на колени, а колени ее были закрыты чем-то темным. Иногда она откидывала голову и поводила плечами, и тогда вся ее фигура отплывала назад.

Она сидела в кресле-каталке.

Она не могла ходить. Как говорилось встарь, «обезножела». Это не было результатом долгой болезни, у нее не были нарушены в результате каких-то сложных процессов двигательные функции.

Просто она переломала все свои косточки, выбросившись из окна. Вот эта история в передаче сестер.

Познакомилась с двумя какими-то. Один то ли артист, то ли учится на артиста. Играет на музыкальных инструментах. Даже, по ее словам, показывал ей этот инструмент в черном футлярьчике. Вроде флейты.

Второй был не артист, а просто так, приятель. Ребята были как ребята, одеты небогато. Зина им очень понравилась. Произвела впечатление. Познакомились. Пошли в кафе «Русский чай» на Кировской. А там выпить не дают. Один из них говорит: «Пойдем напротив, в «Сатурн». Там есть парень джазист, свой, устроит». Но парня того не оказалось. В ресторан не попали.

И что теперь делать?

Артист говорит: «Пошли ко мне». Неартист поддерживает: «Давайте посидим, музыку послушаем, поговорим».

И она, рассказывают сестры, была в смущении. Сомнения у нее возникли. Идти так сразу — нехорошо,



неверно. А не идти — жалко, интересные ребята, она еще таких не знала. И все-таки решила — не идти. Пошли в общественное место. Потоптались у порога и не попали. Тогда артист снова приглашает и, не дождавшись ответа, бежит в гастроном. И все делалось так без ее согласия, но будто бы она уже согласилась. Приехали домой. Все нормально. Завели музыку. Разговоры. Где ты учишься? А она нигде не учится. Бросила. Потом она танцевала сначала с одним, потом с другим. Они снова стали предлагать выпить. Она отказалась. Они сами. Оказалось, у них еще бутылка была, кроме того, что в гастрономе купили. Потом вышли из комнаты и стали о чем-то спорить. Это ей уже не понравилось. Потом один, неартист, вернулся, они стали танцевать, но все уже было не так, как раньше. Он опьянел, стал лезть к ней. Она оттолкнула его.

На суде потом он утверждал, что она нанесла удар в лицо. Ей было странно слышать «нанесла удар». Просто хлопнула его ладонью по щеке.

Он начал ругаться, кричать:

«Ты что, девочка, что ли?»

«Да, девочка», — она ответила.

«Ну, тем более, пора начать».

Она его послала куда подальше.

Тогда появился второй. Он был настроен более мирно:

«Ну и черт с ней, пусть катится».

Но первый стал орать на него. И тот полез тоже. Они оба лезли и угрожали.

Ей стало казаться, что они ее убьют. Тогда она решила схитрить:

«Ладно, я согласна, только вы уйдите из комнаты».

Она хотела запереться. Но они, конечно, никуда не ушли.

Она стала быстро ходить по комнате, подошла к окну. Увидела: этаж третий, вроде невысокий. Она этого не боялась. Она не боялась высоты. Она боялась их. Девушка — спортсменка, разрядница, гимнастка. Она вспрыгнула на подоконник, обернулась к ним и крикнула:

«Чао, дураки!»

Она помнит, что земля подбросила ее, как будто она прыгала на батуте, но батут был железный. Тем не менее она встала на ноги и пошла. От этих двух идиотов подальше, подальше.

И тут она услышала пронзительный женский голос: «Девушка выбросилась!..»

И тогда она села на землю, на асфальт. Хотела встать, чтобы никто ее здесь не видел.

Но не встала.

А сейчас она сидела молча и смотрела КВН... Одеситы были находчивее, москвичи веселее.

Потом еще он видел ее в тихий, послеобеденный час. Она ждала кого-то. Приходил человек, высокий, с военной выправкой, в спадающем с прямых плеч халате. Он внимательно наклонялся к ней и все спрашивал, спрашивал. Она отвечала вяло, неохотно. Потом он ушел, а ее увезли в палату.

— Следователь, — сказала дежурная сестра с уважением, с сознанием важности происходящего.

Мнения у медперсонала разделились. Правильно ли поступила Зина? Может, уступила бы — и была бы, значит, с руками и ногами, как все. Другие же сестры с этим категорически не соглашались, считали, что она поступила, как и должна была поступить. Честь дороже. Единства во мнениях не было. Но все сходились на одном: жалко девушку. Тем более такая красивая. Выходит, от красоты и страдает. Верная получается поговорка: «Не родись красивой...»

Несколько раз Сергей разговаривал с ней. Она говорила медленно, трудно, будто с усилием возвращаясь из далекого отсюда мира.

Однажды он рассказал ей какой-то студенческий анекдот, привезенный с целины. Она рассмеялась. Смеялась долго и с наслаждением. Улыбка у нее была детская и простоватая. Может, оттого, что зубы у нее были щербатые. Когда она улыбалась, он подумал: «Ах, как бы я за ней бегал, как бы я ее, наверно, любил, если бы не это».

И тут же отогнал эту мысль.

В день своей выписки, счастливый сей день (ожидая выписки, собирая пожитки, сдавая казенное, названивая из автомата домой, сообщая, так сказать, сводку последних известий), он счастья не чувствовал — оно только смутно угадывалось. И сейчас еще его лицо сохраняло специфически больничное выражение, сугубо озабоченное и деловое, лицо человека, который должен поспеть на физиотерапию, подготовиться к какому-нибудь там про-

мыванию, или прочищению, или сачкануть с данной процедуры, который должен также подготовить себе культурные развлечения, занять место перед телевизором, очередь на партию в шахматы, который должен не забыть заскочить на секунду и в женское отделение, увидеть, что там происходит...

Вот так выглядел он, именно озабоченно-деловым, а не счастливым и парящим уже над всем э т и м.

Он простился с многочисленными своими соседями, с персоналом, со всеми, с кем можно было проститься; почему-то ему захотелось проститься и с ней, с Зиной. Он заглянул в ее палату. Соседки ее сказали, что она на операции. По громким голосам сестер, уборщицы, по полуоткрытой двери в операционную он понял, что там уже все кончилось.

Он догнал Зину в коридоре. Ее везли на каталке. Лицо ее было открыто. Не было в нем следа боли, страдания, но, казалось, не было и следа жизни. Белое лицо покоилось на жесткой подушке.

— Зина! — с ужасом сказал, а может быть, даже крикнул он.

— Ты что голосишь, человек после операции, — сказала ему сестра.

— Да она... она... вы посмотрите! — сказал он, боясь еще раз посмотреть на ее лицо.

— Ну что — она, — сказала сестра и прикрыла Зинин подбородок простыней. — Нормальное дело, после наркоза.

Он все еще не понимал, не верил: казалось, сестра обманывает, и он наклонился над нею. Движение застыло, кто-то стал отпихивать его, а он все всматривался, ища дыхания.

— Да что это? — бормотал он.

Белая тележка уже скрылась в палате, и он остался один в коридоре. Потом он подошел к ее палате и видел, как ее устраивали так, чтобы голова лежала достаточно высоко, и как рядом с ней устанавливали капельницу. «Да, она жива», — впервые за эти беспорядочные и долго летевшие мгновения понял он и стал спускаться по лестнице вниз. Он шел, держась за перила и чувствуя, как ослабели все-таки ноги за месяцы лежания, слышал голоса людей, стоявших у телефонов-автоматов на холодных площадках. О чем они просили? Кого ждали? О чем договаривались? Слышалось звяканье монет, клацанье ры-

чажков и как бы один все время продолжающийся, только на разные голоса, мерный разговор.

Спустился вниз, мимо белых, наглухо заклеенных окон второго этажа, в белый стеклянный коридорчик первого, мимо громко рычащей, всегда озлобленной вахтерши с пропусками, еще шаг — и последний автомат, у дверей, автомат полусвободы, холл, справочное окошко, а там уже двор, спующие больничные пижамы, парк, оглушающий вдруг голосами, ветром, стуком домино, и навстречу идет она, его женщина.

Он разглядывает ее так, будто видит впервые. И действительно, впервые в нормальную величину: не из окна вагона, не с высоты шестого этажа, не в больничном подвале. Действительно впервые.

— Да, вот так, — зачем-то говорит он, забывая другие, еще секунду назад горевшие слова.

Перед ним еще та палата, капельница, лицо Зины, не лицо, точнее, а маска, гипсово-неподвижная, и он говорит:

— Девушку ту оперировали. Кажется, она жива.

— Да все будет в порядке, и ты сейчас забудь об этом, просто забудь, — тихо, материнским таким голосом говорит его женщина.

Его успокаивает этот тон, и он действительно начинает забывать. С каждым шагом он помнит все меньше.

— Вот так, конечно, — говорит она и забирает у него сверток с вещами.

Он догадывается, что она ждет, когда он ее обнимет. Он ее обнимает, и они долго идут по парку. Больница остается позади, ее прямые кирпичные корпуса сереют над деревьями. Он поворачивается, останавливается, что-то прикидывает, вычисляет, ищет окно своей палаты, окно Зининой.

— Прощайся, прощайся с больницей, и хватит об этом, ты уже здоровый, посмотри на себя.

— А как я посмотрю на себя? — говорит он и вглядывается и будто бы находит квадратик того окна.

— Город такой праздничный! Мы с тобой пойдем в центр... Будем гулять, — говорит ему его будущая жена.

— Почему? — спрашивает он. — Почему он такой праздничный?

— Ты совершенно там оторвался от жизни, ты с луны, что ли, свалился? Скоро фестиваль! Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

В институте организовывались отряды по охране порядка, висели плакаты: «Очистим территорию от грязи!», «Микрорайону — образцовый порядок!» Чистили и драили двор, и он копался со всеми, хотя по болезни был освобожден от всяких физических и общественных нагрузок. Все ждали фестиваля. Каждый вечер он встречался с ней, они шатались по приукрашенным улицам центра, сидели в парках, сквериках.

Все было теперь не так, как в больнице. Дурман, страсть и какая-то больничная обреченность встреч в бомбоубежище сменились постоянством, стабильностью и некоторой замедленностью действий: ходили, гуляли, разговаривали, молчали, целовались на бесчисленных этих скамеечках, но уже без того сумасшествия и отчаянности.

Сквозь обманную тьму Нескучного сада, сквозь его шорохи, вскрики, замиранья, повизгивания, шепоты, сквозь летний московский уют проползала, пробиралась тревожная мысль о дипломе, о будущем, — куда направят: в туркменскую экспедицию к профессору Массе или в воронежскую к Котомкину. О том, куда важнее, и о том, что с ней придется расстаться. Мысль о будущем, о том, что надо что-то решать, и бесповоротно, и что от этого решения будет зависеть все дальнейшее, обдавала холодком. Хотелось подождать с решением. Не сейчас. Не сразу. Хотелось сладостно вспоминать трудности целинного времени, это было слаще и легче, чем готовиться к новым. Хотелось отодвинуть тот простейший бюрократический момент, от которого во многом вся будущая судьба зависит. И видел он мысленно меловые горы в Костенках, там уже был на практике, и многие друзья там работали в экспедиции. И видел также Туркмению, раскопки древнего Мерва, Султан-Санджар. Все это волновало неизвестностью, новизной. А что с ней делать?

«А что, собственно? — отвечал он сам себе. — Расстанемся... Большое видится на расстоянии. Когда кипит морская гладь... Ведь был же я до нее — сам».

— Расстанемся, Галь, — говорит он ей.

— Тебе что, домой пора?

— Да нет, я в другом смысле.

— В каком это?

— Ну, в глобальном.

Она замолчала, как бы поперхнувшись.

— Давай. Ну что, встали...

Она встала, и он притянул ее к себе, прижался к ее юбке, чувствуя тепло ее ног, балдея.

— Да что ты, что ты... Это все так.

А она и вправду отрывалась, вырвалась, пошла куда-то, в чернильную темноту. Он бросился за ней, догнал ее, шутил и всячески заглаживал и замаливал, но она была отчуждена, суховата, а простилась величественно и надменно.

И он понял: он и таких шуток не понимают.

Нагрянул фестиваль. Теперешняя Москва, привыкшая к чемпионатам, конференциям, конгрессам, делегациям, гостям, туристам, ничему не удивляется, все приемлет в порядке вещей.

Тогда это было вновь. Иностранцев в Москве было немного, и они обращали на себя пристальное внимание. Было еще неясно до конца, какие они, зачем приехали, чего хотят.

А тут толпами, только головой успевай вертеть: в сари, в бурнуссах, полуголые и наоборот, волшеббно элегантные, белые, черные, желтые и какие-то нездешне голубые, что-то кричащие на десятках непонятных языков, машущие из окошек автобуса.

Это были прекрасные деньки. С утра до вечера они с Галей шлялись по улицам, участвовали в манифестациях, митингах, смывках, братаниях, скандировали «Миру — мир!», угощали прогрессивную молодежь эскимо, обменивались значками, жали руки, обнимались, пели и смеялись, как дети.

Однажды познакомились с какими-то дивными латиноамериканцами. Было это на сквере, против «Ударника». Трудно было определить, бразильцы они или чилийцы, а может, уругвайцы или даже панамцы, не исключено, что из Коста-Рики. Один был высокий, гибкий, с осиной талией, с какой-то прекрасной уверенностью в походке, со счастливой младенческой улыбкой, никогда не сходявшей с уст; казалось, следы многовекового колониального унижения не оставили в его маленьких, доверчиво распахнутых глазах никакого следа.

Второй был маленький, более сдержанный и все время руководил первым. Поехали с ними на ВСХВ, ходили по

павильонам, по площадям, показывали, угощали. Очень хотелось, чтобы им все тут понравилось. И им нравилось — все. Шли уже в обнимку. Еще не пели, но уже хотелось петь — верный признак полной близости и взаимопонимания. Зашли в филиал шашлычной «Узбекистан», что сблизило еще больше. Расставаться было невозможно, а идти в казенные покои их гостиницы не хотелось.

И тогда он позвонил своему приятелю, у которого была комната.

Сейчас никого не удивишь не то что комнатой, — квартирой. А тогда у ребят его возраста даже и мечты о собственной квартире не могло быть. Комнатку бы. Приятель с комнатой — это был почти что владелец замка, человек редкостных возможностей.

Так вот, он был знаком с одним таким.

— Сейчас возьмем кое-что и приедем.

А с кем приедем, не сказал.

Звонили в большую, пухлую, как в тулуп одетую дверь с прикрепленными к коленкору табличками. Звонили весело, гоготали у этой сонной двери, потом открыл приятель, несколько удивившийся, но не показавший виду. Шли долгим коридором коммунальной квартиры, маленькая соседская девочка зачарованно смотрела на них, а они счастливо, лучисто улыбались ей черными до синевы глазами. И сразу в продолговатой комнате с аквариумом, портретом Маяковского на тоненькой этажерке и огромной менделеевской таблицей элементов на стене воцарилось немыслимое веселье. Поразительная была какая-то в этих двух парнях свобода и легкость общения, запас природной, ничем не ущербленной радости, полная раскованность и умение чувствовать себя всюду, как дома. Жесткие сиденья стульев заменили ударник: именно на них отбивался четкий, звонкий ритм; все, взявшись за руки, танцевали, кто-то еще пришел, круг постепенно расширился.

И начали петь. Сначала «Песню дружбы запекает молодежь». И, раскаляясь, веря, любя друг друга, обнимаясь со всеми находящимися в комнате и мысленно со всем миром, твердили с вдохновением: «Не убьешь, не убьешь». Потом пошел другой репертуар. Огненные, бешеные самбо буквально опрокинули, перевернули длинную, пеналообразную комнату, и даже вялые, полузадох-

шиеся рыбки заюлили в своем аквариуме, разбуженно задвигались.

В этом общем гуле радости и движения возникали, впрочем, и свои внутренние маленькие вихри, незаметные глазу частицы сталкивались и образовывали потоки. Длинный латиноамериканец неожиданно проявил все нарастающий интерес к его девушке, Гале. Поначалу интерес этот был ему даже приятен, лестен, как бы носил характер международного признания ее женских достоинств и создавал особую интернациональную общность. Но затем показался ему несколько чрезмерным и вызвал первое робкое внутреннее сопротивление.

Началось все с того, что латиноамериканец пригласил ее танцевать. Она вышла на круг с большой робостью, с некоторой даже обреченностью и начала тяжеловесно парировать его изящные выпады, повороты, закручивания.

Она старалась. Он парил и летал. Но внезапно скованность покинула ее; может быть, ей передалась его легкость или что-то еще с ней произошло, но вот она завертелась тоже с быстротою необыкновенной, в движениях ее появились задор и свобода. Танцевать с ней после латиноамериканца было трудно, он воображал себя старой грузовой лошадью по сравнению с нарядным цирковым коньком, в результате чего сел в уголок, предоставив ей возможность повышать свой класс с редкостным партнером. Но, увлекшись, партнер стал чуть крепче прижимать ее к себе, чуть дольше держать ее руки в своих, чуть более загадочно, чем это требовала международная рабочая солидарность, заглядывать ей в глаза. Будь это парень из с в о и х, он бы знал, как поступить, а тут приходилось терпеть, проявлять выдержку и понимание. Он и проявлял. И ведь нельзя сказать, что латиноамериканец позволял себе какие-нибудь явные излишества, что-нибудь на грани штрафного, фола. Нет, этого не было. Просто он увлекся. И что было особенно странно и отчасти даже неприятно — увлеклась и она.

Веселье было в самом разгаре, когда начался стук, сначала предупредительный — куда-то в потолок (сигнал вначале не был понят и принят), потом короткий и решительный — в дверь, и наконец двое жильцов из другой квартиры вошли в их комнату. Лица их были исполнены законного гнева. Было далеко за полночь, и, согласно



постановлению, не полагалось пользоваться музыкальными инструментами, танцевать, всякими другими способами нарушать порядок. Вошли они очень грозно, решительно, не желая вступать ни в какие диалоги, но увидели необычных гостей и оробели.

— Гости фестиваля, — объяснял хозяин. — Друзья наши. Издалека приехали. С огненного континента. Борцы за мир, между прочим.

Гости одарили вошедших улыбкой, полной приязни, доверия и такого непонимания ситуации, что те, отказавшись от предложенной выпивки, но также и от санкций, достойно и даже приветливо удалились.

В этот момент он дал ей знак. Главное, как известно, вовремя смыться. Она подчинилась с еле скрываемой неохотой.

В длинном уснувшем коридоре были слышны голоса, смех, музыка, звон посуды, не только не стихающий, но как бы еще более яростный, гул уже чужого им веселья. Он открывал одну за другой задвижки, замки, она стояла вполоборота, еще прислушиваясь к тому, потом дверь захлопнулась.

На улице было многолюдно и тоже празднично, и ему захотелось быть одному, как раньше, как до нее, толкаться на улице, глазеть, приставать к незнакомым девушкам, знакомиться, а эта так называемая его девушка пусть делает что хочет, может быть даже пусть вернется туда, где они только что были. Каждый должен делать то, что он хочет, все остальное ложь и ерунда... «Зачем я увел ее оттуда? Это только кажется, что мы одно целое; подует ветерок, и мы распадемся на разные части, на отдельные и едва ли соединимые вещества... Вот сейчас я могу уйти от нее и взять под руку вот эту, беленькую, с чистым скучающим личиком, пойти с ней, разговаривать, будто мы уже год знакомы, а этой будто и не было никогда в моей жизни. А она может вернуться и будет слушать непонятную речь этого парня, а меня будто и не было, и, может быть, даже — ну, допустим такую крайность — уедет в какую-нибудь там Колумбию или Перу навсегда. Все случается... И почему именно она? Проводы на целину, больница, случайность. Но, скорей всего, встретит какого-нибудь парня, когда он будет в экспедиции, в отъезде, и это уже будет другая судьба, о которой он, очевидно, мало что узнает».

Отдельность от нее и случайность — вот что казалось ему сейчас самым важным и очевидным.

Горели тепленькие, веселенькие огоньки ночных квартир, баяны раздували мехи, и смех слышался громкий, освобожденный, и пробивались кое-где гитары с неопределенным блатноватым уличным репертуаром, еще до «булат-окуджавского периода»... Летний вечер был душен и ал. Впрочем, какой вечер, — казалось, вот-вот рассветет.

— Куда ты так спешишь? — спросила она.

— Домой, домой пора.

— Идем к людям. Послушаем музыку. Смотри, какая ночь.

Он, не отвечая, вел ее к дому. У дома она поцеловала его и сказала тихо:

— Какой ты маленький, глупый, так не хочется расставаться. Я так тебя сегодня любила...

Он усмехнулся, махнул рукой, деловито и быстро пошел.

Это было лето решений. Решений, которые так и не были приняты. Все продолжалось, и ничего не начиналось.

Осенью он уехал с экспедицией профессора Массе в Среднюю Азию.

#### XIV

Двор был пуст; дети носились по огороженному проволокой загончику, копошились, падали, стучали клюшками, движение их было подобно ртути, беспорядочно-неостановимо. Один из мальчишек ростом и фигурой походил на его сына. Но, подойдя поближе, он увидел: этот не его, чужой.

Очередь перед аттракционами медленно двигалась, и вот уже дежурная повелительно ткнула в повисшую над площадкой как бы вибрирующую от недавнего полета машинку. Они влезли, уселись. Дашкина бойкость и смелость вдруг сразу улетучились. Она примолкла, а он, наоборот, начал тараторить без умолку. Был лих, бесстрашен и подтрунивал над ней, потому что сам немного боялся. Это был аттракцион особый, даже табличка висела: «Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а

также дети до шестнадцати лет не допускаются». Он не походил на степенные аттракционы старого парка, когда медленно болтаешься в вагончике, потом как бы срываешься со ступеньки на ступеньку и что-то тошнотворно перекачивается из груди в желудок, и ждешь движения и чуда, а кабинка уступами бессмысленно соскакивает вниз со ступеньки на ступеньку.

Нет, здесь был мощный агрегат со злым свистом, потом с грохотом, будто водопадная струя, круша все, громяхая, низвергалась и несла... Красные, облитые лаком ракетобразные кабины переворачивались и падали. Их взлет сопровождался музыкой, здесь был своеобразный музыкальный эффект; оркестровый взрыв тоже как бы подбрасывал кабину, посылая ее в пропасть, и она летела, выходя из своей орбиты, почти задевая деревья, ускользя от соприкосновения с их верхушками как раз в тот момент, когда ты, весь сжавшись, уже предчувствовал удар, взрыв, конец всего и тебя в том числе. Адская была машина. Гордая Дашка вцепилась в его руку, попискивала, говорила тоненьким голосом: «Домой хочу, к маме», и все это было ему приятно, и свое превосходство он выразил в том, что погладил ее по волосам.

Мелькали пятна — то ли лица, то ли песок внизу, — музыка замирала, слышался только скрежет сцеплений, и весь путь космонавтики и астронавтики от Гагарина до Стаффорда стал понятен, возможен и был почти пройден ими.

Но вот и замедление, и приближающаяся земля, и другие жаждущие риска и высоты. Вышли, пошатываясь. Как пишут в книгах, «земля плыла под ногами». А точнее, она быстро и осязаемо вращалась.

— Еще хочешь? — сказал он, гусаря, зная, что не ошибется в ответе.

Она только скривила рот и сделала круглые глаза, полные ужаса и отвращения.

— А я мог бы. Даже запросто. Острые ощущения, блеск.

— Пошли в Нескучный, — сказала она. — Там тихо.

Они пошли, и он замечал, как разнообразна жизнь в парке, как он словно бы разбит на своего рода пояса, различные как по обстановке, так и по занятиям.

Первая часть, с аттракционами, была шумна, напоминала площадь или стадион. Вторая словно бы пред-

назначалась для красивой, сытой и праздной жизни. Здесь пахло бараньим жиром, острым шашлычным духом, во все ресторанчики и павильончики стояли очереди; людей было слишком много, казалось, они будут стоять так до рассвета, вдыхая и лоя чуткими ноздрями этот необычайно волнующий запах; скрипели уключины в пруду, в полутьме медленно разъезжались лодки, на тускло белевших мостиках стоял кто-то, обнимая кого-то невидимого. Это была зона праздника, знакомств, легкого флирта, первых смущенных, почти что дружеских объятий.

Тайные объятия начинались дальше. Там, где исчезал запах мяса и угольков, затихали голоса, где блестела тусклым металлом река, где в углублениях стриженной листвы стояли скамейки с притаившимися, замершими людьми. Здесь надо было идти не глядя, не оборачиваясь, не оглядываясь по сторонам. Только вперед и по прямой. И быстро. И он так и шел. Но испытывал смутное и немного липкое чувство стыда и любопытства. Впрочем, любопытство подавлялось, а стыд не выдавался. И он шел с ней рядом как ни в чем не бывало, только говорил чуть громче, чем следовало.

Неожиданно в этой теплой смутной тишине откуда-то сверху послышался перебиваемый ветром и шорохом мелодический звук. Они тут же узнали его — мелодию из «Крестного отца».

Трудно было передать и объяснить власть именно этой музыки, этой мелодии. Она вдруг переносила тебя из этого темного парка с липким шорохом в другой, огромный, солнечный, может быть даже на берегу моря. Не исключено даже, что с пальмами и с какими-нибудь огромными яркими цветами. Ты шел с ней, да, именно с ней, и ты и она были другими: ты был мужчина, она — женщина. Вот именно так: парк, море, музыка, вы равные и не последние в мире взрослых, никакого страха, подсчета копеек, гляденья на часы — «домой пора», стесненности, неудобства взять за руку, незнания, о чем говорить, пустых слов, добываемых с таким трудом, будто они те самые, из-за которых изводишь тысячи тонн словесной руды, будто не будет завтрашнего унижения перед чистой доской, резкого вызова по фамилии, когда ты словно лишаешься имени, родителей, дома, казенный человек — один, без знаний и без защиты, постоянно ждущий наказания неизвестно за что.

Нет, не машина времени из детских книжек, а всего лишь непрочный, пропадающий куда-то клавишный звук, перебиваемая шепотом и ветром записанная где-то далеко на пленку мелодия.

— Ты что бормочешь? Заклинание, что ли? — спрашивает Дашка.

— Вроде того. Слышишь?

— Да, я это тоже очень люблю.

— Отлично. И будто в первый раз слышишь. Помнишь, как в лагере ее же крутили?

— Помню.

— Ты тогда все время чего-то из себя строила.

— Наверное, я такая и есть.

— Какая?

— А я не могу определить. Я никогда не знаю, что я сделаю дальше.

— Молодец. Человек-загадка. Тебя надо в институт, в колбочку.

— Не смейся... Я действительно не знаю. Мне хочется сказать что-то хорошее, а я говорю плохое. Я не знаю, что я сделаю через пять минут.

— Но, может быть, ты сейчас кинешься в воду в одежде и поплывешь?

— Нет.

— Значит, ты знаешь все-таки, что ты сделаешь, а что нет. И что можно сделать, а что нельзя.

— Нет, это другое. Если я сделаю такое, я буду смешной, глупой, а самое мерзкое — быть смешным. Помнишь, у Толстого в «Войне и мире»?

Он, конечно, не помнил и хмыкнул:

— Припоминаю.

— Я тебе не могу объяснить всего... Просто я хочу быть свободной в своих словах и поступках и решаю: вот сейчас я скажу тому или иному человеку все, что думаю о нем, но открываю рот и не могу сказать. Хочу, но не умею.

— А я верю только в поступки.

— Ты?!

— Да нет, это тоже цитата... Нет, не Толстой, не Чехов... Это наш физкультурник. Он верит только поступкам. Вот ты перепрыгнула через козла — он верит, а принес справку «освобожден» — он не верит.

— Ладно, хватит о физкультурнике. Смотри, как дом на горе светится.

— Ну и что? Тебя туда не пустят. Это однодневный дом отдыха.

— А вон еще дом. Еще светлее и волшебнее.

— Опять романтизм. Это кафе «Восток».

— А там музыка, слышишь? Пошли?

Он пошарил рукой в кармане. Там был мокрый от газировки, тяжеленький комочек. В два туго скомканных рубля было положено еще железа копеек на восемьдесят. Но хватит ли этого на кафе?

Он если и ходил, то с отцом или с матерью и не знал, сколько там чего стоит. А с ребятами они ели мороженое на улицах.

То ли она услышала его внутренний голос, то ли по лицу его догадалась, но она сказала:

— Ты не беспокойся, у меня есть.

— А я и не беспокоюсь. У меня у самого есть.

— Ну так что ж...

— Давай,— бодро сказал он, хотя и не был готов внутренне к этому посещению, обстановка и манера поведения были ему неясны, и, кроме того, он знал, что живет уже в запрещенном, ему не принадлежащем времени.

...Ни во дворе, ни на улице рядом Сергей мальчика не нашел. Он сел в трамвай и поехал туда, где была его прежняя квартира.

Швейцар в раздевалке глянул оценивающе, естественно, свысока; мелюзгу, как и все другие швейцары, он не любил, но, скривив брезгливую мину, все же пропустил.

Кафе это не походило на те дневные кафе-мороженые, куда он приходил иногда с родителями. Там, в тишине, в бассейной белизне кафелей, мальчики и девочки торопливо поедали розовые шарики, запивая их газированной водой.

Нет, здесь была другая обстановка: в дыму, в тумане, гудя голосами, позванивая стаканами, переговариваясь, заглушая звук рубиново светящегося из угла меломана, сидело множество мужчин и женщин. Никто не обратил внимания на них, когда они неуверенно, как слепые, переходя от столика к столику, искали себе места.

Почти все столики были полусвободны и все одновре-

менно заняты. Наконец человек, которого Игорь, разглядев, мысленно назвал «композитор», сидевший с очкастой стриженной девушкой, может быть тоже какой-нибудь пианисткой, а может, просто так, кивнул им любезно:

— Пожалуйста.

И они сели. Никому тут не было до них дела. Пара напротив о чем-то тихо разговаривала, причем он рассеянно наливал ей вино, она с усилием выпивала, кашляя и все время надкусывая одно и то же яблоко. Официантка скользила по проходу с графинчиками разного размера, похожими на колбы из химкабинета. Странен был дневной свет мерно гудящих то включающихся на полную мощность, то прерывисто мерцающих, словно настраивающихся, белых плоских ламп.

Этот неинтерес к ним был даже обиден. Ему казалось, что, придя сюда, он уже совершил что-то неправильное, не положенное и все должны это увидеть, должны отметить, что два малолетка пришли в такое заведение, а ведь неизвестно, чем и как они будут расплачиваться. Но, оглядевшись, он увидел, что здесь сидело много таких же четырнадцати-пятнадцатилетних. По их виду можно было судить, что они так привыкли к здешней обстановке, так по-свойски подзывали официанток, будто заседали здесь вот уже много лет, с первых классов начальной школы. Может, им было все время жарко, и они охлаждались мороженым; впрочем, если приглядеться, мороженое на их столах было совсем не главным, а чем-то вроде гарнира.

Единственно, кто и обратил на них внимание, так это типы, стайкой облепившие соседний столик, все, как один, длинноволосые, в расстегнутых куртках, с банно распаренными лицами; казалось, все они одинаковы. Их было человек восемь и одна девица. В паузах между анекдотами или какими-то байками, рассказываемыми по очереди каждым сидящим за столом, она пела что-то, закрыв глаза, видно с большим чувством, а они ее слушали, чокаясь время от времени под звуки ее пения гранеными стаканами. Бутылки стояли у них под столом.

Он отвернулся от них, стараясь не встречаться с их рассеянно-небрежными и вместе с тем сосредоточенно-оценивающими взглядами.

Но спиной почувствовал: поглядывают. Главным образом на Дашку. Заинтересовались. И от этих взглядов,

словно от неприятного прикосновения, позвоночник обдало холодком. Но надо было общаться и разговаривать. Дашка тоже сидела скованная и чем-то угнетенная. И он было решился: встанем и уйдем. Но почему-то встать, дать ей руку, проявить инициативу он не мог. Вот и сидели, ждали.

Наконец официант подошел, спросил на ходу:

— Выбрали?

А чего было выбирать, он не знал, никакого меню здесь не предлагалось, и он пробормотал:

— Два мороженных и воды.

— Воды не бывает. Есть сухое «алиготе» и «хирса».

Игорь посмотрел на нее, она сидела, отсутствуя, будто занятая чем-то более важным.

— «Алиготе»,— сказал он.

— Сколько?

— Один стакан.

— Что же, по сто грамм, что ли? — с удивлением и как бы с обидой сказал официант.

— Ну, давайте по стакану.

Официант ушел.

Тут она очнулась и, все так же отсутствуя, с каким-то отрешенным от всего выражением лица спросила:

— Что заказал?

— Цыплята-табака.

— Точнее.

— Мороженого и вина.

— А вино зачем?

— Для понта.

— Я этого не понимаю.

— Ну, чтоб поддержать марку, иначе выгонят.

— А лучше б мы сами ушли.

— Ты ж сама хотела.

— Я думала, здесь по-другому.

— А чем тебе не нравится?

— Как-то грязно, шумно... И вообще.

— «Шум и гам в этом логове жутком»,— прочитал Игорь.

«Композитор» посмотрел на него и неожиданно спросил:

— Ну, а дальше?

— «И всю ночь напролет, до зари...» — выпалил он с вызовом и добавил: — А вы что, позабыли?



— Нет, просто я думал, сейчас это не читают.

— А кого же сейчас читают? — спросила Дашка с искренним удивлением.

— Вот это я и хотел у вас спросить. Ведь есть же у вас свои поэты.

— У нас своих нет, только ваши, — сказал Игорь.

— Язвительность — это что, — как в раздумье, произнес «композитор», — болезнь роста или форма самозащиты?

— А назойливость? — сказал Игорь.

— Перестань! — Дашка нахмурилась.

— Ничего... никто не обиделся, — смущенно улыбнувшись, сказала дама «композитора».

Коротко стриженная, в металлических очках и в длинной юбке, она напоминала народоволку.

— Извините, — сказал «композитор», — я вам помешал... Всегда интересно племя младое, незнакомое.

— Все нормально, — все тем же чужим голосом, с какой-то ему самому неприятной бравадой сказал Игорь.

«Композитор» наливал вино своей соседке; казалось, он утратил всякий интерес к ним, под столиком он крепко держал руку своей дамы.

Игорь тоже налил Дашке. Вино было кислое, невкусное, даже цвет у него был рыжий, как у некрепкого чая... Дашка к нему так и не притронулась. Игорь выпил свое вино и взял Дашкино. Укусное, жгущее полоснуло по гортани и погасло внутри. Игорь такое кислое вино пил впервые. Как-то раз, в пионерлагере, вместе с вожатыми по поводу Дня защиты детей распили они бутылку портвейна «Крымский». Это было первое его самостоятельное питье (домашние застолья не в счет, да и происходили они редко в последнее время). И тогда оно разочаровало его слабостью своего действия. Хотел забалдеть, как все, а не получилось. Ничего не почувствовал, хотя и пел во всю глотку. Тоже, что называется, для понта. Сейчас же эта кислая, теплая волна словно приподняла его, и он откуда-то сверху, с ее гребня, посмотрел на окружающую действительность. И она показалась ему не такой уж скверной. Даже сосед «композитор» и его дама с этой высоты вызывали нечто вроде симпатии, смешанной с жалостью.

Почему жалость? Этого он не знал, но что-то было в их позе, в скрытой нервности разговора, в том, как она надкусывала яблоко и с ожиданием поглядывала на него,

что заставляло ее жалеть. Да и эти темные пацаны, все время поглядывавшие, тоже вызывали почти сочувствие: небось топчутся здесь от тоски, в школах, наверное, полный «обвал», если вообще их не выгнали, а дома ругаются, вот они и засели здесь, потягивают винище. Но особенную, нежную жалость, жаркую, душевную, требующую выражения и боящуюся его, испытывал он к Дашке. И он покровительственно и, как ему показалось, с гордым, независимым видом погладил ее по волосам и взял за руку. Она тут же стряхнула его руку, но это не обидело его. Он готов был все принять и со всем мириться: хотелось сказать что-нибудь решающе-важное для него самого, для них обоих, сказать или сделать, но что можно было сказать и сделать в этом чаде, гудении, звоне?

К тому же, хотя он не прислушивался, до него все время доносились реплики, которыми обменивались соседи. Он не видел ее глаз за металлическими затемненными очками, но слышал время от времени тихое, приглушенное: «прятаться... во всех этих мерзких...». И рокотал убеждающе его баритон: «искренность...», «существо отношений...», «афишировать...», «невозможность...», «понимание».

Было понятно, что у них нехорошо, но в чем дело, было непонятно, не нужно, не касалось ни его, ни Дашки, а хотелось лишь, чтобы сейчас всем было хорошо, как ему, чтобы все они кончили выяснять и качать права.

Он слышал часто это выражение «ловить кайф», оно стало общеупотребительным, и он сам говорил, не вдумываясь: «полный кайф», он знал понаслышке, что кайф — это высший вид покоя и счастья. Вот сейчас он и поймал свой кайф: блаженство, легкость и абсолютная вера в то, что все будет в порядке.

— Глаза у тебя странные. Ты что, окосел немножко? — с неприятной материнской заботой сказала Дашка.

— Дикий хмель, — сказал Игорь. — Слышала про таковой?

— Давай пойдем отсюда.

— Может, заплатим на всякий случай? Кстати...

— На тебе. — Она сунула ему трешку.

Он прикинул. По предварительным подсчетам, вроде хватало. Он подозвал официанта. Тот рассеянно считал; по его задумчивому виду можно было подумать, что обсчитает втрое. Легкость и счастье не уходили. Обсчитают, так

оставим часы в залог — он слышал, так делают, кто-то из ребят постарше рассказывал. Но все сошлось. Как говорил его бывший вожатый на своем деловом комсомольском жаргоне: «нет вопроса».

Нормальной походкой (в которой был скрыт полет) он вслед за Дашкой вышел из стеклянных дверей в стрелочущую кузнечиками и шепотом тьму Парка культуры.

Уже в трамвае он чувствовал тревогу и когда вышел, то почти побежал к дому. Тревога сделала его движения суетливыми. Он думал, может быть, мальчик вернулся сюда и застрял в своем дворе, встретив друзей-приятелей. Но и здесь его не было. Вышел из двора в сумеречный проулок. Там, около дверей поликлиники, толкались вечно подростки, кто-то брэнчал на гитаре, заунывно распевая. Они сидели с видом молящихся, тихо подпевали.

— Игоря не видели?

— Не попадался,— ответил один из них.

Он вошел в подъезд, поднялся на четвертый этаж, позвонил.

Открыли тут же, будто ждали за дверью.

Галя стояла перед ним с бледным лицом, уже как бы приготовившаяся к дурной вести.

— Что ты так стоишь, ничего не случилось,— сказал он с неожиданной ноткой раздражения.

Виделись они теперь редко и разговаривали скупо, почти всегда суховатым и псевдоделовым тоном.

— Где мальчик? Почему ты без него? — тихо начала спрашивать она, именно начала, потому что эта фраза показалась ему очень длинной, словно многословная телеграмма, долго выползающая из-под печатного валика.

— Ничего не случилось, что ты уже заранее...— сказал он нарочито буднично, безразлично.— Игорь вышел погулять у отца...

— И что, я спрашиваю?..

— И загулял где-то. Видимо, встретил кого-то, ты же его знаешь.

«Да ничего не могло случиться,— уговаривал он себя,— абсолютно ничего. Это вполне нормально для них — исчезнуть на час, другой, вспомни себя самого». Но что-то тошнотворное, вязкое уже поднималось, когда представил себе, что сейчас надо будет делать, куда

звонить: сначала в милицию; если там ничего, то в больницы; если и там... нет, то куда?..

Они шли по лестнице, потом по двору, она что-то говорила, и на мгновение, как сквозь дождь, в расплывчатом и влажном каком-то свете он увидел деревню, избу, где квартировал, поднимающуюся в ериках воду, утро. Туда, в эту деревню, расположенную на сваях, он сбежал на три дня из экспедиции полуофициально с заданием договориться о земснаряде с директором колхоза. Сюда и должна была она приехать с «важным сообщением», как говорилось в письме.

Он побежал на пристань. Пароход «Белинский», однопалубный, старенький, уже пришвартовался, уже все разошлись, всех встретили. На пустой пристани он увидел ее. Она сидела на скамейке, с рюкзаком, в штанах, не в джинсах, как сейчас носят, а в синих спортивных, довольно бесформенных. Он испытал к ней жалость и нежность, подошел как-то сбоку, прижал ее голову. Она сказала тоненьким счастливым голосом:

— Ты?

Он ответил отчужденно, фальшиво (никогда не умел говорить так, как чувствовал в те минуты, когда по-настоящему волновался).

— А то кто же?

Они пошли по городку обнявшись, говоря о пустяках.

Потом в избе, где чисто, сыро пахло полами, они снова продолжали незначущий разговор. И вдруг, задохнувшись от желания, от воспоминаний о том, как это было в Москве, он сильно обнял ее и повалил на высокую, как взбитый кулич, кровать. Он чувствовал: что-то ей мешает, что-то она хочет ему объяснить вначале, а уж потом... Но он не понимал и не принимал этих условий. Сейчас и только сейчас, как же можно «потом». И уже вечером, на лодке, проплывая под деревянными сваями, чьи тени блестящими двоящимися полосами дрожали на воде, она сказала:

— А знаешь... вот какая вещь... Я беременна и вот не знаю... Как ты скажешь.

Что он испытал в этот момент?

В голове что-то четко щелкнуло, будто выключатель, приятная и легкая полутьма сменилась хирургическим, режущим светом. Необходимость решать, все ставить на свои места.

«Но ведь когда-то надо», — подумал он. И еще вдруг представил, что теряет ее навсегда. Он ощутил какой-то химический вкус во рту, все сделалось безнадежно голым. Ерики как бы высохли. Ушла вода, зелень, запах йода, воздух, остались только потрескавшиеся в продольных сухих морщинах канавы.

Хотел сказать что-то единственно важное, решающее для всей их судьбы, а получилась школьная невнятица, белиберда:

— Ну ничего... давай. Может, это и хорошо...

Неизвестно, чего она ждала, ответа или как ответит. А скорее ни того, ни другого, а сама что-то спрашивала у себя. Что, он не понимал. Была в ней какая-то неуверенность, странная для нее, словно она ждала его «нет»... И тогда все станет простым — обратно, пароход «Белинский», счастье обиды, гибели, невозможности выбора.

Больше ни о чем не говорили.

«Русская Венеция» называли этот край заезжие газетчики. При чем тут Венеция? Крепкие кряжистые избы, высокие плавни, вечерние частушки и «мотания» у клуба, церковка, построенная еще старообрядцами без единого гвоздя. Все это было прекрасно, не походило ни на что, не имело никакого отношения к венецианским гондолам. И был двор, где спали они на сеновале, на мешках, так как было очень жарко, теперь уже втроем, с тем, у кого не было ни имени, ни лица, ни плоти, с тем нечто, что будет потом его сыном или дочерью.

Боже праведный, у него — сын... Какой странный, а может быть, прекрасный бред!

Уже потом, когда он торжественно нес кулек с живым существом, он чувствовал некую тайную комедийность и видел себя со стороны в широком больничном дворе, полном вздохов, ожиданий, слез, пошлостей, нежностей, суеты, напутствий, видел себя, важно идущего со свертком, в котором шевелилась теплая гусеничка с желтым крохотным личиком лилипутика, с нездешними — из бездны глазами.

Нежность? Нет, тогда ее не было. Скорее всего страх, боязнь уронить — вдруг выскользнет из рук и упадет на землю. И за ним шла вся прекрасная семья: отец с Антониной, ее родители, расколотые, но объединенные на миг, шагающие, как футбольная команда с поля после победы.

Только через несколько месяцев однажды, придя поздно домой, впервые испытал он животную любовь и жалость к существу, с молочным запахом, к его лобчику, к спутанным волосам и открытым светлым глазам с бессмысленно-мудрым взором. Теперь это было навсегда его существо.

## XV

Они снова ходили по двору. Она молчала с лицом каменно-неподвижным, враждебным. Надо было сейчас остаться одному, она парализовала каждый его шаг.

— Ты иди домой, туда могут позвонить.— И добавил: — Я абсолютно убежден, мне чутье подсказывает. Детская ерунда, шатания по городу. Сколько раз так уже было.

Она послушалась, пошла.

«Как научились мы с детства ждать самого страшного... С войны и после нее — всегда ждать чего-то...»

По улице с сыном гулял Валька Рюмин. Широкоплечий, крупноголовый, с мощным корпусом на коротких, сильных ногах, он напоминал неотлаженное изображение в телевизоре: вытянутый верх, укороченный низ. Он стоял так близко, что слышен был сильный запах парикмахерской, запах «Шипра». Так близко, что уже непонятно было, Валька это или нет. Издали это был именно он, товарищ школьных лет, а вблизи кто-то другой, сосед по микрорайону, отдаленно напоминающий Вальку.

— Ты что такой? — спросил Валька.— Случилось что-нибудь?

— Сына ищу. Ушел на двадцать минут, и вот уже четыре часа его нет.

— Ну, это обычная история. Мой,— он кивнул головой на толстого мальчика с черными плутовскими глазами,— тоже частенько такое устраивает. Хочешь, я с тобой? Я тут все углы знаю.

— Да он не здесь, а во дворе, где отец живет.

— Все равно, это наш район. Идем к участковому, к Сашке. Я его знаю, он тут же разберется в обстановке.

Странно, но присутствие Вальки успокаивало его. Он вдруг поверил, что все будет в порядке, что ничего не могло случиться.

— Сейчас, я мигом,— сказал Валька,— только своего заброшу.

Валька быстро пошел, спортивно размахивая мощными, как лопасти, длинными руками, энергично перебирая укороченными быстрыми ножками.

Всю жизнь он водился с участковыми, еще с тех далеких времен, когда они учились в одной школе. Отец его был летчик, известный летчик, и в торжественные дни и в праздники он выступал перед ребятами в школе.

Он чуть заикался, смотрел на класс голубыми, как бы испуганными глазами и всегда начинал с одной и той же фразы: «В этот исторический день давайте оглянемся на недавнее прошлое...»

Дальше он сбивался, погружался в паузу, в мучительное раздумье, все начинали шуметь, и было такое чувство, что он у доски и забыл урок. Но потом он вспоминал и начинал рассказывать о летчиках, с которыми летал, о типах самолетов, о боевых операциях, причем рассказывал так, как если бы перед ним были не школьники с первого по седьмой, а летчики-профессионалы. Он говорил с сокращениями, употреблял специальные термины, на каком-то полупонятном и тем более волнующем жаргоне, который они сами после его выступлений не умело, но старательно воспроизводили.

Очень интересно было его слушать. Он не носил ни орденов, ни колодок, хотя дома Валька охотно показывал его ордена. Их было много, в том числе югославские и польские, чехословацкие и один даже английский. Валька говорил, что его отец — Герой Советского Союза. Всем, естественно, хотелось посмотреть на Золотую Звезду и орден Ленина. Но Валька не показывал. Говорил: заперто.

В большой квартире, окнами выходившей на Чистые пруды, на столе стоял хрустальный глобус с маленьким самолетом на тоненькой, как волосок, подставке. Валька утверждал, что самолетик золотой и что глобус подарен отцу Сталиным.

Правда, когда Вальки не было в комнате, Сергей разглядел глобус; на подставке с внутренней стороны была металлическая табличка: «Боевому соколу, гвардии полковнику Рюмину от рабочих и инженеров Гусь-Хрустального».

Однажды Валька пришел в школу в очень странном

виде: белый, похудевший, с омертвело-неподвижным лицом, с темными подглазьями; он ни с кем не разговаривал, не отвечал учителям, а в середине урока географии встал и пошел к выходу. Классная воскликнула:

— Куда ты без разрешения?

Не оборачиваясь, он сказал слабым, размытым голосом:

— Вчера отец разбился.

Месяц он не приходил в школу. Вскоре в газете прочитали указ о награждении полковника Рюмина (посмертно) Золотой Звездой и орденом Ленина.

Шла война в Корее. И рассказывают, что он вел транспортный самолет с грузом для корейцев, был атакован истребителями и погиб.

Сергей однажды видел с Чистых прудов, как ярко горели окна большой квартиры Вальки Рюмина, слушал музыку. То военные песни в исполнении Утесова, Бунчикова, Бернеса, то «Сан-Луи блюз» или «Лос-Анджелес». Метались какие-то тени, выходила на балкон мать Вальки, высокая, тонкая, с ней кто-то большой, сверкающий орденами, погонами, кашлявший. Был весенний вечер. Высокий балкон второго этажа выходил на цветущие яблони. Женщина плакала, потом успокоилась, засмеялась. На мгновение прильнула к большому человеку, затем резко вырвалась, убежала в комнаты.

У дома стояло несколько «Побед» и один новенький, похожий на танк, залитый лаком «ЗИС-110».

Вскоре громкие голоса стали заглушать беспорядочную музыку, потом все неожиданно стихло, высокий человек в форме генерала армии вышел из подъезда и в сопровождении еще нескольких офицеров пошел к машине. Сергей с жадным интересом смотрел на него. Впервые в жизни он видел генерала армии.

У него было молодежавое рябоватое лицо. У машины он молча, не прощаясь, снял фуражку, человек в штатском распахнул дверцы. Он сел на заднее сиденье, человек скользнул рядом с ним.

Машина мощно взяла ход. Профиль в фуражке мелькнул как бы в глубине, неясный, закрытый толстыми стеклами. Одна из «Побед» двинулась за «ЗИСом», соблюдая, впрочем, дистанцию в пятьдесят метров.

По двору, пошатываясь, шел Валька. От него пахло куревом, винным перегаром.



— Пошли, хочешь? — предложил он. — Главный уехал, а остальные догуливают. Праздник у нас сегодня... Отцу знаешь что дали? — Он смотрел на Сергея неподвижными светлыми глазами, нахмурясь.

— Конечно, знаю.

— Он теперь... знаешь кто... мой отец? — Валька помолчал и хрипло горловым голосом воскликнул: — Дважды Герой Советского Союза. Да, дважды! — громко крикнул кому-то Валька в каменную глубину двора и пошел назад, забыв о приглашении, сутуля широкую спину, вяло перебирая худыми короткими ногами, неожиданно чуть приседая, высвобождаясь от каких-то невидимых пут, как стреноженная лошадь.

С тех пор Валька стал прогуливать школу месяцами. Говорили, что он крепко выпивает. Его оставили на второй год. Теперь они уже учились в разных классах. Валька сошелся с известным в их районе Жоркой-портным. Они вместе организовали дело: продавали ребятам тоненькие пленочные кругляши с американскими записями, каждую по десять рублей. Валька из неряшливого пацана неожиданно превратился в пижона, ходил в желтом ратиновом пальто, в узких брючках-дудочках, в ботинках на толстых, будто из окаменевшего сливочного масла подошвах и в замечательных галстуках, исписанных павлинами. Понятие «стиляги» только входило в силу.

Вечерами Валька пропадал на улице Горького, а иногда с ВВСовскими хоккейными асами сидел в ресторане «Динамо». Однажды он пригласил Сергея к себе. Огромная квартира поблекла, была в пыли, словно в ней никто и не жил. Высился платяной шкаф размером с маленькую комнатку, там когда-то они прятались с Валькой. В этот вечер Валька сделал Сергею любопытное предложение. Оно было принято с опаской, оговорками, но... принято. Вместе пошли к Жорке-портному. Тот дал форму, краску, материал, стандартку. Надо было раскрашивать галстуки. Это было похоже на срисовывание переводных картинок, только на плотную атласную материю. Галстуки были узкие, очень яркие и назывались «селедками».

Однажды Валька повел Сергея в «Метрополь». Это был первый в жизни Сергея поход в ресторан. Стояла небольшая очередь, но Валька решительно прошел сквозь нее и постучал в стеклянную дверь. К удивлению Сергея,

швейцар действительно открыл ему. Не то чтобы во фрунт встал перед Валькой, но все-таки открыл. Валька не трепался, здесь его действительно знали. Зал ресторана был таким, каким он представлял его себе по фильмам. Конечно, публика была не во фраках, как там, но все-таки довольно нарядная, а некоторые дамы были в вечерних платьях.

Фонтанчик вспыхивал и опадал в центре зала. Играл оркестр, и, когда резко и неожиданно вступил ударник, Валька сказал шепотом:

— Посмотри, это Лаци. Великий ударник.

Лаци походил на японца. И играл удивительно. Почти как Армстронг на тех пленках, может, чуть хуже Армстронга. Официант, который их обслуживал, тоже знал Вальку, но относился к нему с некоторым холодком. Он посадил к ним какого-то человека, заказавшего только кофе и пирожное. На них с Валькой человек не обращал ни малейшего внимания. Он вообще ни на кого не обращал внимания, но через некоторое время Сергей почувствовал, что он каким-то странным образом причастен к той жизни, что шла за соседним столиком. Там крупно, обильно, но нешумно гуляли толстые немолодые люди, матерые, типа боссов. К их столику все время подкатывали другой столик на колесиках: с шампанским, водкой, коньяком.

— Он с ними работает, — шепнул Валька. — А мы ему — до одного места.

Потом Валька исчез, потом снова вернулся. Сергею было неприятно сидеть одному напротив этого молчаливого человека, мелко надкусывающего остов корзиночки с кремом.

Он встал и пошел в туалет.

В туалете он увидел Вальку. Валька стоял спиной и что-то показывал незнакомому человеку. Увидев его, Валька резко сказал:

— Ты чего? Иди на место! Нельзя обоим уходить.

Через несколько минут он пришел довольный.

— Порядок... Порядочек в танковых войсках, — повторял Валька.

А еще через несколько минут какой-то рослый тип в тенниске, без пиджака позвал Вальку. Казалось, он начнет бить Вальку тут же, не сходя с места, так он вертел большой рукой перед его носом.

Но Валька стоял, не уходил, лицо его сделалось одновременно смущенным и нагловатым.

Сергей подошел поближе к Вальке. Мало ли что там. Он слышал, как Валька повторял этому рослому:

— Ну че ты, ну че ты...

Сергею он велел отвалить:

— У нас свой разговор.

Вскоре они разошлись. Драки не было.

В этот вечер он пришел домой пьяным. Впервые в жизни отец испуганно, дрожащими руками раздевал его, укладывал на диван. Было как когда-то, как давно, в детстве, его раздевал отец, мать тоже стояла над ним, а ему так хотелось спать, что он засыпал еще до кровати и с кроватью летел куда-то с грохотом, как поезд, и исчезал.

Утром болела голова, в школу проспал, и не будили. Сквозь серую тревожную дрему он слышал обрывки: «Валька... делишки... домоуправление... неприятности...»

Потом уже полностью узнаваемо, различимо голос отца:

— Нашли уголовника! В пятнадцать лет я ходил с чоновцами, была гражданская война, а не было бы ее, наверняка бы хулиганил хоть немного... Взрывы переходного возраста.

Вальку видел еще один раз после этого. Он пришел однажды вечером, вызвал Сергея на лестничную площадку, долго молчал, потом начал говорить что-то дежурное: как дела и прочее, мол, чего ты не заходишь. Потом он снял с плеча спортивную сумку и попросил:

— Возьми.

— А чего там?

— «Чего, чего»! — усмехаясь, говорил он. — Золото, наркотики... Да ничего там. Чего ты так перепугался? Денежки за честную работу за наши с тобой галстучки. Подержишь немного и отдашь. И тебе перепадет, и мне спокойней будет.

Непонятная яма открывалась, тянула вниз, и, не слыша себя, он бормотал:

— Нет, Вальк, галстуки я просто так, из спортивного интереса... И денег мне не надо. А сумку я не возьму. Извини, но нельзя.

Валька постоял молча, моргая воспаленными красными глазами, усмехнулся, пробормотал:

— Да не в галстуках дело. Галстуки — это все дрянь.

Повернулся и пошел. Видно, он и сам не очень-то надеялся, что Сергей возьмет его сумку, а может, он просто не знал, что ему делать. Он шел вниз, с сумкой через плечо, в чужом подъезде, мимо закрытых дверей.

Вскоре его взяли, дали ему пять лет как несовершеннолетнему.

Остальные все были взрослые, и дело, говорят, было серьезное, и галстуки в нем были лишь самым малым пустяком.

Когда он вернулся, жили уже в разных домах. Ходили слухи, что он опять картежничает, гуляет, спекулирует. Другие же, наоборот, говорили, что он поступил учиться, что у него все в порядке.

Увидел Сергей его очень изменившимся, погруженным, необыкновенно приветливым, в диетмагазине с женой и маленьким сыном. Оказывается, он жил теперь снова по соседству.

И вот теперь он шел рядом с ним, что-то говорил, шутил, успокаивал. Они заходили в отделение, где у Вальки был знакомый дежурный, и тот, что называется, не только по долгу службы звонил и звонил на все посты, спрашивал: «Мальчик лет четырнадцати-пятнадцати...»

Нет, не видели, не знают.

Дежурный посадил их в мотоцикл с коляской, повез. Они неслись по каким-то закоулкам, и сквозь нарастающий треск до него доносились обрывистые слова лейтенанта, какие-то его рассказы, как дети забредают неизвестно куда, какие фантазии им приходят в голову, в каком виде их находят. «Но здесь все будет в порядке», — повторял он убежденно. А дальше пошли больницы, длинные коридоры, дежурные, регистраторши, отвечавшие односложно: «Не привозили», «Не значится», детские лица, белевшие сквозь гипс повязок.

Существо его как бы распалось на оболочку и ядро. У оболочки был голос, подобие жизни, она суетливо двигалась за двумя людьми: другом детства Валькой и лейтенантом из отделения. А ядро, глубина оглохла, омертвела, как после наркоза.

Игорь и Дашка гуляли по Нескучному. Сквозь листву светились гранитные мощные дома на той стороне реки, здесь же был овраг, куда они с отцом зимой ходили кататься на лыжах...

Да и вообще все здесь было связано с отцом. Сюда они пришли впервые десять лет назад, и маленький Игорь увидел дивную страну за чугунной оградой, с оврагами и вершинами, с рекой, заповедником, где жили обезьяны, где прятались в узеньких вольерчиках, чуть пахнущих гнилью, волчата, лисы, где, отвернувшись, слепо глядя на людей, висели на жердях сытые нелетающие птицы.

Здесь отец заставлял его лазить по узким железным прутьям квадратного, как клетка, сооружения. На этой клетке копошилось, ползало множество маленьких детей, родители которых с видом тренеров наблюдали за их двигательными достижениями.

Он ненавидел эту железную клетку для лазания, а любил высотку, с которой удобно было смотреть на реку. По реке медленно плыли баржи, гремели маршами облепленные людьми белые пароходики.

Они шли не торопясь, и отец рассеянно, но обстоятельно отвечал на множество вопросов: откуда? почему? как?

Собственно, все было вопросом: весь мир, и все люди, и отец, и мать, и этот парк, и невысокое небо с врезавшимся в него золотым набалдашником университета.

А теперь он шел по Нескучному саду с девушкой Дашей. Уже было совсем темно, но он знал здесь каждый взгорок и низинку, каждую тропку, уверенно шел по своей местности, протянув ей руку. Он почувствовал даже пульсацию теплой, вспотевшей ее руки, крепко, словно бы намертво сжатой его ладонью, но он не разжимал пальцев, и, что особенно важно, она не высвобождала свою руку из его. Она молча, покорно шла за ним.

Иногда, казалось, они наступали на людей, невидимых, шуршащих в кустах, но они, не обращая ни на что внимания, продолжали свое единое, неостановимое движение. Все остальное не касалось их. Кто-то выпивал на чуть белевших во тьме дорожках, безадресные ругательства, а то и густой мат сопровождали их, словно они наступили на муравейник. Но это не могло их сей-

час ни удивить, ни унизить... Они летели, не касаясь земли.

Это была полоса тьмы, неосвещенная часть, сильно пересеченная и холмистая местность. Иногда вспыхивали здесь и фонарики милиции. Вспыхивали и гасли. А чуть дальше, в районе ресторана «Южный», на задах Нескучного, шла совершенно другая жизнь. Там стояли составленные вместе скамейки, трещали, задыхаясь и вновь набирая силу, транзисторы и тренькали гитары. Здесь никто не стремился к уединению, стояли стайками, сидели на скамейках, на корточках ребята и девчонки с Ленинского, с Донских переулков — своего рода вечерний клуб, свободный табор. Иногда Игорь приходил сюда один; он знал здесь кой-кого, но чувствовал себя здесь чужаком. На первый взгляд разобщенные, они были связаны как бы тайным паролем: каждый мог здесь присутствовать и сидеть, петь, подпевать, но не каждый мог войти в н у т р ь.

Здесь они жили как хотели, никто не ругал их за отметки, за длинные волосы, никто не воспитывал, не заставлял их быть лучше, чем они есть, здесь их принимали такими. Разговоры их были кратки, непонятны постороннему, как бы ленивы. Но Игорь понимал, что все это вроде кода, здесь все знают, про что идет разговор, и кажущееся безразличие скрывает вполне определенные чувства и отношения.

Но сейчас он не завидовал их братству. Они с Дашкой прошли мимо этих скамеек с безразличием и внутренним превосходством. Еще долго вслед слышался гитарный рокоток, голоса, заглушаемые транзисторными разрядами. Теперь они уже были близко к выходу, ведущему на проспект. Было поздно, и он понимал: ищут, волнуются, думают бог знает что. Мать звонит деду, и надо вынырнуть из парка и позвонить из автомата.

Но для этого надо было уйти из парка, надо было расстаться. К тому же мысль о скандале, о неприятностях, свернувшаяся, как улитка, вдруг расправилась, осветив смутный, неопределенно счастливый мир режущим, голым электричеством карцера.

— Ты чего задержался? — сказала неожиданно Дашка. — Испугался, что ли?

Он ответил:

— Нет, чего бояться.

И изумился ее догадливости. Мысли она читает, что ли?

И тут неожиданно она прошептала:

— Я и сама боюсь.

— А ты чего?.. Дома, что ли? — так же тихо, будто они говорили о чем-то запретном, сказал Игорь.

— Да нет... Ты что, не чувствуешь — за нами кто-то идет... Уже давно.

Игорь прислушался. Шагов не было слышно, но какой-то шорох, движение почудилось ему сзади. Успокаивая ее, а может быть, и себя, он сказал:

— Ерунда, тебе показалось.

Еще минуту они шли молча, но он уже слышал и шаги сзади, и чей-то высокий голос, вдруг из тишины вырвавшийся. Потом снова все затихло, голоса эти и шорох исчезли куда-то, канули в тишину, заглушаемые шумом собственных шагов.

Они ни о чем не переговаривались, даже не глядели друг на друга, но оба чувствовали, что происходит с другим, и когда э т о исчезло, они почувствовали легкость, прежнее желание разговаривать, дотрагиваться друг до друга. И вот они уже забыли о тех, кто шел сзади, все это показалось секундным, глупым видением, случайно нарушившим такой удивительный вечер, и когда вновь они слышали голоса, то это показалось случайным совпадением, просто это кто-то идет чуть сзади. Да, конечно, что же еще может быть, кому придет в голову что-то иное?

Человек внезапно вынырнул из кустов, белея рубашкой, приближался, шел медленно, мелкими шажками, будто скользил, и вот вынырнул. Было видно в темноте узенькое лицо под плоской, с круглым козырьком кепкой. Подойдя, он вглядывался сначала в лицо Игоря, потом в лицо Дашки, словно бы искал кого-то, потом сказал отрывисто:

— Дай закурить.

— Нету, — сказал Игорь. — Не курим.

— Нету? — переспросил парень и снова оглядел их, придвигаясь вплотную и что-то нашаривая в карманах, так что Игорь чувствовал его терпкий, нечистый запах. — А чего есть? — спросил он, окатив Игоря кислой волной перегара и глядя на него неподвижными, бессмысленными глазами.

А тут уже подходили не торопясь и другие, двое

здоровых «амбалов». Игорь их узнал; кажется, они сидели в кафе и всё косились на их стол, да и девчонка, что с ними сидела, тоже была здесь, стояла сзади, большой рот на маленьком лице двигался — жевала.

— Ну чё, гуляем, погуливаем? По кустикам туда-сюда, — балаболлил первый, как бы даже радушно.

— А ну-ка, проверь их, посмотри, чего у них есть, — сказал один из «амбалов», и они схватили его за руки и стали оттаскивать от нее.

Он рванулся, оттолкнул их, увидел мелькнувшее, куда-то вдруг исчезнувшее лицо, пробежал несколько шагов, перескакивая через подставленные ноги, вновь увидел ее рядом, схватил за плечо, вырывая, будто она неживая, недвижимая. Она молчала, и, только когда они сбили его на землю и уже лежачего ударили ногами, она закричала тонким голосом, и сквозь нарастающий какой-то шум, топот, боль этот голос уколел его, как иголка.

Он вскочил с земли, ругаясь, крича, ударил кого-то в мягкое, видимо в живот, и тут же получил удар, брызнувший снопом искр, ослепивший. Он лежал в пустоте. Повернувшись, он увидел, что все они там, тащут ее по траве, видел ее оголившиеся ноги и то, как она ящерицей выскальзывает из их как бы танцующих ног, и пополз туда, задевая за что-то колючее, обдирая рубашку.

Он не понимал, куда, зачем. Все слилось в темноте. Виделся только неразличимый клубок, покачивающийся, на секунду распадающийся и снова смыкающийся. Сквозь глухую ругань он услышал ее детский какой-то вскрик, потом тишину.

Кто-то сильно ударил его по спине. Теперь он лежал, уткнувшись горячим мокрым лицом в жесткую, как бы всю в камнях, землю, ему казалось, что кожа и на лице и на груди содрана и грязь, пыль, трава задевают его внутренности. Вновь стало тихо, и он услышал другие, набегающие шаги, резкую, как бы усиленную землей, травой и деревьями трель свистка.

## XVII

Милиционер сказал им, что так никакого результата не будет, что они ему мешают только и что он их оставит пока на некоторое время, вернется в отделение и будет



действовать по своим каналам, а они через час должны прийти к нему. Еще он сказал, чтобы без него они ничего не предпринимали.

Вот это-то и напугало больше всего. Значит, действительно что-то. Он подумал, что милиционер без него будет звонить уже не в больницы, не в отделения «Скорой помощи», а туда (он даже мысленно не захотел произнести это короткое слово), откуда уже никто не уходит сам.

— Да что ты переживаешь? — говорил ему Валька. — Найдут твоего пацана. Да и не там, видно, ищем. Небось сидит в подъезде с какой-нибудь красавицей... Ты что, забыл, как мы с тобой когда-то?

Сергей подумал, что внучка профессора что-то знает — ведь они в одном классе с Игорем, может быть, он к ней поехал... Он слышал о какой-то Дашке и о ней. Но Дашке уже, кажется, звонили, и никто не ответил. Может быть, здесь найдется след?

Он рыскал по старой, беспорядочной книжке, не мог найти телефон старика. Наконец нашел.

Старик сам взял трубку.

— Алексей Михайлович, это такой-то.

— Ах, как же... как же... Чем обязан?

— Да дело тут такое... — запинаясь, говорил Сергей. — Мой сын к вам не заходил? Пошел гулять и исчез куда-то. Я беспокоюсь, так что вы извините за поздний звонок. Может, ваша Лена его где-нибудь видела?

— Да конечно, сейчас спрошу, сейчас выясню, — сказал профессор.

Несколько секунд длилась пауза. В потрескивающем, невидимом, как бы бегущем куда-то пространстве слышались какие-то чужие голоса, даже отзвуки их, приглушенные эхом, потом неожиданно внятный радиоголос произнес:

«Московское время 23 часа 10 минут».

Потом, в тишине, уже чистый, почти снежный, явно прозвучал молодой голос старика:

— Нет, сведений о вашем отроке не имеется. Лена не видела его после школы.

Пауза. Собственно, он и не надеялся ни на что здесь. И после паузы:

— Не волнуйтесь, дело это обычное. А вот статью вашу о Херсонесе я читал... Есть там моменты...

Что-то он еще говорил, очень, может быть, важное в другой раз, о предложениях Солдатенковой, о трудах итальянских исследователей, что-то он говорил, и все это текло мимо, такое же несущественное сейчас, как тихо вторящий его словам, на втором плане, еле слышный, внятный голос радиодиктора.

...Они тыкались в подъезды, пустые, освещенные голым слабым светом или вовсе темные, тихие или со следами потаенной жизни где-то наверху, на пролете второго или третьего этажа, — с шепотом, вздохами.

Он шел за Валькой, слышал и не слышал его, то обретая надежду, а с нею и волю, энергию, то теряя все, не зная, что делать, куда идти.

Дни, казавшиеся самыми безысходными, долгие дни вялого отчаяния, одиночества, наступившие после того, как он переломил всю свою жизнь, вдруг показались почти счастьем — ведь он мог в любой момент позвонить, прийти, увидеть сына...

...И почему-то в эти минуты перед ним неотвязно стоял зеленый остров в Прибалтике в белой, бесцветной воде, и он с женой и сыном шел по этому острову. Что это был за остров? Почему возникал он в полутьме пахнущих хлоркой подъездов, какой еще мог быть остров в этой шуршащей и безликой тьме? И все-таки они втроем шли по этому острову.

Нет, сначала не втроем.

Сначала он шел один, не было здесь никакого сына, ни жены, он жил здесь один.

В законном отпуске.

Несколько раз в неделю он заходил на почту. Здесь, в маленьком домике, в комнате, пахнущей свежестью дерева, белая девочка лет четырнадцати-пятнадцати приветливо улыбалась ему и перебирала письма.

Сквозь неторопливо движущиеся крупные ее пальцы он узнавал, угадывал: да, это.

И не спеша читал обстоятельные письма жены и краткие, деловые его из пионерлагеря, круглый крупный почерк, ошибки через фразу, описание каких-то фантастических футбольных матчей, побед, рекордов.

Ему хорошо было здесь. Хорошо от этих писем, от тишины, от мокрого, в серых валунах песка, сливающегося с морем.

Остров был безлюден, все мужчины уходили в море,

и только мальчишки носились по проселочным дорогам на мотоциклах без глушителей, возникали и исчезали, и снова часами на узеньких улочках ни души, разве только старуха в белых чулках проедет на мужском велосипеде в магазин.

Он часто заходил на рыбзавод, брал салаку. Здесь в коптильне на его глазах из белых, бесцветных рыбин она превращалась в точеные, мерцающие золотом тоненькие тельца с черными, будто наклеенными мертвыми бусинками глаз.

Набрав салаки, он шел домой, к старику Яну, у которого квартировал. Домики в поселке были чистые, крыты черепицей, с низкими, скорее символическими изгородями из валуна, за которыми открывались ровные небольшие участки с кустами крыжовника, с несколькими яблонями, за домами высились башенки свежескошенного сена, аккуратно укрытого брезентом.

На острове этом не было ни райсовета, ни милиции, все местные власти находились на материке. Рыбаки, естественно, пили, и пили крепко, но всегда мирно: не дрались, не ругались. Вообще это был остров добропорядочных людей. Что касается воровства, то воровать здесь перестали, кажется, в семнадцатом веке, когда всем средневековым ворюгам поотрубали руки, уши и носы. С тех пор и по сей день жили только честные люди. Поэтому, может быть, здесь никто не запирает дверей, не было заборов, огораживающих участки.

И единственный участок, который был огорожен высокой, с колючей проволокой весьма мрачного вида стеной, был именно тот, где он квартировал у старого человека по имени Ян.

Он не спрашивал, зачем эта стена: его ли это дело?

Ян работал в совхозе когда-то техником-мотористом. Это был маленький, живой старик с юношеской головой, со звонким мальчишеским голосом, с дрожащими умелыми руками, вечно занятыми мелкими ремонтными делами.

Иногда на лошади мимо дома проезжала женщина неопределенного возраста с красным, загорелым лицом, копной белых бесформенных волос.

Она внимательно оглядывала участок Яна, будто что-то искала и не находила, и долго странно, издевательски-приветливо глядела на старика. Он в эти моменты походил на ежа, которого хотят взять, замершего, под-

нявшего иглы, грозного и жалкого одновременно. Слышалось гулкое цоканье по единственной улице, мощенной булыжником, а потом звук мягчел, копыта утопали в засохшей глине дороги.

Удалялась женщина на лошади, так неприятно глядевшая на Яана, и лицо его, белое, напряженное, наливалось обычным склеротическим румянцем, он становился весел, все его существо выражало освобождение, облегчение: что-то неприятное и неотвратимое пронесло, проскочило. И теперь он становился прежним, деловитым, всегда занятым домашней работой, но знающим время и отдыху.

Из погреба он доставал водку, крепчайший квас, они пили вдвоем, с разговорами, в пыльной комнате Яана с длинным рядом семейных фотографий, где мальчик, чуть похожий на старичка, глядел из чистенького гимназического ряда прямо из-под крыла наставницы в темном платье с кружевным воротничком, маленький мальчик с любопытными глазками.

Что-то старик рассказывал в эти вечера, путая эстонские слова с русскими, усмехаясь, спрашивая собеседника, чуть присюсюкивая: «Понимаес, Сереза?» Охотно и подробно рассказывал, как скитался по свету, жил в Норвегии, Швеции, потом вернулся на родину, затем попал в Россию, жил в Казахстане, женился на русской, у них родился сын. Прошли годы, и представилась возможность вернуться домой, на остров, он звал ее. «Понимаес, Сереза, своя земля, свой воздух, я домой хотела, а она не захотела, тут будем оставаться, а я — нет».

Что-то еще он рассказывал, пьянея, повторяясь, про брата своего, который уехал в Канаду еще в пятидесятые годы и его звал, а он не захотел. И остался на тихом этом острове, где все было так хорошо. Потом внезапно он замолкал и начинал бормотать уже по-эстонски, в странном возбуждении, озлоблении, и во всех этих смутных и непонятных речах понятно было лишь одно слово, вернее имя, часто повторявшееся с ненавистью: «Линда».

Старик засыпал так же внезапно, как начинал бурные свои речи, засыпал сидя, лицо его отпускали заботы и страсти, оно становилось детским, доверчиво-спокойным; спал он бесшумно, запрокинув голову на жесткую высокую спинку стула.

А Сергей выходил из дома и шел к морю. Оно было холодное, поливалось брызгами, шумело глухо, неразбор-

чиво и тоскливо. Оно не успокаивало душу, а, наоборот, рождало чувство тревоги, ненужности никому в мире. Щупальца маяка открывали вдруг свинцовую бескрайность в мелких белых гребнях, и хотелось отсюда куда-то в теплый, сухой, с понятными разговорами и людьми дом.

Однажды пришла сюда телеграмма от нее: «Приедем на три дня с Игорем».

Эта полоска бумаги с серым тусклым текстом дала столь прекрасную, столь ослепительную вспышку, преобразившую свинцово-осеннее море в цветущее, тропическое, щедрое, а всю жизнь — в радостное ожидание.

И вот вместе со стариком, на велосипедах, они «пилят» на аэродром. Впрочем, «аэродром» — это сильно сказано. Просто поляна, на которой сидят на траве люди с тюками и чемоданами, и маленький домик в паутине антенн. Здесь был единственный рейс, осуществлявший доставку и выгрузку, привозивший и увозивший все на свете: людей, газеты, мясо и все остальное с материка. Неправдоподобно маленький был этот самолетик, приземлившийся с игрушечной легкостью.

И вот уже он заметил своего парня, торжественно спускавшегося по трапу с видом Чкалова, совершившего кругосветный перелет. А сзади мелькнуло ее побледневшее лицо.

И он сразу увидел остров глазами мальчика — удивительный, первый в жизни, полный загадок... Он почувствовал теплоту и счастье от того, что уже сегодня пойдет с сыном к морю и оно изменит и цвет, и голос, и будет таким, каким положено быть всякому нормальному морю — прекрасным. И еще представился ему этот замечательный первый вечер в их комнатке на втором этаже, бесконечные вопросы сына, и его ответы, и тот момент, когда сын заснет...

И, посадив ее на велосипед, почти уткнувшись в теплую, душистую голову, пахнущую свежестью, шампунем, чуть-чуть духами, уложенную (что редко с ней случалось, она любила все природное и естественное), он катил свой велосипед, обогнав другой, дамский, на котором сидел старик, а сзади, крепко уцепившись за него, его сын.

Все было так, как он хотел, и все вызывало восторг: холодная комната с голубыми табуретками, с канадским рыночным ковриком с кенгуру и тропическими деревья-

ми, с большим железным распятием над высокой кроватью.

Потом, уже через многие годы, он вспоминал как самое, может, большое счастье этот вечер и ночь после прилета.

Они остались здесь не на три дня, а на целую неделю. Яан очень оживился. С ними он чувствовал себя дедом, главой семьи, недолгой, временной. Он сидел с ними долгими вечерами, пел для мальчика отрывистую старую рыбацкую песню, пьянел, маленький, улыбчивый старик-мальчик... и только иногда лицо его искажалось мукой. Это происходило под занавес, когда мальчик спал наверху, а они собирались тоже уходить. Но он не отпускал их, словно боясь остаться один, говорил по-эстонски, потом, заводясь, начинал ругаться жутким каторжным матом, и имя Линды полоскалось и тонуло в этом мусорном потоке.

— Кто же эта Линда, будь она неладна, кто она вам? — спросил Сергей Яана.

— Она мне... сука подзаборная, никто она мне.

— Вы что, крепко любили ее, что так ругаетесь теперь? — спросила его Галя.

Он глянул на нее, сплюнул, не ответил.

Однажды, когда Яан уже спал, они сидели во дворе, курили и неожиданно сквозь ржавые балки и витую проволоку увидели белое пятно, неподвижное, застывшее: приглядевшись, они поняли: это чье-то лицо как бы прижалось к решетке. Сергей подошел и увидел женщину, ту, что проезжала на лошади.

Она не отступила, не сдвинулась с места, так же смотрела мимо него темными, немигающими глазами.

— Вам что-нибудь надо? — спросил он.

Она продолжала стоять, как бы не видя и не слыша его, глядя в глубь двора. Не разжимая губ, она сказала:

— Ты кто тут? Это мой дом.

Он не знал, что делать, открыть ей или позвать Яана, не сделал ни того ни другого, а только спросил:

— Вы Линда?

Она не ответила. Постояла еще секунду и уже другим голосом, спокойным, будничным, сказала:

— Дай закурить.

Он пошел домой, поднялся, стараясь никого не разбудить, снова спустился во двор. Жена спросила с тревогой и недоумением:

— Кто там?

Он буркнул что-то, протянул сквозь решетку сигареты. Все это было непонятно; казалось, что кто-то из них заключенный и получает передачу и нельзя ни на секунду открыть дверь. Странно, что она даже и не просила их открыть и впустить ее внутрь. Она курила жадно, будто дорвалась, словно после долгого поста, и серый дым в прохладном ночном воздухе шел на Сергея, смешанный с пряным запахом цветочных духов. Она перевела на него глаза, впервые заметив того, с кем говорила. И он увидел, что лицо у нее красивое. Она показалась ему гораздо моложе, чем тогда, днем, не видно было морщин, большие темные, равнодушно-внимательные глаза под выпуклыми надбровьями, прямой нос и большой, в черной помаде мягкий и молодой рот.

Она произнесла какое-то эстонское слово, легкое, звенящее, со множеством согласных. Оно не походило на ругательство... Что оно обозначало, он так и не понял. Что-то близкое к сожалению послышалось ему в этом слове. Она ушла, не простившись, медленно повернулась, полосатая юбка пышно покачивалась над белыми чулками. Еще несколько секунд он видел ее; она шла очень прямо, рослая, широкоплечая, потом темнота съела ее.

Словоохотливый рыжий парень, племянник старика, часто приходивший и выпивавший вместе с ними, рассказал как-то ему историю Яана.

Яан собирался было продать свой дом и ехать в Казахстан к семье, уже списался с ними, да тут появилась эта Линда. Она приехала с других островов, работала в коптильне, была, по словам племянника, самый сок, любила поддать и прочее, и все предупреждали старика, но он никого не послушал. Никуда он не поехал. Не пустила, говорят, она его, а может, он сам не захотел. Разве можно «не пустить»? Видно, и сам не рвался дядюшка Яан.

Построил он новый дом, поженился с Линдой, и жили они мирно и тихо, пока не появился Урс, вдовый мужик с двумя детьми, рыбак, здоровый малый, перазговорчивый, двух слов не допросишься.

Говорят, видели, как Линда выходила из его дома. А может, и не видели. Во всяком случае разговоры ходили. Но таких следопытов не нашлось на острове, чтобы могли доказать, что так оно и есть. Но однажды старик вернулся с материка, и, видно, раньше, чем надо

было... Застукал он свою Линду с Урсом, и тут нервы у старика не выдержали, устроил он пальбу из двустволки. Под эти самые залпы и ушла Линда из его дома. На острове милиции нет, суда нет, скандалов здесь не любят, разбирательств тоже — зачем, чтобы пыль до самого материка летела...

Яан остался один. Обнес свой дом забором, проволокой. Некоторые считали, что он дурачок. Зачем так волноваться? Баба-то молодая, ей нужно... Зачем стрельба, что за дикость. Через некоторое время Урс выпер ее из дому. Хотела вернуться к Яану, а он слышать не хочет, а может, только вид делает, ждет, что она приползет на коленях, а она сааремская баба, такие на коленях не ползают. Вот такой раскол на сегодняшний день.

Так ли все было, как рассказал рыжий племянник, или кое-что приврал, неизвестно. Они теперь с каким-то новым чувством жалости и понимания относились к Яану.

И когда Галя с мальчиком уезжала, то Яан снова был вместе с ними, и они вновь катили на двух велосипедах к «аэропорту». И все были грустны и молчаливы, кроме Яана, который был, пожалуй, грустнее всех, но разговаривал; вернее, что-то бормотал сам себе, а когда к нему обращались, не слышал. Он обращался иногда к Гале по-эстонски, называл ее двойным именем — Виви-Ани. Потом, на каком-то особенно плохом русском шуточно ругался, говорил, что если он, негодяй Сергей, когда-нибудь бросит ее, то пусть она с мальчишкой приедет на остров и он, старик, будет ухаживать за ней и любить до самого своего последнего дня, который уже хорошо виден.

— А что это за имя такое, дядюшка Яан? — спросила она. — Чьим это именем вы меня зовете?

— Мало ли каким именем я, старик, могу тебя звать? — отмахнулся он. — Может, это цветочек такой, который в России неизвестен, — Виви-Ани.

Когда самолет помчался и оторвался от травы, мгновенно прижав ее бешеным своим ветром, а затем стал как бы замедленно подниматься, они с Яаном, осиротевшие враз, медленно поколесили назад полем. Он представлял себе ее, прижавшую к себе мальчика, в этой маленькой жестянке, громыхавшей и отважно болтавшей по небу, и все время как бы проигрывал ленту назад, видел все, что только сейчас было реальностью и уже стало воспоминанием; и вдруг отчетливо понял, что кончилось здесь



что-то такое счастливое, чего уже, наверное, никогда не будет. Станный старик со своим горем был лишь фоном этого счастья, и сам он, и Линда, и весь этот островок казались невзаправдашними.

— А знаешь, почему я назвал ее этим именем — Виви-Анн? — спросил старик.

— Откуда же?

— А была у меня дочка. Линда мне родила дочку. И мы назвали ее Виви-Анн. Только она прожила всего две недели и померла. Врачи разное говорили, я не понял. Может, оттого, что я такой старик и не время мне иметь дочку и бог разозлился и взял ее, а может, это Линда виновата — простудила девочку, потому что думала не о ней, а черт те о чем. А может, просто такая судьба, чтобы старику Яану уже до конца быть одному.

Что-то еще бормотал старик, а потом вдвоем они выпили и расстались. Когда кончились работы, он обещал старику, что будет приезжать сюда с женой и сыном каждое лето и будет писать старику каждый месяц.

И действительно, он написал старику два письма и получил в ответ две открытки — одну рождественскую, со свечами на переливающейся бумаге, а вторую с рисунком: дым из трубы и несколько слов не по-русски, будто старик забыл, кому пишет.

На этом и закончилась переписка.

Однажды через несколько лет Сергей попал в эти края и прилетел на остров. Он легко нашел дорогу, обстроенную теперь серыми каменными домиками, легко нашел и узнал в подробностях и тот дом, отметив, что что-то в нем переменялось: нет уродливого забора с колючками, вместо него низенькая каменная изгородь. Он покричал несколько раз: «Дядюшка Яан! Дядюшка Яан!», не дождавшись ответа, вошел во двор. Маленькая рыжая девочка со школьным портфелем, из которого почему-то торчали пучки лука, удивленно посмотрела на него и сказала, что дядюшки Яана нет.

— А где он? — Он мысленно молил девочку, чтобы она ответила, что он где-то, может, в другом доме, или на другом острове, или на материке, в городе, но чтобы он был где-нибудь на этой земле.

— Не знаю, где, — сказала девочка. — Папа знает, мама знает.

— Но он... жив?

— Кажется, жив, кажется, его папа видел, но я точно не знаю, папа точно знает, вы его и спросите.

Он стал терпеливо ждать папу.

Папа, новый хозяин этого дома, и был тот самый рыжий племянник. Он потолстел, крупная красная голова приветливо покачивалась. Он узнал сразу и долго спрашивал: как дела, как работа, жена, и вообще, как там, в Москве. И все время Сергей пытался прорваться сквозь его вопросы со своим вопросом: «А как же Яан, дядюшка Яан, живой ли?» А тот не отвечал, спрашивал только, и розовое, гладкое, уже немолодое его лицо выражало такой покой, такую ясность, что и речи не могло быть о том, что что-то дурное случилось с кем-нибудь на этой земле, в том числе, конечно, и с Яаном. Он рассказал, что купил этот дом у старика, что живет с женой, она белоруска, а девочка, Марина — вот она, а сын, Эйнар, трех лет, в настоящий момент в рыбзаводских яслях. А что касается дядюшки Яана, то он жив, да, именно жив (это в ответ на взгляд вопрошающей, недоверчивый и как бы требующий подтверждения).

— А где же он?

— А устроен он совсем неплохо, — объяснял племянник, — так как по своему желанию, да, именно по своему, решил поселиться в доме для престарелых рыбаков. А это замечательный дом, таких, может быть, и нигде нет, это колхоз на свои средства открыл, о нем даже в газете республиканской писали. Нет, вы сами убедитесь, что это не богадельня какая-нибудь, а отличный дом, с полным уходом, хорошим питанием, заботой, совершенно бесплатно, на берегу моря, за счет нашего колхоза.

В Доме заслуженного отдыха — так примерно переводилось его название — был тихий час.

Дежурная спросила у племянника:

— Кто такой приехал, не родственник ли, а если да, то по какой линии? — И тут же достала листочек картона, что-то вроде учетной карточки. — Извините, — сказала она, — это не праздное любопытство, мы должны знать всех родственников наших постоянных обитателей. Здесь разные проблемы возникают.

Они с племянником пошли по коридору, встретили молодого человека, который, узнав, что гость издалека, из Москвы, стал водить его по дому с видом радушного

хозяина. Дом был действительно красив. В столовой старики и старушки, оживившиеся с концом тихого часа, сидели за толстым деревянным столом, электрокамин радужно мерцал, старики переговаривались или стучали в домино, в широкие окна выкатывало море, медно сверкала чеканка, изображавшая нелегкий труд рыбаков.

Сергей искал глазами Яана, но за столом его не было.

Потом молодой человек показал подсобные помещения, участок, мастерскую, где обитатели дома (из тех, кто сохранили еще способность), естественно с разрешения лечащего врача, могли заниматься полезным трудом.

Некоторые из них не утратили интереса к искусству: рисовали, лепили, клеили в специальной комнате. А для тех, кто сохранил еще слух и не утратил музыкальности молодых лет, было куплено новенькое, с иголки, пианино.

Молодой человек, оказавшийся главврачом, показывал все с большой охотой. Он работал здесь недавно. Так же охотно отвечал он на все вопросы.

— Мы не ограничиваем посещения... Только родственники не так-то часто приходят... Больше туристы, экскурсанты. Здесь в основном люди без родственников. Те, у кого есть родственники, все же предпочитают оставаться дома, хотя наш дом и является единственным в своем роде и, как видите, хорошо оснащенным учреждением.

Они прошли по всему помещению, и тут он спросил главврача:

— Как бы поглядеть на дядюшку Яана?

Тот неожиданно задумался.

— Не совсем здоров ваш дядюшка. Не знаю, стоит ли его тревожить... Так-то он молодец, но сейчас... Но если вы специально приехали издалека, то, конечно, жалко не повидаться.

Они подошли к одной из комнат с аккуратной табличкой, прищипленной к новенькой двери. Постучали.

В комнате было тихо, ни шороха, ни движения. Еще раз постучали. Снова никто не ответил. Послали за кастеляншей. Она открыла дверь. Молча, с опаской вошли в комнату. В комнате, напоминавшей просторный гостиничный номер, никого не было.

Главврач очень удивился. Кастелянша тоже. Ведь было известно, что старик нездоров. И племянник тоже

подтвердил: был здесь несколько дней назад — Яан больной, лежал.

Стали искать Яана.

Нашли его в лесу. Он выпиливал что-то из куска коры. Он поднял зоркие голубовато-прозрачные глаза, равнодушно оглядел всех пришедших и снова стал неторопливо выпиливать.

— К тебе гости, Яан,— сказал главврач.— Что ж ты так принимаешь? Твой друг к тебе издалека приехал.

Старик снова приподнял равнодушные глаза.

— Дядюшка Яан,— сказал Сергей так громко, будто считал старика глухим,— это я, Сергей. Помните, я жил у вас когда-то? Ко мне еще жена приезжала с сыном. Потом я писал вам, вы даже отвечали мне. Помните?

В чистой голубоватой воде стариковских глаз как бы мелькнула какая-то тень. Однако он не отвечал... Надо было еще что-то сказать ему, с чем-то связать ослабевшую нить памяти... Ведь это не так давно было, лет шесть, наверное, назад.

— Мы тогда еще с вами на велосипеде ездили. Встречали... Провожали.

Слова его как бы скользили по голубому, чистому пространству, не задевая и не отражаясь. И вдруг неожиданно для себя Сергей произнес, вернее из него вылетело это короткое, так часто повторявшееся тогда слово: «Линда».

Старик нахмурил сыроватый, белый, в школьных линеечках морщин лоб.

— Линда? Да. Давно я ее не видел. Говорят, она умерла.

Он еще раз посмотрел, с усилием сложил губы, и они выразили что-то похожее на улыбку.

— А тебя я не помню. Вот его,— он, неожиданно нахохлившись, посмотрел на племянника,— вот его... Он тут часто болтается. Вроде ты был у меня. Кажется, ты жил со своим сыном или дочкой.

Он провел чуть дрожащей, но точной рукой, зажавшей маленький тупой ножик, по коре.

— Трудно, трудно все помнить. Да и зачем?

Сергей подошел поближе к старику, протянул ему руку, сказал тихо:

— Извините, дядюшка Яан... До свидания.

Тот протянул легкую, как кора, из которой он что-

то выпиливал, коричневую руку. И что-то пробормотал.

Он задержал руку Сергея в своей, и тот чувствовал неожиданно крепкое его пожатие и думал, что старик что-то скажет еще, но этого не было. А на племянника вроде он и смотреть не хотел.

Потом они втроем шли по участку, племянник что-то говорил возбужденно на своем языке. Видимо, он удивлялся. А потом он сказал по-русски:

— В прошлый раз он совсем другой был. Мы его не обижаем. Каждый раз что-нибудь приносим. Что это с ним?

— Что ты хочешь? — рассудительно говорил главврач. — И воздух хороший, и условия, а возраст свое... берет. Синильные явления. Конечно, многие у нас в хорошем состоянии. Можно сказать, даже в отличном... А вот наш старичок Яан что-то стал сдавать.

Племянник согласно кивал головой.

## XVIII

Он увидел снизу ноги в сапогах, много ног, будто взвод шел, все ближе и ближе, казалось, еще секунда — и пройдут по нему, растопчут. Но вот чья-то рука до него дотронулась, он открыл глаза и вновь увидел сначала уходящие, убегающие сапоги и услышал шум какой-то с той стороны, где она была, а уж потом увидел склоненное над ним лицо. Милиционер, оказавшийся совсем молодым, снял фуражку, нагнулся и спросил как бы сам немного испуганно:

— Ну что ты, что ты?

Он не отвечал. Трудно было открыть рот и сдвинуться с места, вернее не трудно, а страшно: казалось, попробуешь встать — и не сможешь.

— Я... я... ничего... — медленно, раздельно говорил он. — А она где? Где Даша?

— Кто?

Игорь повернулся, не вставая, сидя, увидел кучку людей, вернее какой-то распавшийся клубок, белели рубашки парней, один из них что-то возбужденно кричал, по траве зигзагообразно, резко ходил фонарик, выхватывая все одно и то же: темную землю, низкие кусты и вдруг пошел дальше, туда, где метнулись две фигуры,

а вслед им от кого-то, словно бы невидимого, но тоже бегущего, стелился резкий, прерывающийся на ходу, то гаснущий, то сверлом вонзающийся в деревья свист.

Он встал. Теперь он уже не боялся за себя. И не думал о себе, поняв вдруг, что с ним ничего такого не произошло, он мог стоять и мог идти и даже не почувствовал вначале боли, только когда он пошел, ускоряя шаг, она отдалась сильно, глухо в груди.

— Стой, подожди, — приказал милиционер.

Но он уже не слышал его, а бежал к тем, кто стоял кучкой. Бежать ему было трудно, он вдруг почувствовал тяжесть ноги, словно бы перебитой.

Он всматривался, искал и не находил ее, она была где-то внутри этого кружка, ее заслоняли слившиеся с темнотой спины милиционеров и светлые — тех парней. Может быть, ее вообще не было нигде, он все шел и шел, но расстояние не сокращалось.

Откуда-то появилась машина. И двух парней стали вталкивать в нее, они оборачивались и кричали, показывая на него рукой, и, хотя они были рядом, он не понимал, что они кричат. А вдали слышалась возня, ругань, потом шаги, приближающиеся, это нагнали тех и вели сюда.

Теперь он увидел ее.

Ее лицо белело у дерева, и он подумал, что она стоит, но она неживая, что ее прислонили к дереву.

— Дашка, Дашка! — закричал он и, всхлиывая, побежал к ней.

Кто-то из милиционеров резко остановил его, но он вырвался и побежал к ней.

Она стояла у дерева, и он уткнулся в ее теплое плечо, но милиционер оттаскивал его, будто теперь нельзя было к ней прикасаться.

Она стояла молча, и он глядел на нее, стараясь понять, что же случилось, искал следы этого случившегося, чего, он еще не знал, но, кроме разорванной у плеча кофты, ничего не мог увидеть и понять... Дашка молча, без движения стояла у дерева.

— Это он, он начал, этот! — истошно кричал высокий голос все на одной ноте.

И, повернувшись, он увидел того самого, первого, маленького; он сопротивлялся, его тащили в машину, а он выдергивал руку и показывал на Игоря.

— Вот негодяи... какие негодяи! — тихо сказала Дашка и неожиданно бросилась к Игорю, ощупывая руками его лицо, рассматривала его, бормотала: — Ты живой... я так боялась! Они ничего не сделали с тобой?.. Ничего?

Какой-то горловой резкий звук вырвался из ее груди, она села на траву, обхватив колени руками, задавливая этот мучительный и резкий плач.

— Истерика, — озабоченно сказал молодой милиционер.

Игорь сел на корточки, взял ее руки, гладил, говорил, пугаясь: «Даш, Дашенька, ну что ты?» А сам все удерживал то, что буквально раздирало все его нутро, то, что словно было заколочено внутрь ледяным огромным комом, парализуя движение, обесмысливая слова: вопрос, который он выкрикивал внутри себя и который не мог прошептать.

Он гладил ее теплую голову, волосы, нависшие над лицом, с застрявшей в них колючей травинкой, и старался увидеть все так, как было еще пятнадцать минут назад, когда они шли только вдвоём, не зная, что их собьет наземь что-то тяжелое, бешеное, нелепо случайное, как грузовик, летящий с горы. Он не понимал: случилось что или нет, но все равно что-то случилось, и все равно так, как прежде, теперь не будет, и как теперь жить, разговаривать? Хотелось вырваться из этого кольца, из этого парка куда-то в другое место, на улицу, где ходят люди, где никто никого не преследует, где можно просто идти. Просто идти.

Но не скраться, не убежать, не уйти на дно!.. Просто идти нельзя.

И, начиная вновь собирать себя, сжимать все распавшееся, словно бы воспалившееся нутро, готовить себя к чему-то новому, к неведомому еще сопротивлению, ко всему тому, что он смутно себе представлял, он приподнял ее, вглядываясь в ее лицо, рассматривая ее всю, будто видел впервые. Она была такая же, только очень бледная, юбка не порвана, даже не помята почти, только кофта истерзана, словно ее жевала собака.

И вдруг, видимо поняв, о чем он все время думал, она сказала, приблизив к его лицу потемневшие свои глаза с расширившимися, как после атропина, зрачками:

— Не бойся... со мной ничего... ничего... Я их покушала всех.

Лицо ее скривилось, и он подумал, что она вновь начнет, но она не начала, лицо ее стало спокойным и даже чуть насмешливым, и вот так, чуть насмешливо, она смотрела на подошедшего милиционера, который все повторял:

— Пройдемте, пройдемте, ехать надо.

Их посадили вдвоем, густо нахло бензином, поскрипывала железная обивка «газика», куда-то везли; она сидела, прижавшись к нему, закрыв глаза.

Ему стало хорошо от этой тяжести и теплоты, от тишины и запаха машины, старался не думать о том, что было, не чувствовать ничего, кроме того, что они едут вместе, только нога все время побаливала, и, хотя он мог ею двигать, она казалась ему чужой, слово-неподвижной. Когда они вышли из машины, он вновь не ощущал ни боли, ни тяжести, шел легко.

Тех уже провели вперед, и в просторном, со множеством плакатов на стенах помещении, освещенном резкими лампами, он увидел их, рядом сидящих у стены, одинаково упершихся взглядом в пол.

Лейтенант быстро что-то сказал другому, тот вышел, принес бумагу и, обратившись к Игорю, сказал:

— Фамилия. Имя. Адрес.

Игорь сначала не услышал, он все время представлял себя автоматчиком, тем самым, из фильмов, которые видел во множестве, и он полоснул огнем по их красным лицам... Не шелохнувшись, они продолжали сидеть в тишине в почти слепящем голом свете. Игорь прищурил глаза, чтобы не видеть ни этого света, ни этих лиц с опущенными глазами.

— Фамилия. Имя. Адрес. Вы что, не слышите?

Игорь посмотрел на него:

— А они? Они... их фамилии?

Лейтенант недовольно посмотрел на него и сказал:

— Ты отвечай на поставленные вопросы. Мы тут сами разберемся.

Игорь должен был ответить на эти вопросы, а также написать, давно ли он знаком с Дашкой, и в каком часу он вышел из дому, и когда с ней встретился, и где они гуляли, и в каком кафе были, и что пили там, и когда вышли оттуда.

Писать все это было трудно, слова выглядели нечеловечески казенными, и он сам уже не мог писать «мы



гуляли», а писал «мы находились», ему было странно, зачем все это надо объяснять, казалось, их с Дашкой тоже в чем-то подозревают.

Он перестал писать и начал объяснять, как те их выслеживали, но лейтенант сказал, что об этом говорить еще рано и что вообще говорить ничего не надо, что сначала надо описать то, что было до того: откуда они вышли и куда они шли.

— Ты должен изложить все подробности, тогда и следователю будет легче работать.

Слово «следователь» испугало его. Ведь ничего все-таки же не случилось, все это было уже прошлым и надо было только наказать этих и уйти и навсегда забыть, но, оказывается, забывать было нельзя, теперь это продолжалось, становясь иным, новым: показаниями, делом.

— Ну что же,— сказал он,— раз так, так пусть все будет до конца.

Потом ушла Дашка, и он долго ждал ее, а когда она вернулась и молча села, лейтенант начал вызывать тех.

— Доставлен в шестнадцатое отделение,— сказал дежурный.

— Как доставлен? Живой ли доставлен, ранен ли? Что значит «доставлен»?

— Доставлен — это значит доставлен, и ничто иное. Жив и, надо думать, невредим, иначе был бы доставлен не в отделение, а в другое место.

На такси вместе с Валькой неся по опустевшим улицам в 16-е отделение. Жив. Доставлен. Есть. Вот что главное. А уж дальше видно будет.

Прошел, пробежал мимо милиционера, покуривавшего у подъезда с желто светящимся номером отделения, мимо машин, мотоциклов.

И увидел, словно сфотографировал навсегда, большую комнату, лампу в продолговатом белом абажуре, плакаты на стене и где-то в углу, рядом с незнакомой бледной, с каким-то вызовом смотрящей девочкой, своего сына.

Все остальное было сначала неважно. Какая-то стайка парней с опущенными лицами, в голем, желтом свете затылки блестели, и он не сразу понял, что они и есть п р и ч и н а; казалось, они сами пострадали от кого-то, волею несчастного случая попали сюда, так сиротлив и жалок был их вид.

Сын его избит. Он увидел это не в первый миг, не в первую секунду, в н а ч а л е все это было неважно, лишь то, что есть, сидит, а уж потом обострившийся, внимательный взгляд мгновенно вобрал в себя резиново торчавшую распухшую губу, синее, с багровым оттенком пятно на подбородке и щеке, и он ужаснулся: никогда не видел таким своего мальчика. Но мальчик мог встать, и двигались его руки и ноги, и он говорил что-то и неожиданно, вопреки всему происходящему, был или казался сравнительно спокоен.

И поэтому он, отец, чувствовал удивительное, никогда ранее не испытанное возбуждение, не страх и подавленность, а, наоборот, счастье, будто какой-то случайный, единственный билет вытащил на страшном экзамене и теперь от полноты чувств не знает, как им распорядиться.

Теперь он внимательно посмотрел на девочку... Что за девочка, почему она тут сидит? И совершенно неожиданная мысль, неизвестно, откуда выскочившая, не имевшая прямого истока, возникшая вот сейчас, на голом месте, и тут же ледяно парализовавшая все сумбурное, почти праздничное движение, происходившее в нем, внутри него. И не отрываясь он стал смотреть на девочку, которая сидела как бы в полусне, как говорят медики — в ступоре.

Почему она здесь? И какая связь между присутствием его мальчика и ее в этой голой комнате с темными бумажными (как во время войны) шторами? Смутное и отталкивающее предположение, которое не могло быть правдой, но могло быть причиной, ползучим грибовидным всполохом взорвалось и качалось в сознании. Он не мог ничего спрашивать ни у своего сына, ни у девочки, ни у капитана, внимательно глядевшего на него.

Он подошел к капитану, они ушли из этой большой комнаты в другую, меньшую, с настольной лампой, письменным столом. Капитан сел за стол, перелистал несколько страниц в мелкую школьную клеточку, с лиловым оттиском печати в уголке, потом положил эти страницы на середину отсвечивающего стола со вспухшими морщинками лака на гладком пространстве.

— А что с девочкой? — спросил Сергей. — Почему она здесь очутилась?

— Вы отец?

И он, поняв вдруг, что иначе ничего не скажут, не ответят, едва кивнул головой.

Да ведь и на самом деле он был отец.

— Мы не можем сейчас сказать с определенностью... Только экспертиза может показать, если в ней будет необходимость... Но девочка отрицает возможный факт. Да и у нас нет никаких оснований утверждать... — откуда-то издаലെка звучал, то пропадая, то вновь приближаясь, его спокойный, разъясняющий голос. — Даже возможно, и не попытка, а просто хулиганское нападение, избиение... Без видимых серьезных телесных повреждений... Необходимость тщательного осмотра, экспертизы... Выявить... определенность.

Сергей все время вспоминал эту девочку. Вернее, не ее вспоминал, ее-то он не помнил, а из ряда возможных ассоциативных вариантов пытался понять, вычислить, кто же она, почему она и сын, и вдруг, как это иногда бывает в таких случаях, почти без всяких внутренних подсказок, интуицией догадался: «Гурьина то ли Гурьева». Память сразу отнесла его к пионерлагерю, к обеспокоенной молодой женщине, говорившей с его женой; где-то, понурясь, топталась девочка с удивительно худеньким, гибким, цирковым тельцем. «Надо немедленно звонить матери», — думал он. Ее матери и матери его сына. Надо звонить им немедленно. Он вдруг почувствовал себя кровно, почти в равной мере причастным и к этой девочке, физически почувствовал себя ее отцом.

Но прежде чем звонить, ему надо было погасить ту тревожно пульсирующую и немедленно гаснущую, совершенно нелепую и вместе с тем не лишенную отвратительной реальности мысль, которая, если сбывлась бы, перечеркнула бы все, даже то, что мальчик жив, цел.

— Так как же это все-таки было? Как же все-таки они оказались здесь? — И с какой-то беспомощностью даже, не то что юридической, но просто бытовой, человеческой, закончил: — Кто же виноват, в конце концов?

— Это вы преждевременный вопросик задаете, на то и следствие, чтобы выявить все обстоятельства. А только одно можно сейчас сказать. — Капитан замолчал и провел тупым концом ручки по чистым, ярко белевшим в сфокусированном свете настольной лампы листам: — Оперативная группа на месте преступления застала следующую картину. Мальчишка этот, Ковалевский, кажется, так он себя назвал...

Сергей вздрогнул от того, как этот капитан произнес их фамилию.

— ...лежал в стороне избитый, но в сознании. А те группой окружили вашу дочь... Серьезных внешних физических повреждений не установлено, цель преследования в данный момент мы можем только предположить. Каких-то реальных доказательств у нас нет, поэтому скорее всего можно говорить только о попытке.

— О попытке... чего?

— Я же повторяю вам, — терпеливо сказал капитан, — что по внешним признакам нет никаких оснований говорить даже о попытке. К тому же девочка решительно отрицает. Оперативная группа прибыла вовремя и пресекла нападение хулиганов, а досконально может выявить в ходе следствия лишь экспертиза.

«Никакой экспертизы», — подумал, а может, и сказал Сергей, и рука его потянулась к телефону. Он даже не спросил у капитана, можно ли.

Голоса и в его бывшем доме и там, в другом месте, были похожи: истончившиеся, будто распавшиеся на волокна, даже не вскрикнувшие, а выдохнувшие:

— Ну, что там?!

И он отвечал, торопливо, возбужденно, вместе с тем стараясь казаться спокойным:

— Все в порядке... Потом объясню... Нет, приезжать не надо. Я сам привезу нашего сына... вашу дочь.

— Кто вы?

— Отец Игоря.

— Какого Игоря?

— Игоря... Какое сейчас это имеет значение? Важно, что все обошлось.

— Ах, Игоря, вспоминаю... ну да... Скажите, действительно ничего не... Я уже звоню всюду, по всем больницам. — Голос оборвался, задавленный спазматическим рыданием. — Действительно ничего?..

— Ничего практически не случилось.

Неуклюжее, длинное слово «экспертиза» дохлой рыбиной плавало рядом, лезло в рот, в горло, но он, слава богу, не повторил его.

— Сейчас я ее привезу.

Сбитый с толку капитан так и не мог понять, чей же он все-таки отец. Возможно, он подумал, что он отец их обоих... Было уже поздно, и капитану было трудно ра-

зобратъся, кто чей отец, у него еще полдежурства было впереди, а тут все чьи-то отцы и чьи-то дети, и, успокаивая испуганного отца, капитан говорил, давая звок:

— Считайте, что все обошлось с вашей дочерью, но разбираться, конечно, будем. Но зачем они в такое время ходят по лесопарку? Ведь зона отдыха в одиннадцать часов закрывается.

И дальше адрес, телефоны, какая-то подпись, то ли в протоколе, то ли просто на бумаге.

Молчаливые парни с насупленными лицами, неподвижно сидящие на скамейке у стены, звонок в таксопарк, ожидание.

Затем улица, такси, и он держит за руки молчаливых Игоря и Дашку. Держит крепко, будто поймал и боится отпустить.

Незнакомый какой-то дом, женщина стоит в темном дворе, выбегает навстречу такси, простоволосая, сравнительно молодая или кажется молодой в темноте. Не плачет, даже находит силы поздороваться с ним, протянуть руку, назвать имя, отчество.

Не зная, что говорить, но сразу стараясь успокоить ее, он повторяет:

— Все обошлось, все, слава богу, кажется, обошлось.

— А что, что обошлось? — с тревогой спрашивает мать.

— Все, все, — повторяет он.

И боковым зрением видит, как Игорь в стороне держит руку этой девочки, смотрит ей в глаза, стоит как вкопанный, держит, не выпускает руку.

## XIX

Когда и как это обозначилось, порвалось, поползло в разные стороны, как рубашка, которую носил давно и считал вечной, но вот однажды зацепил за что-то... Не станем говорить о сходствах и несходствах, о противоречиях, о характерах, о всяческих не до конца понятных причинах внутреннего свойства. Как и всякая счастливая пара, они расходились окончательно иногда по два-три раза в день, но все же втайне догадывались, убеждены были, что жить им всегда.

Несколько лет назад, перед поездкой в Среднюю Азию,

ему неожиданно позвонили из газеты, причем из молодежной, комсомольской, с просьбой «рассказать молодому читателю об экспедиции».

Он относился к подобным публикациям с настороженностью, с некоторым даже предубеждением, но вместе с тем понимал, что иногда широкая общественная огласка может помочь делу, а тем более этой давно им задуманной и трудно складывающейся длительной экспедиции.

Он согласился. Разговаривал он, как всегда в таких случаях, сухо, тоном педанта, подтекст проглядывал слишком прозрачно: «Я занят, поэтому короче, если можно». И сам понимал, что переживает, но такова уж была выработанная годами привычка. А на том конце провода звучал сдержанно-просительный, не теряющий достоинства очень молодой, как ему показалось, и очень женский голос. Почти осязаемо он чувствовал бесстрастно переданную мембраной грудную свежесть, чистоту этого голоса.

Он согласился принять корреспондентку в институте.

Худенькая молодая женщина, вполне типическая, по его представлениям (такая именно и должна была прийти), в клетчатой длинной юбке, в тупоносых мушкетерских сапогах, в свитере, с тоненькой крепкой талией, державшаяся одновременно уверенно и скромно, не задававшая, к счастью, никаких глупых вопросов: он с уважением отметил ее четкую профессиональную поведку, это ему всегда нравилось в людях, радостно удивляло, особенно в тех, которые занимались не похожим на его делом. И никакой искры, никакого разряда не возникло между ними. Расстались деловито, довольные друг другом.

— Я позвоню вам в среду, уже будет верстка, и вы завизируете, — сказала она на прощание.

В среду он назначил ей встречу на странном месте — на шоссе, опознавательным знаком служил продмаг. Он собирался заехать к директору института, тот болел и жил за городом, в дачном поселке. Им надо было поговорить перед его отъездом в экспедицию. Сидел в машине с раскрытыми дверцами, выглядывал, боясь, что она не найдет. Она подошла минута в минуту. Он взял серую, сырую верстку с очень коротеньким каким-то, почти жалких размеров текстом, бегло, но цепко просмотрел. Тут же он нашел две неточности; она исправ-

ляла, прижав верстку к железной обшивке машины, ей было неудобно, и он предложил:

— Садитесь.

Она молча села. Институтский шофер ждал, потом она неожиданно сказала:

— Я могу вас немного проводить.

В машине она снова проглядывала верстку, сидела молча, придвинутая к нему ухабистой дорогой; мелькало шоссе, такое знакомое, выглядывающие из зелени белые башни новых домов, затем приземистые, темные домики деревни, пивной ларек, облепленный людьми.

О чем-то они принимались говорить, но разговор зависал, лишенный стержня. Сергей не старался ее понять; интерес требовал усердия, сосредоточенности, а он думал сейчас о своем предстоящем разговоре с директором, об отъезде. Все остальное же проносилось мимо, как эти домики.

Но присутствие ее он ощущал, ощущал тепло и тяжесть чуть привалившегося к нему на дорожных выбоинах крепкого длинного тела, не столько слышал ее голос, сколько, как тогда, по телефону, чувствовал его сдержанную и нежную силу. Она о чем-то говорила деловито и разумно, поныхивала сигаретой, замолкала, когда он ее не поддерживал, и вдруг ему захотелось погладить ее по голове, притулить эту рассудительную голову на свое плечо.

Но здесь, в этой обстановке, не должен был, а значит, и не мог.

Машина осторожно катилась по узеньким улочкам поселка, мелькали уютные вечерние окна, белели рубашки возвращающихся с озера купальщиков, слышались ночные голоса, смех. Машина тихо двигалась по мягкому, источающему тепло асфальту, въезжала из московского огромного дня в узенький подмосковный вечер, полный шорохов, голосов, вздохов, совсем других звуков, чем там, в бетонном гудящем городе. А вот уже тот дом, где жил его руководитель, или «шеф», — название, принятое в институте (впрочем, теперь все стали шефы — от официанта до водителя такси).

Близнецы, внуки руководителя, гулявшие около дома, узнали машину и его и дружно закудахтали: «Сереза, Сереза!» Тепло освещенного обжитого дома сразу же дохнуло на него, как костерок в пустыне, где жарится

карума, тепло большой, ничем не порушенной семьи, где живут, как встарь, и всегда рады гостям; это был о ч а г. И, уже отдаваясь этому теплу, прогоняя тот мимолетный, чуть тревожный ветерок, что просквозил в дороге, он обернулся, пожал ее маленькую самостоятельную руку, пробормотал:

— Жаль, что не могу позвать вас с собой.

К чему? Ведь ясно же было, что не может позвать, это само собой разумелось, так зачем же делать вид, что жалеешь? Но, сказав, понял вдруг, что и на самом деле не хотелось, чтобы она уехала вот тут же, на его служебной машине или на электричке, хотелось, чтобы прошла рядом с ним через маленькие, беспорядочно раскинутые комнаты на террасу, выходящую к яблоне, и во время традиционного чаепития из самовара он, как в машине, безотчетно и как бы на отдалении, но все время ощущал бы ее присутствие.

«Мечты и звуки», — с иронией сказал он себе. Но с этим уже было кончено, торопливо, бессловесно распрощались, хозяйка вела его в комнаты к Самому, сначала к деловой беседе, затем к неременному чаепитию. По опыту он знал, что такая беседа не будет краткой, к тому же не хотел, чтобы к о р р е с п о н д е н т к а добиралась одна, в темноте, и отпустил машину.

Действительно сидели допоздна. Старик по ритуалу проводил его до крыльца, хозяйка — до калитки, стукнули щеколды, забытая свежесть негородской ночи тронула его лицо, он пошел к станции.

Улочки опустели, кое-где из домов слышалась музыка, а также шорохи встревоженных транзисторов, возбужденная иностранная речь. Не успел он пройти улочку и свернуть на дорогу, ведущую к станции, как кто-то медленно, словно раздумывая, словно боясь, вышел навстречу, и, еще не видя, не узнав, с радостью, с молодым сердцебиением догадался, кто это.

— Вы ждали столько времени?.. — говорил он, радостно протягивая ей руку, будто они расстались очень давно и вот теперь неожиданно после долгой отлучки встретились.

— А я и не знала, сколько. Я все смотрела на ваши окошки.

— Они не мои.

— Знаю, но все равно они к вам имеют отношение.



За ними вы сидели, разговаривали. Потом я начала бояться...

— Темноты? — подхватил он. — Одной, конечно, страшно, тем более шпана, хулиганы.

— Не этого. Я ничего такого не боюсь. Никакой темноты... Я ее даже люблю. Я на кладбище в детстве не боялась ходить.

— Так чего же?

— Боялась, **вы** останетесь ночевать у них.

— Я никогда там не ночую. И вообще нигде... Только дома. У каждого человека есть дом, чтобы ночевать.

— У каждого — да, — сказала она и потянулась за сигаретой.

Ему захотелось ее расспросить, ничего ведь о ней не знал, а потом решил: «Зачем», вообще лучше ничего не знать.

Шли к станции длинной почной дорогой, мимо улочек и переулков, в которых узнавал и свои, давние, или очень похожие на них; ведь увозили в детстве не только в пионерлагерь, иногда и на дачу. Впрочем, какая дача? Большой деревянный дом, двухэтажная коммуналка, где жили работники санатория и где постоянно жила его покойная тетка, и он немного завидовал ухоженным дачным мальчишкам, игравшим на своих участках в настольный теннис, завидовал тому, что они рвали свою малину, валялись на своей траве, никто их не выгонял, никто не грозил им, когда они рвали ягоды. Вокруг теткингого дома шел общий с чахленькими кустами палисадник, а затем коммунальные грядки картошки и несколько строго охраняемых коммунальных клубничных грядок. Здесь Сергей проводил не только летние каникулы, но и жил в те годы, когда отец уехал работать в Сибирь. Когда отец вернулся и его восстановили в институте, ему предложили небольшой садовый участок, тогда еще очень дешевый. Но он отказался. Всякого рода собственность тяготила его. Он с удовольствием оторекся от этой ноши, находя убедительные причины для окружающих и для самого себя. Тогда была причина, что некому возиться с участком. А как бы сейчас пригодилось это, для Игоря хотя бы...

Какие-то давние волейбольные площадки вспыхивали, и девочка Яна, в которую был влюблен, дачная девочка, и другая, в его же коммуналке, Лена, у которой мать

запивала и исчезала на недели. Эта девочка Лена курила «Прибой» и его учила. Иногда она плакала, прижавшись к нему. Она была старше его на два года, писала стихи и все время читала их, и вместе они сидели в его комнате, он слушал ее и держал за руку, ощущая смуту крови, неясное томление, приятную печаль.

— А ведь это вчера еще было, — подумал и сказал он.

— Что — вчера?

— Нет, это только кажется, что вчера. На самом деле очень давно. Вас тогда, наверное, и не было. Вы же ведь еще ребенок.

— Конечно, ребенок, если вам угодно — ребеночек, — усмехнулась она.

Так и шли к станции, приглушенно разговаривая, будто секретничали. Он приобнял ее за плечи, знал, догадываясь, что может ее поцеловать. С пошловатой уверенностью подумал, что можно рассчитывать и на большее, но ему как раз не хотелось ни на что рассчитывать и не торопить ничего, а если ничего и не будет, тоже к лучшему, хорошо, что просто так шли по теплым, уснувшим улочкам.

Он не знал и не представлял, сколько ей лет, для него тогда еще не существовало возраста. Сам он при всем своем опыте чувствовал себя молодым и предполагал, что будет таким еще долго. Сейчас что-то поменялось с возрастaми... Старость выглядит средним возрастом, средний — молодостью... Сколько девчонок с интересом и готовностью поглядывало на него в институте, на скольких он поглядывал! Возрастной барьер еще не торчал помехой перед ним.

— Странно, вы меня ждали, думали, наверное, будем говорить о чем-то интересном, очень важном, а вот идем просто так, болтаем всякую чепуху.

— Ничего я не думала. Просто хотела вас дождаться.

Он пропустил мимо себя ее слова, ничему не удивился. Будто так и полагалось ей «просто так» ждать его до полночи. Станция просвечивала сквозь листву мертвыми дневными фонарями.

Прошла встречная электричка, неуклюжий человек бежал с другой стороны, косолапо, пьяно прыгнул, когда уже тронулась, когда двери сомкнулись. Раздался резкий скрип. Оба они в ужасе зажмурились. Открыли глаза, услышали страшную ругань, мат, увидели бегущего ми-

лиционера, но человек тот, пьяный, был жив, он почему-то сидел в полуотдернутых створках двери остановленного стоп-краном поезда.

Она с силой схватила его за руку. Лицо у нее было смертельной бледности.

— Боже, какое счастье, что он живой... Невозможно...

Он провел ладонью по ее волосам, по мокрым глазам, повернул лицо к себе и стал целовать. Она вся преданно и послушно потянулась к нему, точно давно, может быть всю жизнь, ждала этого.

Что было потом? Он был занят, старался не думать о ней. Так бывает: что-то произошло, всколыхнуло и тут же затонуло, потерялось в повседневности. Не звонил ей. Да и она не звонила. Может быть, ожидая от него первого шага.

Не до шагов сейчас было. С восьми начинался обвал звонков, потом мчался в институт, увязывал, утрясал, оформлял последние дела. Сама экспедиция виделась почти геологической. Один из участков находился на Памире, недалеко от Хорога, там, по его предположениям, было засыпано несколько городищ.

И все-таки думал о ней. Думал абстрактно, теоретически. Реальной встречи он представить себе не мог. Где-то скитаться, ютиться после тяжелых, груженных заботами, с опустошающим грохотом несущихся дней. Никому это не нужно было. И он был рад, что проснулся и отрезвел. И еще более был рад, что есть у него единственная женщина, жена, которую он любит, несмотря на множество напластований, наносов, несмотря на ржавчину, которая всегда появляется после стольких лет жизни. И потому н е н а д о.

Но вот позвонила. И говорили невнятно, отчужденно, то ли по делу, то ли просто так, что-то вяло объяснял, рассказывал ненужные подробности про сроки, про что-то еще, но вот она проговорила, буквально запинаясь, и он с остротой ощутил, какую неловкость, трудность, на грани унижения она преодолевает:

— А как бы... нам с вами увидеться перед отъездом?

Он решил, что она начнет сейчас припутывать сюда статью, еще что-то деловое, но, слава богу, она ни слова больше не добавила. Она просто хотела его увидеть, и, видно, этот звонок, и эта фраза, и это развинченное, не

ее «как бы» далось ей нелегко, и он почувствовал стыд за то, что вынудил ее говорить так.

И они снова договорились встретиться в институте.

И снова, как и в первый раз, она сидела в его кабинете, терпеливо, спокойно ждала, пока он звонил, договаривался, неслышно сидела, уткнувшись в книгу. Ни одного взгляда не просверкнуло, ни одного жеста или еще чего-то в этом роде. Он — за столом, а она — где-то в углу, то ли стенографистка, то ли курьерша, ждущая пакета.

Потом пошли по улицам, заходили в какие-то кафе, питейные заведения, всюду не было мест, наконец с трудом воткнулись в молодежное кафе, глупо сидели среди стаяк молодых людей, подвижных, рассыпающихся группок, ртутью перемещающихся от столика к столику и затем стремительно выкатывающихся на освободившийся пятачок под прерывающийся, шепелявый звук аппарата.

Паливая ей вино, он опять рассказывал ей об экспедиции, будто других тем на свете и не существовало.

И ему было тоскливо, глухо в этом неопрятном, шумном помещении. «Зачем мы пришли сюда? Чего мы ждем друг от друга, точнее, чего ждет она от меня? Может быть, она уловила или я дал ей понять, что, по правде, душа моя не заполнена, что есть пустоты, щели? А впрочем, все это чушь, бывают ли заполненные души? Это ведь не бочки».

Так, чуть хмелея, думал он, видя перед собой ее аккуратную загорелую руку с крупными мужскими часами на запястье, ее пальцы, энергично стряхивающие пепел. Да, она была независима, самостоятельна, настолько самостоятельна, что даже открыла сумочку расплатиться.

— Нет уж, бросьте эти студенческие штучки, — почти с раздражением сказал он.

Они подошли к остановке автобуса. Остановка была пуста, как и вся улица в мелкой ряби незатихающего дождя. Зашли в какой-то подъезд. Она курила много, беспрерывно, кружилась голова от сырости, смешанной с этим дымом. И все было опять как когда-то: провожания, подъезд, вино, женщина, будто не прошла уже целая жизнь с ее подъездами, дворами, тьмой, поцелуями, словами, которым и вправду веришь, а назавтра исчезнут, выветрятся, с нежной тайной прикосновений, со всей этой так знакомой и вечно волнующей возней. И сейчас он

снова целовал ее, но она была на этот раз безучастна. И, почувствовав ее отдаленность от него, покорную, но лишаящую все смысла безучастность, он отстранил ее от себя и сказал:

— Что такое с вами?

Она приподняла голову, сказала со спокойным отчаянием:

— Просто мне очень плохо... Очень мерзко. Как никогда.

— Из-за меня? — удивившись, спросил он.

Она посмотрела мимо него, в полуотворенную дверь, в рябой, вязкий сумрак и сказала:

— Нет. При чем тут вы?.. Наоборот, вы... Только не подумайте, что я преследую вас.

— Какое уж там преследование. Один несчастный звонок. А я так ждал.

— Не надо. Вам не идет лгать. Я знаю, что вы не ждали. Но это неважно, не в этом дело. Важно, что мне самой хотелось позвонить. Вы даже не знаете, как это было мне нужно. А сейчас все... Сейчас уже все.

Что-то он ей говорил, убеждал, уговаривал. Он так и не понял, что «все» и почему она с холодком, так отчужденно говорила с ним весь остаток вечера.

И уже перед самым отъездом он ей позвонил попрощаться.

Она отвечала ему с преувеличенной приветливостью, с тем вниманием, которое как раз и означает, что действительно «все», остался лишь ритуал.

В самолете сидел убаюканный, думал о сыне, о доме, о старике, еще о том, сколько ездить, а уезжать всегда тяжело и прощаешься, будто навсегда. И так же просто и органично вживаешься, привыкаешь к новому месту, к новым людям, и все отстраняется, будто никто и не провожал тебя на рассвете из дому.

Они работали все лето и всю осень. А когда земля затвердела и начались снегопады, они оставили свой горный городок, засыпанный тысячелетия назад, и вернулись в город. Это были счастливые дни, особенно первые; все поисковики — геологи, геодезисты, археологи — знают это счастье возвращения в город. Все кажется чудом: от струи душа в номере до свежей газеты. В го-

стиничном киоске «Союзпечати» Сергей покупал все газеты, от «Правды» до «Лесной промышленности», не говоря уж о печати братских стран, ибо он с измальства был большим читателем газет. Радость воды и тепла, чистенького буфета на третьем этаже, телевизора в холле, транслирующего местный республиканский замедленный футбол. Вечером зажег настольную лампу, разложил бумагу, цветные карандаши. Хорошо ему, уютно было.

В этот момент постучали. Поморщился досадливо. Никого не хотелось видеть. Хотелось сохранить это счастливо-освобожденное, легкое, редкостное состояние. Решил: кто-нибудь из экспедиции с очередными вопросами.

Открыл дверь и ахнул.

Она. В красной косынке, в легком плащике.

В растерянности он спрашивал, как, почему, когда? Какими судьбами? Снимал плащик, усаживал ее, а она стояла, и сигарета чуть дрожала и густо дымилась у нее в руке.

— Какими судьбами? А самыми обыкновенными. Взяла командировку и прилетела.

Боже, как хороша она была! Или показалась такой? Нездешняя, такая московская, куда только делась вся ее самостоятельность, независимость. Опустив глаза, стояла растерянная в сто раз больше, чем он. Потом она сказала:

— Пойдемте.

Не спрашивая куда, он пошел с ней. Шли пыльными улочками, мимо высохших карагачей, она почему-то очень спешила, он еле поспевал за ней.

По дороге она объяснила ему, что они спешат в цирк.

«Цирк так цирк», — подумал он, сегодня уже ничто не могло его удивить. Она объясняла ему, что в цирке она должна встретиться с клоуном каким-то из Ленинграда, про которого она будет писать, из-за которого она, собственно, и приехала.

«И какой бред! Душанбе, цирк, она...» Когда он последний раз был в цирке?.. С сыном, когда открывался огромный, около университета. А перед этим — лет двадцать назад, с Юлькой, на Цветном бульваре. Он смотрел на клоунов и удивлялся. Голоса у них были резкие, будто у каждого в горле свисток. Да и клоуны вроде были те же, что и двадцать лет назад, так же они дико визжали. Да и тогда, двадцать лет назад, они не нравились ему, а нравились укротители и львы.

После спектакля они втроем пошли в чайхану. С ними был клоун Володя. Вернее, получалось так, что они сопровождали клоуна Володю. Он был здесь популярным человеком, ему кивали, с ним здесь здоровались все. Он довольно быстро напился и стал показывать всем фотографию сына и жены.

Чайхана была открытая, верещали, звенели, цвикали цикады. Желтый слабый свет освещал попугайчиков, низко висящих в ажурных клетках, молчаливых и утомленных облием людей.

Все было нереально.

Потом они вышли, мгновенно исчез, точно испарился, Володя, а они шли в густой, душной тьме горбатыми улочками на окраину города. Там у кого-то из знакомых она остановилась. Она зашла в дом, а он ждал ее в саду. Она вернулась через несколько минут. В домике гасли один за другим огни. Он кивнул в сторону потемневших окон, просяще посмотрел на нее.

Она покачала головой:

— Туда нельзя.

— Ты зачем приехала? Ко мне?

Первый раз он ее назвал на «ты».

Она вновь покачала головой.

Она сидела на краю стола, он на скамейке. Он положил голову на ее колени, на тонкую, как бумага, пропитанную теплом ткань, что-то она отрывисто говорила ему, но он не слушал.

Все в тот момент было неважно, несущественно, и даже фраза о муже пролетела мимо, не задев (в Москве его бы поразило, что у нее есть муж, он ведь ничего не знал о ее муже). А здесь все воспринималось спокойно, с удивительным приятием, покорностью всему, что есть и что будет. И ни от чего не было больно, будто дали укол анестезии. Да, все было несущественно, кроме того, что она здесь, кроме этого удивительного подарка. Здесь, под огромным небом в переспевших крупных звездах, во дворе с дувалом, мимо которого проносились, лая, шумные бездомные собаки. Так же нереально шелестел транзистор где-то вдалеке, доносил слова: «Реакция... империализм... агрессия... жертвы...»

А здесь была такая тишина, темень, такой теплый, ничем не омраченный мир. И она была будто самая первая женщина в его жизни, таинственная, притягательная,

близкая и вместе с тем совершенно недостижимая, тянущаяся к нему и боящаяся чего-то.

Неожиданно кто-то вышел с фонариком и старческим, бесполом голосом спросил:

— Ты где, Надя? Надя, где ты?

Странно, что Сергей никогда не звал ее по имени. Даже и не думал о ней по имени. Только она. У нее словно бы и не было конкретного имени. И вдруг оно появилось. Тот, с фонариком, исчез, и снова стало тихо, и Сергей целовал ее руки и болтал всякие глупости, будто студентик, восторженный, сошедший с ума.

И, вспоминая потом тот вечер, думал о том, как важно настроение, состояние, определенный момент определенной секунды, для того чтобы родилось что-то будущее, последующее, неожиданное, в корне меняющее ход твоей жизни.

— Ты моя Надежда, последняя надежда, — повторял он.

— Что за глушь? Почему последняя? И вообще, я не люблю свое имя.

А в горах уже начало светать, и стал виден не только темный, слившийся с небом массив гряды, но и начавший розоветь синеющий венчик над ней.

Через неделю она уехала. Неясно было, какие у нее здесь дела. Куда-то она ходила с магнитофоном, кого-то записывала, днем постоянно была занята, а вечером приходила к нему, а потом он провожал ее на другой конец города, и они гуляли, говорили до утра до бесконечности с такой жадностью, будто уже много лет провели в одиночках.

Это испугало его. Пугала эта нарастающая потребность в постоянном, ежесекундном контакте и в непрерывной потребности любое жизненное впечатление, ощущение, мысль, как пинг-понговый мячик, перепасовать другому; в компании чужих людей, в прокуренных, в полных чужих, громких голосов комнатах он обостренно прислушивался к ее голосу, обменивался с ней взглядом, кодом, ждал, когда они уйдут и смогут снова ненасытно, до исступления говорить друг с другом. Или так же исступленно, будто в последний день жизни, молча прикипать друг к другу. Чувство неожиданной, вот-вот готовой исчезнуть радости, недолгого, случайного божьего подарка кружило ему голову и пугало.



Иногда он пытался понять, как это произошло. Ведь вначале она была не нужна ему или почти не нужна, он мог обходиться без нее. «Может быть, — думал он, — в ней воплотилась моя потребность в любви, еще ни разу в жизни не утоленная, детская мечта об абсолютном, всепоглощающем чувстве».

«Она меня понимает, — решил он. — А что значит понимает?» Ведь у других он даже не искал этого понимания. Он едва ли задумывался, понимает ли его жена. Что за чушь, что за туманные необязательные категории, когда вокруг столько забот!

Всегда говоривший о своих делах формально, скорее для себя, чем для кого-то, здесь он в подробностях посвящал ее во всю кухню, во все никому, кроме людей посвященных, ненужные, непонятные подробности.

Ему хотелось, чтобы она знала и про старика Массе, и про директора, к которому он ездил, и про всех его коллег, и про противников, а главное, про него самого, все про него, про его прошлое и будущее, про то, какой он есть, и про то, каким притворяется. Впервые в жизни он испытал потребность не в потаенном и смутном, а открытом, жестоком и все-таки исполненном счастья самоанализе.

И только иногда, без нее, в холодке сиротского гостиничного утра, открывая дверь и словно бы входя на балкон без перил, жмуря глаза от резкого света и повисая над далеким ржавым камнем двора, он задавал себе простой вопрос: а что дальше?

Думать об этом нельзя было, не нужно. Следовало жить только э т и м и только с е й ч а с, спешить туда, на окраину города, где она жила у своих родственников, видеть, как приближаются наливающиеся цветом горы, обещавшие счастье, покой, высший порядок, благодать и гармонию всего сущего. И взлетало нечто неизвестно как называемое и неизвестно, существующее ли — душа, может быть? — над маленькими, приземистыми домиками, над сиротливо прижавшимися к пыльным дувалам «Жигулькам» и «Москвичам», над бывшей мечетью, переделанной в надежный склад, над маленькой районной чайханой и над каркасами комбината и несло все туда же, к вершинам, и дальше, выше, растекаясь, плаваясь, сливаясь с темным небом. И мысль о Творце, столь спорная и идеалистическая, столь даже детски наивная,

вдруг явственно возникала в тебе, и хотелось, чтобы он услышал твой слабый голос, голосок, твой писк мольбы и надежды.

## XX

От Дашкиного дома проходными дворами, узенькими улочками, торопясь, будто кто-то гнался за ними, подошли к дому, к и х о б о и х бывшему дому. Ни о чем Сергей не спрашивал сына, хотя необходимо было знать все, во всех подробностях и деталях, и, может быть, сейчас э т о в с е было легче услышать, пока так свежо, что ни додумать, ни приврать. И все-таки он молчал, ни о чем не спрашивая, словно что-то общее, скрытное сейчас соединяло их, и эту обоюдную тишину боязно было разорвать, потревожить... К тому же, насколько он знал своего сына (а ему казалось — знал), Игорь не мог обмануть в т а к о м, в незначущей мелочи — пожалуйста, но в жизненном, важном — нет, никогда. Так он думал.

Двор, подъезд, затертая кнопка звонка, дверь со свалывшейся обивкой, женщина, кинувшаяся к нему навстречу, едва не сбившая мальчика с ног и тут же захватившая, прижавшая к своему плечу его голову.

И он, Сергей, с неожиданным холодком смотрящий на все это, прогрызший зубами фильтр полустлевшей чадающей сигаретки в полутьме или полусвете, том особом, что бывает в доме, когда что-то случилось, естественно дурное, несчастное; хорошее, счастливое не случается вот в такой квартирной полутьме да и вообще не случается, оно живет, существует, с л у ч а е т с я же другое. То, чего бессознательно ждешь. С детства всегда ждешь какого-нибудь неожиданного резкого звонка в дверь, именно того звонка — с вестью.

— Что же это? Как же это? Боже мой...

Мать оцупывает, трогает лицо мальчика, заплывший свекольный глаз, шутовски оттопыренную разбитую губу.

— Как они тебя?.. Вот зверь! Звери!.. Судить...

— Спасибо, что так, — говорит Сергей. — Скажи спасибо. Не гневи судьбу.

И тут, вспомнив о нем, она поворачивает истончившееся, мгновенно ставшее злым лицо:

— Тебе спасибо. Тебе за все спасибо.

И, стараясь отсечь то, что будет дальше, не слышать, он уходит в комнату, ту, что была его, называлась «кабинет», в которую сын влетал иногда с радостью, обалдевший от уроков, жаждущий общения с отцом, а иногда входил с робостью, когда видел — отец работает. «Папа работает».

Когда-то это было свято.

Комната, почти не изменившаяся, тот же стол, на нем заляпанный чернильными пальцами бюстик Пушкина, громоздкая ручка «Спутник» на подставке, подаренная сослуживцами, детский довоенный «Чтец-декламатор», всегда валявшийся у него на столе. В первом разделе этой книжечки были самые любимые стихи его детства: Пушкин, Лермонтов, Тютчев, А. Толстой, а во втором, современном, большинство стихов о революции, Ленине, Сталине, — их-то особенно любил читать вслух его сын.

Возможно, сыну это казалось исторической экзотикой и, удивляя, привлекало, для Сергея же за этими строчками теснились и гремели бесчисленные пионерские линейки, костры, песни, горящие флаги и горящие глаза на демонстрации, да мало ли что еще, об этом можно было долго рассказывать...

Все было так в этой комнате, но не было только здесь его фотографии с ней, когда они сидели на свадьбе своей. Какая, впрочем, свадьба, тогда подобные торжества были не в почете. Просто пошли небольшой компанией на пятнадцатый этаж гостиницы «Москва». Потом пошли домой, туда еще набились гости... Поженились в жару, в мае, страшный, иссушающий был май в Москве. Не знали, что май — дурная примета: «маяться» всю жизнь. Слишком многое было до этой свадьбы, слишком длинные и прочные нити соединяли. Поэтому и свадьба казалась чем-то символическим — излишним и запоздалым. Давно они уже были вместе, неразрывно, навсегда, не было лишь государственной печати, услужливо открывающей им номера гостиниц, домов отдыха, все прелести легальности. «Ну вот, вышли из подполья», — сказал кто-то из его друзей. И тут же щелкнул их, не предупреждая, этаких воркующих голубков. Сергей любил эту фотографию — не голубки там красовались, символизирующие вечное счастье, а сияли два очень веселых, очень молодых, пожалуй, действительно счастливых лица, почти слитно прижатых друг к другу, так что фотография казалась двуглавой.

Всегда, когда смотрел на эту фотографию, ловил себя на удивлении, а удивлялся такому изумительно простому и всегда непонятному: вот этот худенький загорелый, в пиджачке, с открытой комсомольской прической по моде конца пятидесятых, в расстегнутой рубашке, без галстука, этаким путешественник в незнакомое — это я, это был я. А эта, с уложенными волосами, улыбающаяся, прильнувшая к нему и чуть-чуть пьяноватая (это не на фотографии, а просто он помнит), — это она ругается и плачет там за дверью, в коридоре.

Славная была семейная фотография, да исчезла куда-то.

И что-то изменилось, переставилось в комнате: выброшен старый журнальный столик, забитый его газетами, составлявшими значительную часть столь любимого им и никогда не выбрасываемого бумажного хлама. Почему-то не было сил у него выбрасывать ни письма, ни старые книги без начала и конца, ни брошюры, ни даже газеты. Как и отец, он был хламильщиком. Впрочем, иногда это оборачивалось и наградой: по прошествии лет как бывали интересны, как поражали старые невыброшенные газеты. Что было, то было.

А теперь эта комната, чей потолок, казалось, потемнел от его дыхания, не вызывала ни горечи, ни боли.

Какая-то возня шла в коридоре и в другой комнате, слышались шаги и шум воды и какие-то указания в виде команд: «Подставь лицо!», «Дай руки!» — она, должно быть, мыла Игоря.

Странно, на расстоянии он всегда думал о ней хорошо. Иногда, где-нибудь в заграничной командировке или просто в другом городе, зайдя в магазин, он привычно смотрел что-то относящееся к ней, искал что-то ей нужное. Очевидно, это было сродни ощущению ампутированной части тела. Забывалось, что данной части уже не существует.

Когда же он приходил и видел ее, то из всех сложнейших элементов соединений, из всех многочисленных химических комбинаций вдруг отчетливо, как на опыте, выкристаллизовывалась одна злость, все другое выпадало в осадок. Ее злость, нерастраченная, долго сдерживаемая и потому особенно сгущенная. И, увы, он подхватывал частенько эту эстафету. Никогда не представлялось, что так будет...

Но сейчас он решил для себя: никаких разговоров, выяснений, ничего, просто с е г о д н я он сделает то, чего не делал еще никогда: заберет сына к себе. Сегодня сын будет у него. День, два, столько, сколько надо. Сегодня ему необходимо быть с сыном. Все услышать, понять, узнать. Если сегодня они будут врозь, то это может оказаться навсегда. Решая это, он знал, сквозь какой обстрел придется идти. Но и отступать было нельзя.

— Игорь, иди сюда.

Игорь, вымытый, с залезанными ранами, как бы похуевший, вошел.

— Игорь, — сказал он, — сегодня ты пойдешь со мной. Нам надо с тобой очень серьезно поговорить. Вдвоем.

Он не так хотел сказать. Получилось стерто, по-учительски серьезно. Он хотел еще что-то добавить, любым способом убеждая мальчика, может быть даже давя на него, разъясняя всю юридическую необходимость ему, отцу, быть в курсе дела. Он приготовил все это, стараясь выстроить перед сыном весь непроходимый частокор доводов. Все, кроме одного. Кроме того, что он сам сегодня, хотя бы сегодня, не может остаться один, без сына.

И что более всего удивило его — едва только он начал говорить, мальчик покорно кивнул. Согласился без всякого сопротивления. И молча ушел из комнаты, видимо одеваться.

Потом был какой-то всплеск, вскрик. Яркий беспощадный свет зажегся в коридоре.

И все-таки мальчик шел с ним. Шел по лестнице, во тьму двора, потом на проспект, в машину.

Она кричала, но отдала. Она поняла, видимо, что это нужно. Она всегда доходила до кипения и вдруг остывала. Слова шрапнелью выстреливали из ее рта, жалили, но не убивали. Выстрелы, в сущности, были холостыми. Да и войны не было... Оскорбленное самолюбие или еще что-то. Он боялся додумывать до конца.

Разве он мог что-нибудь сделать теперь, когда лавина жизни уже стронулась, необратимо понесла?

Ни встать на ноги, ни ускользнуть.

Уже сложились все обстоятельства, соединились, сцепились, а можем ли мы быть сильнее обстоятельств? Да, возможно, конечно. А сильнее выбора? Что делать, когда наступает время выбора?

Вот и подкатила машина с зеленым огоньком. Он

приоткрыл дверь, сел с сыном на заднее сиденье, и поехали будто ни в чем не бывало, как бы два подгулявших ездока: большой и маленький.

## XXI

Ни в Средней Азии, ни в Москве вначале никогда и ни при каких обстоятельствах, кроме самого первого раза, Надя не обмолвилась о своем муже. Однажды в Душанбе она сказала, что ей надо позвонить в Москву, и он провожал ее до переговорного пункта. Заодно и сам заказал разговор с Москвой. И вместе с нею ждал среди хриплых команд, подымающих сонных людей, слепо тыкающихся то в одну, то в другую кабину. Первому Москву дали ему. Вышел из кабины, как из парной, взмокший, с ощущением одновременно душевной смуты и некоторого недолгого успокоения: там все в порядке, мальчик здоров, в школе нормально, дома ждут его. Он присел рядом с Надей. Ее вызвали уже поздно, в начале второго. Разговор ее был на удивление кратким. Она вышла с изменившимся, побледневшим лицом.

— Что-нибудь случилось?

— Да нет, нет...— Она отмахнулась от вопроса, от разговора.

Потом, как всегда, черными улочками в редких огнях провожал ее и впервые, пожалуй, за все эти дни был далек от нее, весь во власти разговора с Москвой, с домом. Прощались нежно, как всегда, но впервые в нежности этой появилась какая-то механичность. Когда он отошел, то увидел, что она стоит, не шелохнувшись. Он вернулся. Она была напряжена, не отвечала. Он знал, предчувствовал такое состояние. Оно вело к неожиданному взрыву, интуитивно он был готов к этому и даже ждал. Впервые хотелось освобождения.

Он участливо спрашивал ее, разговаривал в несвойственной ему умиленной манере, как с больным ребенком. Они сидели на теплом камне, курили, и вдруг подробно, с неприятными для него деталями она рассказала о своем муже.

Ее муж пил, пропадал, погибал. Она вышла за него восемнадцатилетней девочкой. Ее ребенок просуществовал несколько месяцев и умер. Вот с тех пор или позже (он так и не усвоил историю болезни) этот человек стал пить,

потом бросил работу (он был спортивным инструктором). Она укладывала его в больницу, он ненадолго возвращался к жизни, потом снова пил.

Уже потом этот пьяный муж стал безмерно раздражать его, а в тот вечер он жалел ее, жалел, и только. Человек этот не имел плоти, он был далек. И когда она говорила, что «он — мой крест», то он и представлялся Сергею туманным, лишенным всякого веса крестом.

Впрочем, в Москве он тоже почувствовал все возрастающую тяжесть этого креста... Так он и не увидел этого человека. Только иногда, когда звонил, неожиданно нарывался на ломкий, почти мальчишеский голос и, не желая трусливо вешать трубку, унижаться, официальным голосом по имени-отчеству вызывал ее к телефону. Чаще всего он звонил из автоматов, сквозняковых, продутых ветром, с бешено хлопающими железными дверями; и вот он уже ненавидел эти автоматы, себя, вполне трезвый молодой голос, неизменно вежливо зовущий ее к телефону, и все остальное.

Все, кроме нее.

Какой же звериный инстинкт в нас сидит: подобно щенкам, пораненным чужим зверем, подползаем к теплой родительской конуре, скулим и находим облегчение. Так же вот сквозь прутья детского сада или кирпичный забор школьного двора, сквозь все казенные огородки детства в минуту обиды, тревоги тянем мы к ним, родителям, беспомощные руки, и, гораздо более слабые, чем мы, и уставшие и изношенные, они кажутся нам всеильными.

Пока они есть, мы защищены.

Так и тогда (в первую после возвращения из Средней Азии весну) Сергей испытал потребность повидать отца, даже не затем, чтобы спросить его совета, а просто выговориться вслух и до конца, самого себя, ни перед собой, ни перед кем не притворяющегося, услышать и понять до конца. А раз понять — так уж и решить, потому что раз пошел в воду, так нечего болтаться на серединке, клонясь от течения, надо в конце концов переплыть. Так он думал и ждал встречи с отцом, и не как обычно с мелкими, ненужными разговорами во время семейной трапезы, а вдвоем, с глазу на глаз.

Весна, про которую уже забыли и перестали ждать в связи со всеобщей реорганизацией климата, нарушившей

и отодвинувшей все природой узаконенные сроки, вдруг нахлынула, прорвалась, и город поплыл в лужах, щедро, яростно засиял; громкий звук прорвался с неожиданной силой, будто во время киносеанса, где начало шло на шепоте расстроившейся аппаратуры и вдруг динамики загремели в полную свою глотку.

И на этот раз после работы Сергей остался в своем институтском кабинете с необычным сознанием свободы. Домой идти не хотелось, не было нужно, и уже почти не существовало этого самого «домой»; она тоже была при деле — дежурила у себя в редакции, а потом должна была ехать то ли к консультанту очередному, то ли к гипнотизеру, якобы способному утолить недуги мужа, то ли еще куда-то...

Было еще несколько звонков нужных, еще можно было втиснуть в это досрочно образовавшееся окошко свободы какую-нибудь деловую встречу, беседу, но не хотелось, не тянуло, не было сил.

И позвонил отцу. Как всегда, Антонина долго проверяла, прощупывала голосом: что там, почему вдруг днем, потом позвала, и Сергей услышал голос, как всегда по телефону нарочито бодрый. Несколько незначащих фраз: «Как дела, как самочувствие?», незначащих потому, что ответы всегда ничего здесь не выражают, всегда сводятся к одному и тому же школьному: «все нормально», но, пройдя быстро этот заученный классический дебют, он сразу же по телефону обострил:

— Знаешь, отец, хотелось бы мне с тобою поговорить...

Реакция была немедленная и тревожная:

— Что-нибудь случилось?

И тут же, успокаивая, как бы прикладывая вялую, пожелтевшую ватку с примочкой, сказал умиротворенно, с нарочито пренебрежительными интонациями:

— Ничего, нормально, просто по некоторым делам, вопросам хотелось бы посоветоваться. И так, вообще... за жизнь поговорить.

И в ответ неизменно ворчливое (он знал, что именно это и последует):

— Знаешь же, как я не люблю этих современных коверканий нашего языка: «за жизнь» или еще того хуже «в районе пяти часов».

— Этого я не сказал, дорогой мой буквоед.



А про себя подумал: «Дай бог тебе здоровья». А еще подумал: «Верно, бессмысленно разговаривать с ним об этом. Такая уж пропасть за последние годы образовалась. Да и зачем вовлекать старика?»

Но старик охотно принял предложение. И вот они уже договорились, что встретятся у Донского монастыря. Это было место, где они любили когда-то гулять вдвоем.

Уже когда договорились окончательно, отец неожиданно предложил:

— А может, у нас? Что нам ходить, как бездомным? Посидим, пообедаем.

«Нет уж, этими обедами сыт, сыт по горло!» — зло подумал Сергей, а сам сказал с кротостью:

— Нет, хочется погулять. Весна, солнышко, да и тебе не вредно. Хочется вдвоем погулять.

Именно так, вдвоем, а не в квартире, где он почти всегда утишает голос почти до шепота, хотя все равно Антонина все знает, знала и будет знать обо всем и всегда.

Но говорить об этом с отцом бесполезно, всегда рискуешь нарваться на заградительный, защитительный огонь. По сути дела, отец и сам любил в д в о е м, но так давно и так прочно себя уговорил, что во всех случаях о н а ему нужна и обязательна, что и втроем ему всегда хорошо, так уговорил, что в старости и на самом деле поверил.

Ждал он отца на трамвайной остановке, недалеко от старой телестудии.

Нарядные девушки телевидения, блестя горящими на солнце длинными ногами и перепрыгивая лужи, точно школьницы — нарисованные квадраты, бежали к остановке.

Сырой, теплый воздух весны. И, как всю жизнь, — ожидание чего-то, смещение самых разнообразных надежд... Но к этому примешивалось что-то новое; в этом ветреном, солнечном, гулком воздухе катился еле заметный тлеющий дымок, к нему он шел, его выбирал из всех жителей счастливого весеннего города. А впрочем, чушь все это, чепуха, и ты пьешь этот новый, свежий воздух, и, как газировка, он приятно щиплет твоё небо.

Проносились трамваи, девчонки бежали, но вот наконец пришел т о т трамвай, и Сергей шагнул к открывшимся дверцам. Старик осторожно ступил с подножки.

И, как всегда, когда видишь издали, не в малых пространствах квартиры, а в открытом, большом — улицы, отец показался маленьким, как ребенок, и таким же незащитным. Он шел энергично, самостоятельно, не видя сына, цепко скользя по прохожим слабыми дальнорычкими глазами.

— Я здесь, здесь, папа, — сказал Сергей и взял отца под руку.

Он сначала хотел побродить с отцом по Донскому монастырю, он знал здесь каждый камень, каждую плиту, а потом передумал, неожиданно решив, что все эти памятники, плиты хороши для прогулок в молодости.

И они пошли по трамвайной линии вдоль вынырывающих из голых продутых деревьев трамваев с темными разводами сырости на овальных китовых спинах.

— Ну, так что же, отрок мой? О чем ты хочешь мне поведать?

Голос отца был беззаботен, почти легок. Весенняя улица и вправду действовала на него хорошо.

Отец справлялся об Игоре: «давно не звонил, не хватал ли двоек», справлялся о жене: «тоже замолчала и не заходит, а ведь живем в пяти остановках», о работе: «помни, сейчас самое хорошее твое время, спеши, не теряй темпа». Это был излюбленный его лейтмотив, звучащий в разных вариантах: «Спеши, покуда есть куда. Твое время». И действительно, оно было его. Как ни надоедливо звучал этот призыв, а был справедлив. Действительно, когда, как не сейчас. И вдруг с завистью подумал Сергей о себе вчерашнем. О себе еще год назад. Когда никто и ничто не существовало, кроме работы, все реки впадали в работу и в ней растворялись, все маршруты вели именно к этой остановке. Иногда у ближних это вызывало досаду: месяцами он никого не видел и никуда не ходил, после института сидел ночами за машинкой, ненадолго ложился и легко вставал... И вдруг все это ослабло, словно во время парашютного прыжка стропила обвисли и он ощутил тяжесть собственного тела. Парение кончилось, остановилось.

Старое здание, прочный дом его былой жизни, который, казалось, мог выдержать любое землетрясение по самым высоким баллам Рихтера, оказалось на поверку непрочным, в сущности аварийным: посыпалась обшивка, выперли ржавые балки.

И надо было окончательно рушить его, чтобы строить новое. Новое строится на костях. Будь решителен.

Боже мой, как завидовал он легким людям, тем, что «сжигают мосты», но не слышат гари, не оборачиваются на мечущихся где-то там обожженных людей! Он догадывался: то, что зовется решительностью, есть, в сущности, безжалостность, но, видно, она-то и необходима.

Как воришка, он ждал вечера, сумерек, и, когда они наступали, неизвестно откуда, белея платьем, прячась, рискуя неизвестно чем, появлялась женщина. Кто была она? Причина, случайность, жертва. А может, она и появилась в этих сумерках потому, что к этому давно шло, потому, что разлад возник задолго до этого; как хроническая слабо выявленная болезнь, он тлел и вдруг вырос, определился... Так что же в этом случае мешало рвануть этот кусок полуистлевшей материи? Рвал, да не рвалось, так стянуло их крепче железных вервий альпинистской тугой упряжки на крутых горах. А когда нажимал, прикладывал силу, рвал, то с материей этой и что-то другое рвалось: живое, кровное.

Тогда, той весной, ему так казалось. Тогда еще было невозможно... И уже когда натягивал веревку до конца, когда последние волокна осыпались с трухой, когда выносило вдруг на чистый глубинный простор свободы, он видел, как там, на том новом, якобы счастливом берегу, копошится его спутница, нагибается, прячет лицо, не договаривает.

Такая беззаветно смелая, она оказалась еще более, чем он, подверженной жалости, и, поджидая ее то у больниц, то у дверей ее дома, гуляя мимо скамеечек со старухами, как бы незаинтересованно глядя по сторонам, сосредоточенно и точно шпик, нанятый неизвестно кем, он думал о том, где кончается жалость и начинается беспощадность к нему, где возникает вечно удивительное, чему и сам можешь поверить, чему он, например, всю жизнь верил, когда убеждал тех, других, в своей единственной правде; и иногда, в яркости фотовспышки, видел то, чего не полагалось видеть: реальность и плоть скрытого от него не существующего мирка.

Он взрывал этот мирок. Наступали паузы. Телефон не звонил. По-детски он ждал этого звонка. Но телефон вызвякивал другими звонками. Он придумывал, что ку-

да-то она уехала, что кто-то ее увез, возникало ощущение непоправимости происшедшего.

Потом кто-то из них первый брал на себя долю унижения, которое, естественно, было паче гордости. Отчужденно, почти официально назначалась встреча. Потом она происходила. По-идиотски, по-юношески («несолидно», как сказал бы отец), где-то в кафе, в подъездах и в бездомье.

Наутро он видел себя человеком, уставшим от этого всего, решительно взрывающим всю неуклюжую, мешающую жить ситуацию. Он торпедировал ее, но торпеда была не настоящая, как в аттракционе. Она поражала цель, но не взрывалась. Женщина металась, и не только ответственность за пропадающего, погибающего без нее человека, — жалость была тому причиной. Сергей на собственном опыте знал, что это такое, каков этот ромашковый букетик сантиментов, и однажды в ярости он кричал ей бог знает что, оскорбительное, площадное, потому что вспомнил себя, свои метания, двоения, то, как готовился к уходу и уйти не мог, и догадался вдруг простой догадкой: тот ей нужен, необходим, а почему, один бог знает. И чем ближе и необходимее выбор, тем старое сильнее, неотступнее, перегнившие эти нити, казалось, из необыкновенного материала сделаны. Он начинал почти презирать себя, но в минуту успокоения задумывался: а за что презирать-то? Просто он в то время действительно любил эту женщину.

Отец расспрашивал его о заседании научного общества по итогам экспедиции, расспрашивал жадно, заинтересованно, вот это было то, что нужно отцу: его дела, его работа, все другое было лишним, об этом отец не спрашивал, думать не хотел. Сергей вспоминал, что отец вообще никогда не говорил о женщинах; они были данность необсуждаемая, может быть вечная, может быть временная; трудно представить, что на эти темы он мог говорить даже с друзьями; о науке, о работе, вот о чем, и еще о политике, о спорте. Кажется, то поколение вообще не обсуждало личных дел. Может быть, эта черта была одним из элементов, входивших в вещество, называемое ими «мужество». Кто знает?

Рассказывал отцу о заседании. Говорил подробно и обстоятельно, в лицах. Отец любил, чтобы именно так он

говорил о своей работе. Что сказал член совета профессор К., что сказал член ученого совета профессор М., что сказал директор. Сергей говорил развернуто, с мельчайшими деталями, со специальными терминами. Отец именно так любил. Он принадлежал к другому отряду, но, как и они, он был специалистом и потому признавал методику во всем, даже в домашнем изложении недавнего ученого совета. Его, Сергея, дела интересовали его намного больше, чем собственные, возможно, заочно он гордился сыном, его успехами, но сыну не показывал никогда, чаще всего поругивал его, воспитывая. Он был убежден, что всегда надо воспитывать.

И Сергею было стыдно сейчас за внутренний холодок, которого старик не замечал, за то, что рассказывал ему сейчас об ученом совете действительно подробно, добросовестно, но нить сопереживания не натягивалась, как прежде в подобных пересказах, когда, излагая отцу, он переживал все заново, продолжал действие. Иногда, точно в озарении, мог догадаться о чем-то важном для существа, для уточнения ему самому необходимой формулировки и повторял ее отцу, чтобы потом, окончательно поймав и отшлифовав мысль, записать ее.

Сейчас же — он не мог в этом отцу признаться да отец бы и не понял — все это отступило и ушло куда-то на второй план, как бы на консервацию. Жгло и стояло у горла другое. Но говорить было нельзя и не с кем. Вот единственно, может быть, с ним.

— А чем ты озабочен, друг мой? И все, кажется, хорошо, а ты какой-то загнаный. Ты устал, наверное.

— Да, отец, устал, устал я. Научи, отец. Ты многое знаешь, чего я не знаю. Как скажешь, отец, так я и сделаю.

— Да что ж ты там бормочешь, Сергей? — он спрашивает чуть озадаченно.

— Творю молитву, отец.

Отец усмехается:

— Ох, уж и шуточки у этих молодых! — Он все еще считает Сергея молодым. — Да и на самом деле я тебе скажу, — говорит он, — у многих моих учеников вижу я повышенный интерес к религии, и не только аналитически-познавательный, а какой-то совсем другой. Да и все обветшалые доморощенные теориейки полезли в ход. Ты же знаешь, я всегда с уважением относился ко всем

серьезным и оригинальным концепциям идеализма, по это, брат, что-то другое. Это кустарщина, брат, именно кустарщина. Это не идеализм, а доморощенная мистика, без научных основ, самодеятельность.

— Но это же лучше журнала «Безбожник», в котором когда-то ты работал, лучше примитивного пропагандистского атеизма.

— Шла борьба — кто кого.

— Борьба кончилась. А вульгарное разоблачительство идеалистических концепций сохранилось. Аргументами надо разоблачать несостоятельность теорий, а не бранью.

Еще говорили об этом, спорили, вспоминали, как с отцом были на пасху в Филиппьевской церкви.

— Зачем пошел, ты же атеист, — по-мальчишески на-скакивал Сергей. — Сам меня первый и повел.

— Хотел тебе показать этот мир. В этом мире свой смысл, его нельзя обойти, его знать надо. Вот я и повел тебя... Ты ведь тогда же мальчишка был.

— Да, в десятом классе...

Сергей вспомнил открытую дверь, толпу, запах воска, ладана, внезапную волну по толпе, ожидание, спертый воздух, движение вдруг, голоса, что-то золоченое, светящееся — из тьмы, и тонкий крик чей-то, и рука потянулась, сложились пальцы в перст, мучительно хотелось помолиться со всеми, но отец стоял рядом, а он был партиец, безбожник, впрочем, может, и он хотел, кто знает. Каждому человеку иногда хочется, даже убежденному атеисту... Иногда хочется, может, раз, другой в жизни.

— Вот, отец, — сказал Сергей, — обсудили мы с тобой конференцию, поговорили о религии, но я хотел встретиться с тобой по другому поводу.

— По какому же? — Лицо отца стало озабоченным.

— По более простому, обычному.

На лице отца была все та же хмурая озабоченность и некоторое нетерпение: «ну не тяни же». Казалось, ему жаль, что утеряти нить другого, интересного для него разговора.

«А действительно, по какому поводу?»

Выражение озабоченности сгущалось, и Сергей уже вообще жалел о том, что начал тот разговор.

И в последний момент, пожалев старика, он придумал другой повод. Повод был чисто деловой, научный, он

нуждался в совете, и этот совет с готовностью был дан ему.

Участие в профессиональных делах сына никогда не отягощало старика. Наоборот, приносило ему удовольствие.

Давно уже, казалось, был тот весенний день, прогулка их с отцом, долгий, так и не начатый разговор.

## XXII

В такси Игорь, пригревшись, задремал. Он чувствовал сквозь дрему движение, быстрое и тревожное, успокаивающий запах бензина, рядом теплое плечо отца. Снилось с перерывами: поле, узенькая речка Клязьма, отец, мать идут по-над берегом. Собака забегают вперед, скрывается в тумане, возвращается назад. Это их старая собака Шалый, ее потом, через несколько лет, расплющит в переулке грузовая машина, а сейчас она бежит, помахивает хвостом, лает часто, звонко, точно вызывает кого-то оттуда, из тумана. И во сне он беспокоился о своей собаке, боялся, что там, в тумане, где пасется стадо, она может наткнуться на широколапую, с квадратной мрачной мордой псину пастуха. Не задрался бы к ней Шалый, не трепанул бы его этот угрюмый кряжистый волкодав.

Но все спокойно и тихо. Вот уже вырисовывается церковка впереди, на горке, а внизу — церковное кладбище. Туда маленьким он часто приходил один, пугаясь черных прутьев оград, тусклых, проржавевших портретов и, наоборот, ярких эмалевых, будто с переводных картинок. Отходил и возвращался к низким оградкам как зачарованный, читал фамилии, имена, незнакомые лица смотрели на него. Он знал, что и ему... когда-нибудь... что так положено людям, но это в теории, это вообще, а с ним — никогда. Затаив дыхание, ходил по узеньким кладбищенским проулкам, читал изредка попадавшиеся строки непонятных ему стихов. А сейчас он с отцом и матерью, и вдали та церковь, и подошвами чувствует он теплую, угретую за день землю, церковные луковицы то взблеснут, то тонут в молочном киселе, и навстречу ему бежит вприпрыжку молодой, развеселый их песик, действительно, точно Шалый.

Вот такой приятный сон снился ему. Потом на миг, во сне же, он вспомнил: ведь случилось, случилось что-то

плохое. Приоткрыл глаза — тьма, куда-то идет машина, и снова вернулся в сон, и так не хотелось, чтобы он прерывался. А он прервался действительно. И цветная картинка стала ржавой, и пес мертво застыл, и что-то стало надвигаться, тяжелое, огромное: надо крикнуть, позвать, а голоса нет.

Тогда с усилием разодрал глаза, увидел мелькающие темные улицы, услышал запах табака (это отец курил), нечистой теплой обивки сидений.

И вспомнил: ведь едем к отцу. А то — что было?

Какие-то ровные незнакомые белые улицы, вернее серые, геометрически расположенные башни, и кажется, что Москва уже кончилась. И это пригород. Отец направляет водителя: «Сюда, направо, налево».

Здесь, в этом незнакомом районе, живет отец. Странно, Игорь никогда не думал, как выглядит дом отца. Будто и не существовало этого дома, будто отец жил просто так, где-то в неизвестном пространстве: в точке «А», выражаясь языком геометрии.

Большой белый дом стоял рядом с такими же. Двора здесь не было, хотя лысый, с просвечивающей землей газончик как бы соединял уткнувшиеся в полутемное низкое небо торчком спичечными коробками стоящие дома.

Отец расплатился с таксистом, взял Игоря за плечи, вывел из машины, как больного. Начинало светлеть, и смутно забелела эстакада вдаль, на нее взлетали машины с тускло блестящими в предрассветном молоке фарами.

Подъезд был заперт. Отец долго открывал его своим ключом, неуверенно, будто впервые. Неожиданно из-за угла вышла высокая молодая женщина, закутанная в плащ, зябко сжавшаяся; по волосам и ногам Игорь определил, что она молодая; она стояла так, что лица ее он не разглядел. Игорь подумал: «Может, не к нам, просто ключа у нее нет», но лицо отца переменилось вдруг, он поджал губы, обозначились, заходили мускулы щек. Такое лицо у отца было, когда он не х о т е л. Она смотрела на них, точнее на Игоря, не отрываясь, с каким-то, как ему показалось, странным интересом, может быть любопытством.

Глаза ее быстро подавили первое, мгновенное: страх, удивление. Наконец она отвела их, уткнула рот в косынку, сползавшую с головы на шею.



— Ты что? Откуда ты? — спросил отец.

— Я с восьми здесь. Я чувствовала, что-то случилось.

— Ничего не случилось, — сказал отец.

Игорь понял: для отца это неожиданно, он растерян и от этого насуплен и кажется злым.

— Может, мне уйти? — торопливо говорила женщина. — Слава богу, все в порядке... Я уж тут бог знает что передумала, — говорила она быстро, как бы чуть подсмеиваясь над собой. — Да, я, пожалуй, пойду. Жаль, такси отпустили.

— Куда же ты сейчас, — сказал отец. — Поднимемся.

— Да, можно, конечно, подняться, — сказала женщина.

Лифт не работал, и они бесконечно долго поднимались на двенадцатый этаж. Гуськом: впереди отец, за ним Игорь, потом женщина.

Их шаги в глубочайшей, ничем не потревоженной тишине звучали звонко, дробно; казалось, они разбудят весь дом, но дом спал крепко, никому не было дела до их восхождения.

Уже ни у кого не было сил, но никто не сделал и мгновенной паузы передохнуть, да и разговаривать, видно, никому не хотелось. Наконец отец остановился, и они остановились, загремели ключи.

...Множество чужих звуков, громко отраженных пустотой квартиры, этого двадцатиметрового полуобставленного загончика, каждое утро роились, вспыхивали в голове, кромсая вяло загасавший сон. Позывные последних известий, и дробь над головой (видимо, ходили в деревянных башмаках), и хлопанье дверей, и руготня (ругали соседского мальчика, идущего в школу), и ввинчивающийся в мозг нарастающий вой дрели (это новоселы всё улучшали и улучшали свое жилище).

Все это врывалось в сон, кромсало его на куски, как живое сопротивляющееся тело. Сергей вспомнил давние свои детские пробуждения, повторяющийся неумелый звук гаммы вспыхивал над головой.

Этот новый дом был скорее площадкой, куда он приземлялся после дневных полетов, деловых мотаний по городу. Потом он привык к этому жилищу, даже благословил его. Это был его угол, его территория. Впервые

в жизни он жил вот так, один. Когда-то в юности, до женитьбы, мечтал о таком жилище, не знал, что придет это много позже и некстати. Ему недолго казалось, что эта площадка действительно станет домом и что именно здесь он и его женщина обретут покой и что-то еще... Некий смысл общего существования.

Но кончилось другим. Именно эта площадка стала ареной, здесь грохотали лифты, вверх — к нему, потом — назад.

Мальчик медленно раздевался. Рядом с диваном стояла раскладушка, он лег на нее, она заскрипела мягко, развинченно, материя прогнулась, как гамак. Подошел отец, взял на руки и, как маленького, переложил на диван.

— А ты где? — спросонья шептал Игорь, но ответа уже не слышал.

Он заснул ненадолго, потом тревожно проснулся, слушал голоса в кухне, часто слышалось женское «пойми», а что «пойми», к чему это относилось, он не знал, да ему и не хотелось прислушиваться. Странно, что его не волновало сейчас присутствие этой женщины, голова у него была темная, тяжелая, как бы разбухшая, и только что-то маленькое в ней светлело, какое-то неясное сознание и память о Даше. «Я ведь могу ее увидеть завтра. Да, увижу. Ведь ничего такого не случилось, чтобы мне ее не увидеть».

То далеко, то близко звучал глухой голос отца и голос женщины. Игорь хотел перелезть с дивана на раскладушку, подумал, что отцу тут будет неудобно, она узкая, но как бы на пути он остановился и заснул. Он не знал, сколько он спит, долго или мало. Только услышал какой-то стук, шум дверей. Он встрепенулся, сел, опустив босые ноги на пол. Линолеум неприятно холодил, и ноги прилипали к нему. В квартире стало безжизненно и тихо. Он встал, вышел из комнаты. В кухне горел свет, но людей не было. Стояли две чашки с недопитым чаем. Было странно и неприятно, будто он в чужом доме, а хозяева вышли. «А какие хозяева, ведь отец только». Странно, что это квартира отца, он представлял ее совсем другой. Он погасил свет и вернулся в комнату, лег, не закрывая глаз. Ему не нравился этот ненасыщающий, все время прерывающийся сон в незнакомом доме. Но раз-

глядывать квартиру ему не хотелось. Он с удовольствием бы ушел отсюда.

«Но нельзя,— подумал он,— отец придет, а в квартире пусто. Хватит с них сегодня». Он снова стал думать о Даше, потом встал, подошел к окну. Уже было светло, все дома словно выкатились из тьмы, из тумана, приблизились, стала видна мокрая глинистая земля между ними и неподвижный каток со свежеею лужицей черного, как вар, асфальта.

С высоты он увидел человека. Он узнал его по первому же движению. Это был его отец. Вот он торопливо пробежал одну дорожку, вышел на другую, вот на секунду поднял лицо, но тут же опустил, еще шаг, и его уже не видно. Игорь представил, как он один подымается по лестнице, спешит, тяжело дышит.

Отец впервые показался ему старым. Он вышел в коридорчик, отщелкнул незнакомый замок, открыл дверь. Потом он зажег свет в коридорчике. Там, дома, когда-то он тоже встречал отца и с четвертого этажа следил за тем, как отец выходит из институтской машины и идет по двору, слепо смотрит мимо окна.

Отец вошел в открытые двери, лицо у него было серое и беспокойное. Он увидел Игоря в коридоре, в трусах и босиком.

— Холодно, чего ты тут стоишь,— ворчливо сказал отец.

Игорь стоял и не уходил. Отец снял пиджак, расстегнул рубашку. Игорь стоял и слышал запах отца. Этот запах он вроде бы забыл.

Потом они оба пошли на кухню. Отец разогревал чай и что-то говорил, все так же ворчливо, о школе, об оценках и еще о чем-то.

Игорь заснул тут же, не дождавшись чая, без снов, просто провалился в теплую влажную темноту.

Он не помнил и не знал, как очутился на диване и как возится отец, убирает стаканы, идет в ванную, потому что уже пора мыться, бриться, приводить себя в порядок, начинать рабочий день. Невыключенный репродуктор уже мелодично вбивал в тишину позывные известий, но отец выключил радио, чтобы не разбудить сына.

# Рассказы

---



# Станция первой любви

---



Улицы дачных поселков почему-то всегда носят громкие названия. В то лето мы жили на улице Парижской коммуны. Она была узенькая, горбатая. На ее тусклой, затоптанной траве паслись козы Роза и Люба. Щуплые, с грязно-серой шерстью, они не умели бодаться и панически боялись велосипедов.

Целыми днями я играл с ребятами в футбол. А когда камера от заплатанного ветхого нашего мяча лопалась, сразу становилось скучно. От нечего делать я шел на станцию смотреть на проходящие поезда. Паровозы начинали кричать всегда неожиданно, и я открывал рот, чтобы не пострадали барабанные перепонки. Этому меня научил Гришка.

Гришка жил здесь всегда. Здесь же он и учился. Отец его погиб на фронте, а мать работала кассиршей на станции. Мы все время проводили вместе. Иногда, правда, Гришка подрабатывал: мастерил на участках столы, скамейки. Он хорошо знал эти края. Мы ходили с ним далеко в лес, где был заросший прудик с ржавой неподвижной водой, на которой лежали сверкающие золотистые головки кувшинок.

Кроме того, Гришка открыл и другое замечательное место — недостроенный дом.

В нем было прохладно, сумрачно, а бревна потемнели и пахли лесом во время дождя. Вокруг стояли сосны,

и дачный поселок казался очень далеким от этого дома. Мы шепотом рассказывали друг другу разные истории, и я под руководством опытного Гришки учился курить. Этот дом был нашей тайной. Я таскал у отца папиросы, а Гришка приносил жмых, который мы дружно грызли.

Так проходило лето, и незаметно трава на нашей улице порыжела, а в канавках у заборов дач скопилось много мокрых, измятых листьев. Их меланхолично пожевывали козы Роза и Люба.

Дело шло к первому сентября, к учебнику Шапошникова по алгебре и к геометрии Киселева, к финальному матчу на кубок по футболу — словом, к Москве. Но пока еще была дача, каникулы, и мы не теряли времени даром.

Однажды мы играли в футбол на нашей улочке. Напротив нашей дачи стоял дом с высоким, желто, солнечно блестящим краской забором.

От сильного удара мяч перелетел через забор. Мы посоветовались и решили переступить запретный порог. Гришка подтянулся на руках, его складное, небольшое тело напряглось, мелькнули загорелые пыльные ноги, и уже с той стороны послышался звук пружинящего прыжка. В этот самый момент лязгнули засовы, калитка отворилась, и на улицу вышла девочка. В руках она держала наш мяч. Девочку эту я видел в первый раз. У нее был совершенно не дачный вид — будто она только что вернулась из школы. На черном фартуке сверкал новенький комсомольский значок. Лицо ее не загорело. Мы с гордостью почувствовали себя почти неграми в сравнении с ней. Она подошла к нам и сказала очень непринужденно:

— Здравствуйте. Меня зовут Инна. Вот ваш мяч. Если можно, примите меня... А то я совсем одна.

Мы ничего не успели ей ответить, когда увидели над забором печальную физиономию Гришки.

— Капут мячику, — сказал он и только после этого оглянулся, увидел Инну и покраснел. — Извините, — вяло пробубнил он.

— Да ничего особенного. Вы молодец, что перелезли через такой забор. Мне через него не перелезть, — с уважением сказала Инна.

Но это не подействовало на Гришку. Он был по-прежнему мрачен.

Мы стали играть в волейбол. Мы очень старались

перед Инной: делали невероятные прыжки, гасили все мячи подряд. Поэтому игра у нас не получалась. Первой это почувствовала Инна. Она сказала:

— Ну ладно, мальчики, спасибо за компанию. Я пойду.

Но, видимо, ей было действительно невесело там, в пустом просторном доме, и она ушла от нас не сразу.

Я спросил ее, почему она приехала на дачу так поздно. Она ответила, что весной болела, и поэтому экзамены за семь классов держала сейчас. Вчера она сдала литературу и получила пятерку. Я сказал ей, что тоже всегда имею по литературе пятерку, потому что это мой любимый предмет.

Гришка исподлобья глядел на меня. Ему нечем было похвалиться. По литературе письменной он получал только двойки и тройки. Вообще во время этого разговора я не узнавал его. Он все время молчал.

На следующий день рано утром Гришка не зашел за мной, и я, выскочив на улицу, стал один гонять мяч. Я делал это нарочно очень шумно, чтобы Инна услышала и вышла.

Но калитка была заперта, забор строго отделял участок от всего остального мира, и казалось, что за этим забором вовсе никого нет, что вообще вчерашнее мне только почудилось и девочка в черном фартуке больше никогда не выйдет на нашу пыльную улицу. Мне как-то сразу стало скучно и не захотелось больше играть в футбол с самим собой.

Даже наш недостроенный дом, и Гришка, и тайное курение — все это сразу потускнело, потеряло привлекательность и смысл. Мне вдруг захотелось домой, в Москву.

Я сел на землю, положил около себя футбольный мяч и стал думать о Москве. Но вдруг калитка открылась. Я почувствовал, что мной овладевает волнение, какое бывает перед экзаменом, — какой-то холодок в животе. Я вскочил и увидел Инну. При этом я сделал вид, что вовсе ее не ждал.

— Я тут тренируюсь в футбол, — сказал я. — Я стою вратарем за сборную школы. У нас скоро матч с двести восемнадцатой. И мне нужно войти в форму.

Почему я это сказал, сам не знаю. Мне очень хотелось, чтобы она подумала, что я хороший спортсмен. На самом



же деле я никогда не стоял за сборную школы, хотя это было моей давнишней мечтой.

— Вы можете прийти к нам на матч. У нас свой стадион, который мы построили.

Я мысленно увидел ее, сидящую на деревянной трибуне нашего школьного стадиона. Она в белой пуховой шапочке и сером пальто (почему-то она представилась мне именно так). Она внимательно следит за игрой. Она бледнеет, когда мяч подкатывается к моим воротам. Вот наперерез мне мчится Комаров — это лучший футболист 218-й школы, у него третий разряд. Он один на один с вратарем. Сейчас он будет бить. Вратарь — это я... Ворота спасены... Ликование на трибунах... А я, поддерживаемый двумя защитниками, покидаю поле. Меня подбили. И она встает со своего места, бежит через все поле ко мне, несмотря на крики игроков и свист судьи. Мне стало очень жаль себя.

— Ладно, я, может быть, приду на ваш футбол, — сказала Инна. — Если будет время. Знаете, впереди восьмой класс.

Да, восьмой класс. Я уважительно покачал головой.

— У вас есть что-нибудь почитать? — спросил я.

— Я привезла Тургенева, — сказала она. — Мы в этом году будем его проходить.

Тут я почувствовал на минуту свое превосходство. Я всегда презирал рекомендательные списки и никогда не читал то, что задано. Я читал больше. Но я не выдал своего превосходства.

Я спросил у нее:

— Вы мне дадите Тургенева?

— Приходите ко мне вечером, — сказала она. — Я что-нибудь выберу.

Я ликовал. Мне захотелось тут же чем-то отблагодарить Инну за ее приглашение. Но я не знал, чем ее можно отблагодарить. Я сказал:

— Инна, хотите, я открою вам одну тайну?

Инна несколько смутилась. Я предложил ей следовать за собой. Я привел ее к недостроенному дому. Здесь было, как всегда, тихо, пустынно, сумрачно, и Инна с непривычки, по-моему, немного испугалась. Я показал ей склад папирос, провизии, рассказал о том, что мы здесь собираемся, и, конечно, рассказал о Гришке.

— Это тот, который к нам залез за мячом?

— Да, это он. Он замечательный парень, очень смелый и сильный.

— Это здорово, что ты хвалишь товарища, — сказала Инна. — У нас девчонки редко говорят про подругу хорошо. Вообще с мальчишками лучше дружить, как-то надежнее.

Я с радостью отметил про себя, что Инна обратилась ко мне на «ты». Я даже растрогался от этой тишины, от тяжелого колыхания сосен, от запаха сырого струганого дерева, который я так люблю, от тихого голоса Инны. Мне захотелось ей сказать, что хорошо бы нам с ней стать друзьями. Но я постеснялся.

Я промолчал, хотя мне хотелось ей что-то сказать. Что, я даже сам не знал. Я тут же представил себе, что мы с Инной окружены врагами. Все наши уже погибли, погиб Гришка, погибли другие ребята, только мы с Инной остались в живых. У меня несколько последних патронов, а вокруг нашего дома не тихие сосны, а враги, вооруженные до зубов. И я защищаю Инну до последней капли крови. Я отстреливаюсь из пистолета, а одна рука у меня перевязана потемневшим от крови платком. Когда я все это представил себе, мне стало даже жарко от восторга и вдохновения. Я вскочил с места.

— Что с тобой? — Инна с изумлением смотрела на меня.

А вместо коварных и трусливых врагов сверху, с дерева, прямо на стенку дома прыгнул Гришка.

Мне сразу стало не по себе. Все мои видения исчезли, и я подумал о том, что поступил не очень-то по-товарищески. Я разболтал малознакомой девчонке нашу тайну и сделал это без ведома Гришки.

Гришка соскочил со стены на землю и молча остановился. Он достал из кармана тоненькую папироску и, покрутив ее в руках, закурил. На нем была кепка-малокозырка, надетая задом наперед. Грудь его обтягивала тельняшка. Он был во всем своем блеске, во всем великолении. Он стоял, широко расставив босые ноги в широченных штанинах, из дыр выглядывали загорелые и грязные колени. Он курил и молча смотрел мне в глаза. Он, наверное, очень презирал меня в эти минуты. Он презирал меня за то, что я привел эту девчонку сюда, в наше мальчишечье суровое логово, за то, что я так быстро и легко нашел с ней общий язык, за то, что я мог

разговаривать с ней о книгах, за то, что я ходил в коротких, тщательно выглаженных штанах, в каких ходят мальчишки из интеллигентных семейств, когда им тринадцать лет. Он презирал меня, и я с мучительной остротой чувствовал его презрение. А мне так хотелось искупить свою вину перед Гришкой!

Мне хотелось ему объяснить, что я это сделал без злого умысла, что я хочу, чтобы мы дружили втроем, я, Гриша и Инна, что я преклоняюсь перед Гришей, что я мечтал бы быть таким, как он, но все равно у меня это не получится.

— Вы что насупились, мальчишки? Может быть, мне уйти домой?

— Нет,— сказал Гришка.— Все в порядке.

— Ну, тогда пойдёмте отсюда. Куда-нибудь, где интересно.

И мы втроем пошли к пруду. Всю дорогу я молчал. Я не говорил теперь о книгах. Я знал, что в этом Гришка слаб. Я предоставил ему инициативу. Я хотел, чтоб он проявил себя перед ней. Но он себя никак не проявлял.

— Вы знаете, Гриша, ваш товарищ так много мне говорил о вас,— сказала Инна.

— Спасибо ему,— буркнул Гришка.

И вот тут я на Гришку обиделся. В конце концов, чего он бесится? Что я ему сделал? Нам всем троем стало как-то неловко. Под ногами хрустели по-осеннему неживые листья, голые ветки царапали, преграждали путь. Лес стал совсем новым, в нем было меньше глубоких теней и пронзительного света, меньше маленьких тайн. Это был другой, осенний лес — тихий, голый, неяркий. Гришка шел впереди, раздвигая ветки, ныряя в кусты: он прокладывал дорогу. Инна шла за мной, и несколько раз, когда мы попадали в густой высокий кустарник, она протягивала мне руку. Я очень осторожно держал ее узкую теплую ладонь, и мне хотелось, чтобы кустарник был еще гуще. Но, как назло, кустарник кончился, и мы вышли к пруду.

— Сколько кувшинок! — сказала Инна.— Какие замечательные кувшинки!

И прежде чем я успел что-нибудь сообразить, Гришка молниеносно разделся и с отвесного берега кинулся в неподвижную воду с зелеными плавучими пятнами и ярко-желтыми кувшинками.

— Что вы делаете! Она же холодная, она же грязная! Здесь же не купаются! — с испугом и восхищением крикнула Инна.

Звук ее голоса придал мне сил. «Сейчас или никогда», — решил я. Чувствуя мгновенный горячий восторг, трепет и отчаяние, я разделся. Затем я подбежал к тому месту, откуда нырял Гришка, и животом тяжело плюхнулся в воду. Я не умел ни плавать, ни тем более нырять. Я летел вниз с ощущением упоения и острого страха. Я был готов в эту минуту умереть для нее, но все-таки мне хотелось остаться в живых. Мне было жалко себя и своих родителей. Я захлебнулся. Вода обожгла меня.

Я стал кашлять, и мне захотелось кричать. Но я молчал. Потом я почувствовал, что могу стать на дно: к моему величайшему счастью, пруд был неглубок. И вот тут я испытал двойное ликование. Двойное оттого, что я совершил героический поступок, и оттого, что, наверное, не утону. Впрочем, на дне могли оказаться ямы. Но главное, что Инна-то не знает, глубоко в пруду или нет. Я отталкивался ногами от земли и руками делал движения заправского пловца. Получалось, что я плыл брассом. Меня беспокоило только одно: Гришка знал, что я не умею плавать. Он мог выдать меня и навсегда опозорить перед Инной. Но он не обращал на меня внимания. Он плыл и рвал для нее кувшинки. Я тоже стал рвать кувшинки.

Потом Гришка вылез на берег. За ним выкарабкался и я. Он иронически оглядел меня с головы до ног.

«Сейчас выдаст!» — с замиранием сердца подумал я.

Но Гришка промолчал. И я простил ему все. Я простил ему его презрительный тон, его холодность по отношению ко мне. Я еще раз подумал о том, какой он прекрасный, великодушный человек. А ведь я на его месте, пожалуй, не удержался бы... И когда я вспомнил, как плыл ногами по земле, как притворялся, мне вдруг стало так стыдно, что даже горло пересохло. Да, конечно, я достоин презрения!

А Инна ходила около нас, смотрела на нас с благодарностью и удивлением, нюхала кувшинки, пахнущие болотом, и повторяла:

— Как же это вы, мальчишки! Что я с вами буду делать? Ведь вы же заболаете воспалением легких. Ведь конец августа.

Она уважала нас одинаково, она объединяла нас в одно целое.

Потом мы возвращались домой. Гришка повеселел. Он сделал из стеблей кувшинок три свистульки и роздал нам. Он учил нас свистеть. Сам он свистел великолепно, с переливами, то оглушающе звонко, то задумчиво и нежно, точно вздыхая.

— У тебя хороший слух,— сказала Инна.— Ты, наверное, умеешь петь,— добавила она.

— Да нет, я просто так, балуюсь,— ответил Гришка.— У меня таких свистулек много: из березовой коры, из кувшинок, из камыша. Разные есть: одни с высоким голосом, другие басят... Разные.

— Ну, мальчики, давайте споем. В лесу здорово, наверное, поется,— предложила Инна.

Да, действительно, в лесу пелось здорово. Только тем, кто имеет слух. А у меня не было даже намека на слух. Они пели, а я чувствовал себя посторонним. Они пели песню о Москве:

Нас улица шумом встречала,  
Звенела бульваров листва...

Лес охотно принимал их песню, приветливо отвечал эхом, уносил их голоса в звонкую глубину. И я думал о том, как плохо чего-нибудь не уметь, когда это умеют другие.

Потом мы вышли из лесу на пыльные улочки поселка.

Кончилась песня, шорох ветвей, лесная тишина. Поселок показался особенно будничным и надоевшим.

— Приходите, мальчики, к нам в гости вечером,— сказала Инна.

— С удовольствием,— ответил я.

— Ладно... зайду,— подумав, согласился Гришка.

Вечером в очень торжественном настроении я отправился в гости. Инна встретила меня. Я прошел в глубь участка и увидел Гришку. Я был очень удивлен тем, что Гришка пришел раньше, чем я. Он забрался на крышу беседки и делал что-то в темноте.

— У нас испортилась проводка,— сказала Инна.— Хотели уже идти на станцию за электромонтером. Но вот Гришка решил попробовать.

Я подошел к беседке с деловым видом. Я начал помогать Гришке советами: ведь в школе мы уже про-

ходили электричество. Но мои советы Гришке не понадобились. Через несколько минут свет загорелся. Гришка срыгнул с крыши беседки.

К нему подошла Иннина мама и стала его благодарить, но Гришка смущенно пробормотал:

— Да ерунда! Я всем тут чиню проводку. Это дело пустяковое.

Потом мать Инны пригласила нас пить чай на веранде. Мы долго и скучно пили чай. Гришка сахару себе не положил. Он, видимо, считал, что это неудобно. И я мысленно представил себе, как ему горько и противно пить несладкий чай. Я потихоньку подсунул ему кусок сахару, но он отвел мою руку. Обычно Гришка ел смачно, чавкая, наслаждаясь едой. А здесь он втягивал чай маленькими бесшумными глотками.

Беседу с матерью Инны вел в основном я. Она задала мне несколько обычных вопросов. В каком классе учусь, где работают мои родители, первый ли год мы снимаем здесь дачу? Я обстоятельно ответил ей на все вопросы. Потом мы зашли в комнату Инны. Комната была очень маленькая. Я не заметил обычных девчачьих безделушек, только к абажуру была подвешена маленькая коричневая обезьянка с ленточкой.

— Это Манька, — сказала Инна. — Это чудесная обезьянка. Такая смешная.

Инна говорила о своей Маньке, как о живой.

— Моя Манька приносит счастье. Я ее всегда беру на экзамены. Когда Манька со мной, — значит, пятерка.

— А без Маньки пара? — неожиданно спросил Гришка.

— Нет, почему ж, — улыбнулась Инна. — Без Маньки тоже не пропаду. Но с Манькой все-таки лучше.

— Надо будет и мне Маньку завести, — сказал Гришка. — А то по русскому всегда сыплюсь на экзаменах.

— Да что ты? — с внезапным участием спросила Инна. — Такой предмет. Если тебе нужна помощь, я тебе всегда помогу. Ты только позвони.

— А, все равно. Ничего у меня не выходит. Хочу в фезеуху поступить. Там, по крайней мере, руками работаешь, а не языком.

— Человек должен преодолевать трудности, — строго сказала Инна. — Тебе нужно заниматься. А то — фезеуха! Что это за фезеуха такая?

— Школа фабрично-заводского обучения, — ответил Гришка. — ФЗО. А потом, как же вы мне поможете, если вы в Москве, а я здесь? (Он почему-то до сих пор называл Инну на «вы».)

— Ах да, — протянула она разочарованно. Но потом, точно что-то важное обдумав и решив, добавила: — Но ведь, в конце концов, можно сесть в электричку и приехать. Ты ведь уже самостоятельный. Конечно, ведь это нетрудно для тебя.

В этой ее фразе было признание Гришкиной взрослости, самостоятельности, умелости. Вот что значит исправить электричество! И я почувствовал некоторую досаду.

В конце концов, я тоже взрослый. Я ненамного моложе Гришки. Да и разве дело в возрасте? Надо ей доказать свою самостоятельность. Но пока что я решил перевести разговор на другую тему. Я увидел на ее столике «Вешние воды» Тургенева, книгу, которую я очень любил.

— Ты читаешь «Вешние воды»? — спросил я.

— Да. Мне очень нравится.

— И мне нравится. Это одна из моих любимых книг. А тебе, Гришка, она нравится? (Это была маленькая месть. Я-то был уверен, что Гришка не читал ее.)

— Нет, мне не нравится, — сердито сказал Гришка.

— Почему? — еще более сердито спросил его я. — Почему тебе не нравится?

Гришка сначала покраснел. Затем быстрым и твердым взглядом оглядел меня и сказал нарочито громко:

— Потому что я ее не читал.

Да, Гришка все-таки молодец! Он хотел соврать при Инне. Да что ему стоило соврать? Кто бы стал проверять его? Но он все-таки нашел в себе силы сказать правду.

— Чудак ты, — растроганно сказал я. — Замечательная ведь книга.

Гришка ничего не ответил. А Инна внимательно посмотрела на Гришку, потом на меня.

— Хочешь, я прочту тебе кусочек? — сказал я.

— Не надо читать в комнате. Эту книгу надо читать там, в саду, на участке.

Мы вышли на участок, сели на скамейку. Я листал книгу, выискивая свои самые любимые места. Уже строчки эпиграфа:

Веселые годы,  
Счастливые дни —  
Как вешние воды,  
Промчались они! —

гипнотизировали меня необъяснимой своей грустью. Я сразу представлял себе старика, лохматого, с набухшими под глазами мешочками, перебирающего пожелтевшие хрустящие листы старых писем. Этот зрительный образ навсегда слился к тому же с популярной у нас на даче песней Шульженко «В запыленной связке старых писем».

Это был довольно странный сплав — Тургенев и Шульженко. Но, во всяком случае, каждый раз, когда я читал эти строки, едкий и в то же время неизъяснимо приятный комок сладкой печали подкатывался к моему горлу. А тем более сейчас, когда на меня внимательно смотрели продолговатые, блестящие глаза Инны. Я чувствовал, что вот-вот мой мужественный голос дрогнет, а из глаз польются слезы. Но я все-таки овладел собой и читал неестественным горловым голосом.

Странная вещь! Джемма удивительно походила на Инну. Как и у Инны, у нее был «ровный и матовый цвет лица», как и у Инны, у нее были серые глаза, «великолепные, торжествующие».

И я понял, что она и есть Джемма, настоящая Джемма, которую я давно знал и которую первый раз в жизни увидел.

А кем был я? Этого я еще не решил. Это было неважно. Может быть, я был Саниным... Нет, пожалуй, я был слишком молод для него. Мне не хотелось в те минуты думать о своем месте в «Вешних водах»; я думал только о ней. И я не смог удержаться. Холодея от сознания чего-то недозволенного, от внезапно нахлынувшего счастья, запинаясь, я сказал:

— Знаешь, кто ты?

— Нет, — ответила она тихо.

— Ты Джемма! — Я сказал это, и желание необыкновенного поступка, не такого, как сегодня утром, а настоящего, прекрасного, чтобы погибнуть во имя ее, овладело мной!

Но я не успел совершить свой героический поступок.

Гришка, забытый мною, сидел не дыша, напряженными, сухими глазами глядя то на меня, то на нее. Он



перехватывал каждое, еле уловимое движение ее глаз в мою сторону. Потом он молча рванулся с места, сгоряча, сослепу не нашел калитки и прыгнул на забор.

Фигура его метнулась над зубчатой гранью забора, треснула материя — то рвалась Гришкина новая рубашка, — резко и как-то беспомощно взмахнули его сильные руки — и он исчез.

Дачный сезон кончился.

На узеньких, заросших улочках появились глубокие шрамы от колес грузовиков. Все разъезжались. Дачи забивали. Внезапно ослепшим, заколоченным окнам уже не грозил шальной удар футбольного мяча. Каникулы прошли.

В эти дни я праздновал день своего рождения. Мне подарили часы. Узенькие немецкие часики. Их прочность никто не обеспечивал. Они были негарантийные. И поэтому я со страхом и удивлением прислушивался к их тихому младенческому голосу, который, как мне показалось, звучал из последних сил и вот-вот должен был прерваться. Но он не прерывался, и я был горд за этот хрупкий организм, который все-таки работал, несмотря на кажущуюся непрочность.

Мать Инны уехала с дачи, а сама она задержалась на день, специально, чтобы прийти на день моего рождения. В тот же вечер она должна была уехать в город.

Инна пришла ко мне в светло-сером костюме, который плотно облегал ее фигуру. От нее слабо пахло духами, волосы были уложены короной, и мне она казалась очень взрослой, очень независимой и немного чужой, как в день нашего знакомства.

В первый момент, когда она пришла, мне стало даже неловко называть ее на «ты», и я старался обходиться без местоимений. Она протянула мне какой-то сверток. Я поблагодарил ее и сделал вид, что меня вовсе не интересует содержимое свертка. В серую зернистую оберточную бумагу было завернуто что-то плоское. Это могла быть либо книга, либо коробка конфет. «Только бы не конфеты, — думал я. — Ведь на коробке конфет не делают надписей».

Я на минуточку убежал, торопливо сорвал бумагу и запрыгал от радости. Это была книга. Это был серый коленкоровый Джек Лондон. Избранное. Но пусть это была даже «Муха-Цокотуха». Неважно. Главное — надпись. Надпись от Инны.

Я с некоторым страхом перевернул обложку и увидел написанное круглым, старательным почерком на подлинкованной бумаге:

«В день рождения и в память дачно-волейбольной дружбы. Инна».

Эта фраза расстроила меня. Значит, наша дружба была только «дачно-волейбольной».

Поздно вечером Инна должна была ехать в Москву. Ее хотел проводить мой отец. В такое позднее время меня боялись отпустить на станцию. Станция была довольно далеко, и в те первые послевоенные годы в нашем глухом поселке нередко совершались грабежи. Я взял с собой большой перочинный нож на всякий случай. Мы ушли тихо, ничего никому не говоря.

Мне хотелось взять Инну под руку, но я не решился. Я говорил себе: «Вот дойду до того забора и возьму». Но когда мы доходили «до того» забора, рука моя цепенела.

Мы молчали. Вдруг Инна сказала:

— А жаль все-таки, что Гришка не пришел.

— Жаль, — ответил я.

Мне было действительно жаль, что Гришки не было у меня на дне рождения, но сейчас мне не хотелось думать ни о Гришке, ни о ком другом. Мне хотелось думать только об Инне. Я с внезапной, пронзившей меня остротой понял, что, быть может, вижу ее в последний раз.

— Мы ведь увидимся с тобой в Москве, Инна? — сказал я неуверенно.

— Да, конечно, — ответила она. — Мы обязательно увидимся.

«Где там! — с грустью подумал я. — Небось забудешь меня уже через два дня. А может, и не забудешь, — попытался я себя успокоить. — А может, и увидимся. Конечно, увидимся. Обязательно увидимся».

И от мысли, что я с ней обязательно увижусь, мне стало веселее. Я даже неожиданно решился на отчаянный шаг — взял ее под руку. Сделалось это как-то само собой, без предварительного обдумывания. И она не выдержала руку.

Я чувствовал себя счастливым. Я охранял ее. Я нес за нее ответственность. Но вот я даже не увидел, а скорее почувствовал, что за нами кто-то неотступно идет.

Я решил не оборачиваться и не думать об этом. Надо

громко разговаривать с Инной и не обращать на это внимания.

Я говорил об учительнице физики, которая ко мне придирается, о вратаре Хомиче и еще о чем-то, но думал в это время только о том, кто шел сзади, не догоняя и не отставая от нас, умело пристроившись к ритму наших шагов, из темноты внимательно глядя на нас чужими, враждебными глазами.

Мне уже хотелось, чтобы не было этого мучительного выжидания, чтобы он скорее напал. Я испытывал радость, что она увидит, как я гибну, защищая ее. Но порой во мне поднималось тошнотворное темное чувство страха. Вязкой, дурной волной оно захлестывало меня, и руки мои слабели. Сам себе я казался маленьким, беспомощным и трусливым.

Я жалел, что взялся провожать ее, что ушел от родных людей, к которым, может быть, уже не вернусь никогда. Я хватался за свой нож, и его металлический холодок успокаивал меня.

К моему изумлению, Инна поняла мое состояние. Когда стали видны тусклые, но уже близкие огни станции, Инна вдруг крепко сжала мою руку и сказала:

— Ну, все. Я пришла. А ты иди домой. Твои беспокоятся. И я тоже беспокоюсь, как ты дойдешь один. Ведь здесь опасно! — Она сказала это топом матери или старшей сестры.

И я подумал, насколько она все-таки взрослее меня. Мне стало обидно.

— Нет, провожу тебя до конца. До самого поезда. Я не хочу идти домой, — сказал я.

— Ты сейчас же пойдешь домой. Здесь уже светло и не страшно. Здесь есть люди.

— Я буду ждать поезда.

— Ты не должен так поздно возвращаться. Иди... — Она легонько подтолкнула меня. — Ну, иди же.

Она ласково и снисходительно смотрела на меня. Потом она переменила тон:

— Нет, я прошу тебя, иди домой. Ведь в самом опасном месте я не просила тебя уйти. Ты мне был нужен. Я ничего не боялась с тобой... А теперь все... Теперь уже совсем не страшно. Ты должен идти.

Я стоял не двигаясь. «Нет, я не уйду, — думал я. — Я ни за что не уйду до самого поезда. Когда погаснет

зеленый огонек, тогда я уйду». С другой стороны, уйти было легче. Она ведь просила меня об этом. Ведь действительно сейчас я уже не нужен. Сейчас все позади. Ох, как мне хотелось уже преодолеть это проклятое, гнетущее пространство! Как мне хотелось лежать на своей раскладушке у себя дома!

— Ну, до свиданья. Иди. Спасибо тебе... Мы еще увидимся с тобой... Мы будем с тобой гулять по Арбату... Иди... иди... Да-да, мы обязательно увидимся.

В моих руках были горячие ее руки. Она мягко, но настойчиво высвобождала их.

И я сдался. Я устал от борьбы с самим собой. Мне хотелось домой. Я повернулся и пошел... Потом, через несколько шагов, я остановился. Я подумал: может быть, догнать ее? Я посмотрел ей вслед. И я заметил стремительную, рванувшуюся по направлению к ней тень.

Я застыл на месте. Это был тот, кто шел за нами. Это был наш преследователь.

Тень скользнула по серой обочине слабо освещенной дороги. И уже в желтом свете станционного фонаря я увидел, как, догоняя Инну, перескакивая через ступени, вбегает на платформу Гришка.

С того дня прошло лет шесть. Я окончил школу, поступил в университет. В конце лета я приехал с первой своей практики. Я работал в Ярославской области в районной газете. Я привез несколько своих первых заметок, тщательно вырезанных из этой газеты. По почте я получал гонорары в размере тридцати — сорока рублей. Мне нравилось деловое и рычащее слово «гонорар». Разве дело было в деньгах! Мне кружил голову каждый номер, свежо и сильно пахнувший типографской краской, номер, в котором, такая отчужденная от меня, стояла напечатанная моя фамилия. Я чувствовал, что и мой труд вливается в труд моей республики... Впечатления переполняли меня.

Я был счастлив оттого, что мне девятнадцать лет, оттого, что я живу в такое время и в такой стране. Я полемизировал с неведомыми своими недоброжелателями, не верящими в меня. Я сочинял стихи:

Мне говорят: ведь ты не видел свет!

Не сложишь песню ты, уж как там ни малюй.

Я все ж ее сложу. Мне девятнадцать лет.

И я огромный мир, как жизнь свою, люблю.

Это был первый год освоения целины. Весенний ветер молодой, оживающей земли овеял и меня, хотя мне не пришлось побывать на целине. Я ехал в эшелоне с ребятами, возвращающимися с целины после уборки урожая.

Я подружился с ними, выучил их песни и настолько проникся атмосферой их жизни, что мне казалось, будто я и сам работал там.

Чем-чем, а недостатком воображения я никогда не страдал.

После возвращения с практики я заехал к своему приятелю, жившему на даче. Я его не застал. Пришлось возвращаться в город. Безлюдный вагон, продутый ветром, был грязен, на полу валялись газеты, билеты, окурки. На платформах мелькали одиноко прикорнувшие на длинных, толстоногих скамьях фигуры с мешками, баульчиками, навстречу бежали подслеповатые станционные буфетчики, возникали и исчезали ремонтники у стрелки. Все такое знакомое с детства, родное, позабытое... Мною овладело привычное чувство пассажира: желание выйти на одном из полустанков. И я действительно вышел на одном из них, на самом дорогом для меня.

На меня дохнуло запахом вечера, сосны, нагретой земли, давно не видевшей дождя. Стояли на дачных участках заботливо зачехленные машины. Светили желтым огнем окна дач, и казалось, что там живут как-то особенно ладно и хорошо.

Где-то тихо, приятно повизгивала пластинка, — словом, был субботний вечер дачного поселка. Я вспомнил вечера на Ярославщине, в районе Данилова. Жирная коричневая грязь, где впору пробиться только тягачу и где отважно идут автоколонны, груженые кирпичом, где горят зеленым глазком в темноте лампочки подъемных кранов, где нет слова «электричка», а есть слова «попутная машина».

Вечера, подчиненные горячему ритму стройки, такие непохожие на вечер этого покойного, устроенного мирка.

А здесь было так же, как и шесть лет назад. Хотя не совсем так.

Я убедился в этом, когда захотел найти наш недостроенный дом. Вместо него был целый новый поселок аккуратных беленьких домиков-близнецов.

Да, здесь тоже шла своя стройка, маленькая, скром-

ная, чистая, пахнувшая не кипящим бетоном, а стружкой и смолой. Эта стройка крошечным, но необходимым ручейком вливалась в огромную реку большого строительства. И я с внезапным уважением оглядел домики новорожденного поселка.

Постепенно я забрел на улицу Парижской коммуны. Не было на ней знаменитых коз Любы и Розы, наша дача потемнела, пообветшала. А в доме напротив жила когда-то худенькая и стройная восьмиклассница, казавшаяся мне очень взрослой. За этим забором жила Джемма моего детства.

А может быть, она уже не жила здесь. И, недолго раздумывая, я постучал в калитку. Тихо... Никто не открывал. Волнуясь, придав лицу выражение неестественно-официальное, я ждал у калитки. Прошуршали в траве шаги.

Но это были не те шаги. Это были шаги пожилых, никуда не торопящихся ног, обутых в шлепанцы.

Очень долго возились с задвижкой. Наконец открыли.

Я увидел ее мать. Она стала меньше ростом и заметно постарела. Наклонившись от волнения к самому ее уху, как будто она была глухая, я сказал:

— К Инне можно? К Инне...

«Сейчас скажет: «Инны нет», — думал я. Но она промолчала и сделала жест рукой: «Пройдите». Я пошел по расчищенной аллейке и, прежде чем дошел до дома, увидел высокую девушку, нарядную, в прозрачной кофточке. У нее были те же светлые, холодноватые глаза. У нее были темные подстриженные блестящие волосы, которые казались еще темнее от этих глаз. Вся она была та же и удивительно новая.

— Здравствуй, Инна, — сказал я. — Я закинул мяч на ваш участок, решил его попросить. Неудобно же лезть через забор.

— Здравствуй, Сережа, — ответила она. — Только ты, наверное, ошибся. Ты, может быть, закинул его на соседний участок. Но тем не менее проходи.

Она улыбнулась, сначала чуть иронически, потом приветливо, широко.

— Какой ты стал...

— Какой?

— Не знаю... Большой какой-то... Важный.

— И ты какая-то стала.

— Какая?

— Красивая. Уверенная.

— Красивая я всегда была.

— Хотя правильно. Ты ведь всегда была красивая. Я забыл.

Я поднялся на террасу их дома и увидел сидящего за чайным столом парня. Он был широк в плечах, коренаст, подстрижен бобриком, с карими, немного сумрачными глазами. Одет он был в полосатую рубашку и широкие штаны клеш, такие уже мало кто носил. Он курил. Он курил как-то очень знакомо, вздохнул, покашливая, — так мог курить только один человек. Я остолбенел.

— Ну, не мне вас знакомить, — сказала Инна.

Я механически, как заведенная кукла, подошел к нему, протянул руку, сказал:

— Здравствуй, Гриша.

Он крепко ее пожал, без всякого удивления, внимательно меня оглядел (будто он ждал меня) и сказал:

— По-моему, изменился мало. Только стал высокий, модный. И в длинных брюках. А длинные брюки тебе идут.

Это была шутка, и полагалось смеяться. Инна и ее мама засмеялись. Но я не засмеялся.

— Ну, уж Гришка скажет! — с восхищением проговорила Инна.

Это была не только шутка. Это было желание снова приблизить меня к тому неумелому, слабому мальчику в коротких штанах, который уже давно не существовал.

— Нет, ты ошибаешься, Гриша. По-моему, я изменился. Впрочем, со стороны виднее.

В моих словах, видно, открыто глянула обида, потому что Инна с удивлением посмотрела на меня и поспешно сказала с неожиданной мягкостью:

— Ну, расскажи, как ты, где ты? Нам же с Гришкой интересно.

«Нам с Гришкой, — подумал я. — Может, они поженились? Нет. Тогда она не была бы такой парадной. Просто он к ней приехал на воскресенье».

— Рассказать, как я... Да много рассказывать.

— А ты все-таки расскажи. Мы ведь не торопимся, — вступился Гришка.

— Пожалуйста, — сказал я.

И я начал рассказывать. Сначала я говорил сухо, а

сдержанно. Потом увлекся и использовал в своем рассказе весь собранный материал. Это было нечто вроде отчета по практике. А ведь всякий отчет по практике требует некоторой приукраски. И я решил рассказать и про целину. Знай наших! А то сидите здесь, жизни не видите, а еще иронизируете. И я начал говорить о том, какие в Кулунде дороги, как трудно было налаживать жилища, как люди выходят во двор, держась за канат, чтобы не сбило ветром.

— А ты там был? — спросил Гришка.

Я поколебался. Плевать, в конце концов, подумал я. Журналист имеет право на вымысел. Надо им показать, что я по-настоящему изучил жизнь.

— Был, — сказал я.

— Сколько? — спросил он, взглянув на меня.

— Некоторое время, — сказал я.

— Ну, сколько же?

— Ну, три недели.

Он ухмыльнулся и промолчал.

— Понимаешь, — сказала Инна, — Гриша вернулся с целины неделю назад. Он провел там все лето. Он работал на комбайне...

Я почувствовал, что снова бросаюсь в грязный пруд и плаваю ногами по дну. Мне стало стыдно, как много лет назад. Только, пожалуй, это был другой, более мучительный, невидимый постороннему глазу стыд. Я замолчал. Я понял, что зря пришел сюда. Мне захотелось уйти.

А Инна оживилась, она улыбнулась мне, она говорила, что я действительно очень вырос, что я выше Гришки (подумаешь, заслуга), что я молодец, что зашел к ней. Гришка по-прежнему молчал. Потом мать Инны позвала его. Она попросила его спуститься в погреб за маслом.

«Да, он не последний человек в этом доме», — подумал я. Потом я безучастно спросил Инну, где она учится.

— Я учусь в вечернем механическом и работаю на заводе. На дневной не поступила. Срезалась.

— Молодец, — вяло сказал я.

— Молодец, что срезалась?

— Нет, что работаешь. Это очень нужно сейчас.

— Смотри, ты совсем как передовица в нашей многотиражке.

— А что, я и буду писать передовицы.

— Ну пиши, только не очень длинные.



— Ладно,— уныло согласился я.

Почему-то я вспомнил вдруг о Маньке, о маленькой коричневой обезьянке под абажуром. Ее не было.

— Где Манька? — спросил я.

— Маньки нет,— ответила Инна.

— Где ж она?

— Она потерялась. Ее потерял Гришка.

— Ах, Гришка,— сказал я.— А где твои косы? Тоже потерялись? Тоже Гришка?

— Их нет... Подстриглась... Но только назло Гришке. Он был против.

«Да, ничего нет,— подумал я.— Ни кос, ни Маньки. И Джеммы тоже нет. Хотя, может быть, она и есть. Только она не моя Джемма. Она Гришкина Джемма».

Я встал и протянул ей руку.

— Надо идти,— сказал я.— Поздно. Я не успею к поезду.

— А ты не боишься... один?

— Нет. У меня есть опыт.

— Это хорошо.

Я вышел, кивнул Гришке, попрощался с Инниной матерью.

Инна проводила меня до калитки.

— Ну, мы ведь увидимся в Москве,— сказала она.— Мы обязательно увидимся.

— Да, конечно,— ответил я.

— Мы увидимся. Обязательно. Мы встретимся где-нибудь у Арбата.

— До свиданья, Инна.

«Хорошо, что мы никогда не увидимся»,— подумал я. А через десять минут я уже был в вагоне электрички. Электричка мягко тронулась.

«Хватит,— сказал я себе.— Завтра же начну новую жизнь. Хватит лгать, хватит трепаться. Я тоже буду настоящим, черт возьми, назло им всем. Я больше никогда не буду плавать ногами по дну... Никогда!»

Мне стало несколько легче от принятого решения.

А электричка плавно и быстро увозила меня от маленькой платформы, заплеванной семечками, от дачного полустанка, от ее дома, от мелькнувшей и погасшей в темноте станции первой любви...

# Мы еще вернемся за подснежниками



Весна уже наливалась, и трава неожиданно запахла тихой, еле ощутимой горечью. И Пашка лег на траву, раскинул руки и подумал о том, что в прошлом году именно в этот день он начал ходить в школу без пальто... Был теплый серый асфальт, и прохладный подъезд дома, и, словно бы взбесившийся по весне, гудящий школьный двор за решетчатым забором, выкрашенным в зеленое. А теперь этого уже нет... Теперь есть степь, и этот горьковатый запах, и бледное безразличное небо.

— А все-таки здесь лучше! — назло своим мыслям сказал Пашка. — В сто раз, в тысячу раз лучше!

— Ты что это, Павлуха, сам с собой? — удивленно спросил его Коля Махин, прицепщик.

Махину всего четырнадцать лет, он самый молодой в бригаде. А на втором месте — Пашка.

— Сам с собой, — сказал Пашка. — А ты вот не умеешь.

Махин недоверчиво и удивленно посмотрел на Пашку.

— Видали мы... — сказал он и сплюнул.

— Ни шиша вы не видали, — сказал Пашка. — Не умеешь сам с собой разговаривать, пижон.

Пашка забавлялся. Ему почему-то казалось, что Махин туповат, и это одновременно и веселило и бесило Пашку. И еще его раздражало, что каждые три дня к Махину на полевой стан приезжали отец и мать, как к ребенку в

пионерлагерь. Они привозили ему конфеты и орехи, и Махин ночью в одиночестве работал челюстями. Он старался никого не будить и заглатывал целые конфетные горошины. Потом он кашлял. Но в остальном Махин был хороший малый.

— Так что, целинник, слабо тебе самому с собой, — лениво сказал Пашка и закурил.

Махин задумался, лег на траву и вдруг быстро проговорил:

— Эх, Русь-тройка. И кто тебя выдумал?..

Пашка нарочито оглушающе захохотал.

— Ладно, — добродушно сказал Махин. — Давай лучше в футболчик погоняем.

Они погоняли минут десять мяч, но Пашке было неинтересно с Махиным. Городские всегда лучше в футбол играли, чем сельские. Да и потом, один на один — разве это футбол?

— Хватит, — сказал он. — Отдыхать надо. Вечером я заступаю в смену.

Они снова легли на траву, и Махин сказал:

— Вон твой идет.

Ну и зрение у этого Махина! Действительно, вдалеке, в голубоватом степном мареве, перечеркнутом травинками, сквозь которые глядел Пашка, виднелась фигура Егора Зубкова, Пашкиного тракториста. Егор стоял на месте, о чем-то задумавшись, и все глядел, глядел на дорогу, точно ждал кого-то. Потом он пошел к ребятам. Он был высокий, Егор, статный, и когда он стоял возле Пашки, Пашка весь вытягивался и делал вдох, чтобы грудь была пошире. Не хотелось Пашке быть совсем чахленьким рядом со своим трактористом. И все-таки, даже когда он надувался изо всех сил, приподнимал плечи и тянул голову вверх и назад, так что чуть не опрокидывался навзничь, — все равно против Зубкова он был что велосипед против трактора «Беларусь».

— Ты еще вырастешь, парень, — говорил ему Зубков. — Деревцо смолоду в стволе тончит, а потом как заматерееет — руками не обхватишь.

И он улыбался Пашке, и Пашка очень любил его улыбку, потому что Зубков улыбаться умел. Здорово он улыбался, радостно!

И, улыбаясь, он говорил Пашке:

— Ты еще знаешь какой будешь!

Да, Пашка знал, что он вырастет, и что мускулы его станут покрепче, и в высоту он еще, может, возьмет пяток сантиметров. Но ему плевать на эти мускулы и эти сантиметры. Таким он все равно не будет. Таким, как Егор. Таким, который говорит: «В этом году, братцы, я иду учиться», — и учится ночами, когда работает днем, и днями, когда работает ночью, а сырым, промозглым, еще полужимним рассветом, когда Пашка ненавидит себя, степь и небо над своей головой, когда в диски забивается глина и Пашка яростно сбивает ее ломиком, матерясь так, что кажется, даже у трактора краснеют гусеницы от смущения, — в эти несчастные, проклятые богом минуты Егор сидит в своей кабине, улыбается своим мыслям, а иногда даже поет. И если Пашка окончательно выходит из себя и садится на мокрую, тяжелую, липучую землю, то Егор спокойно вылезает из машины и делает то, что полагается делать Пашке. А очистив диски, он предлагает Пашке папиросу. Пашка мотает головой, лицо у него делается серое, темное, как пашня под вечер. Но Егор, черт бы его побрал, не посылает Пашку куда подальше, и от этого Пашке совсем неведомо. Пашка изнемогает от благородства Егора. А Егор качает головой и говорит:

— Ну и психованные нынче мальчишки пошли!..

«Что ты в этом понимаешь, товарищ Зубков? — думает Пашка. — Что ты в этом понимаешь, бригадир передовой тракторной бригады? Да, ты умеешь пахать ночью и днем, и в снег, и в дождь, и черт знает когда, ты улыбаешься своей белозубой улыбкой и снисходительно прощаешь мне мои слабости. Ты очень добрый, товарищ Зубков. Но посмотрел бы я, каким добрым ты бы был, если бы твои родители при тебе делили свои диваны и подушки, и все пересчитывали, сколько кому подушек и сколько кому стульев, и все обсуждали: «Кто же все-таки будет нести материальную ответственность за Пашку»... Интересно, каким добрым ты бы был, если твоя мать несла бы за тебя «материальную ответственность», а вечерами к ней приходили какие-то офицеры, разглядывали тебя и приговаривали: «Неужели это ваш? Смотрите, какой большой! Ей-богу, вам надо его прятать — он вас старит». А мать, хихикая, будет отвечать: «Вы уж скажете тоже... Это он на вид только такой. А по характеру и по возрасту совсем ребенок, честное слово, совсем ребенок». А потом она покрасит волосы каким-то водородом и будет ходить на

педсоветы и будет там лебезить перед классной, чтобы его летом отправили бесплатно в пионерлагерь, потому что материальное положение очень тяжелое и она задыхается... «Нет, он еще совсем не вышел из пионерского возраста, он совсем еще ребенок».

Интересно, какое было бы у тебя настроение, Егор Зубков, если бы тебе пришлось в конце концов плюнуть на всю эту самостоятельность и, кончив восемь классов, чудесной июльской ночью сесть на товарняк и рвануть сюда, в этот совхоз!.. И конечно, поначалу тебя в совхозе будут называть студентом и будут посмеиваться над тем, что по субботам ты тащишься по бездорожью смотреть кино. А что, если с детства у тебя выработалась привычка смотреть кино по субботам? И конечно, ты бы имел бледный вид вот в такой ненастный, мокрый день, когда надо ковыряться в дисках, а тебе лезут в башку самые неподходящие мысли...»

Но ничего Пашка не говорит своему трактористу. Он просто поднимается с земли, идет к машине и начинает работать. Но при этом он приговаривает: «Мура все это... Мура окаянная». И слова эти имеют свойство целебного бальзама. От них Пашке становится легче.

А потом наступает вечер, незадавшаяся эта смена кончается, и они все вместе сидят на лавке за длинным щербатым столом и рубают отличнейший борщ и запивают его парным молоком. И Пашке в голову приходит одна любопытная мысль: он думает о том, что, в сущности, ему только шестнадцать лет и, как говорится в одной книге запретного, но тем не менее изученного им Мопассана, «жизнь... не так плоха, как о ней думают...»

А рядом сидит Егор Зубков и ест так вкусно, с таким вкусом и в таком темпе, что, покоренный этой величественной картиной, Пашка просит у поварихи Нюрочки еще порцию. Нюрочка, которая как-то особо выделяет Пашку из всей бригады и любит вести с ним длинные полуночные разговоры о кино, охотно откликается на эту просьбу и тащит Пашке тускло блестящую в сумраке алюминиевую миску, до краев наполненную горячим, острым варевом. Затем всей бригадой они собираются в палатке, Егор снимает со стены гитару и напевает: «Я встретил вас, и все былое...» Голос у Егора сильный, мягкий и в то же время чуть надтреснутый, словно морщинка грусти прорезала его. И когда он поет эту песню, какая-то особая,

легкая, сладостная печаль тихо трогает Пашкино сердце, и он вдруг представляет себе, что это о нем поется, но не о нем сейчас, а о нем в будущем... Как через много-много лет он кого-то встретил, и все былое ему припомнилось, и он уже не Пашка, а сухощавый, сильный человек с седыми висками и во френче (почему-то он виделся себе не в пиджаке, а в суровом серо-стальном френче). И Пашку волновала эта песня именно тем, что она звучала каким-то обещанием будущего — обещанием новой, сложной, грустной, может быть, но все-таки прекрасной жизни. И Пашка как бы весь отдавался этому неясному предвидению, которое выросло из этой песни, из каких-то виденных им фильмов, из полузабытых книжных страниц и постепенно превращалось в выдуманную и смутную страну его будущего. Пашка выходил из палатки, и свет голубых степных звезд ложился на его худые, слишком прямые плечи, и он замирал, и песня теперь шла к нему как бы издалека, приглушенная, и он, одинокий путник, ловил ее на своем пути. Потом Егор кончал петь, и ребята начинали рассказывать анекдоты, а одинокий путник возвращался в палатку и громко хохотал вместе со всеми. Лирика кончалась, начиналась ночь...

А сейчас был день, и Пашка отдыхал после смены, и рядом с ним лежал чудак Махин, который все время прицеплялся к Пашке и лез с ним в дружбу, хотя и был, в сущности, полным малолеткой. А мимо них шел по степи тракторист Егор Зубков. Снизу, с земли, он казался Пашке не то чтобы высоким, а просто великаном, ростом до небес.

— Ну и дяденька твой Егор! — сказал Махин. — Достань воробышка.

— Помалкивай, — солидно сказал Пашка. — Молодой еще Егора обсуждать.

Егор прошел мимо них, но не увидел Пашку. Он все время смотрел куда-то влево, туда, где пропадала в рыжей степи узкая колдобистая дорога. Вид у Егора был странный: он шел тяжело, невесело, а большие его длинные руки безвольно и утомленно тянулись к земле. Пашка снизу видел эти руки и удивлялся и думал о том, что всегда у Егора другие руки, нацеленные на что-то, занятые чем-то, легкие и веселые...

«А что я о нем знаю, о Егоре? — подумал Пашка. — Он других слушать любит, а о себе рассказывать не

очень-то... На людях он всегда радостный, а вот сейчас ему, видно, не до улыбок».

Пашке захотелось встать, догнать Егора и сказать ему: «Ты чего это, Егор? Заскучал, что ли? Пойдем лучше в шахматишки перекинемся».

В общем, что-нибудь такое, успокаивающее.

Но Пашка знал, что никогда в жизни он не решится подойти с этим к Егору — не такой человек Егор Зубков, чтобы его утешать и успокаивать. Наверное, он просто здорово вымотался. Последние дни сменный болел, и они работали дни и ночи, только вспашку вести — это не то что у прицепа прыгать.

Тяжело доставалось Егору в последние дни.

— Слушай, а правда в больших городах воздух газами отравленный? — сказал Махин. — Я в больших никогда не был, только в райцентре.

— Темный ты, Махин, человек, — убежденно сказал Пашка. — Почти что снежный.

— Ну, это ты уж хватил, — добродушно, но не без обиды ответил Махин. — Снежный... Что я, снежная баба тебе, что ли?

Пашка расхохотался, стараясь придать своему смеху насмешливо-демонические оттенки. Вдруг Пашке стало скучно. Ему захотелось совершать какие-нибудь поступки. Но попробуй совершай поступки, когда вокруг степь и ни единой живой души! Одна смена отсыпается, другая пашет. Единственный поступок, который ему удалось совершить, был сильный и бессмысленный удар по мячу.

— Сбегай, ты молодой еще, — потягиваясь, жеманно сказал Пашка.

Сейчас он выступал в роли эдакого кудрявого барчука из фильма «Белый пудель». Но роль не удалась. Махин и не шелохнулся.

— Очень нужно, — угрюмо сказал он. — Ты бить, а я бегать...

— С ним шутят, а он в обиду, — сказал Пашка и побежал за мячом.

Потом он помчался, ведя мяч, лихо обводя какие-то жалкие кустики, и наконец сильно пробил, целясь в Махина, но не попал.

— Не тот стал удар, — громко сказал Пашка. — А был когда-то «мертвый».

Он повернулся и зашагал к палатке, где отдыхали ребята. Но в палатке, оказывается, никто не спал. Все, сгрудившись, сидели около входа, прямо на земле. Дело в том, что приехала почтальонша. Почтальонша эта была здесь всего второй раз. До этого в дальние от центральной усадьбы бригады приезжала старушка Клавдия Федотова, а эта новенькая, Аня, работала на центральной усадьбе в киоске, где продавался всякий товар: и одежда, и мыло, и книги... Но Пашка в совхозе Аню не видел, он видел ее в прошлый раз здесь. Он помнил, как она уходила: она шла очень быстро, и у нее было широкое короткое платье, все в круглых желтых цветах; и казалось странным, что она идет по степи в узеньких туфлях на тонких каблучках... Прямо так и летели эти каблучки по ковылю, по полыни, по какой-то невзрачной низкой траве, и было в этих каблучках и этом платье, похожем на парашют, что-то знакомое Пашке, что-то от весеннего вечера в городе, когда девушек становится очень много и они идут мимо тебя и не замечают, всё идут, идут женской такой спокойной походкой, и у них такие же каблучки и такие же юбки-парашюты, плывущие вдаль, вдаль, в теплую темноту весенних улиц... И поэтому, когда Пашка ее тогда увидел, он хотел ей что-то сказать или даже сказал, но она не расслышала, а только небрежно скользнула по нему взглядом, и Пашка заметил, что у нее темные, узкие, как миндаль, глаза... И почему-то Пашке представилось, что она кубинка. Да, да. Вот кубинки были точно такие же: высокие, тоненькие, с такими же черными миндалевидными глазами. Пашка видел их в кинокартине, и он готов был смотреть на них еще и еще; особенно ему нравилось, когда они несли на плечах автоматы: у них делались такие независимые лица, что Пашка даже щелкал языком от удовольствия. И у этой было такое же независимое лицо, хотя на плече у нее висела не винтовка, а почтовая сумка... И Пашка, как бы в игру, как бы понарошку, решил, что она и есть кубинка. И, забывшись, он крикнул ей вдогонку:

«Куба — да, янки — нет!»

«Кубинка» остановилась, внимательно посмотрела на Пашку, а потом вдруг прыснула в кулачок... И снова замелькали ее высокие загорелые ноги, поплыли по степному морю ее туфли-лодочки, а Пашка так и остался на берегу.



«Куба — да», — тихо сказал он и поплелся к палатке...  
А сейчас она снова была здесь.

Она раздавала трактористам письма.

— Вы, Галушкин, — говорила она, обращаясь к рыжему верткому парню, — должны были бы, по совести, не только сплясать, но и спеть: вам три письма.

— А мне сплясать не предвидится? — спросил Митич, месяц назад приехавший на целину из Белоруссии.

— Вам пишут, — сказал она.

— А мне, Аня? — кричали трактористы и протягивали руки, точно от Ани зависело, получают они весточку из дому или нет.

Все ждали писем. А Пашка был в этом вопросе человек незаинтересованный. Мать писала ему по праздникам: Новый год, Первое мая и т. д. А он отвечал с той же частотой плюс Восьмое марта. Но тем не менее Пашка выдвинулся вперед.

— А много ли писем мне? — сказал он.

— Ну-ка поинци, Анюта! — крикнул рыжий. — Интересно, что там нашему Пашке жена пишет.

Все захохотали, и Аня тоже улыбнулась. Пашка был не в восторге от этой шутки, как бы нарочно преуменьшавшей его перед Аней. Но он подыграл рыжему:

— Интересно, что мне мои детки пишут.

Все снова засмеялись, а Аня сказала:

— Жена вас, видно, забыла.

Странное возбуждение охватило Пашку. Томясь желанием выкинуть бог знает что, говорить какие-то необыкновенно смешные, остроумные, лихие слова и чувствуя, что сейчас его закрепнит, занесет и он начнет нести всякую чепуху и околесицу, выкрикнул:

— Меня забыть нельзя! Я незабываемый... Я вроде такой незабудки...

— Вроде чего? — удивленно спросила Аня.

Пашке стало жарко и противно от фальшивых, нелепых, похожих на глазированных приторных пряников немужских слов, которые он только что произнес и сладкий вкус которых он еще чувствовал на губах.

— Слушать надо, — грубым, скрипучим каким-то басом сказал Пашка.

— Тебя послушаешь — уши завянут, — сказал рыжий.

— Помалкивай! — взвинченно и зло сказал Пашка, чувствуя, что если кто-нибудь станет одергивать его или

воспитывать сейчас, при Ане, то он немедленно полезет драться.

Но никто не стал его одергивать и воспитывать. Ребята промолчали, и Пашка оценил это и успокоился. Счастливики, получившие письма, ушли их читать, а те, кому писем не было, с разочарованным видом отправились в палатку досыпать. Кольцо, окружавшее Аню, постепенно истаяло. И Пашка остался с ней один на один.

— Ну, мне пора,— вздохнув, сказала она и встала.

И Пашка понял, что сейчас она уйдет. Не отдавая себе в этом отчета, но желая во что бы то ни стало остановить ее, Пашка сказал тоном привередливого, дотошного клиента, к которому утром пришел почтальон:

— А почему журналы вовремя не приходят?

Аня пожалала плечами и сказала:

— У нас здесь, знаете ли, целина. У нас здесь, знаете ли, шоссе нет.

И она сверху вниз посмотрела на Пашку.

Но то ли женское чутье ей подсказало что-то, то ли отнюдь не привередливость прочитала она в выражении Пашкиного лица, но она смягчилась и спросила:

— Какой журнал вы выписываете?

— Во-первых, «Советский экран»,— сказал Пашка и добавил, как бы рассуждая с самим собой: — Кино, видите ли, важнейшее из всех искусств...

— Но это во-первых,— перебила его Аня.— А во-вторых, что вы выписываете?

— А во-вторых, газету «Советский спорт»,— сказал Пашка.— Я все-таки левого крайнего играю, хотя сейчас и не в форме.

— Скажите пожалуйста! — с каким-то испуганным девичьим выражением сказала Аня.— А журнал «Мурзилка» вы, случайно, не выписываете?

Пашка оторопел, он не ожидал такого удара. Ему ужасно, до боли захотелось схамить, например: «Видали мы мурзилку почище тебя!» Но Пашка понимал, что если он схамит, то он будет дураком. Смешным, оскорбленным, все принимающим всерьез дурачком. А Пашке не хотелось быть дурачком перед Аней. А кроме того, он в упор смотрел на нее и видел черные продолговатые глаза, совсем не злые, не насмешливые, а просто черные, ну, как ночь в степи, что ли, просто черные и очень хорошие — такие глаза он видел в первый раз, может быть, потому,

что до этого дня он никогда толком не обращал внимания на женские глаза. «Нет, хамить я не буду,— сказал он себе.— Но я отомщу».

Он еще не решил, как он отомстит. Но, когда он начал решать, другая, шальная, необычайно дерзостная мысль промелькнула в его голове. Сердце его бешено, весело забилось. «Я назначу ей свидание,— сказал он себе.— Да-да, я назначу ей свидание». Он не стал раздумывать, где, когда. Это было неважно. Хоть в Кустанае, хоть в Павлодаре, хоть где угодно! Важно было другое: надо назначить ей свидание и чтобы она согласилась. Чтобы она обязательно пришла. «Как это делают? — думал Пашка.— Как о н и это делают?» Он думал о взрослых. Он пытался перенять их опыт, он вспоминал, как они говорят и что они говорят в таких случаях. Но он не мог вспомнить, потому что никогда не вслушивался в эти разговоры, во время этих разговоров он выключался, он скучал, как в кино, когда слишком долго показывают производство. И теперь все эти подходы и заходы были им забыты. Какие-то обрывки он помнил, но не мог привести их в систему. Вот точно так же он чувствовал себя однажды в школе: ему досталась теорема, и он не то чтобы не знал ее, он ее представлял, но никак не мог доказать, потому что забыл, с чего все начинается. И потом, сейчас он боялся, что Аня может подумать о нем плохо. Она может не понять, что ему просто хочется побыть с ней, поговорить немножко, походить по степи... Может быть, он даже разоткровенничается с ней и расскажет ей кое-что из своей трудной жизни. С ней, казалось ему, можно говорить обо всем.

— Знаете что,— дрогнувшим голосом произнес он,— знаете что...— придавая лицу выражение мужества и бесстрашия, продолжал он фразу и никак не мог ее произнести. Наконец он набрался сил и бестрепетным, грубым голосом закончил: — Я назначаю вам встречу в восемь ноль-ноль. На центральной усадьбе.

Она закрыла лицо руками. Она держалась из последних сил, и Пашка понял это. У него тоже бывало такое, когда на уроке его щекотали кончиком ручки по шее. Ее раздирали, разламывали смех, и она не могла больше сопротивляться.

— Когда? — краснея от смеха, говорила она и застегивала пуговицу на платье у горла, пуговицу, расстег-

нувшуюся оттого, что она хохотала, издеваясь над Пашкой.

И Пашка вдруг со страшной остротой и ясностью понял, что он глуп и смешон, а особенно смешон, когда подделывается под взрослого.

— Ну что ж, матч проигран! — глухо и торжественно сказал Пашка.

Эту фразу он говорил всегда, когда ему что-нибудь не удавалось, когда ему в чем-нибудь не везло. Он сказал эту фразу, и ему вдруг стало удивительно грустно, как никогда в жизни... Он думал о том, что, конечно, ему не придется ходить с ней по степи и не будет он ей рассказывать про себя, и про Егора, и про эту песню: «Я встретил вас, и все былое...» Ничего этого не будет! «А ведь не такой уж я маленький! — с удивлением подумал он. — Почему-то сам себе я ведь не кажусь сопляком и дурачком вроде Махина... Ведь на самом-то деле я же знаю, что я взрослый, что я не глупее других, что я не хуже многих разбираюсь и в книгах, и в кино, и во всем другом... Только вот в жизни я, может быть, еще недостаточно разобрался». Он торопливо достал из кармана папиросу, закурил, ожидая, что Аня сейчас уйдет. Но она почему-то не уходила.

— А как тебя зовут? — вдруг спросила она.

Пашка так и не понял: хорошо, что она говорит ему «ты», или плохо? Это было и хорошо и плохо, а в целом ничего не меняло. Теперь уже было все равно.

— Пашкой меня зовут, — грустно сказал он. — А вообще-то полностью Павел.

— Ну, до свидания, Пашка, — тихо сказала она. — Ты на меня не сердись, пожалуйста. Я уж такая... Смешливая. А «Экран» я тебе обязательно привезу. И «Советский спорт» тоже.

— И «Мурзилку»? — укоризненно сказал Пашка.

— Если ты будешь вести себя как сегодня, то и «Мурзилку», — сказала она.

— Я буду вести себя так, как захочу, — твердо сказал Пашка. — Как мне понравится.

Ему вдруг снова захотелось схамить и обидеть ее. Когда доходило дело до этой проклятой «Мурзилки», злость так и охватывала его, но он сдержался.

— Ладно. Веди себя, как тебе понравится, а я пошла, — холодно сказала она.

«А, задело все же! — с радостью и печалью подумал Пашка. — Все-таки ей не совсем уж все равно».

А она повернулась и пошла.

— Знаете что? — неожиданно тоненьким голосом вдогонку ей крикнул Пашка.

Она остановилась.

Пашка подбежал к ней.

— Вы фильм про Кубу видели? — сказал он.

— Видела, но в чем дело? — сухо ответила она.

— Знаете, на кого вы похожи?

— На Фиделя Кастро? — спросила она.

— Нет, не смейтесь! — пылко и серьезно сказал Пашка. — Вы похожи на кубинских девушек, только у них оружие, а у вас вот это. — Он показал рукой на ее сумку. — Но вы похожи, очень... И глаза у вас такие же.

— Какие? — заинтересованно спросила она.

— Не знаю... Как у них... Темные. — Пашка подумал еще немного и, решившись, сказал: — Красивые, в общем.

Он постоял еще секунду, помялся, а потом вдруг ни с того ни с сего круто повернулся и пошел к палатке.

— Куда же ты? — крикнула она ему. — погоди!

Он поколебался, но все-таки остановился. Она улыбнулась ему.

— Лучше проводи меня немного, — сказала она.

— Пойдемте, — важно сказал Пашка.

— Сколько тебе лет? — спросила она.

— Восемнадцать, — сказал Пашка, прибавив ровно два.

— А мне двадцать, — сказала она. — Видишь, какая я старенькая.

«Наверное, она думает, что мне четырнадцать», — подумал Пашка и неожиданно для себя сказал:

— Подумаешь, на четыре года старше.

— Как на четыре? — притворно удивилась она. — По-моему, на два.

— Действительно, на два... Просто я спутался немного, — сказал Пашка. — Ах, какая разница!

— Математик! — сказала она.

Оба они замолчали. Аню ждала машина. Шофер лежал на земле, спал. Парень, видно, тоже замотался.

— Знаешь что, Пашка, — неожиданно сказала она, — приезжай ко мне на центральную усадьбу в воскресенье.

Прямо в почтовое отделение. Я тебе какие угодно журналы выберу. Приедешь?

— Еще бы! — сказал Пашка. Он хотел сказать как-нибудь по-другому, более равнодушно, но у него не получилось. И снова сердце его тревожно, сильно забилося, и ему стало жарко и весело. — Я приеду! — крикнул он. — Да, я обязательно приеду. Мы еще вернемся за подснежниками!

Ему очень нравилась эта фраза. Он не помнил, где слышал ее: то ли в театре, то ли по радио.

— Мы обязательно вернемся за подснежниками, — повторил он.

— За чем? — переспросила она.

— За подснежниками! — торжественно произнес Пашка и осекся на полуслове.

Прямо на него угрюмо, чуть сутулясь, безвольно, как тогда, опустив могучие руки, шел Егор. Глаза у него были какие-то смятенные, шальные. Никогда еще Пашка не видел его таким. «Может, это из-за меня? — подумал Пашка. — Может, я трактор плохо почистил?»

Егор все приближался, и Пашка почти испуганно ждал: что же будет дальше? И вот уже Егор подошел к ним вплотную. Пашка не отрываясь смотрел на него, и ему казалось, что и Егор тоже смотрит на него, Пашку.

— Приехала? — тихо, потерянно спросил Егор.

«Чего это он в женском роде, — подумал Пашка, — чего это он ко мне в женском роде? Или он с ума сошел?»

И только чуть позже Пашка понял, что все это не имело к нему ровно никакого отношения. Никто и не думал о нем. И Аня уже забыла о нем, забыла обо всех этих глупых разговорах, и о том, что он должен к ней в воскресенье приехать, и о журналах... Она смотрела на Егора, только на Егора, она слушала только Егора, а Пашка был здесь посторонним.

Но Пашка все стоял, все стоял, не двигаясь, все ждал чего-то.

— Приехала? — еще раз сказал Егор. — А я уж думал, не приедешь, как тогда в пятницу... Я ведь тебя три часа под проливным дождем...

Но она не дала ему договорить.

— Егор, милый! — каким-то новым, незнакомым Пашке голосом сказала она. — Не надо так. Ведь ты же ничего, ну ничего не знаешь. Ты думаешь, я не хотела?

Думаешь, я к тебе не стремилась?..— Она взяла его под руку и повела за собой куда-то в степь, подальше от Пашки. А впрочем, она вряд ли думала о Пашке.

— Ну и идите,— вдогонку им сказал Пашка,— ну и идите своей дорогой, а я пойду своей!

И он засвистел что-то лихое и небрежное и ковырнул мягкую землю носком сапога, словно это была не земля, а футбольный мяч, а на сердце у него вдруг сделалось безнадежно тускло. Все то, что внезапно озарило этот день, наполнило Пашку незнакомым ему волнением и звоном, прошло. И Пашке показалось, будто он здорово устал, будто он отработал две смены подряд. «Пойду отдохну,— тихо сказал себе Пашка.— Ночью мне работать». Он старался не смотреть в их сторону, но как-то так случилось, что все же, не утерпев, он бросил взгляд исподлобья влево туда, где они шли. И он увидел, что Аня держит Егора за руку и что-то быстро и, видимо, очень сбивчиво ему говорит, а он слушает молча, и лицо его постепенно добреет. И Пашка подумал, что она, Аня, совсем не такая с Егором, как с ним, Пашкой, совсем не такая. Нет, с Егором она какая-то маленькая, испуганная, торопливая, вроде как он, Пашка, был с ней. Да и Егор не такой, как обычно. И куда только девались его уверенность, и сила, и веселость. И Пашка с неприязнью подумал о взрослых, и о всяких там их запутанных делах, и о том, что с теми, кто поменьше, они чего-то из себя разыгрывают, притворяются, а друг с другом они вон какие беспомощные. Пашке захотелось эдаким гордым орлом подлететь к Егору, да как хлопнуть его по плечу, да как сказать ему: «Хватит, кончилось твое время!» Но в этот момент к нему подошел Махин.

— Может, сгоняем в футбольчик? — сказал он.

— Чудак ты, Махин,— устало сказал Пашка.

Нет, он не злился на Махина. Просто Махин не мог понять, что Пашке уже не вернуться в детский, махинский мирок, где любую боль можно вылечить футболом. И Пашка прощально помахал Махину рукой.

Уже вечерело, и степь постепенно теряла свой рыжий цвет и все темнела, темнела, и как-то особенно остро и горько запахло полынью. Пашка лег на траву и стал смотреть в небо и стал ждать, когда появятся большие белые степные звезды. Вдали мелькнули две тесно прижавшиеся друг к другу фигурки. И Пашка вдруг понял,

что злость прошла. «А что он мне сделал, Егор? — подумал Пашка. — Что, кроме хорошего? Эх, сколько он со мной возился! Ведь я же совсем непутевый сюда приехал. Да и ему, видно, не просто, только он не такой, как я, у него все спрятано, а у меня все наружу...»

Пашка вдохнул терпкий, дурманный запах, раскинул руки, и как в те минуты, когда пелась его любимая песня: «Я встретил вас...», он подумал о себе в будущем времени. И ему стало радостно и печально оттого, что и у него это будет и он тоже, как Егор, пройдет по степи не один, и будет решать какие-то трудные, взрослые, может быть даже неразрешимые, вопросы. «А все-таки Егор хороший мужик, — еще раз, точно желая поставить точку над «и», сказал себе Пашка. — Просто у него возраст такой большой, ему уже под тридцать, трудный у него возраст, вот он и переживает». Пашка поежился от холода и с остывающей уже и даже приятной болью подумал об Ане.

Звезды наконец вышли, и стало совсем светло. Вся целинная степь была сейчас светлая, почти белая от звезд. А Пашка лежал в этой степи и, как никогда, любил ее, понимал и чувствовал себя ее частицей. И большие степные звезды ласково положили на него свой голубоватый чистый отблеск.

— Ничего, — произнес Пашка фразу, которую он запомнил по какому-то старому фильму, — мы еще прорвемся!

Потом он помолчал и добавил громко:

— Мы еще вернемся за подснежниками!



# Над рекой Кизир

---



Солнце пропитало тайгу, оно было в скалах, в земле и в машинах. А внизу, под скалами, текла зеленая река Кизир. Она одна во всей тайге, во всем мире была холодная. Солнце не поспевало за ней...

Павел работал на землеройке. Он был голый по пояс, а на ногах — сапоги. Рычаги его хорошо слушаются: дернет — и ковш открывает белый рот, словно улыбается. Здоровенная зубастая улыбающаяся рожа.

Зубастая рожа клонится к земле, глотает ее и бросает в кузов подъехавшего самосвала. Земля рыжая, твердая от камней; она растекается по пустому днищу, камни гулко бухаются о борта.

У самосвала постепенно вырастает горб, крутой, сыпучий, зыбкий. С верблюжьей важностью самосвал степенно отходит. На очереди — следующий.

Ровно в два часа дня Павел выскакивает из кабины экскаватора и спускается к реке.

Он смотрит на блестящую воду, щурится и радостно, освобожденно вздыхает. Затем он снимает сапоги, аккуратно разматывает портянки и накрывает ими сапоги, чтобы не сохли на солнце.

Павел подходит к воде. В зеленоватом зеркале он видит свои раскосые продолговатые глаза и свою улыбку. Павел долго входит в воду, обжигающую тело, отводит ее руками, словно остужает, а потом ложится на спину и тихо, бесшумно плывет.

Над ним течет небо — огромная река; вершины Саян кажутся ее берегами, облака — волнами.

Павлу становится совсем хорошо, он поет. Он поет гортанно, по-своему, по-хакасски. О чем песня? Павел толком и не знает, слов в ней почти нет, одна мелодия... Как будто так: человек идет по степи и находит ручей, вода в ручье холодна.

Павел допел песню — и к берегу. Перерыв кончился.

А в это время к реке подходят геологи. Они шумят, стаскивают с себя цветастые пропотевшие ковбойки, кидают в реку камни. Они работают недалеко от Павла. Что они ищут здесь — это ему не известно. Он только слышит шум бурового станка, долбящего породу... У геологов свои дела, у Павла свои.

Из всех геологов Павел знает только Катю. Геологи купаются, а она сидит на берегу. Весь берег в ковбойках и вылинявших полотняных штанах. И одинокая фигурка Кати.

— Что сидишь, что не плывешь? — спрашивает ее Павел.

— Во-первых, простудилась, — говорит Катя. — У меня грипп, понимаешь? А во-вторых, плавать не умею.

Павел с ласковой укоризной качает головой. Такая жара, и простыла. Ай-ай-ай! Лицо у Кати беленькое, загар легкий, а волосы выгорели крепко. Почти седые волосы. Таких светлых волос Павел нигде не видел. Ему хочется чем-то помочь Кате, и он говорит:

— Учить буду плавать. Надо учить. Со мной тонуть не сможешь.

Павел старательно, медленно выговаривает русские слова.

— Я согласна, — отвечает ему Катя и улыбается.

Она-то знает, что он никогда не решится учить ее плаванию. Он смущается ее, как школьник, и она чувствует это.

— Что ж, давай учи... Правда, я простыла... Но клин вышибают клином. Верно ведь?

Павел серьезно смотрит на нее.

— В другой раз. В другой — обязательно. Сейчас машины ждут, задержка будет.

На лице у Кати огорчение:

— Всегда тебя кто-нибудь ждет. То машина, то еще что-нибудь. Ты уж такой.

— Нет, я не такой,— говорит Павел. Он смотрит прямо в Катины веселые светлые глаза, блестящие, точно река Кизир, и задумывается на мгновение.— Конечно, не такой.— И, словно подводя итог всему их короткому разговору, говорит: — Завтра будешь?

— Конечно, как всегда.

Павел кивает ей, отходит и взбирается вверх. Его медная большая спина постепенно сливается с рыжими скалами. И только крепкий уверенный голос его машины сообщает всей тайге о том, что перекур окончен. Словно подчинившись этому кличу, выходят на берег геологи, торопливо одеваются и спешат к своим бурам.

А затем все вместе — и Павел и геологи — наваливаются на тайгу, и хотя они маленькие, а тайга бесконечная, она обмирает от их ударов, дает трещины и стонет...

Вечером Павел, как всегда, заходит в женское общежитие. Как всегда, маленькая Аня ждет его.

— Чай заварю,— обрадованно говорит она.

— Ладно.

— В клуб пойдешь? Ладно?

— Ладно.

Они разговаривают по-русски. Во-первых, неудобно говорить по-хакасски, когда вокруг русские, во-вторых, Павел хочет, чтобы она получше знала русский язык.

Аня заваривает крепкий зеленый хакасский чай, и вместе с ними его пьют Женья — дочка прораба, медсестра, и Лиза из тоннельного отряда. Они пьют из кружек. Кружки шербатые, потемневшие, и у чая кисловатый металлический привкус.

В этих кружках чай теряет запах и цвет. Его полагаются пить из пиал. Но ни Павла, ни Аню это не смущает. Они уже привыкли.

Потом они идут в кино. Аня тащит его во второй ряд — она любит сидеть близко. Когда раздается сухой шорох аппарата и из проекционной протягивается к экрану белый луч, в котором, точно микробы в микроскопе, шевелятся пылинки, Аня замирает.

Прежде чем замереть, она берет Павла за руку. И только потом замирает насовсем до конца фильма. Рука у нее маленькая, но шершавая и твердая. От жары рука становится влажной. Павлу чуть не по себе от этой

теплой, точно раскаленной, прильнувшей к нему руки, но он ни за что не отодвинет ее.

— Его убьют,— испуганно, по-детски плаксиво говорила Аня.— Одно огорчение.

— Живой будет,— отвечал Павел. Он скучал в кино.

— Правда, живой? — шептала она и искоса поглядывала на Павла.

— Конечно, живой, Ханыс,— устало говорил Павел. Он звал ее по-хакасски — Ханыс.

Лента трещала, рвалась, чертики скакали по полотну, и в задних рядах топали ногами и кричали: «Сапожники!»

После окончания сеанса они гуляли по притихшему поселку, выходили к строящейся насыпи и шли по шпалам. Шпалы были черные от креозота, с застывшими каплями, точно они вспотели от непосильного труда. На полотне сидели парочки. А дальше полотно обрывалось, и у стыка рельсов курчавилась жесткая щуплая трава.

Там, за шпалами, лежала большая далекая земля, по которой ни разу не ходили паровозы...

Павел молчал, а Ханыс громко и возбужденно говорила.

Ей было семнадцать лет, и все в мире ей очень нравилось. Она родилась в том же улусе, что и Павел. Павел вернулся туда, отслужив три года в армии, и тут же ушел на стройку. Свой первый отпуск он провел на родине, а приехал обратно вместе с Ханыс. На стройке решили, что он собирается жениться.

— Смотри, свадьбу не зажди. А то все потихоньку делаешь...

— Я не женился,— отрывисто ответил Павел.— Там девушке плохо, здесь — хорошо. Отец, мать не имеет. Пусть работает.

Он договорился с бригадиром; ее взяли в подсобные. Дали койку в палатке, белье, полотенце. Через полгода она выучилась на бетонщицу, получила разряд. В поселке постепенно привыкли к их вечерним прогулкам, к гор-таным коротким разговорам, к тому, что они вместе. И только однажды подвыпивший водитель Егоров подошел к Павлу и, понизив голос, сказал ему доверительно и лукаво:

— Малолетку завел себе, хитрец... Вот хитрец! А ведь тихий...

Павел побледнел, тяжелая его рука, как молот, под-

нялась над головой Егорова. Но затем он враз успокоился, сплюнул с отвращением и отошел.

На этом разговоры в поселке кончились.

Много работы у Павла. Ковш точно кланяется земле, зарывается в нее, поднимается ржавая пыль, и сквозь пыльное облако блестит внизу скорая горная река. И Павел думает о той минуте, когда вблизи услышит ее чистый запах, ощутит ее вкус, горьковатый от хвои, от смолы деревьев, которые водят каждый день плотогоны. И тело заломит от холода, и он перевернется на спину, и поплывут над ним Саяны и небо, крепко схваченное горами с двух сторон. Так и было. А когда он выходил на берег, то видел геологов, спускающихся к воде. Никого из них он не знал по именам, но их лица были ему уже знакомы. А лучше всех из них он знал Катю.

Она махала ему рукой:

— Эй, Павел!

И он отвечал ей и тоже приветливо махал рукой.

Она была в желтом купальнике, и он отводил глаза, не мог смотреть на нее в упор.

— Когда научишь плавать, Павел?

— Скоро научу! Завтра научу!

— Торопись, Павел. — Она осторожно входила в воду и барахталась на мелководе.

Павел одевался и шел к машине. Заведя мотор, он смотрел на берег. Уже трудно было различить Катю. Размером она становилась с камешек, продолговатый желтый камень-голыш, гладко, до блеска обкатанный горной рекой.

Вечером в поселке танцы.

Павел лежал на койке, слушая музыку. В палатке сумрачно, пусто, остро пахнет одеколоном. Перед кино ребята не бредутся, а перед танцами — всегда. Павел засыпал. Музыка — там, вдали, и тишина — здесь, в палатке, усыпили его... Когда он открыл глаза, уже стемнело. Музыка стала громче, танцы в разгаре. Он повернулся и почувствовал, что спине его тепло и тяжело. Кто-то сидел бесшумно и осторожно, прижавшись к нему.

— Ты спи, — тихо сказала Ханыс. — Я тебя сторожу!

— Почему на танцы не пошла? Весь поселок там, а ты здесь.

— А ты тоже здесь.

— Я — одно, ты — другое. Ты молодая, танцевать должна.

— Я не умею, — сказала она.

— Девушке надо уметь.

Он встал, надел чистую рубашку, взял Ханыс за руку и повел к танцплощадке. Там он нашел своего соседа по палатке Колю, москвича, сменного мастера. Коля умел танцевать любые танцы. Кое-кто называл его даже стилигой. Это не смущало Павла. Он подвел Колю к Ханыс.

— Танцуй с Аней, — сказал он. — Ей танцевать надо...

— Как так надо? — удивился Коля.

— Так, — сказал Павел. — Можешь поверить.

Коля церемонно раскланялся перед ней:

— Прошу!

Она молчала, не двигаясь с места.

— Ну! — строго сказал Павел.

Она исподлобья смотрела на него.

Коля ждал, повернув голову к танцплощадке. Он уважал Павла, но жалел потерянное время.

— Иди, иди... — тихо говорил Павел. — Я не уйду... Тебя ждать буду.

Москвич Коля, улыбнувшись, взял Ханыс под руку и галантно повел на танцплощадку. Она шла покорно, несмело. У самой площадки она оглянулась и поискала Павла глазами. Он ждал ее. Все было в порядке. Можно было танцевать.

Павел любит утро — особенный, острый воздух, запах кедра, пихты, еще не успевшей нагреться свежей земли. Утром только успевай поворачиваться. Нагрузишь одну машину — уже пыхтит рядом вторая, разворачивается. Словно огромная просящая ладонь, пустое днище кузова. Грохот, пылица до небес, а он, веселый, поет и крутит рычаги. Он любит утренние часы за прохладу, за то, что мускулы не растратили еще ни грамма своей силы; они вздуваются матовыми блестящими шарами, на них еще нет синих ленточек вен. Это будет вечером, когда тайгу придавит зной и руки отяжелеют, не смогут так легко и мощно справляться с полированными головками рычагов.

— А ну сыпани, Павел! — кричат шоферы.

— Хватай! Хватай! — кричал Павел.

И так до перерыва. А в перерыв ему улыбаются, сверкает Кизир, ледяными руками толкает его, пробуя силу, устойчивость. Есть сила, есть устойчивость. И Кизир сдаётся, теряет напор и течёт под руками безвольно, не сопротивляясь. Вода пахнет сосновым соком и потанным холодом глубины.

Павел смотрит на берег. Пусто... Геологов нет. Где они? Павел плещется дольше обычного и затем плывёт назад. Геологов не видно. Павел вылезает, надевает на ноги резиновые сапоги, забыв навернуть портянки. «Ай-ай-ай, — удивленно качает он головой, — какой забывчивый! Прямо на голые ноги — сапоги». С ним такое редко случается. Берег пуст. Только наверху в выемке стоит его машина. Неясная тревога чуть слышно ноет в сердце. Он поднимается вверх медленно, неожиданно устав за эти короткие минуты.

— Павел, — слышит он за спиной. — Павел!

Катя стоит на берегу. Одна. Геологи не пришли. Павел мчится вниз.

— Ну как? Учиться будешь?! Сегодня, а? — с хрипотцой волнения говорит Павел. — Это просто, как два раза два!

— Как дважды два, — поправляет Катя.

— Как дважды два, — повторяет Павел и смеется.

Вряд ли он решится учить ее плавать, но не в этом дело. Теперь все в порядке.

— Это, конечно, просто, но ты опоздал, Павел. Я же говорила тебе, что ты опоздаешь.

Павел с недоумением смотрит на нее.

— Я уезжаю, Павел... Я уезжаю насовсем, понимаешь?

Павел молчит. Он чего-то не понял. Он не понял, как это «насовсем».

— Мы все сделали здесь, — говорит Катя. — Нас перебрасывают в другой отряд. А сейчас — домой... в Ленинград. Ты был когда-нибудь в Ленинграде?

Павел качает головой.

— Если будешь в тех краях, обязательно заходи...

Она пишет на клочке бумаги свой адрес. Карандаша нет, она пишет помадой.

— Нет, — говорит Павел. — Не надо.

— Почему? Ты не хочешь в Ленинград? Может быть, Ханыс не пустит тебя в Ленинград?

«Откуда она знает про Ханыс? — думает Павел. — Кто ей рассказал про Ханыс?»

— Ханыс мне сестра, — твердо говорит он. — Она сестра, понимаешь? Ханыс здесь ни при чем.

— Так в чем же дело?

— Там я тебе не нужен. Там нет реки Кизир. Там я тебе не нужен. Там тебя ждут.

— Да, — она кивнула головой, — там меня ждут. А плавать все-таки ты меня не научил.

Она садится на землю, снимает шаровары, рубашку и идет к реке. Катя плещется у скалистого берега, бьет ладонями по воде, разбивает зеленое зеркало. Ей весело оттого, что она едет домой; ей холодно оттого, что она все-таки не смогла привыкнуть к реке Кизир.

Павел стоит на месте. Он думает о том, что ни разу не назвал ее по имени. Они встречались каждый день у реки Кизир, и ни разу он не сказал ей этого слова — Катя.

— Катя, — громко и гортанно говорит Павел. — Катя!

Поздно Павел пришел сегодня в поселок. Руки устали, болят.

Вопреки обычному, он моется наскоро и тихо, без фырчанья, без веселого шума.

— Что, притомился, друг? — сочувственно говорит Коля, москвич, тот самый, что учил Аню танцевать. — Ну и работал ты сегодня, как зверь. Машины от твоей копалки так и отскакивали. — Он поощрительно хлопает Павла по плечу.

Павел молча ложится на койку. Он чувствует тяжесть своих словно разбухших рук и ног. Невыносимо скрипят новенькие ботинки москвича, хлопают двери палатки. «Только бы заснуть, — думает Павел. — И чтобы сразу завтрашний день. И работа. И больше ничего».

Вечерние звуки — там, за тонкой полотняной стеной палатки, — вышли на улицы поселка, далекие от Павла и привычные вечерние звуки. Тарахтел грузовик, привезший тоннельщиков, диктор читал последние известия, кто-то смеялся. Это были приглушенно-внятные звуки поселка, только начинающего отдыхать после долгого трудового дня. Они были тихими, и в этой тишине Павел слышал самого себя, свою боль. Поэтому они будоражили



Павла, и он хотел, чтобы сразу пришло завтрашнее утро, когда шум и горячка работы отдалят его от этой боли.

Павел встает, забирает палатку. Он не привык ходить медленно и бесцельно и поэтому шагает широко, устремленно, точно опаздывает куда-то.

Внизу лежит тихий вечерний Кизир, свинцовый, потухший.

На том берегу на круглых невысоких горах растут пихта и сосна, но издали кажется, что это просто мох. Павел идет по-над берегом реки.

— Павел! Павел! — слышится за сопкой. Его догоняет Ханыс. — Ты почему не зашел? — тихо и тревожно говорит она. — Мы пили чай без тебя. Ты заболел, Павел?

Как ей ответить? Павел молчит. Он не знает, как ей ответить.

— Может, пойдем в кино? Сегодня в клубе кино...

— Я не хочу... Я устал. Больше мы не будем ходить в кино, — говорит Павел. — Иди одна.

— Одна? — переспрашивает Ханыс.

— Одна, — тихо говорит Павел.

— Ладно, одна, — покорно говорит Ханыс и идет к поселку.

Она идет ровно, степенно, она идет покорно, и это самое главное. Она слушается его. Издали она кажется ему совсем маленькой. Издали ему кажется, что он не должен так отпускать ее. Ей семнадцать лет, ей нельзя быть одной. Он погорячился. Он легко и стремительно догоняет ее.

— Прости, — говорит он.

Она счастливо и нежно улыбается, больше ей ничего не надо. Они идут в поселок, в клуб, и Павел думает о том, как сделать, чтобы она не брала его за руку горячими маленькими пальцами, чтобы она не спрашивала про героев, которые все равно спасутся, чтобы она не ждала ответа. Как сделать, чтобы она была счастливой?

# Султан-Санджар

---



## ПРОФЕССОР

По дороге из Байрам-Али профессор решил свернуть к Султан-Санджару. Он давно собирался посмотреть, что же происходит с Султан-Санджаром, но все откладывал это... Ему рассказывали, что реставраторы работают медленно и небрежно, что они отстраивают памятник заново, что они всаживают в древние, сожженные солнечными ветрами плитки новехонький непрочный кирпич, что они придерживаются пропорций, именно придерживаются, а не соблюдают строжайшие и тончайшие пропорции архитектора Мухаммеда.

Профессор слушал; его румяное большое лицо бледнело, голубые глаза становились бесцветными, узкими, и он ругался яростно, затейливо, ни в чем не уступая по словарному запасу своему шоферу Мите.

Человек необычайно, подчас даже до утомительности, тщательный, он остро ненавидел халтурщиков всех мастей и ремесел и яростно преследовал их, отнимая у них последний кусок хлеба.

А сейчас его ярость удесятерилась тем, что сюда, на землю древнего Мерва, выезжали индийские историки и археологи. Они собирались пересечь тысячи и тысячи километров, чтобы посмотреть знаменитый мавзолей Султан-Санджара.

Профессор знал, что индусы помнят свою старину и свято берегут свои памятники.

Он все откладывал эту поездку, а сегодня наконец решил и поехал. Он уснул, у него болела голова, которая в последнее время стала вдруг не выдерживать солнца. Он носил на раскопках тропический американский шлем и зонтик, и все-таки вечерами голова начинала кружиться, странно, как бы приглушенно, болела. Песок неожиданно то темнел, то светлел перед ним, будто он все время надевал и снимал темные очки.

Ему было семьдесят лет.

Они (ученики, сотрудники, рабочие, аспиранты, обслуживающий персонал) знали, что ему семьдесят лет. Знали, но не понимали этого.

Потому что он раньше всех в экспедиции вставал. Потому что он сидел за рабочим столом по восемь-девять часов и не выказывал никакого интереса к отдыху и пище.

Потому что по всем важным и противоречивым вопросам (в том числе бытовым и хозяйственным) в конце концов они вынуждены были обращаться к нему. Потому что из них всех — молодых, современных и хватких — он один умел договориться с местными властями и вытребовать для своей экспедиции все, что было возможно (главным образом транспорт и помещения).

И они не знали, что он не встает раньше всех, а просто не спит, что он сидит, не вставая, за письменным столом только потому, что любой перерыв может на целый день вывести его из рабочего состояния, — старый мотор нельзя глушить не вовремя, потом он должен слишком долго разогреваться. Они не знали, что его ставшая легендарной придирчивая и даже мелочная точность стоила ему чудовищных усилий, ибо в сущности своей он был человеком порывистым и даже кое в чем разбросанным. (Но эту разбросанность и порывистость он укрощал в себе, как опытный дрессировщик, с юности — много лет каждый день, и вот сейчас эти трудные зверьки утихли, сдались, привыкли к высшей хозяйской воле и уже не мешают ему.) Они не знали, что разговоры с хозяйственниками и прочими начальниками дались ему не сразу, так же как и обходительность, и шутки, и умение увлечь практичных и суховатых людей какими-то фантастическими и далекими от насущных задач интересами, обращенными сугубо к прошлому — к черепкам, старым, никому не нужным развалинам, к полусгнившим скелетам вымерших,

древних, никому не нужных лошадей, к ржавым, безобразным амфорам, ко всяким мешающим нормальному автомобильному движению в пустыне полусгнившим камням, торчащим черт-те где...

Они не знали, что ни шлем, ни зонтик не могут спасти белую большую голову от странной то вспыхивающей, то гаснущей головной боли. Что эта голова каждый раз впитывает все большую, все нарастающую дозу усталости, оседавшую в мозгу, как пыль, каждый день, каждый месяц.

Они не понимали, что ему семьдесят (не шестьдесят пять, даже не шестьдесят восемь — семь-де-сят лет).

Может быть, они были слепы, эгоистичны, не берегли его? Нет, они заботились о нем, пытались создать ему лучшие, чем другим, условия, даже в поле готовили ему специальную, отдельную от всех еду (которую он почти никогда не ел, так как питался из общего котла). Они спорили с ним, но всегда прислушивались к нему, обижались, злились, иногда просто изнемогали от его пунктуальности, от его постоянного, почти назойливого внимания к каждому их шагу, но любили, как никого другого. Одного только не понимали: что ему семьдесят лет. А как это было понять, если он целый день не уходил с раскопок, а вечерами вел свои записи, без конца продолжал работу по парфянским ритонам (получившую известность во многих странах), писал длинные письма крупнейшим археологам мира, ловил каждую мельчайшую ошибку в работах своих студентов, и целовал ручки женщинам, и поглядывал на них маленькими, блестящими от интереса глазами... Вот и пойми тут, сколько ему лет!

Экспедиция разместилась в конюшне. Это было очень длинное, узкое помещение, оставшееся в наследство от колхоза имени Буденного, слившегося с другим, соседним.

Там жили они все: в одном крыле конюшни мужчины, в другом — женщины, а посередине, в маленькой комнатке, похожей на землянку, — профессор. У входа в конюшню на красном плакате профессор велел повесить латинское изречение:

**СТУПАЙ ВПЕРЕД — И БУДЕШЬ  
СТАНОВИТЬСЯ ЛУЧШЕ.**

Вот они и ступали вперед от экспедиции к экспедиции, от Эр-Кали к Гяур-Кале, от Мерва к Нисе. От палаток к старому сараю или конюшне, от поверхности к глубине, от черпаков к государству, от картины вечного, ушедшего к недавнему, от недавнего к сегодняшнему. Они шли вперед, его ученики и товарищи, шли вместе с ним, и взрослели, и писали исследования, и получали степени: от аспирантов к кандидатам, от кандидатов к докторам... Вперед и вперед.

А он уже имел все степени, какие есть, но тоже шел вперед и становился лучше... и старше. «Ступай вперед — и будешь становиться лучше».

А что впереди?

Машина шла к мавзолею.

Пустыня по-вечернему тускнела, потеряла живой, теплый цвет и стала гипсово-мертвой. Профессор не смотрел по сторонам: ему давно набил оскомину этот лысый пейзаж. Он знал, что пустыню любят только туристы, а те, кто здесь живет, не любят ее — они только сосуществуют с ней.

Он все время зевал, не оттого, что хотел спать, а от головной боли, спазматически.

— Ко сну клонит? — спросил шофер Митя. — Ничего, завтра воскресенье, отоспитесь. Или опять лекцию будете читать?

По воскресеньям в нерабочее время он читал лекции для учащихся соседних школ.

— Завтра не буду читать, — сказал профессор. — А насчет отоспаться — это вряд ли...

— Это что ж получается, — сказал Митя, — какой же интерес без выходных работать? Человек и выпить должен, и в кино сходить, и с женой погулять.

— Должен, Митя... Только вот, когда работа не задается, сидишь ты в кино, ленту смотришь, а сам о своей работе думаешь. И никакого удовольствия.

Митя покачал головой:

— Это у вас-то не задается?.. Это сейчас?

— Да нет... всю жизнь. Это уже наука такая или, может, я такой. Что-нибудь да не задается.

— Чудно получается, — сказал Митя и повернул машину.

— А насчет выпить — это я всегда пожалуйста. Был бы коньячок.

— Найдем,— улыбнулся Митя.— В крайнем случае в Мары слетаем.

Он посмотрел на профессора в узкое зеркальце. Митя меньше других соприкасался с профессором на работе, когда профессор был подтянут, быстр, повелителен. И чаще других наблюдал его усталым, долго, судорожно зеваящим, раскинувшим большое, рыхлеющее тело на заднем сиденье. Сейчас профессор сидел закрыв глаза.

— Может, окошко открыть? — сказал Митя.

— Не надо... Там пыль,— не открывая глаз, сказал профессор. Сегодня ему было хуже, чем обычно.

— Вот Султан показался,— сказал Митя.

Профессор открыл глаза. В слегка гребнистом от ям и все-таки бесконечно плоском пространстве тихо, тускло мерцал седоватый купол, похожий издали на огромную каску. Профессор ожил, попросил остановить машину и пошел к мавзолею. Он шел довольно быстро, сильно размахивая руками. Он забыл про головную боль, про головокружение и зло нацелился обострившимися глазами на мавзолей, ища плохо пригнанные швы, оттенки чужеродного материала, торопливые следы ненавистных ему ашхабадских халтурщиков. Мавзолей все вырастал навстречу профессору, и вершина его переставала быть мрачной каской, а становилась постепенно грандиозным куполом, мощно и мягко прорисованным в высоком темнеющем азиатском небе. И вдруг, уже совсем близко от мавзолея, профессор резко застопорил свой быстрый и гневный шаг.

Он удивленно поднял голову и застыл.

Там, над самым куполом, на огромной высоте, крошечная, как шахматная пешка, тревожно и странно маячила человеческая фигура.

«Что за чертовщина! — подумал профессор.— Нет, я совсем расклеился».

Он снял темные очки и еще раз, уже спокойно и пристально, посмотрел вверх.

Фигурка не исчезала. Он подозвал Митю и крикнул, показав рукой на купол:

— Видишь?

— Вижу,— сказал Митя.

— Чертовщина какая-то.

— Почему чертовщина? — рассудительно проговорил Митя.— Обыкновенный человек. Мальчик.

## МАЛЬЧИК

Мальчика звали Халматов Каля. Был он высокий, тонкий в кости, темный лицом почти по-негритянски. По национальности он был узбек, хотя числился в документах туркменом.

Родители его погибли в землетрясение. Среди прочих осиротевших детей его отдали в детский дом для малолетних, и уж какая там национальность — многие из них и фамилию свою не знали. Только потом стало ясно, что он не туркмен — такие лица у гузов не бывают, такие раскосые, с глазами узкими, длинными, отставленными друг от друга далеко.

Халматов Каля был парень тихий, что называется некомпанейский. Был он уступчив, дружелюбен, не больно-то общителен. В баскетбол он не играл, на спортплощадке появлялся редко. И часто после уроков исчезал куда-то на много часов и появлялся только вечером. Его спрашивали:

— Где был?

Он отвечал вяло:

— К Султан-Санджару ходил.

— Чего там делал?

— Да так... Гулял просто.

Ребята ухмылялись. Никого из них особенно не интересовала эта огромная историческая развалина. Все они были там по разу в порядке обязательной экскурсии, и никому в голову не приходило таскаться туда по собственной воле в драгоценное внеурочное время.

Вот и сегодня к вечеру он отправился в район раскопок. Он шел пешком километров шесть, пока не добрался до ворот старого Мерва. Археологи уже не работали. Изрытая пепельная земля наливалась быстрым и непрочным румянцем вечеряющего солнца. Мальчику стало грустно оттого, что археологов нет. Кто его знает, зачем он ходил сюда! Может, из-за них и ходил. Они уже не удивлялись ему и поручали ему всякие мелкие работы. Иногда он копал вместе с рабочими, иногда таскал из лагеря воду в легких алюминиевых ведрах, а однажды его допустили в конюшню, и он присутствовал при обработке материала. Археологи как бы его и не замечали. Разговаривали с ним мало, а все же привыкли к нему и уже обращали внимание на его отсутствие.

Они сажали его с собой есть, и это была какая-то радостная еда, гораздо более радостная, чем в детдоме (хотя кормили в детдоме и калорийнее и сытнее).

Он с наслаждением слушал их разговоры о людях и предметах ему вовсе не знакомых, их шутки и прозвища, и розыгрыши, и даже иногда резкие и грубые на вид перебранки, которые быстро и беззлобно затухали. Каля знал, что такое злость, и боялся злости, и ему нравились эти незлые, говорливые и работающие люди.

Но особенно ему нравился профессор. Он был прямо-таки поражен, когда впервые увидел профессора. Профессор медленно шел по земле древнего Мерва, американский тропический шлем грозно облегал его крупную голову, белый, прекрасно отутюженный костюм сверкал на солнце. Профессор энергично помахивал над своей головой зонтиком на тонкой гнутой трости, что-то быстро и громко говорил, и мальчик с изумлением слушал эту речь, этот сильный баритон, слова, произносимые свободно и властно, чуть округленные легкой картавостью.

Мальчика, правда, удивило, что этот человек потом сел на корточки и долго копался в земле и что-то говорил другому, молодому человеку, а тот с м е л спорить с ним.

Мальчик с неприязнью посмотрел на спорщика, но потом он увидел, что профессор не обиделся, и успокоился. Его удивило, что профессор обедал вместе со всеми, прямо в поле, так же, как все остальные, пил, обжигаясь, зеленый чай и ел постную каурму, вяленое баранье мясо. Профессор заметил мальчика, пристально на него глядящего, и мимоходом спросил его:

— Ты что, рабочий?

Каля замялся, не знал, как ответить.

— Да нет, он сочувствующий,— сказал кто-то из археологов.— Детдомовский, из Байрам-Али.

Мальчик думал, что профессор прогонит его: археологи не любили, когда рядом торчали и глазели на работу посторонние, но профессор промолчал.

Вновь мальчик увидел профессора в воскресенье, в музее (в конюшне), где были собраны различные черепки, и ведра, и какие-то кости, и надгробные камни, и еще всякие вещи. В тот день профессор читал лекцию для молодежи о прошлом этого края. Профессор говорил о различных племенах, здесь живших, о том, что все эти



черепушки помогают нам воссоздать картину древнего общества и его культуры и что это нужно не просто так, для баловства или для чистой науки, а вроде бы и для сегодняшней жизни, чтобы человек представлял себе историю и, постигая прошлое, двигался к будущему. Профессор много еще говорил о древних гузах, то есть туркменах, какие у них были привычки, обряды и нравы, и про их строй, и про их семьи, и даже про вино, которое они пили. И мальчику почему-то стало очень жаль, что они так бедно и плохо жили, и ни в чем толком не смыслили, и верили каким-то дурацким богам, и спали в каких-то домах без окон, похуже нынешних времянок, не то что без газа, а даже и без керосина. И еще ему было жаль их потому, что вот они копошились и копошились и с кем-то тягали права да спорили и воевали, а в результате остались одни головешки да кувшины, ни на что не годные, да надмогильные плиты со стершимися буквами... И мальчик вдруг впервые подумал с изумлением и тоской о том, что это в конце концов происходит не с одними только древними гузами. Это происходит со всеми... И, может быть, даже с ним. Это было невозможно. Он улыбнулся от нелепости и печальной странности этой мысли. Он знал, что это так с другими, но не с ним... С ним этого не может быть, потому что как же так, чтобы его не было, когда он есть и живет, и дышит, и смотрит, и должен дышать, жить и смотреть — всегда.

Но профессор начал говорить о Султан-Санджаре, и мальчик отвлекся от своих мыслей. Профессор сказал о том, что был такой султан Санджар, очень жестокий, сильный, и все трепетали перед ним и подчинялись. И был какой-то архитектор, молодой парень из Астыза. И вот он по велению султана Санджара начал строить эту громадину. И когда султан помер, его туда и поместили. Ну, умер и умер, и все его забыли, вроде бы никто его не боялся и не страдал от него. Те, которые от него погибли, и знать не знали о Султан-Санджаре, а живые своими делами занимались — только помянут этого султана нехорошим словом, да и все. А мавзолеей стоит. Красота необыкновенная. Вот уже и архитектор умер, и сын его, и династия Санджаров кончилась, а мавзолеей стоит. Вот уже и века прошли, и уже могилу этого архитектора не разыщешь, да и фамилию его забыли, знают только, что звали его Мухаммед, а памятник стоит. Человека, значит, и в

помине нет, а то, что он придумал и совершил, над чем старался, не гибнет. Эта мысль приободрила мальчика, и он решил, что ему надо будет тоже что-нибудь такое сделать. Но он еще точно не знал что́. Это надо было обдумать.

На другой день он пошел к мавзолею. С тех пор он стал бывать там очень часто...

И сегодня пешком, прямо из детдома, он отправился туда.

Около мавзолея всюду был набросан кирпич, торчали какие-то деревяшки, сторожа не было, реставраторов тоже: они работали чуть ли не раз в неделю и приезжали сюда из города Мары.

Мальчик сел на песок, закурил: он иногда курил, покупал себе махорочные сигареты.

Археологи тоже сегодня не работали здесь, мальчик был одинок совершенно. Он жалел, что археологов нет, но такое одиночество ему тоже нравилось. Ему нравилось или многолюдье, или одиночество. Он не любил сидеть с кем-нибудь вдвоем и вести беседы. Он не знал, о чем говорить, например, об археологах, или о профессоре, или о Султан-Санджаре.

Это было внутри него — чем-то неопределенным, трудно передаваемым. А он мог говорить только о фактах: учусь там-то, работаю там-то, живу там-то.

Он был молчалив. И ему нравилось молчание пустыни. Здесь он мог думать о своих родителях, о том, какие они были, как жили. Он их не помнил совершенно, иногда ему казалось, что он их помнит — их жесты, расплывшиеся очертания лиц, звуки голосов. Но потом это исчезало, как оборванный сон: ни забыть, ни вспомнить. Тосковал он о них? Да нет, чего ж тосковать, если он их не знал, не помнил. Только иногда он думал с печалью и странным раздражением: «Почему я родился в этом городе, когда есть тысячи других городов, где люди никогда не гибнут от своей земли?» И он не любил этот город, хотя знал, что Ашхабад отстроен уже и красив, но ему не хотелось туда.

Он выкурил сигарету, бросил ее, вошел внутрь мавзолея, постоял над гробницей, послушал, как гулко и протяжно кричали птицы. Сегодня они кричали громче, чем обычно, — может быть, пустыня ждала дождя. Ему стало тревожно и весело от этого крика, оттого, что завтра,

может быть, будет дождь. Завтра воскресенье, и он поедет к знакомым чабанам, будет есть дыни и пить холодный чал — верблюжье молоко, пасти отару на выгоне вместе со своим приятелем Мурадом.

Птицы орали нестерпимо громко, купол усиливал их голоса, и мальчик крикнул, пугая птиц. Его крик, как распоротый воздушный шарик, чуть взлетел вверх и бесильно упал здесь; внизу звук был слаб, немощен; там, наверху, почти всемогущ. Мальчику захотелось вверх, к куполу, к сплетению серых, замерших в полумраке конструкций. Ему хотелось туда всегда, когда он приходил к Султан-Санджару, но то работали реставраторы, то он боялся и, взобравшись на первый пролет, возвращался вниз.

А сейчас ему страстно захотелось вверх, он чувствовал легкость, и силу, и острое любопытство к высоте. И он полез вверх ловко, быстро, спокойно. У него хорошо было развито чувство равновесия, на уроках физкультуры он лучше всех ходил по перекладине.

Движение захватывало с каждым метром, с каждым новым переходом вверх, с каждой новой полуразрушенной лестницей, висящей между небом и землей. И с каждым метром движения его автоматически становились увереннее, осмотрительнее, трезвее. Он чувствовал это и радовался этому. Он думал: «Может быть, спуститься? Зачем мне вершина Султан-Санджара, чего я там не видел?..» Но высота теперь уже владела им, и, сам того не сознавая, он шел вперед к цели, уже не умея свернуть с пути.

«Пора назад, — говорил он себе, — еще разобьюсь, как дурачок».

Пыль сыпалась на него, она слежалась, превратилась в комки, была тяжела, как глина. Птицы галдели уже рядом, прямо над головой, а внизу крохотным квадратиком серела гробница Султан-Санджара.

Теперь он был почти на вершине, он остановился, плюнул вниз, засмеялся и тихо сказал:

— Все.

Тихий возглас прозвучал низко и мощно, точно не он произнес это короткое слово, а чья-то луженая, страшная глотка.

— Высота! — закричал мальчик.

«Ата...» — подхватили стены.

«Та-а-а...» — громыхал купол.

«А-а-а...» — гудел молчаливый, обалдевший от дерзкого, неслыханного грохота Султан-Санджар.

Мальчику понравилось. Он бросал в эту глотку, под этот невидимый усилитель все новые и новые слова. Ему не хотелось молчать, он узнавал радость голоса, радость звука, принадлежащего уже не тебе. Наконец он выбрался на самый верх, на овал купола.

Он посмотрел вниз не сразу, обождав, чтобы не закружилась голова, стерев пот со лба и щек. Посмотрел сначала как бы вполглаза, а потом стал смотреть жадно, с напряжением, с радостью и видел пустыню так, как будто бы никогда до этого не видел ее. Она походила на огромную смятую кошму, желтела ярко, далеко. В пустыне было много воздуха, и было странно, что там, внизу, тяжело дышать. Теплый, мягкий ветер проходил над барханами легко, оведал их несильно, почти нежно, как веер.

Мальчик бросил вниз камешек. Камешек летел долго, переворачивался, точно крошечный парашют. Мальчик с озорством подумал о том, что и он мог бы вот так же лететь вниз, переворачиваясь, как парашютист, упасть в мягкий теплый песок и не разбиться. Но он был достаточно осторожен, достаточно мудр, чтобы сделать хотя бы одно лишнее движение. Сердце его захмелело, а мозг работал четко и деловито. Он знал, что вниз лезть опаснее и гораздо труднее, но не жалел, что поднялся, и был уверен в себе. Он надеялся на Султан-Санджара: Султан-Санджар не должен был подвести его.

Вдруг он услышал внизу легкое шелестение. Подошла машина. Из нее вышел человек, маленький, шагающий сердито, быстро... Человек шел, чуть избычив голову, шагал прямо на Султан-Санджар, затем остановился на полшаге как вкопанный, поднял лицо и посмотрел вверх.

Мальчик узнал профессора. Фигура эта была знакома мальчику почти так, как если бы это была фигура отца. Он даже ощутил запах, связанный в его представлении с профессором: запах бритья, одеколона «Эллада», детского мыла. Чуть поодаль темнела фигурка шофера.

У мальчика все заныло внутри от желания быть замеченным профессором, быть замеченным не на секунду, а надолго, может быть навсегда.

Профессор стоял внизу, задрал большую седую голову, смотрел с изумлением и, как казалось мальчику, с не-

довольством. Мальчик отпрянул от края купола, он испугался этого недовольства, он вдруг подумал, что теперь профессор не станет его пускать к археологам, что все это было глупостью, что больше он не увидит профессора из-за своей дурацкой затеи.

Отступая, он видел, как профессор махнул ему рукой, приказывая не двигаться, услышал его голос, слабый, как бы высохший.

Еще отчетливее он слышал голос шофера:

— Какого... черта... забрался... куда... понесло?..

Это кричал шофер Митя, он тоже сердился. Раньше они его не замечали, теперь они сердились. Потом он снова отчетливее услышал голос профессора.

— Вызовем... Снимем!..— кричал профессор.

— Не надо! Я сам! — испуганно и радостно крикнул мальчик, счастливый тем, что если профессор и сердился, то не очень, что профессор заботился о нем.

— Я сто раз тут лазил! — кричал он.— Не уходите... Подождите!

— Ждем! — крикнул профессор, сложив руки рупором.— Только не разбейся!

— Не разобьюсь! — ответил мальчик и добавил почти шепотом: — Только подождите, еще несколько минут подождите, еще несколько минут подождите, и все будет в порядке, все будет в порядке...

Так они кричали друг другу и волновались, а Султан-Санджар равнодушно молчал, потому что крик шел не вниз, не в своды, а мимо — в воздух. Ему было все равно, он видел тут всяких людей: мальчиков, и профессоров, и муэдзинов, и реставраторов. Даже Омара Хайяма он видел здесь.

Омар Хайям появлялся здесь частенько, он служил астрономом у султана Санджара. Султан не интересовался поэзией.

Поэзией Хайям занимался внештатно.

Давно это было.

# Двое в квартире



Мы много работали сегодня, и я устал.

Вечер был прохладный, ветреный, но уже весенний; девчонки играли в считалку возле нашего дома; на улице было необычно шумно.

Да, я, видно, здорово устал. Я даже не остановился у «Вечерки», хотя там были результаты футбола... «Ну, «Динамо» выиграло, а мне-то что... Ведь не я же выиграл», — подумал я. Это было что-то новое. Раньше я всегда переживал за «Динамо». У своего подъезда я встретил Димку Тюрина.

— Здорово, пролетариат! — приветствовал он меня.

— Здравствуй, Дима.

Мы вошли в лифт.

— Какой прикажете? — спросил он и повертел рукой перед кнопками.

Это он так шутил. Всю жизнь мы жили в одном доме, и он прекрасно знал, что мне нужен пятый.

— Ну, как дела, рабочий класс?

— Хороши дела!

— Ты где работаешь-то? Я все забываю.

— На заводе замочных изделий.

Он засмеялся:

— Это здорово — замки делать. Чтобы воры не влезли.

«Дурачок, — подумал я. — Думает, раз завод замочных изделий — значит, замки. Мы делаем сложные детали для автомашин, делаем карбюраторы». Я хотел сказать ему об

этом, но лифт остановился. Он предупредительно открыл дверь.

— Ну, а ты как? — спросил я.

— Я в порядке... Ты же знаешь, я в экономическом. Целыми днями рубимся в волейбол. Сейчас ведь первенство вузов. Боремся за третье место с химиками. А ты играешь?

— Нет, — ответил я. — Редко. Что-то не тянет.

— Зря... Ты здорово ставил блок... Помнишь? И вообще зря ты не дотянул десятый класс. Вместе б поступили. Играли б за одну команду.

— Надо идти домой, — сказал я. — Пока.

Я захлопнул дверцу лифта. Он махнул мне рукой и крикнул:

— Не забывай школьных друзей!

Над моей головой мелькнули его ноги в лыжных ботинках. Он поехал на свой седьмой этаж. Я поискал ключ, повозился у замка (его давно пора починить), вошел в квартиру.

Дверь на кухне была полуоткрыта. Около плитки стоял старик, мой сосед, и что-то жарил... Видимо, рыбу. У этой рыбы был душный, терпкий запах. Странный человек этот старик. Сам себе жарит рыбу, сам моет посуду, сам натирает пол... Неужели он не может завести себе работницу? Я никогда в жизни не стал бы себе жарить... Лучше пойти в закусочную. Я вошел в свою комнату. Надо что-нибудь поесть. Есть бутылка молока, печеночный паштет в банке, сыр, правда, он черствый. Чтобы сыр стал мягким, нужно положить его в молоко. Так всегда делала мать. Я положил сыр в молоко и стал ждать. Скоро он станет мягким, через каких-нибудь пять минут. Я зажег свет, достал с пола газету. Старик регулярно засовывал газеты под дверь, так как я уходил очень рано и почту получал он. Еще ни одна газета не пропала.

Я вытащил сыр из молока. Он был по-прежнему черствым; он выпал у меня из рук и стукнулся об пол, как камешек. Весь пол был заляпан молоком. Я выругался, вскочил, схватил тряпку, а потом вспомнил, что мать меня ругать не будет.

Я никак не мог привыкнуть к этому. Теперь я сам себе хозяин, никто меня не ругает. Только, пожалуй, на заводе меня иногда поругивает мой мастер Филиппов.

Я выбросил сыр в окно и вилкой открыл паштет. Паштет был очень горький, но пришлось съесть полбанки, так как ничего другого не было.

«Надо лечь спать», — решил я. Завтра в шесть уже надо быть на заводе. Завтра интересный день. Мы будем прессовать некоторые детали из железного порошка. Это в семь раз дешевле, чем делать из металла. Мне это кажется несколько фантастическим, хотя мой мастер Филиппов говорит, что это получится... Завтра посмотрим.

Я лег на диван... Раздеваться не стал, может быть, еще не захочется спать...

Все-таки чувствуется, что уже весна. Ветер совершенно другой — легкий, острый.

Наверху разучивают гаммы. Это Вера из музыкальной школы. Она упражняется каждый вечер. Ее мать говорит, что она необыкновенно способная. Вера очень маленькая и, конечно, в очках, как все вундеркинды. От этих гамм мне не по себе. Они меня одновременно и усыпляют и раздражают.

Все-таки хорошо, что весна... Скоро можно будет ходить без пальто. Когда начиналась весна, я первым в классе приходил в школу без пальто. Это был настоящий праздник. И потом, можно было убежать с уроков, так как главным препятствием была раздевалка...

А самой чудесной была прошлая весна. Мы с Галей ходили каждый вечер в парк культуры, катались на пароходке, сидели на пустой палубе, на холодном, сильном ветру, и целовались. Нам никогда не надоедало целоваться. Мы обычно не успевали на метро и утром вместе опаздывали в школу.

Нас не пускали, и у нас не было другого выхода, как идти в кино.

Была мама. Она недолюбливала Галю. А может, ничего этого не было... Я уже не школьник, а самостоятельный человек, зарабатываю себе на жизнь. Галя тоже не школьница: она студентка и — как это называется — замужняя женщина...

Нет, все-таки это было!

А наш знаменитый поход в шашлычную! Я продал несколько книг и пригласил Галю в шашлычную на ВСХВ. Я выбирал шашлыки по толстому преискуранту, где все было написано по-грузински. Я держался как уверенный и знающий человек. С официантом я разго-



варивал холодно и деловито. Но потом я что-то спутал. Я разозлился и вспылал. В конце концов я потерял от волнения несколько рублей и стал искать по карманам мелочь и давал официанту мелочью. Он презирал меня и Галю. А я презирал его. Мы шли домой, и я молчал. Все было мне противно. А Галя меня тормошила, смеялась и, уходя, сказала:

— Ты — чудак. Зачем ты стараешься показать, что умеешь заказывать? Ты этого не умеешь и никогда не будешь уметь. Но все равно я тебя люблю. А другие делают это легко и уверенно... Но ты не такой.

Я спросил ее:

— Откуда ты знаешь про других?

Она пожала плечами.

Впрочем, она сама не такая. Да и ее муж не такой. Он — молодой физик, у него уже есть кандидатский минимум, и он, по ее словам, гениальный человек. Рассеянный и гениальный, как Альберт Эйнштейн.

Она очень увлекается людьми, она умеет загораться мгновенным безраздельным восхищением. Каждый из ее друзей — талант. Даже волейболист Димка — талант, хотя всем ясно, что он дурачок и пустышка. Только я не талант. Я просто «интересный человек».

Вот эти восхищения меня всегда раздражали. И еще то, что она разыгрывала из себя мальчишку-сорвиголову, «своего парня». Это вроде того, что некоторые женщины ходят в брюках, а им это не идет...

И потом, она все время цапалась с моей матерью. Она считала мать мещанкой... На первый взгляд, она была права. Моя мать любила сентиментальные фильмы, отмечалась каждую неделю в очереди за каким-то гарни-туром и совершенно не переносила, чтобы был грязный пол. Она дала бы мне за пролитое молоко... Но это была моя мать, и я плевал на то, что Галя считает ее чистюлей и мещанкой. Впрочем, Галя все-таки пришла на похороны матери, хотя мы уже были с ней в ссоре.

Она сказала, что будет приходить ко мне каждый день и будет мне готовить. Она умела и любила быть чуткой.

Да, видно, я не засну. Пойти, что ли, погулять? С ребятами не хочется. Будут опять советовать пойти в вечернюю школу, будут говорить: «Ничего, держись молодцом». Они хорошие люди, но зачем мне их уговоры. Я и так молодец, я и так поступлю в вечернюю школу.

Только через год, когда привыкну к производству и не буду так уставать.

Куда же пойти? В комнате грязно, отвратительно. Надо все-таки прибрать. И вообще она стала огромная, пустая. Это оттого, что я продал буфет. Гигантский, сверкающий пузатый буфет, похожий на директора нашей школы. Ох, как я мечтал от него избавиться! Но когда продал, комната что-то потеряла. Он всю жизнь был здесь, этот буфет. Я родился — он уже был здесь. Я начал ходить и цеплялся за него. Отец ушел на фронт, и его письма лежали на верхней полке, под какими-то расписными тарелками. Буфет был священным местом, куда мне не было путей. Он запирался на ключ, на большой резной золоченый ключ, который я потерял. За это буфет оценили чуть ли не на 100 рублей дешевле, как вещь «с дефектом». Наверное, я нехорошо поступил, что его продал. Мать бы обиделась. Это был ее буфет. Он всю жизнь жил с нами. Но мне нужны были деньги. А без буфета совсем другая комната. Не мамина. Моя. Грязная, большая, «холостяцкая», как говорят в таких случаях.

Я встал и прошелся по комнате. Пойти, что ли, к Генке? Во мне поселился, очевидно, «микроб вечера». Это Галино выражение. Особый такой микроб, он попадает в организм весной, во время экзаменов, и жжет и гонит на улицу — бродить, слоняться, читать афиши... терять попусту время...

Галя... Пожалуй, я все-таки не удержусь. Пожалуй, я позвоню ей.

«Галя! — скажу я ей. — Здравствуй! Это я».

«Куда ты пропал? Вот чудак», — ответит она.

«Так просто... Я был занят», — скажу я.

«Знаем мы твои занятия», — усмехнется Галя.

«Пойдем в кино? Хочешь? Или в парк... В шашлычную. У меня есть деньги. Я их заработал сам. Будем пить мартовское пиво».

«Пойдем, — ответит она. — Я уже соскучилась по тебе. Только не в шашлычную. У тебя опять не хватит денег, и мне будет стыдно-стыдно...»

Нет, не то. Она скажет по-другому. Она скажет:

«Я не хочу идти с тобой в парк, я не хочу идти с тобой в кино. Зачем, собственно? И вообще кто ты такой? Недоучка, бросивший десятилетку перед экзаменами на аттестат. Где ты работаешь? Где? Завод замочных изде-

лий? Мое сердце и так на замке, для тебя, конечно. А для него оно открыто — он ведь умница, гениальный физик».

«А, это маленький такой, с голым черепом? — спрошу я. — Это тот, что похож на крысу?»

«Просто у него выпадают волосы. У всех, кто много думает, выпадают волосы», — ответит Галя.

Нет, так она не скажет, конечно. Ее не испугают мой завод замочных изделий и неполное среднее образование. Она не такая.

«Просто я люблю его, — скажет Галя. — Он лысый, маленький, но я его люблю. Что ж тут поделаешь?»

Я встаю и открываю дверь. Подхожу к телефону. Я совершенно спокоен.

— Алло? — Это мужской глуховатый голос.

— Галю, пожалуйста!

Секундная пауза. Сейчас он поинтересуется, кто ее спрашивает. Нет, не спросил.

— Одну минуточку, — вежливо говорит мужской голос.

Пауза. Шорохи. Тишина.

— Я у телефона, — говорит Галя быстро, задыхаясь, будто она только что вбежала в квартиру и не успела снять пальто.

Пауза. Молчание. Очевидно, не сразу поняла, кто это «я».

— Здравствуй, Витя... Ты совсем исчез.

— Я был занят... Я много работаю.

— Где же ты работаешь, Витька?

— На заводе... Нет, не на автомобильном. На заводе замочных изделий.

— О, это, наверно, интересно, — без тени иронии, с энтузиазмом говорит она.

— Нет, это не так уж интересно, как кажется, — говорю я и чувствую, что впадаю в неправильный тон.

— Ну, а как ты... вообще... Трудно с непривычки? Как проводишь свободное время?

— Хорошо. Играю в волейбол, баскетбол, настольные игры. Но особенно увлекаюсь танцами. Знаешь, у нас на заводе замочных изделий все увлекаются бальными танцами.

Наверное, обидится и повесит трубку. Какой я идиот!

Пауза. Встревоженный, участливый голос, этаким «материнский»:

— Что с тобой... Ты мне не нравишься.

— Со мной ничего... Я тебе никогда не нравился...  
А как твой физик? Он сделал открытие?

Сдержанный голос, с достоинством:

— Я сделала открытие, что ты очень изменился.

— До свиданья, Галя... Я из автомата. Тут стучат.

— Может быть, зайдешь к нам? Мы будем рады.

— Я тоже буду рад. До свиданья.

Я подержал трубку около уха. Короткие, несущиеся куда-то гудки... Вот и поговорили. Какой я нелепый, глупый человек! Я стою в коридоре. Висит на вешалке демисезонное пальто старика. Он вытащил его к весне, и оно резко пахнет нафталином. Висит мой велосипед с проколотой шиной. Да, у нее осталась моя любимая книга «Кола Брюньон». Забыл совсем. Я иду в свою комнату. И вдруг, сам не знаю зачем, стучу к старику.

В комнате его светло, просторно. Пол блестит и отражает люстру. Люстра желтая, она похожа на оборванную ромашку. Он сидит за круглым столом, играет в шахматы... сам с собой. Когда-то в этой комнате стоял большой квадратный стол. Это была наша комната. Но мать умерла, и ее дали старику. Он, говорят, был участником двух революций... На вид не скажешь. А комнаты мне не жалко. Зачем мне две...

— У вас нет закурить? — говорю я.

Он поднимает лицо от шахмат. Лицо у него квадратное; оно похоже на морду дога. Старого, умного дога, с желтыми глазами.

— А ты разве куришь? Ты ведь не куришь?

(Какой он наблюдательный; мы ведь с ним никогда не разговаривали, только «здравствуй» и «до свидания».)

— Иногда курю... А иногда даже и пью.

Он смотрит на меня и говорит:

— А в шахматы ты играешь?

— Очень плохо... Но разве можно играть с самим собой в шахматы?

— Это я разбираю партию Ботвинник — Таль, из их матча. Ты за кого болеешь?

— Я за себя болею.

Он встает, достает из шкафа папиросную гильзу, сам ее набивает табаком и дает мне.

— За себя многие болеют, — говорит он. — Но это обычно скучные люди.

Я курю. Последний раз я курил в школе, в уборной. Я задыхаюсь, мне горько, но я все-таки курю. Потом у меня появляются слезы от дыма. Потом...

— Что с тобой, Витя?.. Ты плохо себя чувствуешь? (Откуда он знает мое имя?) Не надо... Ну, что ты... Давай поиграем в шахматы... Ты — за Ботвинника, я — за Таля.

Я молчу. Сейчас я, наверное, задохнусь. Меня душат предательские, враждебные руки. Есть только один выход не задохнуться — плакать. Но я не умею плакать, я делаю это очень странно, со стоном и без слез.

— Ну, хочешь, пойдем гулять... или в кино, — говорит старик и садится около меня.

— Не хочу. Я остался один. Матери нет, а с Галей мы разошлись.

— Она вернется, Галя, — убеждает меня старик. — Женщины, знаешь, они какие.

— Откуда мне их знать? Я вовсе их не знаю — женщин. Я только Галю знаю.

Старик уходит на кухню. Он хлопочет. Он ставит на стол печенье.

Странный старик, думаю я. Неужели ему трудно нанять работницу... Разыгрывает партию за Таля и Ботвинника. Чудак. Я оглядываюсь. На стене висит портрет старика, написанный масляными красками. Старик выглядит богатырем, он в шлеме со звездой, на груди — пулеметные ленты, а на ногах какие-то странные сапоги.

— Почему вы не заведете себе работницу? — спрашиваю я у него, когда он появляется в комнате с чайником и заваркой.

— Знаешь, я к этому не привык. Я прекрасно справляюсь сам.

А что я знаю о нем, об этом старике, который живет теперь в квартире моей матери? Действительно, что я о нем знаю? Что он встает всегда в одно и то же время, в семь часов, что он делает утреннюю гимнастику для пожилых, что он очень аккуратен, но никогда не делает мне замечаний, если я не вытираю пол в ванной и если не гашу свет в туалете... Что еще?.. Что по воскресеньям он наряжается в лыжный костюм, в котором он очень смешон, и куда-то уходит; что по вечерам к нему приходят такие же старики, как и он сам. Они разговаривают, пьют чай, поют песни революционного подполья. Вот и все, что я знаю о нем.

— Что это за странные сапоги на этом портрете? — спрашиваю я. — И вообще у вас здесь мощный вид... Вы похожи на Пархоменко.

Старик задумался.

— Это не сапоги, это — ичиги. Их носили на Дальнем Востоке... Впрочем, это целая история.

— Ну, расскажите... Это же интересно... Революция, Дальний Восток. Я очень люблю историю гражданской войны... Знаете, в красном переплете, том первый.

— Еще бы мне не знать, — улыбается старик.

— Ну, так что же? Вы же хотели рассказать про ичиги, — пристаю я к нему.

Старик пьет бесшумно, мелкими глотками.

— Да это длинная история, — говорит он. — Просто я бежал тогда из тюрьмы в Хабаровске, там был атаман Калмыков... Ну, и шел по тайге один... Потом ботинки сносились, шел в портянках.

— Ну, а ичиги? — спрашиваю. — Откуда же ичиги?

— А ичиги мне подарили в одной деревне... В Архангеловке. Подарила одна женщина... Но это все сложная история.

— Ну, это ведь самое интересное... А дальше что было?

— Ну, а дальше была гражданская война, — улыбается старик. — Бери варенье, чудак.

«Ишь он какой, старик, — думаю я. — Видно, немало он перевидал... В портянках по тайге — это не что-нибудь. А ведь по нему не скажешь».

— А эту женщину вы видели еще? — говорю я и накладываю себе варенье. Оно легкое, как вата. Это болгарский конфитюр.

— Какую еще женщину? — удивленно спрашивает старик. Он, видимо, забыл, что говорил про нее. Все-таки он очень старый...

— Женщину, которая подарила ичиги. В тайге.

Старик что-то раздумывает, видимо, вспоминает...

— Конечно, видел, — говорит он. — Эта женщина была моей женой. И у нас родился сын.

— Так у вас есть сын? — обрадованно говорю я. — Где он... Он не в Москве? Почему он никогда не приходит?

Старик снова задумался. Зря я пристаю к нему с расспросами. Какое, в конце концов, мне дело.

— Моего сына воспитал другой человек, — говорит

старик. — Мы с сыном никогда не видимся... Ну, это целая история.

Оба мы молчим.

— Я считаю, что вы должны написать о Дальнем Востоке, и вообще об этом участке гражданской войны, — говорю я.

Старик улыбнулся.

— Я пишу об этом. Книга называется «Партизанское движение на Дальнем Востоке». Ну, а ты как? Где ты учишься?

— Я не учусь. Я работаю на заводе замочных изделий.

Старик с интересом смотрит на меня.

— Это смешной завод, — говорит он. — Ну, там ведь не только замки... Наверное, еще что-нибудь делаете, поважнее.

— Конечно, не только замки, — говорю я. — Это только так называется. Мы делаем и карбюраторы, и втулки, и детали к машинам. Мы их делаем из железного порошка. Это новое слово в науке.

Тут я, конечно, приврал. Мы их еще не делаем. Завтра только у нас будут пробы. Ну, все равно, это почти одно и то же.

— Ну, я пошел. Спокойной ночи, — сказал я.

— До свиданья... Приходи ко мне, если будешь свободен.

Он улыбнулся и снова стал похож на старого, грустного и, пожалуй, доброго дога.

— Слушай, сколько тебе лет? — спросил он неожиданно.

— Мне восемнадцать, — ответил я.

— Какой ты счастливый! Тебе здорово повезло.

Он стоял задумавшись, сутулясь, стоял под портретом, где был изображен молодой суровый большевик, обутый в сапоги со странным названием — ичиги.

Я кивнул ему и тихо закрыл дверь.

Я вошел в свою комнату, зажег свет. Молочные брызги на полу засохли и стали похожи на известку.

Мне стало вдруг весело от мысли, что мне только восемнадцать лет. Засыпая, я подумал о том, что в комнате нужно все-таки устроить уборку...



На повестке дня комсомольского собрания целинного совхоза стоял вопрос о Дронове. Объявление было приколото к дверям бывшей бани, а ныне клуба (из-за острой нехватки места для культурного отдыха баню перевели в специально оборудованный вагончик).

Объявление гласило: «Пункт третий повестки дня — очень неэтичное поведение Дронова Вани, киномеханика. И все вытекающие отсюда последствия». Повестку составлял недавно избранный член комитета Микитдинов Сельмаш (имя было дано, видимо, во время коллективизации в Казахстане). Сельмаш любил таинственные и грозные намеки, и объявление было составлено в его стиле.

А за день до собрания ко мне подошел Ваня Дронов. Карие его глаза были печальны, темны. Солнцу, веселящемуся в поселке, не было туда доступа: отныне оно померкло для Вани Дронова, совершившего неэтичный поступок.

— Я хочу посоветоваться с вами, — сказал он.

— Буду очень рад, — ответил я.

— Видите ли, я в этом совхозе с первого дня, а Сельмаш и другие пришли сюда недавно. В общем-то они салажата. Так вот, чтобы они поняли, в чем дело, я написал объяснительную записку... Пусть прочтут, а уж потом судят. Здесь я описал все с самого начала... Может,



я чего и не так написал, но я писал так, как было. Возьмите, пожалуйста.

Вечером, когда в совхозе уже выключили движок, в призрачном, зыбком свете керосиновой лампы, в тишине, которая была столь сильна и звеняща, что доносила далекий угрюмый голос тракторов, ведущих ночную пахоту, читал я объяснительную записку Вани Дронова.

Сейчас все это позади, но история, рассказанная им, показалась мне любопытной. И я попытался восстановить ее в том виде, в каком пришла она ко мне в тот апрельский вечер со страниц школьной тетради, исписанной быстрым, словно бы захлебывающимся в беге почерком.

«На целину я приехал из Ангарска. Работал в Ангарске киномехаником на передвижке... А работа у нас такая: ездешь по строительным организациям, картины крутишь. Когда-то здесь, говорят, тайга была, только я лично этого не застал. Город и город. Хороший город, красивый, говорят, на Ленинград похож — по ленинградским проектам строили. И Дворец культуры такой, что и в Ленинграде ему стоять не стыдно, и кинотеатры всякие, и ресторанчики есть. И называются звучно: один — «Тайга», другой — «Ангара». И в них отдохнуть можно, культурненько так: выпиваешь себе под полонез Огинского.

Словом, жили мы как у бога за пазухой. Но однажды вызывают нас в городской культотдел и говорят:

— Ребята, на данном этапе у нас в городе киномехаников хватает, на стройках тоже дело поставлено неплохо, а вот на целине по кинофильмам скучают. Кто из вас отзовется на патриотический призыв? — И смотрит на нас начальник вопросительными такими глазами.

И говорю, как отрубая:

— Записывай меня, начальник!

Честно скажу, не очень я на целину рвался. Но если рассудить по совести, кому, как не мне, поехать? Семьи у меня нет, света я толком не видел... Эх, была не была, думаю, буду нести культуру в массы на целинном фронте!

И начальник обрадованно так, быстренько меня записывает. Записывает и приговаривает:

— Молодец, Дронов, правильно отозвался. Там тебе степь, там тебе простор орлиный. Будешь культурную целину поднимать... Не пожалеешь.

Приезжаю я, значит, сюда. Ну и, не оглядевшись толком, прямо к директору совхоза.

— Прибыл к вам на работу. Культурную целину поднимать. Киномеханик.

Смотрит на меня директор и улыбается. Грустно так улыбается. И говорит:

— Спасибо тебе, товарищ киномеханик, что приехал ты культурную целину поднимать... Если хочешь помочь, бери, киномеханик, косу — камыш косить будешь.

— Что-о?! — говорю.

— Камыш, товарищ механик. Жилья нет, место еще не расчищено, людей принимать надо... Тут у нас жизнь веселая, что твоя кинокомедия.

Вышел я из конторы, огляделся и ничего не увидел. Степь. Степь да степь кругом... Даже еще вагончиков не привезли. Мог я, конечно, раз такое дело, путевочку в карман — и счастливо вам оставаться. Основания у меня были. Но неудобно как-то стало. Перед собой неудобно... И пошел я камыш косить. Вручную косил, и на косилке, и по-всякому. А потом на «газике» людей возил, и семена, и за вагончиками ездил на приемку. Тут и забыл я о своих кинокартинах. А весна была холодная, недобрая была весна. И небо здесь низкое, свинцовое, не поймешь — то ли степь, то ли небо. Да, серьезная была обстановка. А девчат — трое на весь совхоз. Ни тебе солнца, ни тебе женской ласки. Но мы на это внимания не обращали. Работали. Палатки поставили. Хорошие такие палатки, новенькие, крепкие, а все же снег нет-нет да и щелочку найдет. Проснешься — на щеке что-то колючее, противное. Пробрался-таки, подлец, в жилое помещение. Но, в общем, работали с настроением, неплохо работали. Построили дома, столовую; и как раз время сева подошло. Первый сев!

Вызывает меня к себе директор и говорит:

— Ну, кинематография, есть для тебя подходящее занятие.

— Что, картины крутить? — спрашиваю я удивленно.

— Вот именно. Посадим мы тебя, механик, на бензовоз, и будешь ты наших механизаторов горючим снабжать. Вот будет картина, ну прямо чистый Пырьев.

На бензовоз так на бензовоз... Целина... Тут хоть кем станешь.

И вот шурую я на бензовозе от одного трактора

к другому. Зальешь в глотку эту ненасытную сто литров — и жмешь к следующему. А ночью еще на нефтебазу сгоняешь в район, километров за сорок от совхоза.

И вот однажды дали мне передохнуть. Иду я по поселку, легко мне как-то, непривычно, землю пахнет, травой, а не соляной. И чудно мне показалось идти вот так, руки в брюки, насвистывать. Состояние невесомости. И вдруг заскучал я. Не по дому, не по девушке. Да не было у меня никогда девушки... По кино меня взяла тоска. Показалось мне, что не трава шуршит, а лента моя в аппарате стрекочет, звонко, радостно... И тянется, тянется из проекционной светлый лучик, и трогает он экран и сердца человеческие трогает. И слышу я, как из темноты зала шепчут мои зрители: «Неужели он ее не догонит?»

А я-то знаю, что он ее догонит и все кончится отлично, я-то знаю, но молчу. А ведь бывало раньше, что надоедали мне эти фильмы со страшной силой... Но сегодня я дорого бы дал, чтобы увидеть, как гаснет свет, и экран становится серым, и начинается короткая бурная жизнь, срок которой всего полтора часа... Но это впереди. Это будет. Посеем пшеницу, корма, а остальное будет. И кино и концерты... Будет тебе и кофе и какао, как говорили наши киномеханики. А пока, товарищ Дронов, вози свое горючее и постарайся не расплескать его. Для того чтобы поднять целину, нужно много горючего. Чтобы оно горело, не сгорало в людях и в машинах.

Но вот прошла страдная пора; посеяли мы овес, пшеницу, кукурузу, получили первый урожай, построили поселок.

Наступила новая весна. И тогда в третий раз вызвал меня директор. И я сказал ему:

— Ну, кем мне теперь работать?.. Может, на птицеферму переключиться? У нас, говорят, теперь птичницы будут в почете.

И он смотрит на меня серьезно, даже торжественно. Ну, думаю, придумал что-то особенное, из ряда вон. Может, он меня в летчики определит? Поля опылять... Молчу, слушаю. А директор говорит:

— Давай-ка, Ваня, езжай в Кустанай, принимай кинопередвижку. Настало твое время, механик.

А через неделю качу я на своей передвижке и везу на полевой стан «Серенаду Солнечной долины» (ничего по-

новее в городском культотделе дать не могли). Еду по степи, дорога ужасная, глина, но мне это нипочем... Еду как хмельной. Видно, весна меня так захмелила. А может, и радость оттого, что вновь к делу вернулся. Машина вязнет, буксует, а я кручу баранку, напеваю, и на душе у меня чисто, просторно, точно весь зимний хлам ветром сдуло. Еду я час, еду два, потом на речку наткнулся, а речка по весне разлилась, и дороги нет. Пришлось ехать в объезд. И тут сбился я с дороги. Вокруг ни одного живого существа, степь. И глазам не за что уцепиться, пустынная, желтая земля. Дурманит она мне голову весенним своим запахом, сухой горечью своей точно хочет заколдовать, навсегда здесь оставить. Ну и взяла меня тогда тоска. Острая, внезапная. Затосковал я по лесу нашему русскому, по лесным туманам, по высокой траве, не такой, как здесь, а мягкой, росной. Таким одиноким, заброшенным меня вдруг степь сделала, что изругал я ее и плюнул на нее в сердцах. Но не поворачивать же обратно.

И вдруг издалека-издалека, оттуда, где степь переходит в бледное невысокое небо, прямо на меня вылетела черненькая стремительная точка. Я чувствовал себя Робинзоном Крузо, а навстречу мне двигался Пятница. «Скорее, скорее, Пятница! — хотел крикнуть я. — Мне плохо здесь, одиноко, я не знаю дороги. Жми, Пятница!»

А Пятница все ближе и ближе. И вот уже я вижу фигурку, слившуюся с конем. И дальше я, вполне трезвый парень, трезвый по своему характеру и по состоянию на сегодняшний день, выпустил из рук баранку от изумления... А может, просто весна тому виной? Из рыжей бесконечной этой степи на маленькой казахской лошадке прямо на меня скакала девушка. Она сидела на коне легко, статно и женственно, не так, как здешние чабаны. Я остановил машину. «Вот это да!» — подумал я восхищенно. Потом я знаками стал спрашивать, как проехать к полевому стану. Она, видимо, была чабаном, а многие чабаны плохо говорят по-русски.

— Что вы жестикулируете, как фокусник? — сказала она.

Я опешил. Девушка-чабан разговаривала на уровне центральной улицы города Ангарска.

— Я, понимаете, заблудился, — сказал я робко.

— Заблудился в степи! — засмеялась она. — Это же не лес!

— А вы были в лесу? — спросил я.

— Нет, — улыбнулась она.

— Так вот в лесу я бы не заблудился. Лес — это вам не степь. Вся надежда на вас.

— А стоит ли вам показывать дорогу? — сказала она и улыбнулась.

Улыбка у нее была потрясающая. Озорная, мягкая и очень юная. Когда она улыбалась, ей сразу становилось пятнадцать лет.

— А что, я не внушаю вам доверия? — спросил я.

— Мне не внушает доверия картина, которую вы везете. Наверное, это «Песня табунщика». Нам всегда такие показывают.

— Нет, — сказал я. — Это «Серенада Солнечной долины».

— Солнечная долина — это что, степь? — спросила она.

— Почти что, — ответил я. — Приблизительно похоже.

Но, видимо, ей надоело со мной болтать, и она повернула своего коня.

— Едем, я покажу дорогу.

Шла моя машина, тарахтела, а рядом бил легкий, дробный стук копыт. И мне все время казалось, что она вот-вот обгонит мою машину и исчезнет в степи. Хотелось мне ее удержать, сказать ей что-то хорошее, приятное. Вот хотя бы так, например: «Я рад, что вы встретились на моем пути». Или как-нибудь по-другому. В конце концов, я не большой мастер подобных обращений. И прямо так, с ходу, я брякнул:

— Я очень рад, что вас встретил. — И, подумав, добавил: — Потому что вы указали мне дорогу.

Она искоса, удивленно посмотрела на меня и усмехнулась. Но не так, как раньше, а насмешливо. Она махнула мне рукой и крикнула:

— Не сбивайтесь с пути!

И поскакала назад по ковылю, по бледненьким распускающимся тюльпанам.

«Неужели все?» — подумал я. И, высунувшись из кабины, я крикнул:

— Как вас зовут?

Ветер донес до нее звук голоса, и она остановила коня.

— Как вас зовут? — крикнул я. — Имя! Имя-а!

Секунду она колебалась.

— Имя-а! — сложив руки рупором, снова закричал я. И, сломленная моим упорством, она ответила:

— Алтынчач.

«Алтынчач!» — неслось, пело над степью странное, незнакомое имя.

«Ну что же, — подумал я. — Я запомню его. Я запомню это имя: Алтынчач».

Прошло много дней с тех пор, и ни разу я не встретил Алтынчач. Не знаю, чем она задела мое сердце, но я думал о ней. А может, просто тот вечер был такой шалый, весенний! Но чем-то она меня тронула и удивила. Она была и лукавая по-городскому, и современная, и насмешливая. Но в то же время она была не похожа на наших городских девушек. Иногда я сам издевался над собой. Я говорил себе: «Просто от многих сотен фильмов, что ты прокрутил, у тебя мозги набекрень, вот и выдумываешь всякое».

Но что-то в моей жизни изменилось. Я жил будущим. Ожиданием. Ожидание было во всем: и в рассветах, ветреных, знобких, когда мы выскакивали из общежития к колодцу и стояли, зачерпнув ледяной воды, стояли, смотрели, как далеко-далеко над степью всходило маленькое пунцовое солнце. А вечерами комбайнер Федька Сланцев играл на гармонике, и девчонки (а их теперь приехала тьма-тьмушая) приходили разряженные и гордые. Только глазами поводят, только семечки сплевывают. И смотрят эдак грозно, неприступно. Не девушки, а броненосец «Потемкин». А мне было все равно. Среди них же не было Алтынчач. И я уходил в сторону, туда, где кончается поселок, где в темном, тихом просторе пасутся одинокие огоньки тракторов. Степь, казалось, тоже что-то обещала.

В общем, однажды я решился и на пути с полевого стана заехал к Алтынчач. Не буду рассказывать, как я плутал, искал ее юрту. Это долгая история... Но все-таки я ее нашел. Юрта большая, шестиканатная. У входа старухи какие-то сидят, желтые, хмурые. Каждой лет по сто пятьдесят. Да и не поймешь, старухи это или старики. Сидят, кизяк жгут, варево варят. Вокруг юрты изгородь — иктырма по-ихнему. Высокая такая изгородь, из

камыша, крепленная ивовыми ветками. Захожу я за эту изгородь, старухи меня увидели, залепетали что-то, а сами все смотрят на мою передвижку... Должно быть, испугались старухи. Может, подумали, что посажу я их к себе в передвижку и вместо фильмов буду показывать. Чудные такие старухи! Но и у меня вид дурацкий, растерянный, потому что волнуясь.

— Где Алтынчач? — говорю.

— Алтынчач? Алтынчач? — переспрашивают старухи.

— Где она? — говорю я и размахиваю руками.

— Алтынчач нет, — говорит одна из старух. —

Траттор!

«Траттор» — это значит «подожди». А старухи хоть и испуганные, но гостеприимства не забывают. «Входи, входи», — показывают они руками. «Эх, была не была», — думаю я. И захожу.

В юрте сумрачно, тепло. Сушится на веревочке колбаса. Деревянные подпорки. На полу кошма. Патефон в уголке. Какие-то книжки. И прямо на меня в упор со стены обжигающими своими глазами смотрит с фотографии Алтынчач. Она в школьной форме. Так вот где она живет, Алтынчач!

А между тем меня сажают на кошму и подносят кислое молоко с рисом.

Поджал я ноги крест-накрест, пью молоко и испытываю некоторое неудобство. Ворвался в чужой дом, да еще машина у меня такая странная, бог знает что они могут обо мне подумать.

И вдруг слышу, за стеной юрты старухи восклицают: «Алтынчач, Алтынчач!» И в ответ низкий, полузабытый и очень знакомый голос. Ее голос. А через секунду она уже входила в юрту... Нет, она нисколько не удивилась, увидев меня. Она поздоровалась, сдержанно, приветливо. Поправила волосы перед зеркалом, села на кошму.

— «Серенада Солнечной долины», — сказала она и улыбнулась.

— Алтынчач, я очень хотел видеть тебя. Честно. Очень хотел. Не сердись на меня, пожалуйста, Алтынчач.

Она молчала. Но мне показалось, что блестящие глаза ее, по которым мой взгляд скользил, как по прозрачному льду, потеплели.

— Я всегда рада гостям, — сказала она.

— Я готов гостить у тебя каждый день, — сказал я.

Она словно не заметила этой фразы. Она тоже хотела меня чем-то угощать, но я сказал ей, что тороплюсь, и просил проводить меня. И снова рядом с моим фургоном звенели копыта ее коня, и мне этот звук казался праздничным, как стук тоненьких бальных каблучков о паркет ангарского Дворца культуры.

— Теперь уж поползет молва, как дым от кизяка, — сказала Алтынчач.

— Старухи! — сказал я понимающе.

— Да, старухи. Они и так меня племянницей шайтана считают. Они говорят: «Город испортил тебя...» А теперь ко мне в гости пришел чужой человек. Человек на большой машине.

— Надо воспитывать их, — сказал я.

— Их воспитала степь, — сказала Алтынчач. — О, она умеет воспитывать.

— А ты любишь город, Алтынчач?

Глаза ее просияли.

— Очень люблю! — сказала она. — И вечера в городе, и теплый летний асфальт, и музыку из окон... И мороженое люблю, и карусель в парке культуры... Другие у нас не любят город, боятся его. А я люблю. Но степь я никогда не брошу...

— Никогда? — переспросил я.

— Никогда! — звонко сказала она.

— А если придет человек... Ну, которого ты полюбишь... и если он не захочет... если...

— Э, механик! — протяжно сказала Алтынчач. — Степная птица покружится над городом, поклюет зерно на крышах — и снова в степь.

— Когда же мы встретимся еще раз, Алтынчач? — тихо сказал я.

— Когда-нибудь, — сказала Алтынчач. — Когда будет осень и трава станет желтой, а небо выгорит от солнца. Вот тогда и встретимся.

Но она лукавила, Алтынчач, дочь степи... Она лукавила, как городская девушка, которая прощается с парнем в подъезде своего дома... И я вышел из своего фургона и взял ее коня под уздцы.

— Алтынчач, — сказал я очень торжественно, — я уже был косарем, бензовозом, киномехаником. Но я могу стать помощником чабана. Я буду кормить твоих овец, стричь шерсть. Только давай встретимся, пожалуйста.



Моя высокаторжественная речь дошла до ее сердца.

— Когда и где? — деловито спросила Алтынчач.

— Завтра, — сказал я. — В восемь. Но где? — Тут я замешкался. «Под часами у парка, — почему-то подумал я. — А ведь где-то есть на свете уличные часы, парк...»

— На жейлау, — решительно сказала она. — На жейлау, на летнем пастбище, возле реки.

— Хоть у самого шайтана! — радостно сказал я. — Хоть у аллаха! Хоть у черта на рогах!

Но Алтынчач уже не слышала. Она скакала назад, к своей юрте, скакала резво, стремительно и все горячила, горячила коня.

...Я добирался до того выгона на тракторе. Меня «подбросил» попутный трактор. Я ехал туда три часа. Я надел белую рубашку и чехословацкий галстук. Я ждал Алтынчач до того времени, пока степь не стала беспрсветно темной. Но она не пришла.

Я увидел ее через месяц на центральной усадьбе совхоза. Там, в помещении конторы, собралась молодежь из нашего и соседнего совхоза, работавшая после школы в животноводстве. Я не имел к животноводству никакого отношения, но пошел туда... Алтынчач сидела в президиуме. Ее имя все время склоняли и спрягали. Оказывается, она окончила в Кустанае десятилетку чуть ли не с медалью и пошла работать чабаном в совхоз. Она избрала профессию своих родителей и дедов. Ее хвалили и за настриг шерсти, и за малый процент падежа, и еще за что-то... В этом я не разбираюсь. Я понимал только одно: здесь Алтынчач, что называется, в седле... Она видела меня. Она сидела за зеленым столом, красивая, строгая. Казалось, она нарочно притушила блеск своих глаз, чтобы я не задымился. На ней была стильная белая кофта, в ушах серьги — ни дать ни взять какая-нибудь мексиканская кинозвезда.

Но вот моя кинозвезда взяла слово. Нет, она не стала благодарить за те теплые слова, что произносили в ее адрес. Она, что называется, начала косить сплеча.

Она сказала, что сейчас, когда перед целинными совхозами стоят новые задачи в животноводстве, роль чабана резко меняется. Чабан должен знать сельское хозяйство, ветеринарию, должен работать культурно и современно. А десятиклассники неохотно идут в чабаны.

Почему? Да потому, что роль-то изменилась и ответственность стала выше, а быт все тот же, что и многие годы назад. Неужели нельзя придумать новой, практичной одежды из химзаменителей вместо тяжелого древнего чабанского наряда, весящего килограммы? Юрты устарели, они очень дороги, а новых, легких юрт из алюминия и брезента не хватает. Да и сделаны они плохо. Передвижной бани, обслуживающей чабанов, нет. Передвижной библиотеки тоже нет, и, наконец, чабаны месяцами не видят фильмов. Кинопередвижку к ним не посылают. Объясняют это тем, что, дескать, чабаны оторваны друг от друга. Расстояние от юрты до юрты велико. Говорят: не показывать же каждой семье в отдельности...

— Показывать! — радостно закричал я с места.

Но на меня зашикали.

И дальше Алтынчач рубила в том же духе. Вообще-то, я думаю, к ее предложениям стоило бы прислушаться, поэтому я их подробно излагаю. Впрочем, я не специалист в этой области...

Алтынчач вносила свои предложения, и зал встречал их шумом. Алтынчач сказала, что если будут созданы условия, то кончится пресловутая чабанская темнота, косность, суеверие.

Вот такую речь выдала Алтынчач. Я еще не все изложил. Она развела там такие теории, что я сидел как пришибленный: уж больно она оказалась бойкой. А потом с ней спорили, ей доказывали, кое в чем соглашались, но в целом начальство считало, что она преувеличивает. Правда, ее хвалили за творческую мысль и всякое такое прочее... И говорили, что сама Алтынчач — это пример нового отношения к труду и быту. Что Алтынчач и другие десятиклассники, работающие в животноводстве, — это тоже «плоды целины».

Когда кончились выступления, я решил пробиться к Алтынчач, но не тут-то было. Ее атаковали какие-то корреспонденты, ей задавали вопросы пастухи и чабаны из соседних совхозов. Всем она отвечала, всем улыбалась и для всех находила словечко...

Только для меня у нее не было словечка.

Может, потому, что я не был в курсе чабанских проблем. Во всяком случае, я так и не прорвал это кольцо вокруг моей Алтынчач. Да и неудобно мне было... Уже темно. Я слышал, как этих самых животноводов рас-

саживают по машинам, как гудят «газики», как мигают и пропадают в степи красные огоньки.

А когда уходила последняя машина, я увидел Алтынчач.

Она сидела среди своих товарищей и подруг в крытом кузове и смеялась и о чем-то болтала. И тут я не вытерпел. Плевать на гордость, плевать на все...

— Алтынчач! — крикнул я. — Почему ты не пришла?

Она помедлила с ответом, поискала меня глазами в темноте, увидела. И почему-то мне показалось, что она улыбнулась.

— Меня не пустили! — крикнула она. — Ро-одители!..

— А завтра? — крикнул я.

Но машина уже набрала скорость. Она все быстрее и быстрее бежала по степи, и мне оставался только красненький огонек на прощание. Он был тусклым, этот красненький огонек. И я понял, что, если буду сидеть сложа руки, он погаснет для меня навсегда.

И в эту ночь ко мне пришло решение. Я буду бороться не один. Я забыл, какая огромная сила есть в моих руках. Сила кино. Даром, что ли, я слышал всю свою жизнь о том, как искусство переделывает человека. И с лихорадочной быстротой я принялся составлять план действий. У меня есть две картины: «Ромео и Джульетта», фильм-балет, и «Дорога длиною в год». Какую выбрать? «Дорога длиною в год» не на тему. Фильм-балет? Уж больно много музыки. Но зато Шекспир, любовь, страсти, родители, мешающие счастью детей. С одной стороны, эта картина должна зажечь Алтынчач, с другой — это культпросвет-работа, с третьей — борьба с предрассудками старух, с четвертой... Словом, сторон было много, времени — мало. Но была одна сторона, смущавшая меня. Все мои сеансы строго запланированы, а работу вне плана могли счесть «леваком». Но если это «левак», то да здравствуют такие «леваки»! Это «левак», подсказанный сердцем.

Вечером по путевке я отправляюсь на полевой стан в тракторную бригаду и прокручиваю «Ромео и Джульетту».

На обратном пути я волоку свой фургон объездом, туда, где находится юрта Алтынчач.

Уже поздно, темно... Должно быть, они спят. Но мне нечего терять, кроме собственных цепей. Дальше события развиваются как в кино. В половине одиннадцатого я

подъезжаю к юрте. На меня лают рыжие толстые собаки. Испуганно блеют овцы.

— Выходи все! — кричу я. — Киносеанс будет. Специальный обязательный киносеанс.

Но вот появляется Алтынчач. Даже она несколько испугана.

— Что такое? Почему ты здесь?

В первый раз она говорит мне «ты».

— После твоего вчерашнего выступления, — говорю я, — в нашем целинном совхозе принято решение усилить культуработу с чабанами. Вводится специальный поздний сеанс.

— Вот это забота! — говорит Алтынчач. — А ранние утренники будут?

Хитра девка, чувствую, уже обо всем догадалась.

— Хватит ли тебя на каждую чабанскую семью, киномеханик?

— На вашу семью хватит... А там посмотрим.

— Что же ты привез нам? «Серенаду Солнечной долины»?

— «Ромео и Джульетту», — говорю я не без гордости.

— Ну и новинка! — говорит она.

— Шекспир бессмертен, — отвечаю я твердо.

И вот из юрты выходят старухи, мать Алтынчач, бабка Алтынчач (по-моему, она ровесница Шекспира) и какие-то совсем юные граждане, должно быть ее братья.

Они садятся на землю и с любопытством (а также с некоторым недоверием) смотрят на экран. В своей жизни они, наверное, не часто ходили в кино. Но чтобы кино приехало к ним домой, в юрту, чтобы кино показывали в степи, ночью, с автомашины, — это было неслыханно.

И даже Алтынчач, сидящая в стороне от них, улыбается удивленно и покачивает головой.

Но вот уже лучик протянулся к маленькому экрану, вот уже в нем задрожали пылинки и сквозь кашель, бормотание (аппарат, он, как человек, после долгого молчания теряет голос), сквозь треск и шипение прорезается музыка. И под эту музыку начинают страдать Ромео и верная ему Джульетта. Но я не буду описывать их страданий. Они общеизвестны. К тому же с меня хватит моих собственных страданий.

...Крутится лента, танцует Ромео, изящный и статный, еще не зная, что ему суждено умереть. И древние казашки заворуженно следят за его танцем, и, тонкий как лоза, он, может быть, напоминает им молодых нежных батыров их юности. А когда я перематываю пленку, они смотрят на меня с почтением, потому что это я извлек из ночной степной темноты пестрые улицы далекой сверкающей Вероны... Как ни говори, а все же в этот вечер немножко я был волшебником. И я сражался с ними, сражался с их предрассудками и недоверием, сражался за Алтынчач, потому что для меня она была главнее Джульетты. И хотя мое оружие частенько выходило из строя (узкопленочный аппарат был так себе, не очень новый), все же я верил в силу кино. А когда кончился сеанс, я не увидел моих зрителей — было уже очень темно. После этого сеанса свет не зажигался. Но они сидели очень тихо, и что-то обдумывали, и о чем-то жалели. Может быть, они жалели о своей молодости, в которой не было фильмов, а была только степь и была только усталость. А может быть, они думали об Алтынчач, о том, что она хочет жить по-своему, по-новому. А может быть, они просто ждали продолжения. Кто их знает, старух, о чем они думают?

Алтынчач же сидела тихо и безучастно.

Старухи наконец встали и начали что-то говорить мне.

Я догадался, что они спрашивают: «Куда пойдешь?..» Дескать, уже поздно. «Ишь вы какие гостеприимные старухи, — подумал я. — Теперь вы добрые стали. Лучше бы пустили Алтынчач ко мне на свидание».

Они снова угощали меня кислым молоком, махали руками и все уговаривали, уговаривали.

— Ладно, — сказал я. — Спокойной вам ночи. А нам с Алтынчач надо поговорить.

Они, конечно, не поняли, но Алтынчач что-то звонко сказала им, и они ушли в юрту. А мы остались одни. Мне было странно, что Алтынчач стоит около меня, стоит, а не скачет на коне, не уезжает на машине в темноту, стоит, никуда не торопится. А звезды были очень крупные. Здесь, на целине, огромные звезды и висят они очень низко. И чернота неба сливается с чернотой степи — от этого звезды ярче.

— Ты хорошо сделал, что приехал, — тихо сказала Алтынчач. — Ты смелый... Мне нравятся смелые.

— А мне нравишься ты, Алтынчач,— сказал я и подумал, что не так говорю. Не так, не так.

— погоди, не торопись,— сказала она.— Здесь темно, и ты не разглядел меня как следует. Надо много часов и дней смотреть на человека, прежде чем скажешь ему такие слова.

— А я не могу ждать. Я разглядел тебя. Я видел тебя днем в солнечной степи, и вижу сейчас в темноте, и хочу видеть тебя всегда.

— погоди, погоди,— прошептала Алтынчач.— Ты же не любишь степь, а без степи нет Алтынчач.

— Я люблю степь,— сказал я.

Я взял ее за руку, и мы стояли молча, не двигаясь. Рука у нее была твердая, маленькая и очень теплая.

— До свидания,— сказала Алтынчач.

— Когда оно будет, это свидание, ты же опять не придешь, тебя же опять не отпустят?

— Приду,— сказала она.— Теперь они поверили в человека с большой машины. Только не заблудись в степи. Ладно?

— Я не заблужусь,— сказал я.— Теперь-то я уж не заблужусь.

Я сел в свой фургон, завел мотор, а она все стояла на месте. Желтая пушистая собака подошла и легла у ее ног. Где-то вдали жгли солому, и огонь колебался, то становясь маленьким, как светляк, то разрастаясь в костер.

— Алтынчач! — крикнул я.— Алтынчач! (Мне очень нравилось это имя.)

Машина уходила, а она все стояла у юрты, стояла неподвижно и тихо махала мне рукой. Наверное, она улыбалась той улыбкой, что я люблю...

Такова история моего поступка, очень «неэтичного», как выразился Сельмаш Микитдинов. Такова история ночного сеанса.

Не знаю, кто «капнул» на меня, но меня обвинили в нарушении трудовой дисциплины, в незаконном использовании киноплёнки и прочих грехах...

Сегодня меня будут обсуждать. Но все-таки на целине я не первый день, и я знаю, что делаю. И я думаю, что наши киномеханики и наши чабаны заслужили своей работой на целине с первого дня до нынешних времен право на один внеочередной сеанс».

...Так кончилась объяснительная записка Вани Дронова. Было уже поздно, когда Ваня Дронов пришел ко мне.

— Я передумал,— сказал он мне.— То, что я здесь написал, не в счет.

— Почему? — спросил я с удивлением.

— Да ну их всех, буду я еще душу выворачивать! Я это, собственно, для себя написал. Хочу, так сказать, проанализировать. И очень мне нужно, чтобы они судили да рядили.

— Да они поймут,— сказал я.— Что они, не люди, что ли?

— Захотят — и так поймут.— В голосе его была обида.

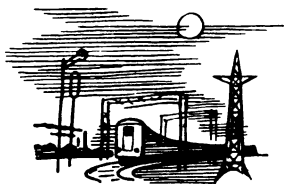
Собрание состоялось на следующий день... И знаете, что сделали Ване Дронову? Ничего не сделали. Более того, ему чуть не объявили благодарность.

Нет, он не стал читать свою объяснительную записку. Просто на собрание приехала Алтынчач. Она выступила с речью. Она превратила Дронова чуть ли не в героя, который рискуя жизнью, ночью отправился проводить среди чабанов культработу.

И все заслушались... Уж Алтынчач кого угодно убедит, можете быть спокойны.

# Музыка на вокзале

---



С этого вокзала поезда отправлялись в Среднюю Азию.

Мы провожали главного инженера, и нас толкали со всех сторон, и мы медленно двигались к тоннелю. Уже остро чувствовалась весна, но, как только мы вошли в тоннель, весна кончилась. Исчез запах ландышей, которыми торговали во всех закоулках вокзала, запах дымящихся золотистых пирожков, запах выхлопного газа от бесчисленных автомашин и запах начинающегося дождя. Взамен этого пришел запах каменного подземного ветра, чемоданной кожи, пота торопливо и скученно двигающихся по тоннелю людей.

Главного инженера сопровождали начальник отдела снабжения, представитель проектной организации и я. Главный инженер был загорелый и важный. Он ухитрялся быть важным даже здесь, в толчее, неразберихе и спешке. Он выговаривал снабженцу:

— Так ты фонды на цемент и не выбил, Соловьева ты тоже не уломал.

Это отечески вельможное «ты» резало мне слух.

Впрочем, снабженец тоже оказался не из робких.

— А электроарматуру кто достал? А железо листовое? А?

Но главный перебил его:

— Ты-то всегда выкрутишься. Этим и знаменит.

Да, главный инженер, видимо, твердо усвоил так на-



зываемую хозяйскую манеру обращения с людьми. Манеру грубоватого, но рачительного хозяина. И может быть, только излишняя резковатость и подчеркнутость его манеры выдавали хозяина еще не очень-то опытного и не до конца уверенного в себе.

Он прощался с ними, давал какие-то советы, указания, просил их не дожидаться поезда. А я смотрел на него с интересом, недоверием и пристрастием, потому что первый и, может быть, последний раз видел его в роли начальника. Он дружески, неторопливо попрощался с ними, они повернулись, он приветливо и чуть небрежно кивнул им. Затем он поставил на цементный пол чемодан, закурил. До чего же он загорел! Даже ладони у него были светло-желтые, какие-то негритянские. А когда он снял очки, мне показалось, будто и глаза у него выгорели на солнце. Он тоже внимательно оглядел меня и вдруг коротко, восторженно хохотнул. Я знал за ним эту манеру внезапно смеяться мгновенным, безраздельно счастливым, но быстро гаснущим смехом.

Главный инженер исчез.

Передо мной стоял Сашка Локтев — мой одноклассник, мой друг, который загорел до неприличия и до неприличия корчил из себя какое-то начальство.

— Ты понимаешь, трудно быть моложе всех. Особенно когда ты отвечаешь за людей. Чуть-чуть покажи свое младенчество, беспомощность — и все. Кончился руководитель.

— Жлоб ты, зазнайка, зарвавшийся щенок, а не руководитель, — говорил я ему. — И к тому же артист погорелого театра. Ведь не перед ними — передо мной ломался.

Последнюю фразу он оставил без внимания, а вот первая его задела.

— Зазнайка — это может быть... Но все-таки руководитель! — Глаза его блеснули. — Убеждать не буду... Глупо. Но если бы ты был там — поверил бы. Точно, поверил бы!

Я недоверчиво покачал головой. Где-то в глубине души я верил этому. Сашка всегда чуть-чуть пижонил, но работать умел. Работать, не считая минут, не оглядываясь по сторонам, когда все, кроме дела, становится посторонним. И все-таки я недоверчиво качал головой. Нужно было его воспитывать. Всю жизнь я его воспитывал, с

первого класса. Я был старше его на восемь месяцев и, как говорили, немного разумней... Впрочем, вот уже много месяцев мы с ним не виделись, а на расстоянии воспитывать его мне как-то не удавалось. Вот, очевидно, отчего он стал таким.

— Не веришь мне, ишак ты этакий! — смеясь говорил он и искал что-то по карманам и не мог найти, и лицо его постепенно тускнело.

Наконец он вытащил какую-то жестко хрустящую бумагу, бережно ее разгладил и, торжествуя, поднес к моим глазам. Это была Почетная грамота министерства.

— Понял? — вроде бы шутя, иронизируя, но, в сущности, совершенно серьезно сказал он. — Золотом по белому мою фамилию пишут. На том стоим.

Он с детства обожал всякие призы, грамоты, и для него было бы настоящим горем потерять эту нарядную расписную бумагу.

Мы вышли из тоннеля на перрон. Поезда еще не подали. Прихлопнутый стеклянным колпаком, весь вокзал с его пыльными высокими пальмами в кадках, снующими людьми, с шумно мчащимися автотележками казался мне странным гигантским аквариумом.

— И много ты успел в Москве? — спросил я Сашку.

— Эх, ты бы знал, сколько я не успел! Сколько еще недоделано.

Он как-то сразу озаботился, постарел и словно ушел далеко-далеко от меня, к своим делам, к своим строительным участкам... Все-таки как ни крути, а он хозяин.

— Ну ладно, все утрясется, — успокоил я его.

Он шел стремительно, видимо по привычке, чуть вихляясь под тяжестью чемодана, в какой-то пижонистой, но не очень идущей ему светлой курточке, шел резкой, сильной походкой человека, привыкшего, чтобы ему давали дорогу. Но, несмотря на это, почему-то он казался мне растерянным и маленьким, а чемодан, который он нес, непомерно большим. Это было как в детстве. В детстве он иногда представлялся мне моим младшим братом. И я любил его опекать. Когда перед началом матча на стадионе «Динамо» закипала толпа, а мы рвались к голубому окошку кассы и слышали хруст собственных костей, я пропускал Сашку вперед и брал в кольцо своих рук... Я занимаюсь самбо, я выше Сашки на пятнадцать сантиметров и на восемь месяцев старше.

— А ну-ка дай чемодан, начальник, — сказал я и почти силой вырвал из его рук громоздкий, ободраный чемодан. — Барахла накопил, что ли?

— Чучело... Покрышек футбольных пять штук, три комплекта пинг-понга, секундомеры и еще кое-что для заводских ребят... У нас со спортом плохо...

Он говорил, а я думал о том, что вот был у меня друг, жил под боком, вместе бродили по Чистым прудам, и вдруг сорвался с места, живет у черта на рогах, приезжает раз в три года, покупает всякую ерунду, носится по учреждениям, а мне остается только удивляться его выдумкам и таскать за ним чемодан на вокзал.

— Ну, как она, твоя Средняя Азия? — спросил я. — Действительно средняя?

— Нет, — сказал он и улыбнулся. — Для меня она не средняя. Для меня она самая хорошая Азия!

— Ну так расскажи об этой своей распрекрасной стране. Представляю, сколько килограммов экзотики ты припас для меня, сколько небылиц напридумывал бессонными ночами. Так облегчи же душу, расскажи!

— Ладно... Успеется. Еще сорок минут до отхода.

И вдруг он быстро, испытующе посмотрел на меня, точно я что-то затаил, скрыл от него.

— А Лена придет на вокзал?

«Вряд ли», — хотел я ответить ему.

Ссутулясь, как-то сжавшись, он ждал, что я скажу ему: «Придет».

— Откуда я знаю, Сашка... — сказал я. — Если будет свободна, придет. Я предупредил ее. Она ведь надежный товарищ.

И тогда он посмотрел на меня с сожалением и превосходством, улыбнулся, показал свои белые нахальные зубы и, передразнив меня, прогнусавил:

— «Не знаю, не знаю»!.. — И добавил уверенно, может быть, даже слишком уверенно: — А я вот знаю: придет!

«Поезд номер восемнадцать прибывает на четвертый путь! — жестяным, угрожающим голосом произнес радиодиктор. — Просьба приготовиться к посадке».

...Средняя Азия вошла в Сашкину жизнь внезапно и странно. В то время мы учились, кажется, в восьмом классе. Географию у нас вела тихая, сдержанная, но очень педантичная и требовательная преподавательница — Нина Петровна Фомичева.

Грех оставить преподавательницу географии без прозвища, когда так много звучных и смешных названий рассыпано на широкой, как простыня, простеганной белыми нитками карте.

За Ниной Петровной не было определенного прозвища — то ее звали Панама, то Остров Борнео, но чаще всего тетя Лима или Лима Петровна в честь пройденной нами столицы Перу — города Лимы.

Это было, в сущности, нежное прозвище, может быть, даже слишком нежное для этой аккуратной, чрезвычайно вежливой, звавшей всегда нас на «вы», но весьма крутой в своих оценках учительницы. Она ставила двойки, не выговаривая нам, не нервничая. Она делала это как-то печально и даже торжественно, точно хороня нас. На лице ее в эти минуты было выражение какой-то нездешней грусти. Потому что в жизнь входили никчемные, пустые люди, которые не могли разобраться в каких-то несчастных пяти частях света.

А перед тем как кого-нибудь вызвать, она долго прикидывала, высчитывала все оценки: кому надо исправить тройку, у кого проверить пятерку. Но, как ни странно, в ее вызовах не было системы, и это было самое страшное. Мы не могли сидеть спокойно, потому что она могла вызвать даже того, кого спрашивала на прошлом уроке.

И пока она делала свои иезуитские прикидки, торопливо, судорожно шелестели страницы, бились, трепетали в потных, вспугнутых пальцах, словно паруса тонущего корабля. Мы прятались за спинами впереди сидящих, отводили глаза от глаз Лимы, мы, галопируя, мчались по страницам, и оставались в памяти не цифры, не названия, не сведения, а скачущие, ускользающие, потерявшие смысл буквы. Нужно было срочно ввести в мозг выжимки, сгустки непрочитанного, невыученного материала.

Но существовал человек, который не шелестел страницами, не прятался, не пытался всадить в себя штрафную порцию знаний, — Сашка Локтев.

Он разработал свою собственную психологическую систему, которой неуклонно придерживался. Это система носила название «смелый взор».

Он смотрел на преподавателя открытым, смелым взором чистых, не замутненных излишними знаниями глаз. В его взгляде вместе с тем не было вызова: мол, мне не страшно, я вас не боюсь (эту практику, применяемую

другими, Сашка отвергал). Он смотрел на преподавателя спокойно, вежливо и мудро. И, как правило, его вызывали реже других.

Но тетя Лима опрокидывала все и всяческие расчеты. Она была человеком неожиданных, выходящих за рамки привычной психологии решений.

— Вопрос следующий, — сказала она. — Средняя Азия. Природные условия, национальный состав. К доске пойдете...

И тишина. И шелест страниц. И секунды, когда человек обдумывает всю свою жизнь. Впрочем, я хоть и лихорадочно листал страницы, но был спокоен. Учился я довольно ровно и ниже четверок не переступал.

— Итак, к доске — Локтев!

Сашка легко и уверенно встает. Он идет пружинистой, веселой походкой. Подойдя к доске, он делает классу поклон. Это азиатский восточный поклон. Так, должно быть, кланялись муэдзины.

— Ну, — говорит Лима, — мы вас слушаем. Вы готовы?

— Я всегда готов, — говорит Сашка. — Итак, Средняя Азия. Средняя Азия — страна жгучего солнца. Это одна из важнейших природных особенностей Средней Азии. Единственная отрада в жаркие душные дни — это оазис. Оазисы — благоухающие своеобразные места, снабженные водой... Весной в пустынях Средней Азии цветут маки. — Сашка перевел дыхание. — Они цветут в песке, и это удивительно красивое зрелище. Желтый песок и красные маки. Они цветут в барханах. Также Средняя Азия знаменита своей древней культурой. В древнем Хорезме расцветали всякие ремесла. А потом началось нашествие Чингис-хана, и все кончилось.

— Что кончилось? — говорит учительница.

— Все кончилось, — ослабевшим голосом говорит Сашка.

— И ответ кончился, — говорит Лима.

— Нет, он только начался, — тихо говорит Сашка.

Класс притих. Вначале мы поразились его уверенности и странной лирике, которую он начал нести. Потом мы притихли.

Он повернулся к карте Средней Азии.

Жгучая бумажная страна молчаливо простиралась перед ним. Желтели ее пустыни, тускло-голубым светом

мерцало Аральское море. Но карта ничего не могла подсказать — на ней не было названий. Это была немая карта.

— Что еще вы нам расскажете?

— Еще там... небогатая растительность. А животный мир, наоборот, очень богатый. Особенно опасны змеи. Их изучают ученые, под названием герпетологи.

Никто в целом классе не знал такого слова — «герпетологи». Только Сашка знал. Но зато многие имели представление о природных особенностях Средней Азии, а Сашка никакого. Впрочем, он еще боролся.

— Сейчас... Я кое-что вспомню... Я как-то смешался.

— Ну хорошо, посмотрим, как вы знаете карту. Покажите мне хребет Таласский Алатау.

Сашка с присущей ему энергией резко поднимает указку, указка бороздит бескрайние просторы Средней Азии, а затем слепо, беспомощно тычется в заштрихованные коричневыми волнами азиатские республики. Указка замирает неподвижно. Затем в какой-то предсмертной судороге скачет по карте, дрожит в воздухе. И затихает насовсем. В классе — смех.

Никогда не забуду я эту мечущуюся в отчаянии указку, эту поникшую фигурку на фоне цветистого полотна с ядовито-желтыми пятнами пустынь и коричневыми линиями гор. А Лима грустно принимает из его рук табель и выводит своим мелким изящным почерком знаменитую отметку.

— Как вы готовились? — говорит Лима. — По учебнику?

— Нет, — гордо отвечает Сашка. — Я читал «Чингисхана» Яна и «Историю древнего Хорезма».

И тут, устав от этого путаного, вечно что-то выдумывающего, странного ученика, она вызывает человека, во время ответа которого можно не мучиться и не терять веру в подрастающее поколение.

— Дмитриенко, к доске. Общие сведения о Средней Азии!

Я встаю и иду к доске.

— Средняя Азия — часть азиатской территории Советского Союза, которая простирается от Каспийского моря на западе до советско-китайской границы на востоке, от государственной границы на юге до Арало-Иртышского водораздела с включением Балхашского бассейна на се-

вере...— Я говорю чуть глуховато, стараюсь не играть голосом, не выпячивать своего превосходства перед Сашкой.

А когда я сажусь на место, он смотрит на меня с презрением, с тем непередаваемым презрением, которое он питает к так называемым зубрилам и первым ученикам.

— Поздравляю,— говорит он.— И все-таки ни черта не понял ты в Средней Азии!

А потом кончились уроки, и мы вышли на школьный двор. На баскетбольной площадке суетились и прыгали девочки из соседней школы. У нас была смежная площадка. Они нарядились в штаны — ни дать ни взять мальчишки, только мальчишки с другой планеты, уменьшенные, утоншенные и визгливые. Мы с Сашкой шли молча и еще издали увидели маленькую шустрюю фигурку, которая ничем не отличалась от других, которая так же суетилась под баскетбольной корзиной. И только мы двое умели ее отличать от всех остальных. Мы подошли к площадке. В это время Ленка кидала мяч. Ленка неловко, с каким-то смешным замахом, по-девчачьи кинула мяч — и мимо! Сашка был мрачен и молчалив после географии, но тут он выступил вперед.

— Разве так кидают? — сказал он.— А ну-ка дай.

Игра остановилась. Девочки с уважением смотрели, как он мягко, чуть сутулясь, разбежался, как небрежно и в то же время легко вел мяч, словно привязанный к его ладони тонкой невидимой нитью, как красиво сделал отскок и кинул... И как мяч задел сетку, повертелся на кромке, словно раздумывая, лечь в корзину или нет, и пролетел мимо.

— Мастер-мазила,— сказали девчонки.

Лена молчала. Слово было за мной.

— В общем, Средняя Азия! — произнес я.

Тогда он резко повернулся, схватил мяч, швырнул его куда-то далеко за щит и пошел по широкому спортивному двору, одинокий, молча принявший мою издевку и не унижившийся до ответа.

— Сумасшедший,— фыркнули девчонки.

А Лена ушла с площадки и спросила с тревогой, с какой-то взрослой тревогой:

— Что с ним?

Потом мы ходили с ней по мокрым весенним улицам

и разговаривали о разном — о баскетболе и покушении фашистов на Пальмиро Тольятти, об учительнице тете Лиме и о том, что Лена станет врачом, а может быть, и строителем.

Но главным образом мы говорили о нем... О том, какой он странный и сумасшедший, о том, какой он нетерпеливый и горячий, о том, как он любит прихвастнуть, и строить из себя бог знает что, и воображать, и... Мы ругали его на чем свет стоит и не могли говорить о нем беспристрастно, потому что оба были обижены на него и потому что любили его оба.

А он вбил себе в голову какую-то новую дурь, увлекся Средней Азией больше, чем футболом и автомашинами, читал о ней книги и щеголял какими-то азиатскими словами: «саксаул» и т. д., говорил о том, что ничего нет прекрасней на свете, чем страна пустынь (как будто бы он там был). И мы звали его в классе «Средняя Азия».

А жили мы хорошо. Часто слонялись втроем по городу просто так, разглядывая стоящие у дверей посольств важные, неправдоподобно сверкающие иностранные автомобили (в то время в Москве они были редкостью) и сравнивали их с нашими («Победу» и «Москвича» начали только выпускать), и мы приходили к выводу, что те красивее, а наши все-таки надежнее. И шли дальше, подолгу торча у витрин, афиш и газетных стендов. А потом вдруг Саша ссорился со мной или с Ленкой, и мы снова обсуждали его поступки и говорили, какой он себялюбец, фантазер, эгоист и т. д. Иногда мне становилось даже обидно: почему говорят все время о нем, почему все время он со своими делами в центре внимания? И однажды я высказал свои сомнения Лене. И Лена ответила:

— Понимаешь, Сережка, с тобой все ясно. Ты хороший парень и верный товарищ. У тебя все на месте. А у него все наоборот. В нем столько всего намешано, что нам надо его изучать и разбираться в нем, чтобы бороться с плохим и поощрять хорошее.

И я впервые не захотел быть хорошим парнем и надежным товарищем. Я захотел быть таким же, как он, где все перемешано, таким, чтобы меня нужно было изучать.

А потом пришел десятый класс. Мы сидели над учебниками, как каторжники. Решающее значение придавалось тогда медалям. Медали — итог всей учебы, говорили



нам. Медали — пропуск в институт. И мы сидели допоздна, читали учебники, зубрили так, что у нас затекали спины, и ждали, когда раздастся телефонный звонок друга, чтобы появилась законная причина отвлечься от занятий. Я твердо шел на золотую. Сашка же все время кричал, что ему плевать на медаль, что он и так проживет. Да никто всерьез и не смотрел на него как на будущего медалиста. Но со второй четверти он начал творить буквально чудеса, он получал пятерки по всем предметам, выправил все свои годовые четверки и вырвался в число первых. Многие удивлялись. А я понимал, что Сашке действительно не нужна медаль, он поступит и без нее. Но он хочет доказать всем, что, хотя его и считают анархистом, хотя он входит в рубрику так называемых способных, но неорганизованных, он может получить медаль, если захочет, может заткнуть за пояс испытанных первых учеников, тех, чьи фамилии с растроганными, умильными лицами произносят на родительских собраниях классные руководители.

Но в его таблице все же красовалась одна тройка, которая портила весь вид. Тройка по географии. А последняя четверть кончалась. Тройку нужно было срочно исправлять, иначе он мог потерять шансы на медаль.

В тот вечер я сидел допоздна в школе, занимался с двумя отстающими ребятами, к которым меня «прикрепили». Вдруг подходит ко мне тетя Лима и говорит:

— Если ваш Локтев хочет исправить свою оценку, пусть приходит завтра после пятого урока. В субботу у нас последнее занятие, и спросить его я не успею. Сходите к нему и предупредите.

И я помчался к нему. Всегда по вечерам он дома. А сегодня, как назло, его нет. Тетка (его воспитывала тетка; отец погиб на фронте, у матери — другая семья) говорит:

— Сказал, что пошел в библиотеку.

Я — в районную библиотеку. Его нет. Я — в Ленинку, — там его тоже нет. Я — к ребятам, — никто ничего не знает. Тьфу ты, думаю, потеряет Сашка медаль ни за что ни про что. И из-за какой-то несчастной тройки. А может быть, он, черт его побери, на стадион поехал? Он ведь такой. На «Динамо» в этот день как раз играли «Спартак» и «Динамо». Я помчался на стадион. Матч шел уже к концу. Ухают трибуны. Голубая чаша стадиона точно

кипит, а я брожу как идиот, жду конца матча. Потом вижу, народ идет... Сначала толпа течет ручейком, потом все мощнее, бурнее поток, а я на пути болтаюсь, как щепка. Чуть меня не смяли, кое-как добежал до метро. Жду его у выхода. Час жду — его нет... Ну, думаю, все, больше не могу. Хватит. Он знай шляйся, а я страдай. Устал я от всех этих дел. И все-таки думаю, надо его найти. Грош цена нашей дружбе, если я не могу ради него один вечер помучиться.

И я рванул к нему домой. Занял позицию на подоконнике. Жду. Прошел час, два. Ну, думаю, ничего, у него еще ночь впереди. За ночь при его способностях можно весь курс пройти. Подоконник холодный... Наверное, заболēju ишиасом. Все время кто-то зыркает на меня глазами. То старушка какая-то — вся сжалась, будто я грабитель и сейчас на нее кинусь; то влюбленные какие-то только устроились на другом подоконнике, меня заметили — и с места, словно я чума; то какой-то гражданин, проходя мимо меня, заявил: «Заниматься надо, экзамены на носу, а эти сидят на подоконниках. Дульциней своих поджидают». Хотел я ему высказать насчет своей Дульциней — Сашки Локтева, но смолчал. Примерно часов в двенадцать я задремал...

И вдруг (а может, мне это приснилось) я слышу: «Ну, теперь моя очередь тебя провожать...» И в ответ тихий женский, какой-то очень тихий голос: «Мы уже провожаемся целый час. Ты провожал меня три раза, а я тебя — два, итого — пять. Отличное число. Может, хватит, завтра ведь не воскресенье».

Но каким бы тихим ни был этот голос, я различил бы его даже в шуме океана.

И вот этому тихому голосу отвечает другой, который я тоже могу узнать по первому звуку: «Для меня завтра воскресенье и послезавтра воскресенье, потому что...» Наступила пауза. Он что-то выдумывал, сочинял и наконец пропел-произнес: «Потому что на душе у меня весна». Оба они захохотали. Они хохотали очень громко. Их смех катился по гулким, притихшим лестницам. Он поднимался все выше и выше, он добрался до меня, и сила его была так велика, что он словно ударил по моим плечам, и я соскочил с подоконника.

— Ты говоришь, как Аршин мал-алан, — счастливо смеясь, захлебываясь от какого-то незнакомого мне, не

познанного, не разделенного мной восторга, бормотала она. — Ты — Аршин мал-алан, ты мой азиатик. Ты мой Аршин мал-аланчик. Ты мой самый хороший... Ты...

И тут она затихла, точно кто-то закрыл ей рот, точно кто-то помешал ее губам открыться, чтобы сказать слово, точно кто-то... Я уже был не маленький, я знал причину такой тишины. И я побежал вниз по лестнице, громко стуча ногами и раскачивая перила так, чтобы они ржаво скрипели и визжали, так, чтобы этот скрип испугал стоящих внизу. Потом с лихорадочно бьющимся сердцем я стоял в полутьме подъезда, там, где еще секунду назад были они, и думал: «Как же мне быть? Как же мне жить дальше?!»

Я знал, что нас было трое, и мы говорили о машинах, о Галине Улановой, о том, что надо попасть в институт. Я помнил, что мы бродили с Леной по улицам, я брал ее под руку, я говорил с ней о Сашке. Я знал только одно — она мой друг и он мой друг. Я старался ни о чем другом не думать.

А теперь: как же мне жить дальше?

И пусть он пропадет пропадом, этот человек, пусть он засыплет географию, пусть он не получит медаль, пусть бормочет что-то о своей Средней Азии. Но было что-то другое, более сильное, чем это. И я выскочил из подъезда, из этой мышеловки, захлопнувшей мою дружбу и мою любовь, и побежал по черной, пустой улице.

Я видел, как они идут рядом, оба почти одного роста, как падает синий рекламный отсвет на их плечи и головы, как шевелятся эти голубые странные головы, все время склоняясь друг к другу. А я бежал за ними, я делал какие-то дурацкие заячьи прыжки, потому что у меня очень длинные ноги и потому что у меня внутри прыгало, прыгало, как глухо скачущий теннисный мяч, мое сердце.

Я бежал не для того, чтобы бить его. Я бежал, чтобы сказать ему про географию. И я догнал их. Она посмотрела на меня отчужденно, словно отстраняя от себя, словно прося ничего не говорить, не вмешиваться, не влезать. А он посмотрел снисходительно, словно бы свысока, так смотрят на ребенка, который застал взрослых в неподходящий момент.

— Ну, что, прохлаждаешься перед ночным бдением? Все занимаешься, золотая медаль?

— Да, — сказал я. — Да, да.

...Эту историю я вспомнил потому, что он спросил о Лене. Когда произносилось ее имя, я всегда вспоминал эту историю. Но странное дело — стоило мне случайно встретить Лену на улице, и все это уходило: передо мной стояла женщина, которую я не знал, другая, ничего общего не имеющая с той девчонкой... Но когда я слышал это имя, да еще в сочетании с именем Сашки, то забывал про новую Лену, и видел ту, и никак не мог понять, что той, в сущности, уже не существует. Впрочем, я встречал Лену крайне редко. Я знал, что она вместе с Сашкой поступила в строительный институт. А Сашку я никогда не спрашивал о ней. Но я понимал, что в те вечера, когда он куда-то спешил и что-то возбужденно болтал, не задумываясь особенно, слушают его или нет, — в те вечера он уходил от меня, от наших общих мужских интересов и увлечений куда-то в другую жизнь, подчиненную ей... И возвращался часто веселый, самоуверенный, счастливый; реже — растерянный и молчаливый.

А потом подошло горячее времечко. Дипломы, распределения. Меня оставляли в аспирантуре при биофаке. Была у меня интересная тема, назначили мне руководителя.

А Сашка метался: то он хотел остаться в Москве, то говорил, что хватит гулять по Чистым прудам, что надо отдавать стране долги, что пора в дорогу. А куда в дорогу, в какую дорогу — все это, как всегда у него, было не выяснено до конца, не уточнено.

Однажды вечером ко мне пришла Лена. Это было крайне неожиданно для меня. После того дня она никогда ко мне не приходила.

— Сережа, — сказала она мне, — на распределении он заявил, что едет в Среднюю Азию строить металлургический завод. Только ты можешь его остановить. Он тебя уважает.

— А тебя? — спросил я.

— Меня он любит. Но это совсем другое дело...

— Ну, и чем же тебе не нравится Средняя Азия? Прекрасная, солнечная страна, — сказал я.

— Это я и без тебя знаю, — ответила она. — Ты ведь понимаешь — я не держу его в Москве, такому человеку, как он, нельзя сидеть на одном месте. С его энергией, с его фантазиями. Но в Среднюю Азию ему нельзя. У не-

го плохое сердце, в детстве у него был порок. Ему туда нельзя... Ни в коем случае.

Она говорила убедительно. Очень убедительно. Настолько убедительно, что я не поверил. Я вдруг понял, что дело тут не в сердце, и сказал:

— С некоторых пор я решил не вмешиваться в ваши дела.

Она посмотрела на меня с убийственной женской иронией. И я подумал: «Сейчас она мне выдаст, только держись!» Но она промолчала. А вечером пришел Сашка, усталый, измученный; вид у него был такой, словно он уже год сдает по экзамену в день. Лицо его стало маленьким и серым.

— Остаюсь... К черту эту Среднюю Азию, там работать дьявольски трудно, а у меня сердце.

— Конечно, правильно... Ведь у тебя сердце.

— И я думаю, что правильно,— неуверенно сказал он.— Самое правильное решение. Будем работать в Московской области... И Ленка будет там же.

— Здорово... Прекрасное решение.

— Здорово-то здорово,— сказал он.— Да не совсем здорово.

А через четыре дня он вдруг собрался и, никому ничего не говоря, уехал. Потом я получил от него телеграмму. Текст был короткий: «Привет из Средней Азии». И все. Больше не слова. Что у них с Ленкой стряслось, так я и не узнал...

— Ну, так пошли в вагон, скоро отправка,— сказал я.

— Давай,— согласился Сашка.

Мы вошли в купе, он сунул куда-то свои чемоданы, машинально спросил у кого-то: «Вы здесь побудете?» — и, не дождавшись ответа, вышел из купе.

— Не люблю загнивать в вагоне... Пойдем лучше пивка выпьем.

— Не успеем, всего полчаса осталось.

— Без меня не уедет,— усмехнулся он.

— Ну еще бы, без такой ответственной фигуры состав ни на шаг,— сказал я.

— Не насмешничайте, аспирантик... Кстати, как твои дела?

Мы сели с ним за голубой блестящий столик под полосатым тентом. Официантка принесла пиво.

— Дела мои, кстати, не плохи,— сказал я.

— Не надоело? — спросил он. — В школе за партой, в институте — за партой, сейчас — за партой. Свободы не хочется?

— У меня свободы не меньше, чем у тебя. И свободы, и простора для экспериментов. И всего прочего.

Он снял очки и посмотрел на меня в упор. Странно светлыми, прозрачными казались его глаза на коричневом, ровно и крепко обожженном солнцем лице.

— У меня нет простора для экспериментов, — сказал он. — Эксперименты стоят миллионы рублей. У меня есть только одно право — делать наверняка.

Он говорил серьезно, в тоне его звучало превосходство рабочего над школяром... И слова его чем-то задели меня.

— А впрочем, Серега, — сказал он добродушно, — каждому свое... Твое дело, наверное, великолепно, но мне этого не понять.

— Ну и черт с тобой, — сказал я. — Расскажи лучше что-нибудь о своей Средней Азии.

— Еще успею, впереди двадцать минут. — Он беспокойно посмотрел на вокзальные часы. И добавил: — У нас с тобой еще уйма времени.

И в словах его опять проскользнула какая-то тревога.

Мы сидели молча... Резким ослиным голосом, точно проклиная кого-то, закричал паровоз. И от этого крика мне стало не по себе, захотелось вдруг сорваться и тоже — в дорогу. Всегда, когда я слышал крик паровоза, мне хотелось в дорогу. Но вот этот крик гас, затихал, а я оставался на перроне, и никакая дорога не предстала впереди, а просто я опять кого-то провожал...

— А хорошее в Москве пиво, — с неожиданной грустью сказал он. — Соскучился я по «Жигулевскому».

— В Москве еще кое-что есть, — резонерским голосом сказал я.

— Да что ты?! — Он сделал большие глаза.

— Ей-богу. Вот не знаю, что там у вас есть?

— У нас там есть такое, — серьезно сказал он, — что тебе и не снилось.

— Маки расцветают в пустыне? — усмехнулся я.

— И маки расцветают в пустыне, — сказал он. — И заводы расцветают в пустыне. И многое еще расцветает в пустыне.

— Ты поэт, — сказал я. — Ты — поэт Средней Азии. Ты — Алишер Навои.

Я ожидал, что он отпикируется, но он оставил эту фразу без внимания. Он все чаще и чаще, все напряженней смотрел на выход из тоннеля. Оттуда с какой-то удивительной равномерностью вытекала толпа. И уже на перроне этот ровный поток разбивался, приостанавливался; люди как-то сразу застопоривали, словно осекались на бегу, растерянно и беспокойно смотрели на составы, будто те вот-вот уйдут, вопреки расписанию, и спрашивали, спрашивали: «Где? Когда? С какой стороны?» Спрашивали у контролеров, и у таких же, как они, пассажиров, и даже у мороженщиц, с превосходством наблюдавших за беспомощной и суетливой толпой.

А Сашка Локтев смотрел на пассажиров и ждал и не спрашивал: потому что ни контролеры, ни мороженщицы, ни даже справочное бюро не могли сказать — придет ли Лена.

Мы допивали холодное пиво, которое казалось горьким, потому что мы давно не пили пива и потому что к его горечи примешивалась странная, неуловимая горечь этой короткой встречи и этого ожидания. Сашка закурил, прищурился, посмотрел на меня и вдруг сказал:

— Жениться тебе, брат, надо... Скоро ты профессором будешь. Пора тебе жениться...

— Ну, а тебе, главный инженер? — в тон ему спросил я. — Тебе-то вообще необходимо.

— Мне это не подходит. Мне они быстро надоедают.

— Кто — они? — сказал я.

— Женщины.

— Все надоедают? — спросил я.

— Нет, не все, — сказал он.

К нам подошла официантка, мы оба потянулись за деньгами, но он поморщился и недовольно буркнул:

— Хватит студента из себя корчить. Может, в складчину сложимся?

Мы встали, пошли к поезду.

Темнолицые приземистые люди в тубетейках тащили в вагоны трехколесные детские велосипеды и электрополотеры, носильщики сгибались под тяжестью картонных ящиков с телевизорами; поезд уходил далеко, туда, где не хватает воды, детских велосипедов, электрополотеров. И перрон что-то бормотал, что-то гудел, бросал отрывистые гортанные слова и волновался, потому что на перроне стояли провожающие, а они всегда волнуются. И все

бежали, спешили, шумели, и только поезд был неподвижен, молчалив, будто он стоял здесь уже вечность и будет стоять еще столько же, будто он не рванется вперед, чтобы мгновенно оставить позади себя этот беспокойный перрон. Паровоз молчал и только иногда, изнемогая от человеческой суеты, шумно выпускал пар, точно отдувался.

«Надо что-то сказать Сашке,— думал я.— Надо отвлечь его от всяких мыслей. Ясно, что она не придет. Теперь уже совершенно ясно».

— Ты пиши, Сашка,— говорил я ему.— Ты никогда почему-то не пишешь, бродяга ты этакий. Мне же интересно знать, что с тобой происходит... Куда тебя швырнет жизнь. И потом, я хочу проследить тот момент, когда ты окончательно образумишься.

— Черта с два,— сказал Сашка и улыбнулся.

Улыбка у него была хорошая, хитровато-озорная.

Но вдруг, как обвал, на нас хлынула музыка. Многопудовая, жестяная, могучая вокзальная музыка. И, подавленные ею, мы оба замолчали. Но это было разное молчание. У него — молчание ожидания, ожидания, которое может оказаться напрасным. По-моему, он и сам уже понял это. Ну, а мое молчание не в счет. Я молчал из солидарности. Как я мог помочь ему? Я бы сделал для него все, что угодно... Но заменить ее я не умел.

— И все-таки придет,— громко сказал Сашка.— Придет! Понимаешь ты, придет.

Эх, Сашка, Сашка! Самоуверенность, дикая, странная самоуверенность была всегда твоей болезнью.

Я повернулся, посмотрел на часы. И где-то в конце перрона я увидел мучительно знакомую и вместе с тем полузабытую, словно попавшую сюда из другого, уже нереального, уже неопасного для меня мира, женщину, торопливо идущую к поезду. Кто-то шел рядом с ней. Плотный, коренастый, похожий на чемпиона по боксу человек. И я не понимал: они вместе или нет. Может, просто к одному поезду. Но вот она легко обогнала его, что-то быстро привычно сказав, и он отстал, отошел к киоску Союзпечати.

Теперь она шла одна. Она спешила, но даже в спешке шла красиво, собранно, несуетливо. Я бы сказал, что она спешила спокойно.



— Идет,— тихо, смятенно сказал Сашка и близоруко сощурился.

— Действительно, идет, — с деланным изумлением сказал я. Пусть он поторжествует победу. Но он не стал торжествовать, не стал кричать: «Вот видишь, а ты говорил... Пришла!»

Нет, он молчал, даже чуть отступил назад, словно пытаясь на мгновение задержать эту встречу. И когда она подошла, он сказал скованно, неуклюже, как угловатый, стеснительный десятиклассник:

— Я думал, вы не придете. Я даже не ожидал, что вы придете.

— Сашка,— ласково и как-то очень свободно сказала она,— милый Сашка! Я так рада тебя видеть.

— Я тоже рад,— полушепотом сказал Сашка, глядя на нее удивленными, какими-то незнакомыми мне глазами.

— Ты все такой же,— говорила она.— Такой же... И загорел, как азиат.

— Какой же я, по-твоему? — вдруг неожиданно и в упор спросил Сашка.

И я отошел в сторону и старался не слушать. До меня доносились только обрывки слов.

— Ты... Моложе нас всех... Ты не изменился... Единственный из нас, кто не изменился.

— Нет, только кажется тебе... Только кажется...

Потом я их не слышал. Их заглушал диктор: «До отправления остается две минуты». Их заглушали носильщики: «Верхний давай... Осторожнее стекло». Их заглушали мои беспокойные, словно сорвавшиеся с места, мысли. И потом я смотрел на киоск, где, раскрыв газету, спокойно стоял, расставив тумбообразные короткие ноги, человек, похожий на чемпиона по боксу и одновременно на директора большого промтоварного магазина.

Но вот провожающие притиснули меня к ним вплотную, и я вновь услышал Сашкин голос, но это был уже не скованный, не стесненный голос. Это был взволнованный, страстный, убежденный голос Сашки, того Сашки, которого я любил.

— Ты понимаешь: все еще можно исправить. Тогда ты была маленькой, неуверенной, слабой! А сейчас, ты пойми, ведь еще не поздно. У нас с тобой будет все замечательно, все у нас будет хорошо, все, абсолютно все!

И ты, пожалуйста, не бойся... Ты не говори мне нет... Подумай, слышишь, подумай.

— Милый мой Сашка... Тогда я не решилась, а сейчас уже поздно. Уже поздно. Я завязла, Сашка. Меня уже теперь не вытащишь.

«Да ты и не хочешь, чтобы тебя вытащили,— с ожесточением думал я.— Если бы тебя вытащили — это было бы для тебя горем».

— Да, что за ерунда! — громко и возбужденно говорил Сашка.— «Не вытащишь, не вытащишь»... Да еще как вытащишь! Ты же умная, чуткая, я же в тебя верю.

— А я в себя не верю,— сказала она и вздохнула.

«И я в тебя не верю»,— мысленно добавил я.

— А я в тебя верю,— сказал Сашка.— Верю, верю всем назло... И мы будем счастливы.

Грохнула вокзальная музыка. Стучали медные тарелки. Гремели трубы, выбивая такты марша, пытаюсь заглушить разлуку.

«Провожающие, просьба покинуть вагоны!» — утомленно говорил диктор.

А обо мне оба они забыли. Вернее, он забыл. Ей нечего было забывать. А он забыл, но не время сейчас обижаться.

— Скажи честно, может быть, я чего-то не знаю о тебе,— сказал ей Сашка, и голос его вдруг дрогнул.— Скажи правду,— добавил он уже твердо.— Ты ведь полгода не писала мне. Скажи правду.

— Нет, все так же, все так же, как и было, все так же... — быстро заговорила она.— Ничего не изменилось. Ни капельки. Только я не сумею с тобой, Сашка! Если бы ты успокоился, если бы перестал метаться... Нет-нет, я знаю, ты не будешь другим. И я не хочу, чтобы ты стал другим... Ты такой, и я уважаю это в тебе... Только я не сумею с тобой, милый!

— Все это словеса,— резко, даже грубо сказал Сашка.— Не запутывай себя и меня. И не трусь! Хватит трусить.

В голосе его была ярость. Ярость и надежда.

А я в это время думал о ней. Она просила его сдать. Она ставила ему условия сдачи. Но она достаточно тонка, и она неплохо знает Сашку. И поэтому делает вид, что не просит его ни о чем... «Я уважаю это в тебе». Лучше бы сказала: «Я ненавижу это в тебе».

Да, но ведь и я тоже... просил его образумиться.

Впрочем, я шутил... Да, да, я шутил, и ничего больше.

«Поезд номер восемнадцать отправляется», — проговорил диктор. И музыка на вокзале затихла. И в пронзительной, острой тишине я услышал, как Сашка кричит мне:

— До свидания, Серега! Спасибо тебе, дружище. Будь счастлив!

Я молча махнул рукой, хотел что-то сказать, но не сказал.

— До свидания, Лена! — кричал он. — Прощай! — кричал и размахивал руками и смотрел на Лену.

И вдруг что-то рвануло ее к поезду, она побежала, забыв о своей осанке и о своей красоте. Она несколько шагов шла рядом с подножкой, точно хотела вскочить и не решалась, и проводник принял ее за опоздавшую и протянул ей руку. Но она не взяла руку, а остановилась. И медленно пошла назад. Поезд шел вперед, она — назад, а я смотрел на нее и на Сашку, но Сашки уже не было видно.

Лена подошла ко мне и с тоской и, как мне показалось, с облегчением сказала:

— Вот и уехал... Мы с тобой остались на перроне, а его уже нет.

И, заглушая ее слова, снова заиграла музыка на вокзале.

Может, Лена права? Может, я навсегда остался на перроне провожать чужие поезда?

— Нет, нет, нет, — сказал я ей. — У него есть Средняя Азия. У тебя — тот, кто ждет у киоска. У меня — ничего. Как ты думаешь, Лена, что лучше: мало или ничего?

Но Лена не поняла: музыка на вокзале была слишком громкой.

# В стихах это необыкновенно"

---



Машина въехала во двор. Савельев вылез из нее, согнувшись в три погибели, попросил таксиста подождать и пошел к площадке, где играли дети.

Савельев не любил этот двор, этот дом, эту площадку. Он мог бы и вовсе не ходить сюда, а гулять с сыном в зоопарке или брать его к себе в комнату, которую он теперь снимал, но это было хлопотно, сложно, а у Савельева весь день до вечера был расписан до минуточки: тренировки, игры или полный покой.

Он вообще мог бы не приходить сюда, этого от него не требовали, даже наоборот. От него требовали лишь 60 рублей в конверте 15-го каждого месяца. Возможно, его вообще бы не подпускали к ребенку, но он регулярно платил свои 60 рублей, а надо, дал бы ребенку и больше; они это знали и не имели права чинить ему препятствия. Все было законно.

Савельев ездил к ребенку раз в месяц, иногда чаще, иногда реже, в зависимости от режима, от расписания игр, но к сегодняшнему дню пауза затянулась до трех месяцев: Савельев в составе своей команды выезжал в Латинскую Америку.

Дома у него валялось множество шмоток для парня, какие-то костюмы, джинсы и короткие штаны, простеганные яркими нитками, различные хитрые игрушки. Савельев толком не знал, что там было, — он покупал все

то же, что и командир команды. А сегодня с собой он взял только черный вороненый ковбойский кольт, стрелявший водой. Кольт был великоват для парня четырех лет, но больно хорош, даже на таможне его подвергли тщательному осмотру — так походил на настоящий.

Поигрывая кольтом, Савельев шел по двору. Весна начиналась, двор был мокрый. Серый, будто взбитый пористый снег перемежался с сухим, по-летнему зернистым асфальтом; детей было много, они галдели с каким-то неистовым весенним азартом, а няньки и мамы, как боковые судьи в матче, наблюдали за ними, направляя игру, и, если уж кто слишком нарушал правила, вступали в дело. Савельев оглядел площадку и своего не увидел.

Дети носились по площадке. Они все были захвачены движением, ни секунды покоя, и Савельев, отвыкший от этого зрелища, механически, про себя, отмечал, что движения их, верно кажущиеся им самим стремительными и азартными, со стороны выглядят замедленными и беспомощно-неуклюжими... Савельев любил следить за тем, как двигаются люди, большие и маленькие, в нем будто механизм сидел, отмечающий схему движения всякого попадавшего в поле его зрения человека. Все они были одинаковые, эти дети, и двигались одинаково, но его ребенка здесь не было. Он забеспокоился и пошел вдоль площадки.

Двухметровый, он шагал меж детей, как Гулливер среди лилипутов, — они смотрели на него снизу и прекращали свою игру. Савельев привык удивлять всех своим ростом. В детстве и юности это доставляло ему немало хлопот, неудобств, иногда даже унижений; сколько раз он слышал: «Большой, а без гармошки», «Дундук многоэтажный», «Велика фигура, а дура»...

Он чувствовал излишество долгого своего костяка, ему хотелось вжаться, снять с себя пару десятков сантиметров, стать понормальней, как все, чтобы не быть вечным дядей Степой, на которого глазают, как ему казалось, с легким сожалением и иронией. От этого он сутулился, был нескладен, разболтан и нелеп в движениях. Во время танцев он склонялся над девушкой, как подъемный кран. Маленькие, пропорционально сложенные и юркие мужчины вечно уводили у него девушек из-под самого носа, и он, горбясь, одиноко шлепал с безрадостных и суетливых танцплощадок. Потом он начал заниматься боксом;

рост и здесь ему мешал: бой не любит медлительных и непрочных верзил, он любит людей среднего роста, резких, злых, небольших, но стремительных хищников, идущих на немедленное сближение. С боксом не вышло. Ему посоветовали заняться волейболом или баскетболом. Баскетбол его увлек. Здесь его рост сгодился. Теперь высота стала его удачей, находкой, и двигаться он стал иначе, самоувереннее, веселее... Ощущение собственного роста как бы раздвоилось: в спорте высота стала его опорой, необходимостью, чем-то обнадеживающим, успокаивающим его.

Во всяком случае, к любопытным взглядам Савельев привык. А здесь, во дворе, на него глазели во все глаза не только дети, но и домработницы, и лифтерши, слоняющиеся без дела, и мамы, подруги его бывшей жены. Его здесь хорошо помнили, единодушно осуждали за то, что бросил семью, и каждый его приход, как камешек, падал в тихую воду дворовой жизни; всплесков не было, но круги шли. Особенно хорошо знаком он был лифтершам. Возвращался он почти всегда поздно, в час, в два, двери в подъезде были уже закрыты, он долго покорно звонил, лифтерша выходила с заспанным, недоброжелательным лицом. Он совал ей в карман гривенник, она, как бы не замечая, брала, говорила, притворно вздыхая: «Запоздались вы сильно... Должно, дежурство». Он кивал: да, да, дежурство. Она долго, неповоротливыми со сна руками возилась с большим замком, он говорил: «Извините за беспокойство», — чуть более подобострастно и зависимо, чем обычно, она кивала даже как бы доброжелательно: мол, ничего, бывает, дело молодое, мужское, все понятно...

Они как бы заключали минутный заговор взаимопонимания и молчания. Но Савельев знал: завтра же утром договор будет расторгнут, и она, как всегда, продаст его всему двору.

Почему он шлялся допоздна? Да он и сам не знал. Пил? Да нет, не очень... Баскет отучил его пить. Просто неумоготу ему было дома... Отчего неумоготу? На это он тоже не мог ответить... Если б мы знали, отчего нам бывает неумоготу.

Да что думать об этом? — сказал он себе. Это уже все было и былшем поросло. А теперь это уже все позади. И все-таки глуховатая, несильная, но тягучая боль как бы отдалась в межреберье, и ему захотелось размяться, сде-

лать какое-то резкое и быстрое движение, чтобы отогнать это.

Он прошел уже весь двор — сына не было. «Придется тащиться на квартиру», — с тоской и неприязнью подумал Савельев.

Вот тут-то он и увидел каменно-безразличную физиономию домработницы Кати и понял, что сейчас появится Саша Савельев. И действительно, через секунду мальчик выскочил из подъезда и побежал по двору, тяжело и неряшливо хлопая по лужам. За ним все время стелился низкий и мутный фонтанчик весенней воды. Мальчик был в коротком, уже не по росту прошлогоднем тулупчике и в резиновых сапогах.

Он не увидел Савельева, а Савельев замедлил шаг и пошел вслед за ним. Он шел так довольно долго, пока мальчик не остановился и не повернулся. Мальчик увидел Савельева, улыбнулся, и Савельев быстро пошел ему навстречу. Вместе с тем мальчик несколько не удивился его появлению, будто бы они виделись только вчера. Этот мальчик вообще ничему не удивлялся, он все принимал так, как есть.

— А чего ты, папа, принес? — деловито спросил мальчик.

— Кольт... Пистолет такой, — сказал Савельев. — Я тебе его из Америки привез.

— Из какой Америки?

— Из Латинской.

— А-а... — задумчиво сказал мальчик. — Ну, давай.

Савельев присел, чтобы быть в рост с мальчиком, и протянул ему пистолет. Он не стал ни обнимать, ни целовать его, при людях он этого не любил, да и вообще он редко целовал мальчика, к тому же и мальчик был не из особенно ласковых.

Правда, когда Савельев приходил поздно, он на цыпочках подходил к кровати сына и по-собачьи нюхал мальчика. Особенно он голову любил нюхать. Маленькая, теплая была голова, и пахло тепло, вкусно. И спина хорошо пахла... Каким-то молочным, успокаивающим животным запахом. От этого запаха хотелось спать. Лечь рядом с мальчиком спать. И вся небольшая комната была пропитана этим теплым молочным живым запахом ребенка и покоя. А жена подымала с подушки красное, заспанное лицо и шептала громко:

— Ну вот, ребенка сейчас разбудит. Чего ты там копаешься в его кровати?

— Нюхаю,— говорил Савельев.

— Ты, видно, уже хорошо где-то нанюхался,— шептала жена.— Сколько времени? Уже три, наверно.

— Без четверти час,— отвечал Савельев.

— Раньше трех не можешь управиться,— как бы не слыша его, говорила жена и поворачивалась на другой бок.— Все тренировочки?

— Вот именно,— говорил Савельев и шел в другую комнату. Там был матрац на ножках...

— А как он стреляет? — спросил мальчик, с трудом удерживая в руках большой пистолет.

— А он водой стреляет. Только чистой. Наберешь воды из крана и будешь стрелять.

— А почему грязной водой нельзя стрелять? Грязной же интересней.

— Такие пистолеты грязной не стреляют,— без особой уверенности сказал Савельев.

Мальчик замолчал, рассматривая пистолет. А Савельев сидел на корточках. Мальчик не задавал больше вопросов, и Савельев тоже не знал, о чем с ним говорить. Еще когда ребенок задавал вопросы, было легко, знай отвечай. А так о чем говорить? Савельев совершенно не умел разговаривать со своим ребенком. С детьми обычно разговаривают, как с ненормальными, коверкают слова, сюсюкают, что-то напевают. А у Савельева не получалось. Вот жена это делала мастерски. А он и со взрослыми-то не очень умел разговаривать.

— А чего ты в Америке делал? — нараспев сказал ребенок.

— Играл.

— А во что играл? В «Конструктор», что ли?

— В баскет,— сказал Савельев.

— А это что?

— Это баскетбол, игра такая. Ну, в общем, в мяч играют.

— И как ты в мяч играл? В стенку, что ли?

— Нет, в корзинку.

— Для грибов, что ли?

— Нет, специальная, она с дыркой, чтобы мяч выскакивал.

— А ты мне принесешь?



— Принесу.

— А когда ты приедешь? Завтра?

Савельев замешкался.

— Нет.

— И послезавтра не принесешь?

— Да нет, видно, не получится. Я через недельку-другую зайду.

— А это долго? — спросил мальчик.

— Да нет, ерунда... Это быстро.

Мальчик замолчал. Он начал уже томиться. Все другие дети бегали, играли, а он стоял. Да и Савельеву было неудобно на корточках. Ноги хоть и тренированные, а устают. К тому же и таксист у ворот ждал.

— Ну, я пошел, — сказал Савельев и потрепал ребенка по щеке.

— А куда?

— На работу.

— А сейчас уже все папы приходят с работы, а ты зачем идешь?

— Нужно мне. У меня работа, понимаешь, вечерняя, сдельная. — Савельев и сам удивился, почему на ум ему пришло это слово «сдельная». — Ну, до свидания, — сказал Савельев мальчику.

— До свидания, — ответил тот вышколенно.

«Спасибо», «пожалуйста», «до свидания» он всегда говорил вышколенно.

Савельев поднялся, и мальчик мгновенно ушел глубоко вниз, стал крошечным, как игрушка. И Савельев пошел к такси. Таксист все время недовольно выглядывал из кабины. Таксисты простоев не любят. «Ладно, кину тебе полтинник. Чего морду высовываешь, на нервах играешь?» — сказал про себя Савельев и выругался. Затем он издали посмотрел на мальчика. Он посмотрел на него издали, со стороны, и удивился. Он удивился оттого, что увидел в центре детской площадки себя, маленького и странного Савельева. Никогда он не обнаруживал в ребенке сходства с собой. Да он и не задумывался об этом. Когда ребята говорили: «А сразу видно, твоя работа, не соседская... похож!» — Савельев только усмехался. «Конечно, моя работа, чья же еще, — без особого энтузиазма думал Савельев. — Только какое может быть сходство?.. Муть это все».

Дети похожи на родителей, это понятно, это дважды

два, но это так, со стороны, а сам ты этого не замечаешь. А тут прошло три месяца, Савельев вернулся из Латинской Америки и вдруг видит, что по двору шлепает другой Савельев, Савельев не только фамилией, но и лицом, руками, походкой. А с годами, верно, это сходство будет увеличиваться. Может быть, этот Савельев будет так же велик ростом, как и тот, — ни к чему это. Может быть, он встретится с женщиной, которая покажется ему своей, а потом станет ясно, что говорить им не о чем, а спать уже неинтересно, и они, как говорится в настольном календаре, люди «с разных материков». Но только большие расстояния с годами не сокращаются, а увеличиваются, а каждый говорит на своем языке — так что же им делать вместе?.. Но они обязаны быть вместе по правилам, по закону. И они вместе по закону, по правилам, но по отдельности — в душе. Но потом они расходятся по правилам, по закону, и все в порядке. И остается третий, маленький Савельев, гуляющий по двору, Савельев, отдельный от своего отца.

Савельев усмехнулся: что за муть лезет ему в голову. Не у всех же такое бывает. У его отца Савельева ведь так не было.

— Долговато вы, — сказал Савельеву таксист. — Ребенка, что ли, посещали?

— Посещал, — ответил Савельев и сел сзади.

— Куда поедем?

— К Парку культуры, — сказал Савельев и еще раз взглянул на мальчика.

Маленький Савельев тоже смотрел на машину. Он скользил глазами по переднему стеклу, потом по заднему, увидел отца, приветственно поднял свой черный кольт и помахал. Но кольт был слишком велик, он выскользнул из рук маленького Савельева и полетел в лужу.

Маленький Савельев забыл про отца, расстроился, лицо у маленького Савельева искривилось, сделалось мученическим и морщинистым, как у старика. Он сначала нагнулся, опять сел на корточки и стал вытирать пистолет о полы короткого пальто.

Таксист дал газ, машина сделала круг, и Савельев-большой так и не узнал, какие повреждения получил ковбойский пистолет с надписью «Made in Brasilia».

Машина выехала из колодца двора на Ленинский проспект. Воздух был солнечно-зыбкий, какой-то праз-

дничный, что-то гудело в нем, будто огромный приемник настраивали, сухого асфальта было уже много, а значит, дело к лету; университет тускло-золочено блестел своими крыльями, как огромный орган. Машина нырнула в тоннель у Дома тканей, Савельев на мгновение ощутил склепную, сумеречную сырость и вновь с удивлением и тоской подумал о Савельеве-маленьком. Он старался никогда об этом не думать, вообще никогда не думать о таких вещах. Он с самого начала знал, что тот существует, и так надо, и так у всех. Только когда он приходил особенно поздно и был чуть хмельной, он удивлялся этому лежащему в постели вдруг, откуда-то ни возьмись, появившемуся человеку. Он удивлялся тому, что этого человека раньше не было нигде и никогда и вдруг он появился, и ему все надо, и он, Савельев, обязан что-то делать ему и любить его. Эта обязанность не раздражала Савельева, а иногда даже умиляла, а в общем, ему было все равно. Но он никогда не знал, что вдруг это крошечное становится отдельным от тебя и вместе с тем в точности на тебя похожим. И вот оно живет среди миллионов людей, отдельное и похожее на тебя, ты его видишь раз в месяц, или в два, или в три и не очень часто думаешь о нем, а оно говорит твоим голосом, у него твой цвет волос и твои привычки.

«В стихах это необыкновенно», — вспомнил он любимую фразу Кости Маслова, динамовца, одного из «сборников». Когда возникало что-то непонятное, сложное и ненужное, Костя Маслов говорил, сплевывая: «В стихах это необыкновенно».

Между тем в четыре часа у входа в парк Савельев наметил одно мероприятие. Собственно, вполне обыкновенное. «Рандеву». Свидание. Поход в шашлычную «Кавказ», далее — по обстоятельствам.

Это была теннисисточка. Он с ней познакомился на сборах под Серпуховом. Она была ничего. Даже вполне. Иногда Савельеву казалось, что она в полном порядке. И он с ней не сучал. Только она все время была им недовольна. Что-то он делал не так... Вот он ее провожал, они расставались, и он чувствовал, она им недовольна. Не так он говорил, что ли, не так молчал, может, не о том думал, о чем бы ей хотелось. Кто баб поймет? В особенности теннисисток. И он рассуждал логически: раз ты недовольна, значит, завтра ты не позвонишь и, значит,

завтра мы не увидимся... Ну что ж, это грустно, конечно, это даже обидно, но не смертельно. И Савельев был готов к этому. Однако она звонила, и они снова встречались. Значит, она была недовольна, но не настолько. А все-таки недовольна. Чего-то ей хотелось от Савельева другого, чем он давал. Любви, что ли? Как говорит Костя Маслов, в «стихах это необыкновенно».

Однажды, слегка выпив, он спросил ее:

— А чего тебе, собственно, надо?

Она замолчала, потом глаза у нее сделались влажные, задумчивые и как бы потусторонние. (Савельев очень не любил и боялся, когда у женщин делались такие глаза. Тут уж ничего хорошего не жди. У его жены часто делались такие глаза.) И она сказала глуховатым и, как ему показалось, значительным голосом:

— Понимаешь, Савельев, ты хороший парень. Ты, в общем, даже добрый, но ты... как бы тебе это сказать... — она наморщила лоб, — ты, понимаешь, ты не контактный.

— То есть? — сказал Савельев несколько уязвлено. — Это уже что-то из области электротехники.

— Да нет, это не из электротехники, это из жизни... Между тобой и человеком не устанавливается контакт. Ты сам по себе, человек сам по себе. Каждый в своей однокомнатной квартире.

— Смотря с каким человеком, — сказал Савельев... — И вообще, в стихах это необыкновенно... Слушай, а теннисистки все такие?

— Какие?

— Закрученные. Ну, знаешь, как удар слева, крученный, верченый, непонятный.

На том и закончили ту политбеседу. И с тех пор об этом не говорили. Жить надо легче, жить надо проще, решил для себя Савельев. А то выйдешь из формы, и прости-прощай... С тех пор они чаще стали ходить по шашлычным, в ресторан «Останкино» (там джазик был ничего) или же в Дом кино на просмотр зарубежных фильмов. Савельев был знаком с администратором Гастыньским, администратор очень уважал Савельева за точность попаданий и отличный дриблинг. Он давал Савельеву пропуск на двоих.

После поездки Савельев с ней ни разу еще не виделся. По идее он должен был бы даже волноваться. Три месяца — это довольно много. И он даже настроился было

чуть-чуть поволноваться. Все-таки разлука, чужая сторона, а женщины-теннисистки народ нервный, интеллигентный, все у них на настроении.

Он вышел из такси и снова попросил таксиста подождать. У входа в парк было пусто, какие-то мальчики в синих нейлоновых курточках покуривали, облокотясь на черные поручни прохода. Они посмотрели на Савельева и враз зашептались. То ли узнали его, то ли просто рост их поразил. Они были юные и худенькие и показались такими же игрушечными, как его собственный маленький Савельев. Он закурил, почувствовал вдруг тяжесть и усталость, и ему почти захотелось, чтобы теннисистка не пришла. Он с ужасом представил себе, как она будет требовать от него рассказов о солнечной Бразилии, и о том, какого качества стадион Маракана, и правда ли, что у футболиста Диди восемнадцать детей. А потом, после шашлычной, надо будет придумывать, куда деться, потому что она живет с мамой, а Савельев снимает комнату, где хозяйка строга и нравственна и все ждет, что Савельев женится, как все люди, а таких романов она не понимает. А комната хорошая, в центре, со всеми удобствами, и Савельеву лень искать другую комнату.

Она опаздывала уже на семь минут, и теперь Савельев мог с уверенностью сказать себе: да, определенно ему хочется, чтобы она не пришла.

Он бросил последний взгляд, горизонт был чист, и Савельев решил, что самый момент рвать когти. Онсел в такси, таксист понимающе поглядел на него и сказал:

— Не пришла?

— Не пришла,— сказал Савельев и дружески улыбнулся таксисту.

— Вот бабы... Управы на них нет,— проговорил таксист.

— Да ну их,— всело сказал Савельев,— толку от них что.

Теперь он знал, что он будет делать. Он купит дюжину пива и поедет к Косте Маслову, и они будут пить чудесное холодное «мартовское» пиво, заедать его таранькой (у Маслова всегда есть таранька, ему ее присылает один болельщик из Ейска), будут слушать музыку по приемнику и разговаривать о чем захотят или не разговаривать вообще. В стихах это необыкновенно... И, может быть, под конец вечера, когда Савельеву станет тепло и одиночество

пройдет, он расскажет Саше Маслову о том, как приезжал в гости к маленькому, отдельному от него Савельеву. А может, и нет. По ситуации, по настроению.

— Давай, шеф, гони в центр,— вздохнув, сказал Савельев.

Шеф мягко тронул, и через секунду Савельев увидел свою теннисистку. Она торопилась, бежала, перескакивала через лужи, стараясь не замочить синие блестящие туфельки на высоких гнутых каблуках. Она как бы взбрыкивала ногами и походила на огромного нарядного и сверкающего кузнечика. Ее тонкие длинные ноги, облитые нейлоном, сверкали на солнце, как два золоченых стебелька.

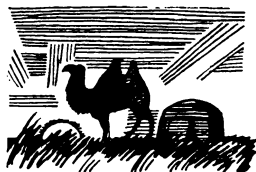
Савельев дернулся к окну, хотел распахнуть дверцу, поколебался, и момент был упущен, потому что в таких случаях машину надо останавливать немедленно, а возвращаться назад уже не имеет смысла.

— Все нормально, шеф,— сказал Савельев шоферу и успокоился совсем, сел поудобнее, чтобы смотреть, как двигались вокруг машины, как быстро и медленно шли люди по Зубовской площади, как шныряли на весенних тротуарах веселые и грустные дети.

Это было любимое занятие Савельева — наблюдать многообразные формы человеческого движения.

# Мансур-Бунтующая Целина

---



Интернат стоял над разлившейся по весне речкой Чкалдамой.

Река удивила нас внезапным голубым сверканием. Перед этим была только степь, только терпкий запах земли, только жидкий прошлогодний ковыль, только горечь полыни, только блеклое, засохшее, оттого что давно не было дождей, небо — и вдруг эта река, а над нею белый, приветливый, словно бы улыбающийся дом в степи!

Директор интерната Маканов уже ждал нас. С ходу, едва поздоровавшись, Маканов развернул перед нами величественную картину дел, совершенных во вверенном ему целинном интернате. Он засыпал нас цифрами, рассказывал о кукурузе, выращиваемой его питомцами, о птичнике и «клубе умелых рук». Он делал это добросовестно, как на отчете.

А дети спали. Был мертвый час. Мы уважали дела, творимые в интернате, но нам стало вдруг очень скучно... В сущности, нас интересовали дети.

Когда Маканов закончил свою сводку, мы пошли по хозяйствам. Черно, густо блестела на солнце вспаханная земля, и когда мы посмотрели на нее, то поняли, почему Маканов с таким упоением произносил цифры.

Три года назад здесь была такая же рыжая, горькая степь, как та, по которой мы ехали. Совсем юные люди,

забывшиеся сейчас в мертвом сне, пахали и засеивали эту землю...

— Хорошо бы все-таки увидеть детей, — робко заикнулись мы.

— Дети будут, — сказал Маканов. — Будут наши замечательные дети — сыновья и дочери чабанов и пастухов, идущих в наступление на целину.

Мы переглянулись. Чувствовалось, что Маканов читает передовицы газет с особым вниманием и легко запоминает их наизусть.

— В честь гостей дети дадут концерт. Такова уж традиция юных целинников.

Неожиданно к нам подошел высокий, чуть сутуловатый парень лет девятнадцати-двадцати, кивнул нам и обратился к Маканову по-казахски. Парень был явно русский — светловолосый, с чуть вытянутым лицом, с голубыми глазами, устало смотревшими на Маканова.

Мне не раз приходилось слышать, как русские говорят по-казахски: они очень старались и выговор у них был какой-то округлый, мягкий. А этот говорил по-казахски так же быстро, отрывисто, уверенно, как и Маканов. Я не понимал, о чем они говорят. Но одно и то же имя все время повторялось в разговоре...

— Мансур, — говорил Маканов и покачивал головой. — Ай, Мансур!

— Да, Мансур! Мансур! — подтвердил второй.

Все торжественность и официальность разом слетели с Маканова. Чувствовалось, что он чем-то не на шутку встревожен. А второй вежливо разделял озабоченность Маканова, но все время чуть улыбался, точно в глубине души не принимал происшедшее всерьез. Но вот Маканов спохватился, что гости позабыты, и повернулся к нам.

— У нас замечательные дети... Но есть и другие. Есть и такие... — Он так и не нашел подходящего слова. Он сурово нахмурил брови, словно показывая нам, что есть дети, которые не могут вызвать у человека ничего, кроме гнева. — Николай! — позвал он белокурого. — Собери детей в красном уголке. Будет концерт... И чтоб Мансур был...

— Мансур? — Николай удивленно поднял брови. — Мансур не пойдет.

— Как так не пойдет? — рассердился Маканов. — Ты приведешь его с собой. И он будет играть на кобызе.



— Мансур не пойдет, — упрямо повторил Николай. — И он не будет играть на кобызе. Уж я-то знаю Мансура.

— Ты воспитатель, или ты кто? — сказал Маканов.

— Я воспитатель, директор, — тихо ответил Николай. — Но Мансур все-таки не придет...

Маканов снял с головы тубетейку и нервно сунул ее за кушак. Жест выражал недовольство. Бархатная черная тубетейка как бы тушила блеск его маленьких, необыкновенно быстрых и горячих глаз. А теперь они засверкали вовсю. Маканов сердился. Я, не зная причины, с удивлением смотрел на Маканова. И я видел морщины, резкие, графически четкие, на его коричневом, ровно, крепко обожженном солнцем лице, морщины на лбу и переносье, и лысеющую, совсем седую голову... Да, видно, нелегкой ценой дались ему эти гектары, и белые постройки, и птицеферма, и все, о чем он говорил вначале так скучно и торжественно. А теперь еще этот таинственный Мансур...

— А, Мансур! Какой нехороший, какой нехороший! — с горечью прошептал директор. Но тут же он вновь надел на себя тубетейку, и лицо его сделалось непроницаемо важным. — Прошу дорогих гостей в красный уголок...

В красный уголок между тем стайками врывались девочки в коричневых школьных платьицах и синих шароварах. Увидев нас, они начинали смущаться и смущались долго и упорно, отводя в сторону жаркие раскосенькие свои глаза и бормоча что-то...

— Дети, к нам приехали гости из Москвы, — сказал Маканов. — По нашему обычаю, мы не можем отпустить гостей без угощения... А лучшим угощением будут ваши веселые песни.

— А не бесбармак! — буркнул какой-то мальчишка, настроенный явно скептически.

— Ой, какой нехороший!.. Ай, какой невоспитанный!.. — сказал Маканов и развел руками.

И в этот момент в комнату вошел Николай. Он был один. Без Мансура. Маканов внимательно посмотрел на него и ничего не сказал.

— Ладно, споемте, дети, «Бульме», — сказал он устало и взял домбру.

Я не знаю, что такое «Бульме». Но это слово задорно

вырывалось из общего потока, и казалось оно необычайно заразительным, звонким, каким-то вкусным: может быть, это происходило, оттого, что я не знал его смысла. «Бульме, Бульме!» Оно походило на стук весенних капель по крышам. А потом вышла очень полная и рослая девица, туго запеленатая в школьную форму, и невероятно тоненьким голосом, как бы вибрирующим на краю пропасти, вибрирующим, но не срывающимся, спела смущенно, но старательно песню о целине. Она подыгрывала себе на домбре, и Маканов, глядя на нее, оживал и делал что-то губами, видимо неслышно ей подпевая.

А потом, после концерта, взятые в железные тиски местного гостеприимства, мы сидели на кошме на особом «гостевом» месте и пили, обжигаясь, густой, подернутый молочной пленкой жира суп сурпо и терзали баранью ногу, выданную персонально гостям.

Я сидел рядом с Николаем, напротив еще несколько учителей, а у самовара, самого что ни на есть русского, лучистого самовара, восседал Маканов. И я всячески пытался подражать Николаю и тому, как ловко он брал своими тонкими сильными пальцами щепотку лапши, как он ловко, даже изящно обрабатывал косточки, тому, как неторопливо и раздумчиво прихлебывал чай и, наконец, как бы подводя всему этому черту, поставил пиалу ребром, что означало конец чаепития.

Да, мне нравился Николай, нравилось удивительное сочетание русской непринужденности, даже чуть небрежности с азиатской мягкостью, спокойствием, терпимостью. Я ничего о нем не знал... Но он как-то неожиданно вписывался в эту обстановку — с кошмой, на которой, поджав под себя ноги, сидели люди, с тульским сияющим самоваром, с огромным общим блюдом, как бы символизирующим людское братство. Внезапно я тронул Николая за плечо и с восточной обходительностью сказал ему:

— Можно вам задать вопрос?

— Пожалуйста, — сказал Николай.

— Как Мансур? — сказал я. — Как поживает таинственный Мансур? И что вообще он собой представляет... Если, конечно, он не засекречен.

— О, Мансур! — протянул Николай, и улыбка его вдруг стала почти нежной. — А вы бы хотели на него взглянуть?

— Мечтал бы! — воскликнул я.

— Это зависит от Маканова, — сказал Николай.  
— Давайте бросимся перед Макановым на колени.  
— Маканов этого не любит. Он любит, чтобы все по порядку...

И тут же Николай по-казахски что-то спросил у Маканова. И в вопросе опять прозвучало характерное отрывистое «Мансур» с ударением на первом слоге. Маканов колебался. Он был явно недоволен Мансуром. Я был уверен, что он откажет. Но при его недовольстве Мансуром были, видимо, в макановском сердце какие-то струны, которые мгновенно отзывались на это имя... И, подумав, Маканов произнес какую-то короткую фразу. Он разрешил, Маканов.

Мы шли к таинственному Мансуру вдвоем с Николаем. Мы прошли длинным интернатским коридором, потом свернули в какой-то тупичок.

— Только учтите, вам к Мансуру заходить не стоит.

— Так зачем же мы вообще пошли сюда? — сказал я.

— Вы не пожалеете... Погодите, не торопитесь.

Николай своим ключом открыл дверь и вошел в комнату, где и находился, должно быть, таинственный Мансур. Он был здесь рядом, за тонкой щелястой стеной. Мне мучительно захотелось увидеть его, увидеть именно со стороны, и, снедаемый любопытством, я прильнул к круглой, как глазок, щели. В конце концов, Николай и взял меня для того, чтобы я посмотрел на Мансура.

И я увидел, как Николай прохаживается по маленькой пустой комнатенке, а на полу, поджав под себя ноги (хотя рядом стояла кровать), сидит мальчик лет тринадцати. Прямые иссиня-черные волосы падали на лоб и как бы делили его лицо надвое. И, отделенные друг от друга этой черной прядью, мерцали большие, широко расставленные глаза, смотревшие на мир сумрачно и очень внимательно.

Какая-то скорбность была в его позе и в этих раскосых больших внимательных глазах.

— Ну так что? — сказал Николай. Для меня он говорил по-русски. — Ты доволен случившимся?

— Да, — твердо сказал Мансур. — Я доволен.

— Ты доволен тем, что чуть не свел директора в могилу, а меня заставил три ночи провести в седле? Ты, видно, очень доволен этим...

— Нет, этим я недоволен, — сказал Мансур.

— Чем же ты доволен, Мансур Амиров? — сказал

Николай.— Скажи мне, не таись. Ведь еще недавно ты относился ко мне совсем не так плохо.

— Я и сейчас отношусь к вам неплохо. Я хорошо к вам отношусь, Николай-ака. И все-таки я доволен.

— Я не понимаю тебя, Мансур.

Мансур задумался. Я видел, как прямые и гордые его брови сошлись у переносья и лицо сделалось вдруг взрослым, суровым.

— Я повидал степь, Николай-ака. Да, я повидал степь. Я соскучился по ней. Я давно уже должен был ее увидеть.

— Разве тебе мало той степи, что за окном? — сказал Николай.— Разве это не степь?

Мальчик снова задумался. Потом он посмотрел на Николая и сказал с какой-то неожиданной усталостью:

— Это другая степь. Я хотел видеть степь своего отца. Я хотел видеть свою степь. Ту степь, что у Байгабула.

— Ну, и как та степь? — спросил Николай.— Она изменилась?

— Да, она изменилась, — с тревогой сказал мальчик.— Там много людей, новых людей. Я их не знаю. Много машин. Машины — это хорошо... Но если их слишком много, лошади начинают бояться.

— Лошади привыкнут, — сказал Николай.— Машины никогда еще не обижали лошадей. Ты это знаешь, Мансур.

— Знаю, — тихо, неуверенно сказал Мансур.— Но лошади не знают этого...

— Пастухи объяснят им, — сказал Николай.— Это уже дело пастухов. А твое дело учиться и играть на кобызе.

— Да, но у меня отняли кобыз, — сказал Мансур.

— Отняли потому, что ты обидел нас. Ты обидел Маканова и меня.

— Ты не понимаешь, что такое степь, — с неожиданной горечью сказал Мансур.— Ты русский, ты этого не понимаешь.

— Я понимаю это не хуже тебя, — твердо сказал Николай.— Степь мне мать и отец, так же как и тебе. Я вырос в степи. Но я же не убегаю в степь, не оставляю тебя одного. А ты оставил меня.

— А ты скучал? — робко и как-то настороженно спросил Мансур.

Николай молчал.

Сильно задувал ветер, окна звенели, и мальчик напряженно, пристально, в упор смотрел на Николая и ждал, ждал ответа.

— Да,— сказал Николай.— Но не будем об этом.

И мальчик вдруг улыбнулся. Он улыбнулся счастливо и спокойно. Ему, видимо, было нелегко, этому мальчику. Слишком много противоречивых и достаточно сильных чувств билось в его сердце, билось, сталкивалось, не давало ему успокоиться и раскачивало его сердце из стороны в сторону, как маятник.

— Ты обещаешь мне, что этого не будет? Никогда не будет? — нахмурившись, сказал Николай.

— Никогда? — переспросил мальчик и задумался.— Я не знаю, что такое никогда. Никогда — это слишком долго...

Оба они замолчали, и я почему-то подумал, что и молча они понимали друг друга, хотя смотрели на некоторые вещи по-разному.

— Ладно,— сказал Николай.— Маканов разрешил мне дать тебе кобыз. Но не потому, что он простил тебя, а потому, что он боится, как бы ты не разучился играть. Он говорит, что ты стал слишком легкомысленным. Теперь для тебя и музыка ничто.

Мансур вспыхнул.

— Я разучился? — сказал он.— Принеси мне кобыз, и я покажу вам всем, как я разучился.

Николай вышел из комнаты и запер дверь.

— А мне нельзя войти к нему? — прошептал я.

— При вас он не станет играть. Он никогда не играет при чужих.

Я хотел было объяснить Николаю, что я не чужой, но не успел. Николай уже шел за инструментом, шел мягко, босиком, и при свете синего почника его фигура казалась причудливой, странной, будто это был всадник, только всадник без лошади. Но вот он появился снова, уже с инструментом в руке.

— Да, он никогда не играет при чужих,— шепотом повторил Николай.— Беда, беда с Мансуром... И на соревнование его не выставишь. Мансур — это целина. Невспаханная целина.

— Целину надо поднимать,— сказал я несколько назидательно.

— Поднимем. Поднимем. Только люди — это послож-

нее, чем земля.— Он улыбнулся ласково и грустно и тряхнул головой.— Да-а.— Должно быть, он подумал о Мансуре. Затем он посмотрел на меня и сказал: — Вы выйдите из дому и подойдите к окну. А я открою окно... Сквозь дверь плохо слышно.

Я вышел на улицу, сел на солому около окна. Горько пахло кизяком. Овцы уныло, точно жалуясь на кого-то, блеяли, и голоса у них были старческие. Но никто не слышал их жалоб, было тихо, очень тихо, тишина была слева, и справа, и всюду — она простиралась над землей на многие километры... И вдруг в тишину эту вошел чей-то легкий и освобожденный вздох. Не вздох усталости — вздох радости. Кто-то тихо, но звонко засмеялся. Я приподнялся и посмотрел в окно. Это смеялся Мансур. Обеими руками он держал свой инструмент и смеялся. Его наказали — у него отняли кобыз, а теперь над ним сжалились и вернули то, без чего он не мог жить. Он стукнул костяшками пальцев по деревянному корпусу, поудобнее уселся, словно прилаживаясь к кобызу, деловито пощупал струны. Лицо его вдруг озаботилось, повзросло, точно все до того момента, как он взял инструмент, было суетой, несерьезностью, чем-то второстепенным, а дело-то будет только сейчас.

Он начал играть очень тихо, я даже не почувствовал, не увидел первого побега мелодии. Я увидел ее уже в росте, когда она поднималась, крепла, мужала на глазах.

А мальчик сидел на полу, полузакрыв блестящие, сумрачные глаза, и прислушивался к своим пальцам, тоненьким, с обкусанными ногтями, с темными обводинами на костяшках, и, верно, был ими недоволен.

Ему, видно, хотелось, чтобы они были чутче, его пальцы, чтобы они поняли самые горькие и самые радостные его мысли, спрятанные от людей.

Мансур играл спокойно, меланхолично, импровизируя, иногда нарочно ломая мелодию, шаря на ощупь в поисках какой-то новой, еще не известной ему интонации.

Не было в позе его вдохновения. Просто сидел чуть насупясь, о чем-то своем думая, и наигрывал, наигрывал...

О чем он играет? Я мог только догадываться. Мне казалось так: о степи, о рыжей, о далекой, о пахнущей сладкой горечью полыни, о смыкающейся с небом, о той, что ждет дождя... А может, и не об этом. Но в песне было что-то от степного весеннего ветра — теплого, обещающе-

го перемены, идущего издалека, несущего иногда радость, иногда беду... Видно, хорошо слушал этот мальчик степь. Видно, пустынная ее душа была ему небезразлична.

И, слушая его, я вдруг вспомнил толстую и симпатичную девчонку, игравшую на домбре. Для нее это был урок. И выполнила она его добросовестно и бесталанно, как ученица, никогда не забывающая сделать домашнее задание.

А здесь был мастер. Маленький степной мастер, срывающийся, бунтующий, в котором есть сила невспаханной, необузданной целины, не растроченная и пока еще бесполезная, не отданная людям, замкнутая в нем самом.

Шуршала низкой травой степь, слушала Мансура, узнавала его голос, но не могла ему подпевать, так как по природе своей была слишком молчалива.

Мансур кончил, повесил на гвоздик кобыз и вопросительно посмотрел на Николая.

— А теперь спать,— сказал Николай.

— А ты меня запрешь? — с горечью спросил Мансур.

Николай не знал, что ответить. Видно, у него были соответствующие указания на этот счет.

— Я бы тебя не запираю, но мне очень трудно догнать тебя в степи,— сказал Николай.

— Я не убегу сегодня,— сказал Мансур.— Пожалуйста, не запирай меня, Николай-ака.

Николай встал, постоял в нерешительности и вышел, не заперев дверь...

Мальчик подошел к полураскрытой двери, высунулся вслед за Николаем, соорудил неизвестно кому, а вернее, самому себе гримасу и тоненьким голосом зашел: «Бульме! Бульме! Бульме!»

Арест кончился. Он был на свободе. И с ним был кобыз. И Николай простил его. И на худой конец, можно было убежать еще раз.

А Николай уже шел ко мне. Он не стал спрашивать, какое впечатление произвела на меня игра Мансура.

Он молчал. Здесь все было ясно...

— А что он все-таки натворил, Мансур? — спросил я.

— Он вылез в окно,— сказал Николай.— Сел на макановского коня и ускакал в степь. На рассвете я кинулся за ним в погоню... Две ночи я гнался за ним. Было бездорожье, машины не шли. Только на коне можно было двигаться по степи. Маканов чуть не заболел. Он слал

телеграммы в соседние казахские совхозы: нет ли мальчика? «Мальчика нет», — отвечали ему. Я доскакал до Байгабула. Там его родина. Там его родная степь.

— А родители? — спросил я.

— Родителей у него нет. Соседи-пастухи слышали, как кто-то скакал около юрт ночью и пел. Но они не знали, шайтан это или человек. Я гнался за ним и спал в седле. Я заставлял себя не спать, но это было очень трудно. Я нагнал его за Байгабулом.

— А чем он питался?

Николай улыбнулся.

— Песнями, — сказал он. — Пастух быстр, как конь, и неприхотлив, как верблюд. А Мансур — сын пастуха.

— А может быть, не стоило гнаться за ним? — спросил я. — Он все равно вернулся бы.

Николай посмотрел на меня удивленно.

— Вернулся бы? Наверное. Он побывал в той степи, где родился, где умер его отец, и, конечно, же он вернулся бы домой... Но мы думали сердцем, а не умом. А тот, кто думает сердцем, не умест ждать.

Помолчав, он добавил:

— А вы знаете, у степи ведь иногда портится настроение, и тогда степь не выпускает человека.

«Какие судьбы привели этого сына Волги или Оки в степь? — думал я. — Кто научил его казахскому языку? Что сделало его учителем казахского интерната?»

Спрашивать было неудобно, но не спросить я не мог.

— Вы давно здесь, в Казахстане?

— Давно, — сказал он.

— А ваши родители?

— Их нет, — сказал он. — Меня воспитали пастухи. Но это долгая история, а вам уже пора.

Он замолчал. «Так вот оно как! — подумал я. — Значит, у них с Мансуром общая судьба... И они говорят на одном языке. На языке степи».

— А Мансур — это целина, — еще раз повторил Николай любившееся ему сравнение. — Это бунтующая целина. Но урожай будет... не беспокойтесь.

Ветер усилился. Движок, дающий интернату электричество, выключили.

И последнее светившееся в ночи окно Мансура погасло.

— Не убежит? — спросил я Николая.



— Не убежит, — сказал Николай. — Сегодня он не убежит. Обещал.

— А завтра?

— А завтра посмотрим... Не споткнитесь, здесь темно.

Я шел вслед за Николаем и думал об этих погасших окнах и о том, что будет завтра...

И сколько раз Мансур еще огорчит Николая, прежде чем будут первые восходы, сколько раз он заставит Маканова хвататься за сердце!..

— Да, а где же Маканов? — сказал я. — Надо же зайти к нему.

— А вот он, Маканов, он нас ждет.

Ну и глаза у этого Николая!.. Может быть, у всех пастухов такие глаза. В темноте он увидел Маканова, сидящего, поджав ноги, на крыльце, слившегося с ночью...

«Неудобно, — подумал я. — Мы заставили его ждать. Надо извиниться». Мы подошли совсем близко, но Маканов не встал нам навстречу. «Обиделся, — подумал я. — Все-таки с этими восточными людьми не всегда просто».

Но Маканов не обиделся. Он спал. Он спал сидя, и бархатная тибетейка сползла ему на ухо. Он спал, Маканов, и вовсе он не обиделся на нас. Просто с этими юными целинниками еще и не так навоюешься.

# Первая бессонница



Я видел его из своей каюты: он стоял у борта, склонившись, положив короткое сильное туловище на перила, и смотрел в воду. Что он там увидел? Уже ничего не было: ни огней порта, ни сухогрузов, стоящих на приколе, ни катеров, порхающих невдалеке от мола, ни китобойного флагмана, неправдоподобно сверкающего в темноте... Он мог видеть только черную воду, черную, как вакса, как сама ночь, черную беззвездную, глухую воду — и больше ничего.

Но он все стоял и смотрел, уже второй час, неподвижный и выдержанный, как японец.

Я обратил на него внимание еще днем, когда мы только уходили из порта.

Все они словно озверели и стучали в барабаны, били в медные тарелки, надували трубы так, что те гремели и чуть не лопались, дудели в неизвестные мне народные инструменты. Теплоход сжался и обалдел от их игры. Он был старый, чиненый, скромный, он стеснялся за этот гам перед другими, гораздо более внушительными, но менее шумными теплоходами, которые тихо и пристойно звучали включенными в треть мощности радиоузлами. Но ребята были молодые, начинающие, им было наплевать на все на свете, потому что они заняли на областном смотре школьной самодеятельности второе место. Они гремели на все лады: «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет

мама...» — и все пассажиры сначала слушали разинув рты и улыбались, а потом разбежались по каютам. Наступил перерыв, и их повели обедать, и стало так тихо, что я испугался. Потом они принялись за дело с новыми силами, и к ним подключилась еще группа дремавших до сих пор смычковых инструментов.

Вот тут-то я и обратил на него внимание. Он слонялся по палубе лениво и посторонне, непричастный к их деятельности, как второгодник на экзаменах. Ему было лет пятнадцать. Он был короткий, с непропорционально длинными руками, и я еще обратил внимание на его кисти: у него были неюношески широкие кисти, ладони большие, как лопаты, и сильные коренастые пальцы. Мне он не понравился: угрюмый, должно быть, злой, неряшливо одетый. Только очки мне у него понравились: очки были чудные, такие очки носили студенты-революционеры, курсистки, передовые земские врачи конца прошлого века — кругленькие металлические очки, два тоненьких обруча с проволочками-заушниками. А за толстыми стеклами близоруко щурились глаза, маленькие и голубые на большом темном загорелом лице, мерцающие неожиданно странно, как голубые букочки запасного выхода в темном большом зале. Когда школьники пошли обедать, он был вместе с другими, ел истово, бережно и, когда съел яичницу, старательно прошелся корочкой по закопченному дну сковородки. Они поели, их развели по каютам, уже вечерело, и на палубе стало прохладно, и море, о котором все забыли, дало о себе знать резким, неприятным, влажным ветром. Оно стало тускло-темным, всплескивало глухо, невесело, тяжелая безликая темная масса то поднималась к борту, пронзительно и мертво дыша холодом, сыростью, то падала вниз, и луч маяка ломался, обрываясь над зеленовато-черным провалом. Люди тоже переменились, они уже не бродили по палубам, не смеялись, не курили, бросая окурки в море, любуясь им и поплеывая на него с высоты теплохода... Они сидели по каютам, а палубные примостились на скамейках, всюду стояли корзины с марлевым белым верхом в алых размытых клубничных пятнах (это вилковские колхозники возвращались из Одессы с рынка, с торгов), сладко и терпко пахло клубникой, которой не было.

И только в ресторане стало, наоборот, весело, шумно и светло.

Я пошел в каюту, выпил пива, лег.

Заснуть я не мог; в поездах и самолетах я засыпал легко, деловито, по-командировочному, а на море не спалось. В самолете ты окружен людьми, а небо далеко, неслышно, неосвязаемо, за толстыми стеклами, и стюардессы или журнал «Крокодил» отвлекают тебя от неба, поезд же вообще не в счет, в поезде живешь как в гостинице, а на пароходе все время чувствуешь море, выходишь на палубу, и вот оно, рядом, брызги летят тебе в лицо, и ты уже не деловой человек, который думает о цели командировки или ни о чем не думает, ты уже человек в океане, и тебе лезут в голову всякие странные и тревожные мысли о твоей жизни, о той ее части, что уже прожита, о том, что она всегда все-таки хуже, чем могла бы быть, и о той ее таинственной части, что еще предстоит, и о всяких частностях и деталях этого предстоящего.

И ты думаешь об этом и оторваться не можешь, будто привязчивый мотив тебе на язык попался, и ты хочешь его забыть, и все наборматываешь тот мотивчик, и все думаешь, думаешь, думаешь, как дурак, а буфет уже закрыт.

И так всегда было со мной на всех ночных палубах, на теплоходах, дизелях и сухогрузных баржах, на катерах и китобойном флагмане «Слава», на «РТ-52», а началось это, когда мне было семнадцать лет и я работал корректором в геленджикской газете, а потом вдруг взял и сбегал и отправился на СЧС — среднем черноморском сейнере «Дельфин» — к берегам Болгарии помощником моториста ловить камбалу, а потом пелаמידу и скумбрию. Ловили мы эту самую камбалу, завтракали ею и обедали, уху из нее готовили с чесночным соусом саламуром. А вечером я вылезал на палубу, садился на сеть, курил «Прибой», и море было вечернее, вот такое, как сейчас, только веселее, легче, светлее, а невдалеке огоньки мигали, и это были уже не русские огоньки, а болгарские. Я долго недвижно сидел на свернутых капроновых сетях и вдруг весь внутренне обмякал и поддавался этой шумной тишине, дрожанию испуганных прожекторов, неровному, отталкивающему и странно влекущему пространству. Я знал, что не буду спать, что всю ночь мои мозги будут, как заведенные, крутиться и мучить меня, что я буду считать до ста и до тысячи, но это ничего не даст,

что проклятый завод кончится только на рассвете, когда станет солнечно и спокойно. Тогда я засну блаженно, быстро, глубоко, а через пару часов в мой сон, как крючок в рыбу, вонзится голос капитана-бригадира: «Эй, там, солдатики, подъем!»

Так было каждый день, и иногда я вообще не ложился часов до трех, и только когда мозг тускнел, становился спокойно-равнодушным к воде, к ночному небу, к шуму, я шел в кубрик.

Однажды ко мне подошел радист и посмотрел на меня сочувственно и удивленно.

— Бессонница?.. А может, ты чего сочиняешь?

— Да нет, — сказал я. — Я не умею. Хотелось бы.

— А тут один с нами ходил, так он сочинял. Садится на сети и сочиняет. Он быстро сочинял, не то что ты. Посидит минут пятнадцать и сочинит. Веселый он был, простой. Очень уху уважал.

— Да я ведь не сочиняю. Я просто так.

— Просто так не бывает. Может, ты по пацанке скучаешь?

— Да у меня нет ее.

— Вот от этого и не спишь.

— Это все ерунда.

— Ладно, ерунда. Вот придем на базу — надо будет тебе пацанку найти. Там приемщицы очень культурные.

— Да ладно, обойдется.

— Ну, как знаешь.

Потом мы шли в его крохотную рубку, где он работал и спал на узенькой подростковой кровати, слушали последние известия на разных языках, музыку. Радист давал мне немножко спирта, и я веселел и переключал диапазоны приемника, и что-то грохотало, хрипело, кто-то шел низким печальным голосом, страдая, но не всерьез. Радист рассказывал мне, какой у него сын, мой погодок, Терентий, какой спортсмен — мастер спорта по прыжкам в воду, и, слава тебе господи, ни грамма не потребляет и возле кино не толчется, билетами не промышляет со шпаной. Никаких этих самых завихрений, а все то, что полагается...

И, вспоминая сына, он грустнел, а я, наоборот, все веселел и хмелел, не от спирта, а от музыки, от тепла крошечной каюты, от любви к пожилому радисту, к его севшему грубому голосу и к желтым маленьким усталым

глазам, к его узким, высохшим, как лодки-долбленки, рукам, хмелел от любви ко всем радистам на всех средних сейнерах Черноморского флота и ко всем вообще людям, кроме фашистов и неофашистов, и тех, кто линчует негров, и тех, кто притесняет некоторых белых.

— «Сиреневый туман над морем тихо тает,— вполголоса пел я.— Над городом горит вечерняя звезда...»

— А ты, брат, косой.

— Да я не косой, я прямой, как мачта.

И я выходил на палубу. И опять море было рядом. Вот оно: плюет, пылит соленой пылью, тяжело и гулко прыгает и перехлестывает через борт, живет, и дышит, и стонет, и нет все же в нем ничего человеческого, оно слепо, бессмысленно, жестоко, но я уже не боюсь его, как раньше.

Мне весело, хорошо, и если я сегодня не засну, то от радости, а когда на рассвете буду мыться, и надевать синие выцветшие штаны и робу, и хлебать чай из большой кислой кружки, то буду вспоминать: что же это за радость была вчера вечером?..

Теплоход наш совсем почти уснул, буфетчица сонно двигалась по длинному, медно-красному от притушенного света коридорчику.

Какая-то палубная пара, пробравшаяся в теплый коридор, испугнуто замерла, словно в цирке живые скульптуры.

И стало тихо, только стакан для питьевой воды, укрепленный на железной скобке, дзинькал, как трамвайный звонок.

Я зажег свет в каюте, стал аккуратно развешивать свой мятый пиджачок на пластмассовой вешалке (почему-то дома пиджак бросаешь куда придется, а в гостинице, пароходе, самолете развешиваешь, да еще чистишь специальной щеткой).

И вот тут-то, когда я встал и подошел к шкафчику, чтобы повесить пиджак, я увидел этого парня. Он стоял наискосок от моего окна, опутив свою большую, стриженную под Котовского, буграстую голову на фальшборт, стоял так, будто его травило, или как если бы он вытягивал из воды леску, или словно что-то уронил он и всматривается, хочет это разглядеть в темноте. Все его дружки из самодеятельности давно спали, а он, видно, тоже лег, но проснулся и сбежал сюда, на палубу.

Я физически ощутил, как ему холодно, сыро, одиноко, как ему жаль себя, потому что людям, в одиночестве стоящим на палубе и глядящим в море в то время, как все другие спят, бывает необычайно жаль себя.

Мне этот парень не нравился, но мне не хотелось, чтобы он там торчал один. Я снял пиджак с широченной, прямой, как распятие, вешалки и вышел на палубу.

Когда я подошел к нему, он не шелохнулся.

— Чего ты там увидел? — спросил я.

Он быстро и досадливо повернулся, сверкнув своими тонкими социал-демократическими очками, с таким видом, будто я оторвал его от обдумывания шахматного хода.

— Ну так что же ты там увидел?

Он только чуть переменял позу и скосил на меня маленький, светлый, блестящий в сумраке глаз.

— Дайте закурить, — сказал он тоненьким голосом, неожиданным при его дубоватой квадратной внешности.

Мне очень хотелось дать ему закурить, но я недавно слушал по радио беседу для родителей, и я сказал:

— Не могу.

Он отвернулся от меня, окончательно потеряв ко мне всякий интерес.

— Слушай, — сказал я. — Если тебе почему-либо неохота ночевать со своими, приходи в мою каюту: она двухместная, а я один. А здесь тебя продует, и ты будешь завтра больной и сопливый.

Тут он чуть оживился и, ухмыльнувшись, буркнул:

— Спасибо.

— Прости меня за назойливость. Но, понимаешь, я и сам люблю глядеть на ночное море... Поэтому ты скажи: может, ты чего там увидел? У тебя очки вон какие! Может, там чего есть?

— Там огни, — помедлив, сказал он.

Я посмотрел: никаких огней не было, было всюду темно, так что глаза утыкались в эту черноту и слепли. Только буи светились и гудели. И маяк быстро полз по темным круглым взгребьям.

«Ну ладно, огни так огни, — подумал я. — А я пошел».

— Если замерзнешь, стучись в мою каюту.

У меня были свои, другие дела. Я стал думать о них. А этот парень... Ну что ж, пусть стоит. Я тоже стоял так когда-то. И ничего, выстоял...

Я лег не раздеваясь. Мне хотелось, чтобы ночь прошла быстрее: я любил морской рассвет, быстрый, неожиданный и багровый: мне всегда бывало веселее, когда вода отстывала и светлела после ночи и становилась сначала молочной, потом голубой и, наконец, по-дневному зеленой. В этот момент перед рассветом я всегда засыпал, засыпал мгновенно, отрываясь от странного, шуршащего, как бумага на ветру, мира ночных мыслей, будоражных, удивительных, горьких, не похожих на дневные, отрываясь от ночного одиночества, переносясь в утро, в тепло, в день...

Этот час еще не настал. Серое, неопределенное, как дремота, море окружало и качало меня...

Потом я услышал чьи-то шаги, короткий стук в дверь.

Я зажег свет. Он вошел, жмурясь, весь какой-то похудевший, усталый, словно после ночной вахты. Я удивился его приходу, но не выдал своего удивления.

— И охота тебе мучить себя? Лег бы сразу, так нет, прирос к борту.

Мне приятно и непривычно было ворчать на него. Я чувствовал себя рядом с ним очень взрослым, почти старым, спокойным и неспособным к дурацкой тревоге, к детской печали. Мы выпили с ним пива, потом он разулся, снял свои здоровенные квадратные башмаки, широченные брюки, шевиотовый пиджак и лег.

— Если замерзнешь, возьми мой плащ, — сказал я.

— Мне не холодно. Я на Кудиновом острове вообще без одеяла сплю.

— Где?

— На Кудиновом острове. Это дельта Дуная.

Мне показалось, что что-то в нем переменялось за эти часы. Видно, он измучился, истомился и стал как-то мягче, покладистее, нормальнее, что ли. Я слышал, как он ворочался и вздыхал громко, шумно, как лошадь. Знаете, как лошади вздыхают — натужливо и протяжно.

— Вы спите? — вдруг спросил он негромко.

— Нет.

— И я не сплю.

— А что ты делаешь?

— Думаю.

— О чем?

— Так, вообще.

— Ну, вообще — это не страшно.



— Тут такое запутанное дело, что не поймешь да и не разберешься. Туманность одна.

— Туманность Андромеды.

— Да нет... Вообще туманность получилась.

Я чувствовал, что ему хочется рассказать, что ему больше нелегко мучиться молчанием, что слова пересохли в нем, слишком долго они теснились в его мозгу, и теперь, когда он начал говорить после долгого молчания, голос у него был надтреснутый, словно бы разошедшийся.

— Если рассказывать, так целого вечера не хватит, а может, еще и другой вечер захватить придется. Если все описывать по порядку, так всю жизнь надо описать.

— Ну и опиши.

— А вам интересно?

— Да.

— Ну ладно. От молчанки больше устанешь, чем от разговора...

Сам я с сорок девятого года. Дед рыбак. Живем мы в деревне Кудинов остров. Отец рыбак. Отец помер в пятьдесят четвертом. С другом в камышах охотился, утку стрелял, и друг его подстрелил по нечаянности. Повезли его на лодке в район, а он и помер, не доезжая. Мать после такого дела что-то не в себе стала, все хворала да и по сей день хворает, вся желтая, как сухой камыш. Тогда дед меня взял, Мефодий Мокеич. Взял меня, а в школу не пускал. И говорил, что отец пострадал за божий грех, за то, что в коммунисты пошел и от веры отказался. А дед у меня, надо сказать, очень чудной старик, старообрядец, упорный такой. В школу два года он меня не пускал, в церковь водил, с дьяконовым сыном дружить заставлял. Наконец из сельсовета пришли к деду и говорят: «Если ты не угомонишься, отберем от тебя внука, да и сам под суд пойдешь».

Тогда дед увозить меня стал в Измаил к старшему своему брату, а тот еще чуднее его, мало что старовер, но еще и сектант, фанатик. Двух жен со свету сжил. Такой мужик, что лучше от него подальше. Стал дед меня увозить на мотофелюге. Притом человека ко мне приставил, а сам фелюгу ведет. А человек тот выпивши был, ну я его и заделал. И притом очень просто: из кубрика — я на корму, оттуда в воду: ночь, темно, пока дед очухался, я уже у берега был. А у нас граница с Румынией. Пограничники меня забрали, расспрашивают, а я молчу.

Была тут целая волокита, потом из школы пришли, разобрались. И стал я после того побега вроде как чокнутый. Ходил все в камыши, на Дунай, иной раз к Прорве на лодке подплывал... А там море. Возле этого моря я и стоял часами, рыбаки на меня внимания не обращали. Чокнутый, мол, пусть стоит. А я стою, стою, думаю, и что-то во мне закипает, и хочется чего-то, и волнение меня бьет, наподобие дрожи, а потом я устаю после всего этого, как после тяжелой работы, аж желудок болит. В общем, такая ерунда со мной творилась, что и вроде по-серьезному заболел. Потом я пошел в школу, учился там с малолетками. И тут в школу нашу привезли пианино. Стал я на этом пианино стучать по костям. Стучал что-то наподобие чижикиа.

А слух у меня был ничего. Говорят, даже очень. С детства я пел песни церковные да и мирские пел.

Так вот стучу я на этом пианино, ноты себе покупаю в районе, самоучитель. Дед об этом деле знает, но ничего, помалкивает... Вообще после той истории его предупредили малость, так он затих. Да и старый он стал, утомился, рыбалить перестал, все сидит и подсчитывает, сколько ему надо на похороны, чтобы не краснеть перед людьми. Это мне чтобы не краснеть... Чудной он старик был, интересный.

Так насчет пианино он ничего, молчок. Но раз поиграл я на вечере — он принялся меня стыдить, срамить.

Я теперь уж не тот стал, что раньше, не такой покорный, я ему: «Если вы, дедушка, ко мне приставать будете, уйду я от вас. Откажусь я от вас на всю свою жизнь».

А он то угрозой, то жалостью. Плачет, уговаривает: «Не позорься, — говорит. — Греховным делом не занимайся, людям себя не показывай».

Ну и ушел я от него. И жалко мне его, и тошно с ним. Ушел я и занялся этой самой музыкой на полную катушку. Дни и ночи играю, с уроков сбегаю, сижу все время в красном уголке. Ну, учителя меня корят за математику, за русский язык, а за музыку говорят хорошо... Потом приехал какой-то учитель, музыкант, смотрел меня, потом ездил я на смотр — грамоту получил. Потом еще одну. Специалисты смотрели — говорят, способность есть, а школы нет... Самоучка. А где мне эту самую школу взять?

А играл я всласть. Часов по восемь в день. Уж

и школу закроют, и пустота повсюду, и в клубе танцы кончаются, на станции в одиннадцать часов движок выключают, а я сижу играю. Ну и мечтаю: уеду отсюда в большой город, в консерваторию поступлю, ну и всякое такое... Честолюбие всякое, одним словом... Ладно. Так я и жил. А потом дедушка мой неуживчивый, Мефодий Мокеич, помер. Пришли тут его кумовья, поют, кричат, а на меня волками смотрят.

А один старик, с рожей такой черной, как зола, ко мне подходит и шипит мне на ухо: «Через музыку твою дед помер. Музыкой своей публичной и комсомолом деда ты опоганил и в могилу свел раньше, чем богом положено».

Я стою молчу. Неудобно мне старца трогать... А то б я ему сунул раз по роже. И так мне досадно стало на эту ораву, что вокруг моего деда-покойника увивалась, что плюнул я на них и ушел. Ушел я к реке, к Дунаю. И плакал... Может, первый, может, последний раз.

Жалел я деда, темноту его, ярость его я жалел, и жизнь его я жалел, потому что был он человек умелый, а музыки никакой не знал, разве что псалмы, где ни складу ни ладу, одна мистика. И еще я жалел свое детство, и то, как я с ним ходил рыбалить, и как он учил меня вентера ставить, и лодку дубить, и жалел, что огорчал его через безбожие свое да через музыку, но что поделаешь, если уж я знаю, что нет никакого создателя, а есть одна лишь материя и Чарлз Дарвин! А без музыки я, может, и впрямь стал бы чокнутый, я знаю таких, на базаре ходят, народ смешат в воскресный день...

Через неделю поехали мы в Одессу на большой областной смотр. Поехала наша районная самодеятельность, и меня взяли. Ехал я смурной, тихий. Приехали в город, все на экскурсию пошли, а я остался, сижу в гостинице, смотрю в окно. Я экскурсий, честно говоря, не люблю, а люблю сам... Так и просидел вечер, а на следующий день репетиция.

Там, в гостинице, был зал, где фортепьяно стояло, там еще наши флейтисты и кларнетисты занимались. Ну, играли мы себе, играли, вдруг кто-то отворил стеклянную дверь и вошел. Маленький такой, с рыжими волосами, а лицо у него бледное, будто он мелом измазался. Открыл и поморщился: «Ну и гвалт! Да тут же, право, жить невозможно».

Наши кларнетисты примолкли, а начальство ему объясняет насчет самодеятельности и все такое. А я играю. А он вдруг уставился и слушает. Не начальство, а меня слушает. Слушает и улыбается. А улыбка у него вроде как издевательская. Лицо такое белое, сам маленький, одет во все узенькое, будто с младшего брата. Ну, мне наплевать на него, я себе играю. А играл я вальс до-диез минор Шопена. Завтра мне его исполнять.

Вечером я гулял по городу. О впечатлениях говорить не буду. Сами понимаете. Да. Так вот, возвращаюсь я в гостиницу, а в фойе — он. В черном костюме, как официант какой-нибудь. Подходит ко мне, говорит: «Как жизнь?»

Я ему: «Двадцать пять».

Это я в школе научился. При деде я таких штук не знал, потом поднахватался.

А он мне: «Двадцать пять так двадцать пять. Лишь бы не тринадцать. Хочешь ко мне в номер зайти? Чаю выпьем, поговорим».

«Чего я у вас в номере забыл?»

А он говорит: «А ты, брат, какой-то дикий. Будто с цепи сорвался».

Я молчу.

«А может, ты мне сыграешь?» — говорит.

«Охота была».

«Ну ладно, тогда я тебе сыграю».

Хотел я его послать туда-сюда, так как полагал, что он выпивши, но нет, пошел я за ним в номер, а в номере у него в углу — рояль. Как он первый аккорд взял, я весь замер. Тут-то я и понял, в чем дело. А когда он кончил, так я и слова не мог вымолвить. По радио я такой игры не слышал. И все по-другому, чем я, совершенно по-другому. Весь смысл у него был другой. А о звуке я уж не говорю. Звук у него был мощный, как гром. Мощный и чистый, что и не поймешь, откуда он рождается и как он держится в воздухе... А руки... В два раза меньше моих, но насколько сильнее, насколько сильнее! Посмотрел я на свои грабки и думаю: надо, брат, не в консерваторию идти, а булыжники таскать.

Кончил он играть и говорит: «Я тебя вчера слушал, слух у тебя отличный, инструмент ты чувствуешь, но, конечно, все это, брат, пока так... Сыровато. Здесь серединкой-половинкой не обойдешься. Если хочешь всерьез

заниматься, бросай все, уезжай из своей деревни, поступи в училище».

Хотел я у него спросить адрес, да и сам он вроде предлагал, чего-то он мне объяснял, но я вроде бы пьяный был, только об игре думал и слышал ее, и адреса не взял я и ушел от него.

А наутро заключительный день смотра. Ребята идут хорошо, среди первых. Вот и моя очередь. Называют мою фамилию, то да се, из рыбацкой семьи, талант-самоучка, пятое-десятое. Я выхожу, сажусь, руки у меня горят, а внутри холодок: ну, думаю, прости господи, сейчас я дам, как никогда в жизни. Помню я, как вчера он играл, все помню, каждый оттенок, каждый звук и так же начинаю. Так же начинаю, как и он, точно так же... А играть не могу. Помню, как он играл, а не могу. Не могу по его играть. Тогда начинаю играть, как до него. Как раньше. Как на репетициях. И слушаю себя и не верю: так это грубо, жестко... И стало мне противно. Тут уж я себя и не помню. Только помню, что встал, закрыл крышку. Да, крышку закрыл и стою... А в зале шум, движение, никто ничего не поймет. А я вроде иду по сцене и почему-то не внутрь за кулисы, а прямо в зал.

Кто-то говорит: «Может, он заболел?»

Руководитель наш Кофанов подходит ко мне, говорит: «Что с тобой? Ты же вчера отлично играл!..»

Я молчу. Еще ко мне подходят разные. Все такие участливые. Один говорит: «Это он впечатлительный, нервный».

Другой: «У него дедушка умер недавно».

А кто-то из наших ребят шепчет другому про меня: «Чокнутый».

Тем все оно и кончилось. Целый вечер бродил я по Одессе, бродил, и сидел на набережной, и все думал, думал: а как же дальше? И сначала очень мне плохо было. Очень плохо. А потом отчего-то стало хорошо, и я подумал: ну, не буду я играть — музыка-то не исчезнет. Послушать ее я всегда смогу. Пришел я поздно в гостиницу и не пошел туда, где наши жили, в общежитие, а прямо на третий этаж, в номер «Люкс» к рыжему пианисту. Пришел, а дверь у него заперта, и горничная говорит: «Уехал товарищ в город Москву выступать и давать концерты». А потом кончился этот самый конкурс, нас всех погрузили, и мы поехали...

Он кончил свой рассказ, посмотрел на меня устало, опустошенно. Странная у него была физиономия: большая, грубая, темная, а глаза маленькие, яркие и тревожные.

— Ну и что ты решил? — спросил я. — Играть будешь?

— Не знаю, — сказал он.

Я хотел ему посоветовать работать над собой, никогда не отказываться от начатого дела, но не стал... Еще я хотел ему посоветовать, чтобы он влюбился в пацанку, но потом решил, что это лекарство принимать ему еще рано, а кроме того, оно обладает иногда самым неожиданным действием. Что еще я мог сказать ему?..

— Спи. Самое лучшее сейчас — это спать.

— У меня бессонница, — сказал он.

— Ну тогда подумай о чем-нибудь хорошем. У тебя есть что-нибудь хорошее?

Он задумался, потом кивнул.

— Есть.

Мне хотелось узнать, что это, но я не спросил, потому что у каждого человека есть свое хорошее и не обязательно рассказывать об этом другим.

— Ну тогда все в порядке.

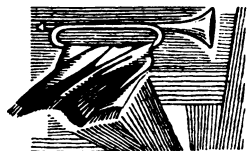
И я закрыл глаза. Приятная светлая тяжесть начинающегося сна легла на мои плечи. Наступал тот момент, когда мне положено было засыпать... Через два часа капитан-бригадир разбудит меня на утренний лов.

Я проснулся от сильного и долгого гудка. Теплоход вошел в дельту Дуная. Он подходил к пристани Вилково.

Я посмотрел: вторая койка была пуста. Я отдернул шторы — его не было видно. Возможно, он уже приготовился сойти и ждал трапа, а может, еще бродил по палубам, праздновал свою первую бессонницу и видел странные, далекие, ночные огни, которые не разглядишь простым глазом.

# Чистое сердце горниста

---



То было первое послевоенное лето. Мы жили в пионерлагере под Москвой. Мы вставали на зорьке, собирали гербарий, ходили в турпоход, и казалось, так было всегда — сосны, синеватый, металлический блеск реки сквозь тальник, тихий звон и пчелиное верещание над высокой и чуть влажной травой; казалось, так было всегда и только что ушедшая война — это лишь сон, который ни вспомнить, ни забыть. Только в родительские дни ее темные крыла осеняли пионерлагерь — почти ко всем приезжали матери и ко многим не приезжали отцы...

Страна жила трудно. Но страна посылала своих пионеров в летние лагеря, кормила их как могла, отдавала им скупые, но живительные свои соки.

А мы вбирали эти соки быстро, радостно и торопливо, потому что это были наши первые пионерские каникулы, первые каникулы после войны. Пробивались сквозь сосны, пахнущие горько и терпковато, прозрачные холодноватые рассветы, и тревожно, пронзительно и победно звучал горн, открывая нам дорогу в день, а потом закаты падали в землю, как кометы, и снова наш горн, уставший за день, пел севшим, но все-таки чистым голосом. А горнистом был мой товарищ, Митька Александров из Ленинграда.

Это был высокий мальчик с глазами серыми, приветливыми, но не улыбочивыми, с чистым бледным лицом, с

ясным лбом, с нервной и чуть скорбной линией полноватых губ. Был Митька Александров не очень разговорчив, в походы он не ходил, редко купался, а за обедом ему всегда приносили какую-то другую, чем нам, пищу, называвшуюся туманно и пресно: «высококалорийная». Когда мы резались в футбол, он смотрел на нас с тщательно скрываемой и все-таки уловимой нечалью.

Однажды он разделся и кинулся в игру, кинулся с азартом и страстью и повел мяч, прерывисто дыша, каким-то удивительным усилием обогнал защитников, с враз заалевшим и почти багровым лицом вырвался к воротам и пробил несильно и точно, а потом вдруг упал, бесшумно, как перерубленная топором тоненькая жердочка, упал, а мы не поняли, решив, что он просто дурачится. И мы играли и кричали: «Пасуй, пасуй!» — а он лежал в траве.

Кто-то из нас подбежал к нему, испуганно крикнул, и тотчас же все сгрудились над ним, подняли его, а один помчался за лагерным врачом. Но он вырвался из наших рук, улыбнулся измученно, виновато и сказал: «Ребята, врача не надо. Мне и так житья не дают. А тут и совсем в комнату загонят». Но его все равно загнали в комнату, и он ходил несколько дней в серой полосатой пижамке и, говорят, совершил несколько попыток к бегству из санчасти.

Вот тогда и мелькнуло это слово, похожее на длинную и безликую рыбу, холодное, непонятное слово: дистрофия.

Но мы не чувствовали к Митьке жалости. Он не давал нам жалеть себя. Мы не чувствовали себя сильнее его, даже когда он сидел на берегу в своей полосатой пижаме, а мы лихо заплывали за бакен.

Я не знаю, отчего это происходило — оттого ли, что был он молчалив, но когда говорил, то поражал нас своей памятью и знаниями, оттого ли, что редко врал и хвастал и никогда ничего из себя не выкомаривал, оттого ли, что он был нашим первым горнистом, и горн его не фальшивил и пел не очень сильно, но звонко и чисто, так, что мы замирали... Горн выводил свою песню, и в ней было что-то тревожившее нас, что-то знакомое по старым фильмам о гражданской войне. Может быть, в этом горне звучали атаки, в которые ходили наши отцы.

— Слушай, где ты научился так горнить? — спросил я однажды Митьку. — Расскажи!

— Наш дом в Ленинграде разрушили. Я ушел жить



в свою школу, и я жил в пионерской комнате. А школа была пустая, и я очень боялся, особенно вечерами... Мне хотелось с кем-нибудь разговаривать, а разговаривать было не с кем, там еще жила Нила Павловна, наш завуч, но она после бомбежки стала глухая. Вот я брал горн и трубил. Трубил, трубил, а никто моего горна не слышал. А трубил я назло фашистам... Вот так и научился.

Я любил Митьку, я всегда советовался с ним. Однажды, когда я влюбился в нашу пионервожатую Галину Ивановну, или просто Галю, я пришел к нему посоветоваться. Другим людям я бы не сказал об этом. Это было стыдно, неприятно. Стыдно не оттого, что влюбился. Это делали многие из нас. Но они влюблялись в девочек из соседних отрядов, что было нормально и естественно. Я же влюбился ни больше ни меньше в пионервожатую, во взрослого человека — ученицу девятого класса.

Когда я заикнулся об этом одному своему приятелю, тот дико захохотал, схватился за голову и закричал, корчась от язвительного восторга:

— Во дает! Во дает! Ты бы еще в мою бабушку влюбился! Ей как раз шестьдесят!

— Но Галине Ивановне ведь не шестьдесят, а шестнадцать.

— Дурак ты. Это почти одно и то же. Ты же малолетка против нее.

С тех пор я тихо мучился своей тайной и носил ее в сердце, как древний юный спартанец лисицу, которая проела ему все внутренности. Недоступная и прекрасная Галя ходила, ничего не зная об этом, и проводила сборы на темы: «Кем быть?», «Сбор гербария в летние каникулы» и «Как проводить пионерский костер». И она не знала, что во мне, чадя и пуская темные клубы дыма, растет и крепнет всепожирающий костер, отнюдь не похожий на пионерский.

И вот я пошел к Мите, сказал ему обо всем этом, мучительно боясь, что он будет смеяться надо мной. Но ничего подобного не произошло.

— Это случается, — знающе сказал он.

— Как же теперь быть, Митя? Может, написать ей записку?

— Она тебя не поймет. Она может даже подумать, что ты припадочный. Не говори ей ничего. Но ты будь всегда первым.

— Как так «будь всегда первым»? — спросил я.

— Ну, я не знаю, как это объяснить. В начале войны мне понравилась одна девочка, — тихо сказал Митя.

— Да-а... — с удивлением и любопытством сказал я. Такое признание с его стороны было жгуче интересным. И потом, Митька никогда не говорил на такие темы.

— Ну и вот, — сказал он и задумался. — Ты понимаешь, я старался всегда быть первым.

— Ну, как это первым? — нетерпеливо спросил я. — В каком смысле первым?

— Ну, не знаю, как тебе это объяснить, — помешкал он. — Ну, я, например, старался себя показать.

Это было странно, не походило на Митьку.

— Ну, как ты это делал? — спросил я, немедленно желая обогатить свой опыт его богатым опытом.

— Когда была бомбежка, я первый выскакивал на крышу и гасил зажигалки... Я хотел быть... ну, героем, что ли. Понимаешь?

— Понимаю, — сказал я. И подумал, что хорошо ли, плохо ли это для меня, но зажигалки мне тушить не придется.

— Ну, а она что? — спросил я.

— Ну, ей нравилось, — сказал он. — Нравилось, когда я был смелым.

— И она полюбила тебя? — с замиранием спросил я.

— Нет, — сказал он.

— Ты был, может быть, недостаточно первым, недостаточно лучшим для нее?

— Нет, не потому.

— Она была старше тебя?

— Нет.

— А почему же она тебя все-таки не полюбила? — вконец измучившись, сказал я.

Он помедлил.

— Она умерла. Она умерла от голода. Дистрофия.

И опять прозвучало это страшное рыбье слово. Мы оба замолчали. Он сказал, глядя прямо в мои зрачки сильным, немигающим взглядом своих серых взрослых глаз:

— Надо иметь чистое сердце. И быть лучшим, быть первым. И тогда все будет в порядке. Ты понимаешь?

Я молча кивнул головой. «Да, я буду лучшим, я буду первым, — сказал я себе. — Ну, а сердце у меня и так чистое». Я старался быстрее всех бегать и играть лучше

других в футбол, плавать дальше всех и ловчее всех разжигать костер.

Но Галя по-прежнему считала меня рядовым пионером во вверенном ей старшем отряде. И я снова пришел к Мите и сказал ему:

— Я лучше многих, я почти что первый. Я забиваю больше всех голов. На викторине я получил приз, но ей наплевать на меня...

Наша смена кончалась. Пахло осенью, дни уже шли чуть на убыль, и солнце стало не горячим, а теплым и каким-то ручным.

В один из последних дней у нас готовили торжественную пионерскую линейку. К нам должен был приехать летчик, дважды Герой Советского Союза, совершивший знаменитый таран.

Пожелтевшая газета с описанием его подвига висела в столовой. Мы знали его биографию лучше, чем он сам.

За день до торжественной линейки мы отправились в последний однодневный поход. Митю не взяли. Вечером он зашел ко мне за книгами. Мне иногда посылали из дому книги. Вообще я делился с ним всем, что у меня было, а он всем, что имел, — со мной. А мне как раз прислали Гайдара. Надо сказать, что читал я быстро, и страницы интересных книг были скоротечны, они таяли, как эскимо. Так и тут. Я еще не открывал книгу и предвкушал, как приду после похода и стану читать. Страницы ее были нетронуты, немяты, они лежали покойно, чисто, как снег в лесу.

Митя скользнул взором по моим книгам и остановился на Гайдаре. Нет, он не просил, он никогда ни о чем не просил. Но я, как хороший товарищ, знающий его страсть к чтению, должен был бы сказать ему: «Читай первый. Бери книгу, мне все равно идти в поход». Но я не сказал этого. Мне стало жаль этих чистых страниц с незагнутыми уголками. Внезапная стариковская бессмысленная скаредность опутала меня, и, вместо того чтобы охотно и щедро предложить другу книгу, я быстрым мелким голосом сказал:

— Ты знаешь, Митя, я возьму Гайдара с собой в поход. Я уже начал и буду там читать.

— Конечно, бери, — сказал он.

И все.

Только когда мы уходили в поход и вожатая во дворе лагеря считала нас и выдавала нам рюкзаки, Митя сидел на бревнышке и поглядывал на меня. Взгляд у него был зоркий, достаточно зоркий, чтобы увидеть, что никакую книгу я не взял с собой. Мне захотелось выйти из строя и крикнуть ему: «Бери же ты эту книгу, конечно же, бери, ерунда какая!» Но я не рванулся, не вышел, не сказал.

Поход был недолог. Мы вернулись поздно, и я так и не увидел Митю.

А на следующий день была торжественная линейка. Летчик уже приехал, но его еще никто не видел в глаза, мы только знали, что он уже здесь, что он уже в лагере, и кто-то пустил слух, что у него один глаз перевязан черной ленточкой, как у адмирала Нельсона.

Пионервожатые, в том числе и Галя, хлопотали у костра, он никак не разжигался, это был настоящий пионерский костер — не из электрических лампочек, а настоящие костры разгораются, как известно, нелегко, долго, но зато уж и горят щедро и горячо.

Наконец костер зашумел, забил, заплескал тяжелой волной огня по веткам, они переломились, перевернулись от этой тяжести и запылали.

Нас поставили в строй, вожатые прошлись по рядам, поправляя на нас галстуки и одергивая рубашки (как будто летчика интересовали наши рубашки). Какой-то шумок прокатился по рядам, и мы замерли. В сопровождении директора к нам шел летчик.

Темнело, высокий сосновый лес важно колыхался над нами, тянуло ветром с реки, и в багровых отсветах шел летчик, безо всякой повязки, коренастый и молодой, как мальчишка. У него были белые, пшеничные волосы, но в отблесках огня они стали рыжими. У него были спокойные и, должно быть, добрые глаза, но огонь бросил в зрачки свою пляску и движение, свой непокой, и они стали точно бы хмельными, горящими, подвижными. Он шел, чуть припадая на левую ногу, и поэтому шаг его был напряженным и хромота казалась еще заметней. Мы смотрели на него во все глаза, мы впервые видели дважды Героя. И все в нем поражало нас: и то, как он идет, и то, как улыбается и как, позванивая, покачиваются на груди две маленькие звездочки.

И мне захотелось вырваться из строя, подбежать к

нему и выкрикнуть ему слова необычайной силы и красоты.

Мне захотелось стать первым, единственным, лучшим. Это желание заныло в моей груди странно и требовательно, пугая меня и приводя в неведомый трепетный восторг. А он шел и вдруг тихо сказал:

— Здравствуйте, ребята!

И Митька в ответ поднес к чуть дрогнувшим губам свой горн.

Все дальнейшее произошло в одно мгновение. Моляще глядя на него, я прошептал:

— Дай мне горн!

Это было не по правилам. Это было нельзя. Он был нашим горнистом, а я только редко подменял его. И он должен был бы отказать мне, послать меня к черту. Но он не сделал этого. Почему? Не знаю. Он протянул мне горн, я схватил его и вдохнул воздух, обжегший мое нутро, и поднес горн к губам. Сейчас он запоет мужественную песню сражения, песню утра революции! Я прижал горячие, лихорадочные губы к стали, и... ржавым, простуженным и неискренним голосом отрывисто крикнула труба и умолкла.

Дважды Герой удивленно посмотрел на меня. «Что это? — думал я. — Почему? Ведь я же играл раньше». Я еще не успел ничего понять, а Митька вырвал у меня горн и запел. Он пел яростно и серебристо, мощно и нежно, торжественно и любовно, вкладывая все свое восхищение этим молодым парнем, летчиком, всю свою безраздельную, мгновенную привязанность к нему в стальное и чуткое горло трубы.

Пел горн, и мы отдали салют, и моя рука была тяжелой. А костер полыхал чистым и долгим огнем. Летчик улыбался.

— Ты хорошо трубишь, — сказал летчик Митьке. — Когда ты вырастешь, мы возьмем тебя в полк, и ты будешь трубить зорьку.

— А тогда еще будут полки? — спросил Митя.

— Наверное, будут, — сказал летчик.

— А меня вы не возьмете в полк? — прошептал я, уверенный, что летчик меня услышит.

— Посмотрим, — сказал летчик. — Ты должен еще кое-чему научиться. Ты должен научиться трубить, как он.

— Нет, он умеет трубить,— тихо, только для меня сказал Митя.— Просто...— Он не договорил, ничего он больше не сказал, но я-то слышал окончание фразы, я знал то, чего он не досказал: «Но у горниста должно быть чистое сердце».

«Слышишь,— сказал я ему мысленно,— слышишь, Митька, поверь, у меня будет чистое сердце! Оно у меня и сейчас почти что чистое, но я знаю, его надо еще чуть-чуть почистить».

А летчик уже шел дальше, другие пионеры отдавали ему салют, и мы все пели песню «Взвейтесь кострами, синие ночи». Он пел с нами, и мы хотели быть такими же героями, как он, а он — стать таким же пионером, как мы. Мы пели, дети, ставшие пионерами в войну, слышавшие не только горн, но и сирену тревоги. А костер все разгорался, он стал совсем огромным, а потом пошел на убыль, ибо и костры и песни имеют конец...

Это было вскоре после войны. Теперь уже другие пионеры, у них новые песни, новые горнисты. И когда они идут строем, и звучит их барабан, и блещут их глаза, я замираю на мгновение и вслушиваюсь в их легкие шаги. А они идут — им не до глазающих на них прохожих, — стучит барабан, и плывут галстуки, маленькие кусочки большого знамени. Но вот замолкает барабан, и я вижу, как горнист поднимает свой белый и солнечный горн.

# СО Д Е Р Ж А Н И Е

## ЖИЗНЬ ЭРНСТА ШАТАЛОВА.

НЕСКУЧНЫЙ САД. . . . .

© «ЮНОСТЬ», № 5, 6, 7 1979 г.

## РАССКАЗЫ

СТАНЦИЯ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ . . . . .

МЫ ЕЩЕ ВЕРНЕМСЯ ЗА ПОДСНЕЖНИКАМИ . . . . .

НАД РЕКОЙ КИЗИР . . . . .

СУЛТАН-САПДЖАР . . . . .

ДВОЕ В КВАРТИРЕ . . . . .

НОЧНОЙ СЕАНС . . . . .

МУЗЫКА НА ВОКЗАЛЕ . . . . .

«В СТИХАХ ЭТО НЕОБЫКНОВЕННО» . . . . .

МАНСУР — БУНТУЮЩАЯ ЦЕЛИНА . . . . .

ПЕРВАЯ БЕССОННИЦА . . . . .

ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ ГОРНИСТА . . . . .

Для среднего и старшего возраста

*Владимир Ильич Амлинский*

ИЗБРАННОЕ В ДВУХ ТОМАХ

Том 2

ПОВЕСТЬ. РОМАН. РАССКАЗЫ

Ответственный редактор

*Е. М. Подкопаева*

Художественный редактор

*И. Г. Пайденова*

Технический редактор

*В. К. Егорова*

Корректоры

*Т. Г. Бриллиантова, Э. Ш. Сизова*

ИБ № 9967

Сдано в набор 05.11.86. Подписано к печати 15.04.87. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бум. типогр. № 1. Шрифт обыкновенный. Печать высокая. Усл. печ. л. 21,0. Усл. кр.-отт. 21,42. Уч.-изд. л. 21,41. Тираж 100 000 экз. Заказ № 4623. Цена 1 руб.

Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавиолиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 127018, Москва, Суцевский вал. 49.

Отпечатано с фотополимерных форм  
«Целлофот»



**Амлинский В. И.**

**А62** Избранное в 2-х томах: Повесть. Роман. Рассказы / Рис. А. и В. Митченко. — Т. 2. — М.: Дет. лит., 1987. — 398 с., ил.

В пер.: 1 руб.

В этот том вошли повесть «Жизнь Эрнста Шаталова», роман «Нескучный сад» и рассказы.

**А**  $\frac{4803010102-311}{M101(03)87}$  170-87

**P2**